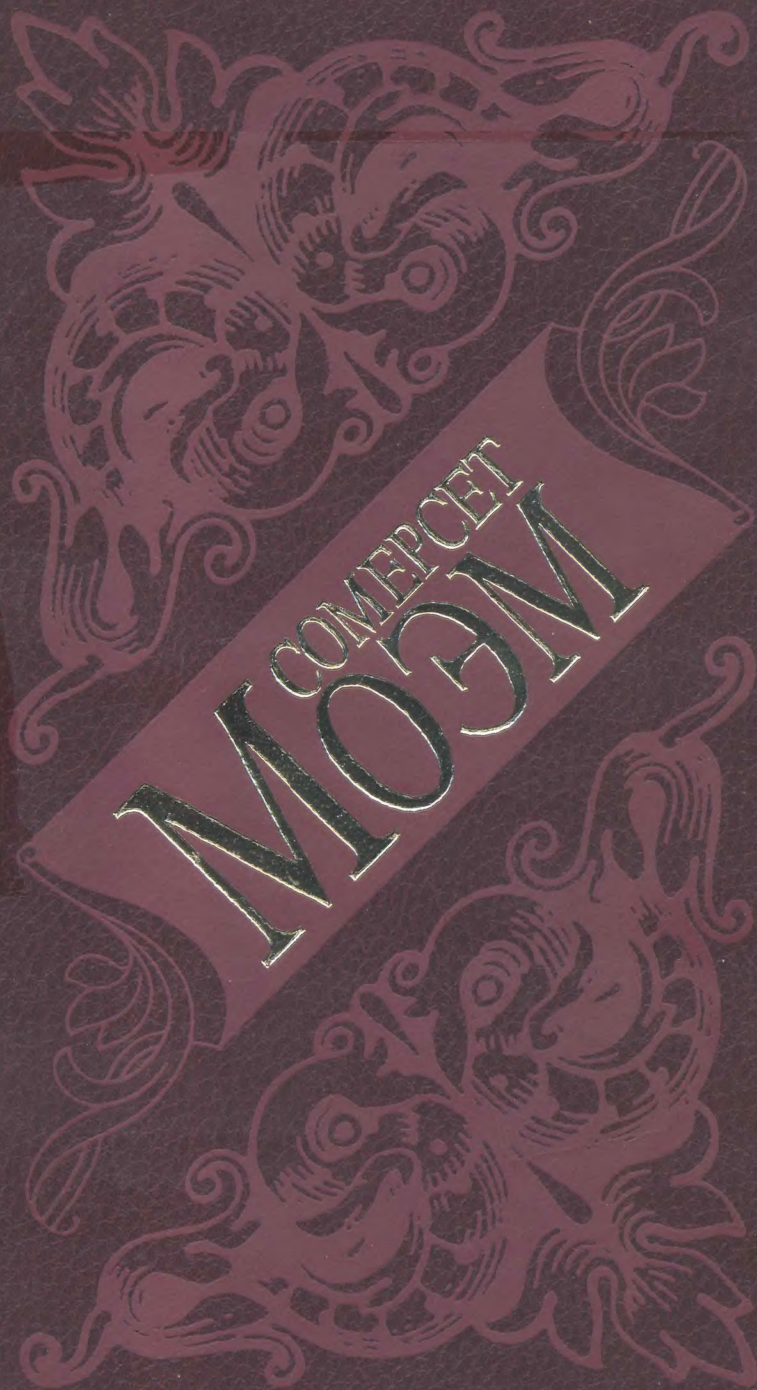


COMPACT
MOGM

COMPACT
MOGM



КОМЕРСЕТ
МОЭМ



СОМЕРСЕТ МОЭМ



СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ДЕВЯТИ
ТОМАХ

КФЕРРИ

МОСКВА
ТЕРРА—КНИЖНЫЙ КЛУБ
2001



Том 6

УЗОРНЫЙ ПОКРОВ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
КАНИКУЛЫ

ТЕРРА

МОСКВА
ТЕРРА—КНИЖНЫЙ КЛУБ
2001

УДК 82/89
ББК 84 (4 Вл)
М87

Перевод с английского
М. ЛОРИЕ, Р. ОБЛОНСКОЙ

Разработка оформления художника
И. МАРЕВА

Художник
Б. ЛАВРОВ

Мозм С.

М87 Собрание сочинений: В 9 т. Т. 6: Узорный покров / Пер с англ. М. Лорие; Рождественские каникулы / Пер. с англ. Р. Облонской. — М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 2001. — 400 с.

ISBN 5-300-02833-9 (т. 6)

ISBN 5-300-02728-6

Уильям Сомерсет Моэм (1874–1965) — один из самых проницательных писателей в английской литературе XX века. Его называют «английским Мопассаном». Ведущая тема произведений Моэма — столкновение незаурядной творческой личности с обществом.

В шестой том Собрания сочинений вошли романы «Узорный покров» и «Рождественские каникулы».

УДК 82/89
ББК 84 (4 Вл)

ISBN 5-300-02833-9 (т. 6)
ISBN 5-300-02728-6

© М. Лорис, «Узорный покров»,
наследники, перевод, 2001
© Р. Облонская, «Рождественские
каникулы», перевод, 2001
© ТЕРРА—Книжный клуб, 2001

УЗОРНЫЙ ПОКРОВ



ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

На замысел этой книги меня натолкнули следующие строки из Данте:

«Deh, quando tu sarai tornato al mondo,
e riposato de la lunga via»,
seguitò 'l terzo spirito al secondo,
«recorditi di me che son la Pia:
Siena mi fe'; disfecimi Maremma;
salsi colui che'nnanellata pria
disposando m'avea con la sua gemma».

«Прошу тебя, когда ты возвратишься в мир и отдохнешь от долгих скитаний, — заговорила третья тень, сменяя вторую, — вспомни обо мне, я — Пия. Сиена породила меня, Маремма меня погубила — это знает тот, кто, обручившись со мной, подарил мне кольцо и назвал своею супругой»¹.

Я тогда учился в медицинской школе при больнице св. Фомы и, оказавшись свободным на шесть недель пасхальных каникул, пустился в путь с небольшим чемоданом, в котором уместилась вся моя одежда, и с двадцатью фунтами стерлингов в кармане. Мне было двадцать лет. Через Геную и Пизу я приехал во Флоренцию. Там, на Виа Лаура, я снял комнату с видом на прелестный купол собора у вдовы

¹ Последние строки песни пятой «Чистилища» Данте. В переводе М. Лозинского они звучат так:

Когда ты возвратишься в мир земной
И тягости забудешь путевые, —
Сказала третья тень вослед второй, —
То вспомни также обо мне, о Пии!
Я в Сьене жизнь, в Маремме смерть нашла,
Как знает тот, кому я в дни былые,
Меняясь перстнем, руку отдала.

с дочерью, которая, поторговавшись сколько следует, согласилась сдать мне эту комнату с пансионом за четыре лиры в день. Боюсь, для вдовы эти условия оказались не очень выгодными: аппетит у меня был зверский, я с легкостью поглощал целые горы макарон. В тосканских горах у вдовы был виноградник, и, сколько помнится, нигде в Италии я больше никогда не пил такого вкусного кьянти. Ее дочь ежедневно давала мне урок итальянского языка. Мне она казалась женщиной едва ли не пожилой, хотя было ей, как я теперь понимаю, лет двадцать шесть, не больше. Она пережила большое горе. Ее жених, офицер, был убит в Абиссинии, и она дала обет безбрачия. Было решено, что по смерти матери (женщины седовласой, но цветущей и жизнерадостной, не собиравшейся покинуть этот мир ни на день раньше, чем повелит Господь) Эрсилия пойдет в монастырь. Такая перспектива ничуть ее не удручала. Она любила пошутить, посмеяться. Обеды и завтраки проходили у нас весело, но к нашим занятиям она относилась серьезно и, когда я бывал непонятлив или невнимателен, стучала меня по рукам черной линейкой. Я бы вознегодовал, что со мной обращаются как с ребенком, однако это напомнило мне об учителях былых времен, о которых я читал, а тогда мне стало смешно.

Дни мои были заполнены до отказа. Каждое утро я для начала переводил несколько страниц из какой-нибудь пьесы Ибсена, чтобы овладеть техникой естественного диалога; затем с томиком Рескина в руках шел осматривать достопримечательности Флоренции. Согласно предписаниям, я восхищался башней Джотто и бронзовой дверью Гильберти. Как полагалось, приходил в восторг от Боттичелли в галерее Уффици и по крайней своей молодости пренебрежительно отворачивался от того, чего мой кумир и наставник не одобрял. После завтрака был урок итальянского, а потом я опять уходил из дому, посещал церкви и мечтал, бродя по берегам Арно. После обеда я пускался на поиски приключений, но был до того невинен или, во всяком случае, робок, что всегда возвращался домой, не потеряв и грана добродетели. Сеньора, хоть и дала мне ключ от входной двери, вздыхала с облегчением, когда слышала, как я вхожу и задвигаю засов — она вечно боялась, что я забуду это сделать, — а я принимался за чтение истории гвельфов и гибеллинов с того места, где остановился накануне. Я с горечью

сознавал, что не так проводили время в Италии поэты-романтики (хотя едва ли хоть один из них сумел прожить здесь шесть недель за двадцать фунтов стерлингов), и от души наслаждался моей трезвой и деятельной жизнью.

«Ад» Данте я уже прочел раньше (с помощью перевода на английский, но добросовестно отыскивая незнакомые слова в словаре), так что с Эрсилией мы начали с «Чистилища». Когда мы дошли до того места, которое я процитировал выше, она объяснила мне, что Пия была сиенской дворянкой, чей муж, заподозрив ее в неверности, но опасаясь мести ее знатной родни в том случае, если он велит ее убить, увез ее в свой замок в Маремме в расчете, что тамошние ядовитые испарения с успехом заменят палача; однако она не умирала так долго, что он потерял терпение и приказал выбросить ее из окна. Откуда Эрсилия все это знала — понятия не имею, в моем издании примечание было не столь подробное, но история эта почему-то поразила мое воображение, я мысленно поворачивал ее так и этак в течение многих лет, снова и снова размышлял над ней по два-три дня кряду. Я все повторял про себя строку «Сиена породила меня, Маремма меня погубила». Но это был лишь один из многих сюжетов, теснившихся у меня в голове, и я подолгу вообще не вспоминал о нем. Я, разумеется, представлял себе какую-то современную повесть и никак не мог придумать, в какой современной обстановке такие события могли бы произойти, не утратив правдоподобия. Нашел я такую обстановку лишь после того, как совершил долгое путешествие в Китай.

Пожалуй, это единственный из моих романов, который я писал, исходя не столько из характеров, сколько из фабулы. Объяснить, как соотносятся характеры и фабула, нелегко. Нельзя создать персонаж в безвоздушном пространстве: как только начинаешь о нем думать, представляешь его себе в какой-то ситуации, он совершает какие-то поступки; и выходит, что характер и хотя бы основное действие зарождаются в воображении одновременно. Но в данном случае персонажи были подобраны в соответствии с сюжетом; и списаны они были с людей, которых я давно знал — правда, при других обстоятельствах.

С этой книгой у меня не обошлось без неприятностей, из тех, что подстерегают каждого писателя. Сначала я дал своим героям фамилию Лейн, довольно распространенную,

но оказалось, что какие-то люди с такой фамилией живут в Гонконге. Они предъявили иск издателю журнала, в котором печатался роман, и он был вынужден уплатить 250 фунтов, а я изменил фамилию героев на Фейн. Затем помощник гонконгского губернатора, усмотрев в романе клевету на себя, пригрозил подать в суд. Это меня удивило. Ведь в Англии мы можем показать на сцене премьер-министра, вывести в романе архиепископа Кентерберийского или лорд-канцлера, и эти высокопоставленные лица и бровью не поведут. Мне показалось странным, что человек, временно занимавший столь незначительный пост, мог счесть себя оскорбленным, но, чтобы избежать лишнего шума, я изменил Гонконг на вымышленную колонию Цин-янь¹. К тому времени книга была уже отпечатана, но тираж так и не поступил в продажу. Некоторые из рецензентов, успешных получить книгу от издателя, под тем или иным предлогом ее не вернули, и эти экземпляры стали библиографической редкостью. Насколько я знаю, их насчитывается штук шестьдесят, и коллекционеры платят за них большие деньги.

¹ В более поздних изданиях Гонконг был восстановлен. (Примеч. автора.)

О, не приподнимай покров узорный,
Который люди жизнью называют.

1

Она испуганно вскрикнула.
— Что случилось? — спросил он.

Ставни были закрыты, но он и в темноте увидел, что лицо ее исказилось от ужаса.

— Кто-то пробовал отворить дверь.

— Наверно, ама¹ или кто-нибудь из слуг.

— Они в это время никогда не приходят. Им известно, что после второго завтрака я всегда отдыхаю.

— Так кто же это мог быть?

— Уолтер, — прошептали ее дрогнувшие губы.

Она указала на его ботинки. Он попытался их надеть, но ее тревога передалась и ему — руки не слушались, к тому же ботинки были тесноваты. С коротким раздраженным вздохом она протянула ему рожок, а сама накинула кимоно и босиком прошла к туалетному столику. Волосы ее были коротко острижены, и она привела их в порядок еще до того, как он успел зашнуровать второй ботинок. Она сунула ему в руки пиджак.

— Как мне выйти?

— Лучше подожди немного. Я пойду взгляну, свободен ли путь.

— Не мог это быть Уолтер. Он ведь никогда не уходит из лаборатории раньше пяти.

— А кто же?

Они говорили шепотом. Ее трясло. У него мелькнула мысль, что в критическую минуту она способна потерять голову, и неожиданно он обозлился. Если риск был, какого черта она уверяла, что риска нет? Она ахнула и схватила его за руку. Он проследил за ее взглядом. Они стояли лицом к стеклянным дверям, выходившим на веранду. Ставни были

¹ Служанка, горничная.

закрыты, засовы задвинуты. Белая фарфоровая ручка двери медленно повернулась. А они и не слышали, чтобы кто-нибудь прошел по веранде. Среди полного безмолвия это было очень страшно. Прошла минута — ни звука. Потом так же бесшумно, так же пугающе, словно повинувшись сверхъестественной силе, повернулась белая фарфоровая ручка второй двери. Это было так жутко, что Китти не выдержала, открывая рот, готовая закричать, но он, заметив это, быстро накрыл ей рот ладонью, и крик замер у него между пальцев.

Молчание. Она прислонилась к нему, колени у нее дрожали, он боялся, что она потеряет сознание. Хмурясь, сжав зубы, он подхватил ее и отнес на кровать. Она была блее простыни, и сам он побледнел под загаром. Он стоял, не в силах оторвать взгляд от фарфоровой ручки. Оба молчали. Потом он увидел, что она плачет.

— Ради Бога перестань, — шепнул он сердито. — Попались так попались. Как-нибудь выкрутимся.

Она стала искать платок, и он подал ей ее сумочку.

— Где твой шлем?

— Оставил внизу.

— О Господи!

— Да ну же, возьми себя в руки. Ручаюсь, что это был не Уолтер. С какой стати ему было приходить домой в это время? Ведь он никогда не приходит среди дня?

— Никогда.

— Ну вот. Голову даю на отсечение, что это была ама.

Она чуть заметно улыбнулась. Его теплый, обволакивающий голос немного успокоил ее, она взяла его руку и ласково пожала. Он дал ей время собраться с силами, потом сказал:

— Ну знаешь, надо на что-то решаться. Может, выйдешь на веранду, оглядишься?

— Мне кажется, если я встану, то сразу упаду.

— Бренди у тебя здесь есть?

Она покачала головой. Он помрачнел, чувствуя, что теряет терпение, не зная, как быть. Вдруг она крепче стиснула его руку.

— А если он там дожидается?

Он заставил себя улыбнуться и отвечал тем же мягким, ласкающим голосом, силу которого так хорошо сознавал:

— Ну, это едва ли. Да не трусь ты, Китти. Не мог это быть твой муж. Если бы он пришел и увидел в прихожей

чужой шлем, а поднявшись наверх, обнаружил, что твоя дверь заперта, уж он не стал бы молчать. Конечно же, это был кто-нибудь из слуг. Только китаец мог повернуть ручку так осторожно.

У нее немного отлегло от сердца.

— Не очень-то это приятно, даже если это была ама.

— С ней можно договориться, а в случае чего я ее припугну. Быть правительственным чиновником не так уж сладко, но кое-какие преимущества это дает.

Наверно, он прав. Она встала, повернулась к нему, протянула руки, он обнял ее и поцеловал в губы. Она задохнулась от счастья, как от боли. Она боготворила его. Он отпустил ее, и она пошла к двери. Отодвинула засов, приоткрыла ставень, выглянула. Ни души. Она скользнула на веранду, заглянула в туалетную комнату мужа, потом в свой будуар. Пусто и там и тут. Она вернулась в спальню и поманила его:

— Никого.

— Скорее всего, это был обман зрения.

— Не смейся. Я до смерти перепугалась. Пройди в мой будуар и подожди там, я только обуюсь.

2

Он послушался, и через пять минут она тоже пришла в будуар. Он курил папиросу.

— Ну что, получу я теперь бренди с содовой?

— Да, сейчас позвоню.

— Тебе и самой не мешало бы выпить.

Они молча дождались, пока явился бой и, выслушав приказание, вышел из комнаты, а потом она сказала:

— Позвони в лабораторию, спроси, там ли Уолтер. Твоего голоса они не знают.

Он взял трубку, назвал номер. Попросил к телефону доктора Фейна. Положил трубку и сообщил:

— Ушел еще до завтрака. Спроси боя, приходил ли он домой.

— Боюсь. Странно получится, если он приходил, а я его не видела.

Бой принес поднос с напитками, и Таунсенд налил себе стакан. Предложил и ей, но она отказалась.

— Как же быть, если это был Уолтер? — спросила она.

— Может, он посмотрит на это сквозь пальцы?

— Кто, Уолтер?

В ее голосе прозвучало сомнение.

— Мне он всегда казался человеком застенчивым. Есть, знаешь ли, мужчины, которые не выносят сцен. У него хватит ума понять, что устраивать скандал — не в его интересах. Я ни на минуту не допускаю, что это был Уолтер, но, даже если это был он, сдастся мне, что он ничего не предпримет. Просто оставит без внимания.

Она отозвалась не сразу.

— Он в меня сильно влюблен.

— Ну что ж, тем лучше. Ты усыпишь его подозрения. Он подарил ее той чарующей улыбкой, которую она всегда находила неотразимой. Улыбка была медленная, она возникала в его ясных синих глазах и зримо спускалась к красиво очерченному рту, обнажая ровные мелкие белые зубы. Очень чувственная улыбка, от которой у нее все таяло внутри.

— А мне все равно, — сказала она почти весело. — Дело того стоило.

— Это я виноват.

— Да, зачем ты пришел? Я просто глазам не поверила.

— Не мог удержаться.

— Милый.

Она склонилась к нему, страстно глядя ему в глаза своими темными блестящими глазами, приоткрыв губы, и он обнял ее. С блаженным вздохом она отдалась под защиту этих сильных рук.

— Ты же знаешь, что можешь на меня положиться, — сказал он.

— Мне с тобой так хорошо. Если б знать, что тебе так же хорошо со мной.

— И страхи прошли?

— Я ненавижу Уолтера, — ответила она.

Что сказать на это, он не знал и только поцеловал ее, вдохнув прелесть ее нежной кожи.

А потом взял ее руку и посмотрел на золотые часики-браслет.

— Ты знаешь, что мне теперь пора делать?

— Бежать? — улыбнулась она.

Он кивнул. На мгновение она крепче прильнула к нему, но, почувствовав, что ему не терпится уйти, тут же отстранилась.

— Просто безобразие так запускать работу. Уходи сию же минуту.

Он никогда не мог устоять перед искушением пококетничать.

— Надо же, как ты спешишь от меня избавиться! — парировал он шутливо.

— Ты сам знаешь, я не хочу, чтобы ты уходил.

Это было сказано тихо, искренне, серьезно. Он усмехнулся, польщенный.

— Не ломай себе голову над нашим таинственным гостем. Я уверен, это была ама. А если возникнут затруднения, не сомневайся, я тебя выручу.

— У тебя в этом смысле богатый опыт?

Он улыбнулся весело и самодовольно.

— Нет, но смею думать, у меня есть голова на плечах.

3

Она вышла на веранду и видела, как он уходил. Он помахал ей. Она смотрела ему вслед, и сердце ее трепетало. Сорок один год, а фигура легкая и походка пружинистая, как у юноши.

Веранда была в тени, и она еще помедлила там, разнеженная, утомленная любовью. Дом их стоял в Счастливой долине, на склоне холма. Более фешиенбельная, но и более дорогая Вершина была им не по средствам. Но ее рассеянный взор почти не воспринимал синеву моря и гавань, заполненную судами. Все ее мысли были о любовнике.

Сегодня они, конечно, допустили страшную глупость, но возможно ли осторожничать, если он ее хочет? Два-три раза он уже заходил к ней после второго завтрака, когда все спасаются по домам от жары, и даже бои не видели, как он входил в дом и выходил на улицу. В Гонконге с этим было очень трудно. Она ненавидела китайскую часть города, всегда нервничала, входя в грязный домишко близ Виктория-роуд, где обычно происходили их свидания. Дом принадлежал торговцу-антиквару, и китайцы, рассеявшись в лавке, глазели на нее. Она ненавидела угодливую улыбку на лице старика хозяина, когда он провожал ее в глубину дома и вверх по темной лестнице. Комната, куда он вводил ее, была неопрятная, душная, от большой деревянной кровати, стоявшей у стены, ее бросало в дрожь.

— Неприглядно здесь, правда? — сказала она, когда встретилась там с Чарли в первый раз.

— Было неприглядно, пока ты не вошла, — ответил он.

И конечно же, стоило ему обнять ее, как она обо всем забыла.

О, как ужасно, что она не свободна, что они не свободны!

Его жена ей не нравилась. И сейчас она снова вспомнила Дороти Таунсенд. Даже имя ей досталось неудачное — Дороти. Такое имя старит женщину. Ей лет тридцать восемь, никак не меньше. Но Чарли о ней никогда не говорит. Он, разумеется, не любит ее, она ему до смерти надоела. Но он джентльмен. Китти улыбнулась ласково и насмешливо. Вот дурачок — изменять жене считает возможным, но не позволит себе ни единого осудительного слова по ее адресу. Она была высокого роста, выше Китти, не худая и не толстая, с густой русой шевелюрой. Красотой, вероятно, никогда не блистала, разве что красотой молодости. Черты лица недурны, но ничего особенного, голубые глаза холодные. Кожа неважная, щеки без румянца. И одевается, как... ну, как и следует одеваться жене помощника губернатора в Гонконге. Китти улыбнулась и слегка пожала плечами.

Никто, конечно, не стал бы отрицать, что голос у Дороти Таунсенд приятный. Она прекрасная мать, Чарли вечно об этом толкует, а мать Китти говорит о таких женщинах, что они «из благородного семейства». Но Китти ее не любила. Ей не нравилось, что Дороти держится так непринужденно, ее бесила вежливость, которую та проявляла, когда они бывали приглашены к Таунсендам на чаепитие или на обед, — сразу чувствовалось, что ты ей глубоко безразлична. Наверно, вся беда в том, думала Китти, что ее ничего не интересует, кроме собственных детей. Два ее сына учились в школе в Англии, и был еще младший, шести лет, того она собиралась отвезти в Англию на будущий год. А лицо у нее было как маска. Она улыбалась и приятным, воспитанным тоном говорила то, что от нее ожидали услышать, но при всей сердечности держала людей на расстоянии. Было у нее в городе несколько близких приятельниц, те все как одна восхищались ею. Китти подумалось, не считает ли ее миссис Таунсенд немного вульгарной. Она вспыхнула. А кто она такая, эта Дороти, чтобы задирать нос? Правда, отец ее был губернатором целой колонии, это, конечно, очень

почетно — когдаходишь в комнату, все встают, когда проезжаешь в автомобиле, мужчины на улице снимают шляпы, — но стоит колониальному губернатору уйти в отставку, и он — ничто, ноль без палочки. Отец Дороти Таунсенд живет теперь на пенсию в маленьком доме на Эрлс-Корт, в Лондоне. Мать Китти еще подумала бы, стоит ли идти к Дороти в гости, если бы та ее пригласила. Отец Китти, Бернард Гарстин, — королевский адвокат, не сегодня завтра будет назначен судьей. И живут они, как-никак, в Саут-Кенсингтоне.

4

Когда Китти после свадьбы приехала в Гонконг, ей было нелегко примириться с тем, что ее положение в обществе определяется специальностью ее мужа. Да, встретили ее очень радушно, и первые два-три месяца они чуть не каждый вечер бывали в гостях. Когда их пригласили на обед в губернаторский дом, губернатор сам повел ее к столу, как новобрачную; но она быстро смекнула, что как жена правительственного бактериолога котируется невысоко. Это ее рассердило.

— Какое идиотство, — заявила она мужу. — Да таких, как эти люди, мы в Англии в грош не ставили. Моей маме и в голову не пришло бы пригласить их к нам на обед.

— Пусть это тебя не волнует, — ответил он. — Ведь это не имеет значения.

— Конечно, не имеет значения, это только показывает, какие они идиоты, но, когда вспомнишь, какие люди бывали у нас в доме, как-то странно, что здесь на нас смотрят сверху вниз.

Он улыбнулся.

— С точки зрения света, ученый — величина несуществующая.

Теперь-то она это знала — не знала тогда, когда выходила за него замуж.

— Не могу сказать, что меня очень радует, когда меня сажают за столом рядом с агентом пароходной компании, — сказала она и засмеялась, чтобы он не усмотрел в ее словах снобизма.

Может быть, за наигранной легкостью ее тона он почувствовал упрек, потому что робко пожал ее руку.

- Мне очень жаль, Китти, милая, но ты не огорчайся.
— А я и не думаю огорчаться.

5

Нет, не мог это быть Уолтер. Не иначе как кто-нибудь из слуг, а это, в конце концов, не важно. Слуги-китайцы все равно все знают. Но умеют держать язык за зубами.

Сердце ее чуть екнуло, когда она вспомнила, как поворачивалась белая фарфоровая дверная ручка. Нельзя больше так рисковать. Лучше встречаться в лавке у антиквара. Никто ничего не подумает, даже если увидит, как она туда входит, а уж там они в безопасности. Хозяин лавки знает, какой пост занимает Чарли, и не такой он дурак, чтобы вызвать недовольство помощника губернатора. И вообще все не важно, кроме того, что Чарли ее любит.

Она вернулась в свой будуар, бросилась на диван и потянулась за папиросой. Увидела какую-то записку, лежащую на книге, и развернула ее. Записка была наспех написана карандашом.

«Милая Китти! Вот книга, которую Вы хотели прочесть. Я как раз собиралась послать ее Вам, но встретила д-ра Фейна, и он сказал, что сам ее Вам передаст, так как будет проходить мимо дома.

Ваша В.Х.»

Она позвонила и, когда вошел бой, спросила, кто принес эту книгу и когда.

— Принес хозяин, мисси, после завтрака.

Значит, это был Уолтер. Она тут же позвонила по телефону в канцелярию губернатора и, попросив соединить ее с Чарли, сообщила ему эту новость. Ответ последовал не сразу.

— Что мне делать? — спросила она.

— У меня идет важное совещание. К сожалению, сейчас говорить с вами не могу. Мой совет — никакой паники.

Она положила трубку. Значит, он не один. Экая досада, вечно у него дела.

Она села к столу и, опутив лицо в ладони, попробовала спокойно все обдумать. Конечно, Уолтер мог просто решить, что она заснула, а что заперлась в спальне — что ж тут такого? Постаралась вспомнить, разговаривали ли они с Чарли. Если и разговаривали, то, во всяком случае,

негромко. И еще этот шлем. Болван, как он мог оставить его внизу? Впрочем, какой смысл ругать Чарли, это было вполне естественно, да Уолтер, возможно, и не заметил его. Он, вероятно, торопился, забросил книгу и записку по дороге на какое-нибудь деловое свидание. Странно только, что он попробовал все двери — и внутреннюю, и обе с веранды. Если он решил, что она спит, едва ли стал бы ее тревожить. Как она могла так оплошать!

Она встрепенулась и, как всегда при мысли о Чарли, опять ощутила в сердце сладкую боль. Да, дело того стоило. Он сказал, что выручит ее, а в худшем случае — что ж... Пусть Уолтер устраивает скандал. У нее есть Чарли, не все ли ей равно? Может, и лучше, если он узнает. Она никогда не любила Уолтера, а с тех пор, как полюбила Чарли Таунсенда, ласки мужа стали ей в тягость. Не захочет больше с ней жить — и очень хорошо. Доказать-то он ничего не может. Если вздумает приставать к ней с расспросами, она все будет отрицать, а если отрицать станет невозможно — выложит ему все начистоту, и пусть делает что хочет.

6

Через три месяца после свадьбы она уже знала, что ошиблась, но виновата в этом не столько она сама, сколько ее мать.

Портрет матери висел тут же на стене, измученный взгляд Китти задержался на нем. Она сама не знала, зачем повесила его, — большой любви к матери у нее не было. Имелась в доме и фотография отца, та стояла внизу на рояле. Он тогда только что стал королевским адвокатом и по этому случаю был снят в парике и в мантии, но даже это не придало ему внушительности. Он был низенький, сухонький, с усталыми глазами и длинной верхней губой, прикрывающей нижнюю, такую же тонкую. Шутник-фотограф попросил его сделать веселое лицо, но лицо получилось не веселое, а строгое. Именно поэтому миссис Гарстин, просматривая пробные снимки, остановила свой выбор на нем: обычно опущенные уголки губ и грустные глаза придавали ему покорно-скорбное выражение, а в этом снимке она усмотрела нечто глубокомысленное. Сама она снялась в том туалете, в котором представлялась ко двору, когда ее муж был повышен в звании. Она выглядела очень

величественно в бархатном платье с длинным шлейфом, ниспадающим эффектными складками, с перьями в волосах и цветами в руке. Держалась она очень прямо. В пятьдесят лет это была худая, плоскогрудая женщина с выдающимися скулами и крупным, благородной формы носом. Волосы у нее были густые, черные, гладко причесанные. Китти всегда подозревала, что она их если не красит, то слегка подцвечивает. Ее большие черные глаза никогда не оставались в покое — это, пожалуй, было в ней самое приметное: разговаривая с ней, люди сжимались при виде этих неумных глаз на бесстрашном, без единой морщинки желтом лице. Они скользили по собеседнику вверх и вниз, перебегали на других гостей и возвращались обратно; чувствовалось, что она вас зондирует, оценивает, в то же время улавливая все, что происходит вокруг, и что слова, которые она произносит, не имеют ничего общего с ее мыслями.

7

Миссис Гарстин была женщина жестокая, властная, честолюбивая, скупая и недалекая. Она была одной из пяти дочерей ливерпульского юриста, и Бернард Гарстин познакомился с ней, когда приезжал в Ливерпуль на выездную сессию суда. Он производил тогда впечатление многообещающего молодого человека, ее отец уверял, что он далеко пойдет. Этого не случилось. Он был старательный, трудолюбивый, способный, но слишком слабовольный, чтобы выдвинуться. Миссис Гарстин презирала его. Однако она пришла к выводу, правда малоутешительному, что сама может добиться успеха только через мужа, и принялась подгонять его по выбранной ею дороге. Она немилосердно пилила его. Она убедилась, что при большом желании можно заставить его сделать и то, что претит его деликатности, — нужно только без отдыха бить в одну точку, и рано или поздно он смирится и уступит. Со своей стороны она поставила себе целью поддерживать знакомство только с нужными людьми. Она льстила адвокатам, которые могли передать ее мужу то или иное дело, и дружила с их женами. Лебезила перед судьями и их благоверными. Обхаживала подающих надежды политических деятелей.

За двадцать пять лет миссис Гарстин ни разу не пригласила в гости человека просто потому, что он ей нравился.

Через определенные промежутки времени она давала званые обеды. Но честолобие в ней вечно боролось со скупостью. Она терпеть не могла тратить деньги. Она уверяла себя, что не хуже других умеет пустить пыль в глаза, а обходится это ей вдвое дешевле. Обеды ее были долгие, обдуманы тщательно, но рассчитаны экономно, и до ее сознания просто не доходило, что люди, когда едят и беседуют, разбираются в том, что пьют. Обернув бутылку шипучего мозельвейна салфеткой, она воображала, что ее гости принимают его за шампанское.

Практика у Бернарда Гарстина была приличная, но не обширная. Многие юристы с меньшим, чем у него, стажем давно его обскакали. Миссис Гарстин заставила его выставить свою кандидатуру в парламент. Расходы по предвыборной кампании взяла на себя партия, но и тут на пути ее честолобия встала скупость, и она не смогла заставить себя истратить достаточно денег, чтобы заручиться симпатиями избирателей. Бесчисленные пожертвования, которых ждали от Бернарда Гарстина, как от любого кандидата, всякий раз оказывались поменьше, чем следовало. На выборах он не прошел. Миссис Гарстин было бы очень приятно стать женой члена парламента, но неудача не сломила ее.

Во время предвыборной кампании она свела знакомство с целым рядом видных общественных деятелей, чем сильно повысила собственный престиж. Она знала, что в палате общин ее муж все равно бы не отличился. Победа на выборах была ей нужна только для того, чтобы он мог рассчитывать на благодарность своей партии, а такая благодарность конечно, ему обеспечена, если он соберет для нее хоть несколько лишних голосов.

Но он все еще был рядовым адвокатом, а многие, моложе его годами, уже получили шелковую мантию. Ему тоже необходимо было добиться этой чести не только потому, что иначе он не мог надеяться стать судьей, но и просто ради нее: очень уж обидно было, входя в банкетный зал, уступать дорогу женщинам на десять лет ее моложе. Однако тут ее муж оказал упорное сопротивление, от которого она давно успела отвыкнуть. Он боялся, что, став королевским адвокатом, лишится работы. Лучше синица в руках, чем журавль в небе, сказал он ей на что она возразила, что поговорки — это последнее прибежище людей умственно отсталых. Он дал ей понять, что доход его может сократиться

вдвое, зная, что для нее это самый веский аргумент. Она ничего не желала слушать. Назвала его трусом. Не оставляла его в покое, и кончилось тем, что он, как всегда, уступил. Подал прошение, и оно было быстро уважено.

Опасения его оправдались. Карьеры он не сделал, дела вел редко. Но он не жаловался и если упрекал жену, так только в душе. Стал, пожалуй, еще молчаливее, но дома он всегда был неразговорчив, и домашние его не заметили в нем перемены. Дочери всегда видели в нем только источник дохода; им казалось вполне естественным, что он с ног сбивается, чтобы обеспечить им еду и кров, туалеты, курорты и деньги на булавки. И теперь, когда они уразумели, что по его милости денег стало меньше, их безразличное отношение к нему окрасилось раздраженным презрением. Им и в голову не приходило спросить себя, каково приходится этому незаметному человечку, который рано утром уезжает из дому, а возвращается вечером, когда уже пора переодеваться к обеду. Он был им чужой, но оттого, что это был их отец, они считали само собой разумеющимся, что он должен их любить и лелеять.

8

Но мужество миссис Гарстин поистине достойно было восхищения. В том кругу, в котором она вращалась и который для нее представлял весь мир, она от всех сумела скрыть, как тяжело ей далось крушение ее заветных планов. Старательно рассчитывая каждый шиллинг, она продолжала устраивать званые обеды и по-прежнему, принимая гостей, бывала весела и радушна. Она в совершенстве владела искусством пустой болтовни, которая у них именовалась светской беседой. Она была незаменимой гостьей там, где другим такая болтовня не давалась, у нее всегда находилось о чем поговорить, неловкое молчание она умела сразу прервать каким-нибудь подходящим к случаю замечанием.

Увидеть мужа членом верховного суда она уже почти не надеялась, но он еще мог рассчитывать на должность судьи в каком-нибудь графстве, а на худой конец — на пост в колониях. Пока же она утешалась тем, что его назначили выездным мировым судьей в каком-то городке в Уэльсе. Но все свои надежды она теперь возложила на дочерей. Удачно выдать их замуж — вот возмещение, которого она

ждала за долгие годы бесплодных усилий. Дочерей было две: Китти и Дорис. Дорис всегда была дурнушкой — слишком длинный нос, нескладная фигура; для нее миссис Гарстин не метила высоко — в женихи мог сгодиться любой молодой человек со средствами и приемлемой профессией. Зато Китти росла красавицей. Это стало ясно, еще когда она была маленькой девочкой, — большие темные глаза, живые и лучистые, вьющиеся каштановые волосы с рыжеватым отливом, прелестные зубы и изумительная кожа. Черты лица оставляли желать лучшего: подбородок был слишком широк и нос, хоть и не такой длинный, как у Дорис, все же великоват. Главный секрет ее красоты — молодость, думала миссис Гарстин и чувствовала, что Китти следует выдать замуж, пока не облетело это раннее цветение. Когда она стала выезжать в свет, она была ослепительна — кожа и румянец, как у ребенка, к тому же влажные глаза между длинных ресниц сияют, как звезды, взглянешь на них — сердце замирает. А до чего весела, до чего кокетлива! Миссис Гарстин сосредоточила на ней всю любовь, на какую была способна, — любовь жесткую, практичную, расчетливую. Она опять лелеяла честолюбивые мечты — эта ее дочь должна сделать не просто хорошую, а блестящую партию, на меньшее она не согласна.

Китти, которой с детства внушили, что она будет красавицей, догадывалась о честолюбивых замыслах матери. Они совпадали с ее желаниями. Она стала выезжать, и миссис Гарстин всеми правдами и неправдами добывала приглашения на балы, где ее дочь могла познакомиться с подходящими мужчинами. Китти произвела фурор. Красивая, к тому же не скучная, она очень быстро пленила десятка полтора мужчин. Но подходящих среди них не было, и Китти, хоть и была со всеми одинаково мила и приветлива, ни одному не оказывала предпочтения. По воскресеньям в гостиную в Саут-Кенсингтоне валом валили влюбленные молодые люди, но миссис Гарстин с одобрительной улыбочкой отметила, что Китти и без ее помощи умеет держать их на расстоянии. Китти с ними флиртowała, для забавы сталкивала их лбами, но, когда они делали предложение — а без этого не обходилось, — отказывала им тактично, но решительно.

Так прошел и ее первый, и второй сезон, а идеальный поклонник все не появлялся на горизонте; но Китти была молода, и миссис Гарстин рассудила, что время терпит.

Своим знакомым она разъясняла, что, по ее мнению, девушки, которые выходят замуж до двадцати одного года, достойны жалости. Однако миновал и третий год, и четвертый. Некоторые из прежних вздыхателей сделали предложение по второму разу, но они все еще были бедны; предложили руку и сердце два-три совсем зеленых юнца, моложе Китти, а затем — некий отставной чиновник гражданской службы в Индии, награжденный орденом Индийской империи, тому было пятьдесят три года. Китти по-прежнему много танцевала, ездила на теннисные турниры и на крикетные матчи, на скачки в Аскот и на регаты в Хенли; она от души наслаждалась жизнью, но ни один мужчина с удовлетворительным доходом и положением в обществе так и не предложил ей стать его женой. Миссис Гарстин начала нервничать. Она заметила, что Китти стали оказывать внимание мужчины лет сорока и старше, и уже не раз напоминала дочери, что красота ее через год-другой поблекнет и что к каждому сезону подрастают новые дебютантки. В семейном кругу миссис Гарстин не стеснялась в выражениях и однажды без обиняков заявила дочери, что так недолго и остаться на бобах.

Китти только плечами пожала. Она-то считала, что все так же хороша собой, возможно даже еще похорошела, поскольку за четыре года научилась одеваться, а времени впереди достаточно. Если б ей хотелось выйти замуж только для того, чтобы быть замужем, нашлось бы сколько угодно желающих хоть завтра вести ее под венец. А рано или поздно подходящий претендент не может не появиться. Однако миссис Гарстин оценивала обстановку более трезво: негодуя в душе на красивую дочку, упустившую время, она немного снизила свои требования и, вспомнив о существовании мужчин, зарабатывающих на жизнь той или иной профессией (раньше, в гордыне своей, она эту категорию вообще отметала), стала присматривать для Китти какого-нибудь молодого юриста или бизнесмена, способного, на ее взгляд, добиться успеха.

Китти минуло двадцать пять лет, и она все еще не была замужем. Миссис Гарстин совсем извелась, и нередко ее разговоры с дочерью принимали очень неприятный оборот. Она спрашивала, долго ли еще Китти намерена сидеть на шее у отца. Он, мол, и так живет не по средствам, чтобы предоставить ей больше возможностей, а она ими не пользу-

ется. Миссис Гарстин ни разу не подумала, что, может быть, это она сама своей излишней предупредительностью отпугнула не одного сына богатых родителей или наследника титула, которых так беспардонно поощряла. Неудачу Китти она приписывала ее глупости. А тут подошло время вывозить в свет Дорис. У Дорис по-прежнему был длинный нос и нескладная фигура, и танцевала она плохо. И в первый же сезон обручилась с Джеффри Деннисоном. Он был единственным сыном процветающего хирурга, во время войны получившего титул баронета. Джеффри предстояло унаследовать этот титул (конечно, медицинский баронет это не Бог весть что, но титул как-никак есть титул), а также весьма солидное состояние.

Китти с перепугу вышла замуж за Уолтера Фейна.

9

Познакомилась она с ним совсем недавно, особенного внимания ему не уделяла. Она даже не помнила, когда впервые с ним встретилась, он сам уже после их помолвки сказал ей, что это произошло на одном балу, куда его привели какие-то знакомые. В тот вечер она его, можно сказать, вообще не заметила и если танцевала с ним, так только потому, что по доброте сердечной танцевала со всеми, кто ее приглашал. Она и не узнала его, когда дня через два, на другом балу, он подошел и заговорил с ней. А потом заметила, что он бывает во всех домах, куда она ездит, и однажды, смеясь, сказала ему:

— Вы знаете, я с вами танцевала не меньше десяти раз, не мешало бы мне знать, кто вы есть.

Он был явно поражен.

— Как, вы не знаете? Ведь нас познакомили.

— О, люди всегда говорят так невнятно. Я бы не удивилась, если б и вы не знали мою фамилию.

Он улыбнулся. Лицо у него было серьезное, даже немного суровое, но улыбка очень славная.

— Конечно, я ее знаю. — Он сделал паузу, потом спросил — А вы не любопытны?

— Не больше, чем всякая другая женщина.

— И вам даже не пришло в голову кого-нибудь спросить, кто я такой?

Забавно, подумала она, неужели он воображает, что это может ее интересовать? Но она не любила обижать людей и подарила его своей ослепительной улыбкой, а ее глаза, два озерка в чаше деревьев, так и лучились добротой.

— Так как же вас зовут?

— Уолтер Фейн.

Ей было непонятно, зачем он ездит на балы. Танцевал он неважно и, видимо, мало с кем был знаком. Мелькнула мысль, что он влюблен в нее, но она только пожала плечами: некоторым девушкам кажется, что в них все влюблены, она всегда считала, что это глупо. Но Уолтер Фейн стал изредка занимать ее мысли. Он вел себя совсем не так, как все те молодые люди, которые за ней ухаживали. Те сразу признавались в любви и выражали желание поцеловать ее, многие и целовали. А Уолтер Фейн никогда не говорил о ней и очень мало о себе. Он вообще был неразговорчив, но это ее не смущало: она всегда находила о чем поболтать, и было приятно, что он смеется ее шуткам; но если он говорил, то говорил неглупо. Наверно, был из робких. Выяснилось, что он живет на Востоке, а в Англию приехал в отпуск.

Однажды в воскресенье он появился у них в гостиной. Собралось человек пятнадцать гостей, он посидел немного, явно стесняясь, потом ушел. Позже мать спросила ее, кто он такой.

— Понятия не имею. Это ты его пригласила?

— Да, я с ним познакомилась у Бэддели. Он сказал, что встречался с тобой на балах. Я сказала, что по воскресеньям мы всегда рады гостям.

— Фамилия его Фейн. Он служит где-то на Востоке.

— Да, он доктор. Он в тебя влюблен?

— Честное слово, не знаю.

— Пора бы знать, как бывает, когда молодой человек в тебя влюблен.

— Если б и был влюблен, замуж за него я не пошла бы, — небрежно бросила Китти.

Миссис Гарстин промолчала. Молчание было неодобрительное. Китти вспыхнула: она уже знала, что матери дела нет, за кого она выйдет замуж, лишь бы сбыть ее с рук.

10

В течение следующей недели она встретила его на трех балах, и теперь он, поборов, вероятно, свою робость,

кое-что рассказал о себе. Да, у него медицинское образование, но он не практикующий врач, а бактериолог (Китти очень смутно представляла себе, что это такое) и служит в Гонконге. Осенью он туда возвращается. О Китае он говорил охотно. Китти давно взяла за правило делать вид, будто ей интересно все, что ей рассказывают, но жизнь в Гонконге и правда показалась ей привлекательной: там, оказывается, были и клубы, и теннис, и скачки, и поло, и гольф.

— А танцуют там много?

— По-моему, да.

И зачем он все это ей рассказывает? Он как будто ищет ее общества, но ни разу ни пожатием руки, ни словом, ни взглядом не дал понять, что она для него нечто большее, чем знакомая девушка, с которой можно потанцевать. В следующее воскресенье он опять к ним пришел. Случайно дома оказался ее отец — шел дождь, играть в гольф было нельзя, — и они с Уолтером Фейном долго беседовали вдвоем. Позже она спросила отца, о чем они разговаривали.

— Он, оказывается, служит в Гонконге. С тамошним главным судьей мы давнишние приятели, вместе учились. Этот молодой человек показался мне на редкость серьезным и умным.

Она знала, что, как правило, отцу бывало до смерти скучно с молодыми людьми, которых он ради нее, а теперь и ради ее сестры столько лет был вынужден занимать разговорами.

— Мои молодые люди не часто тебе нравятся, папа.

Его добрые усталые глаза обратились на нее.

— Ты уж не собираешься ли за него замуж?

— Ни в коем случае.

— Он в тебя влюблен?

— Что-то незаметно.

— Он тебе нравится?

— Да не особенно. Он меня почему-то раздражает.

Он был совсем не в ее вкусе. Небольшого роста, но не коренастый, скорее худощавый; смуглый, безусый, с очень правильными, четкими чертами лица. Глаза почти черные, но небольшие, не слишком живые, взгляд упорный, в общем странные глаза, не очень приятные. При том, что нос у него прямой, аккуратный, лоб высокий, рот хорошо очерчен, он должен бы быть красив. А его, как ни странно,

красивым не назовешь. Когда Китти стала о нем задумываться, ее поразило, какие хорошие у него черты лица, если брать их по отдельности. Выражение у него было чуть язвительное. Узнав его поближе, Китти почувствовала, что ей с ним как-то неловко. В нем не было легкости.

Сезон подходил к концу, они часто виделись, но он оставался все таким же отчужденным и непроницаемым. Он не то чтобы робел перед ней, но держался несвободно и в разговоре по-прежнему избегал личных тем. Китти пришла к выводу, что он нисколько в нее не влюблен. Сейчас он не прочь беседовать с ней, но в ноябре, когда он вернется в Гонконг, он и думать о ней забудет. Не исключено, что в Гонконге у него есть невеста — какая-нибудь сестра милосердия в больнице, дочка священника, работающая, скучная, некрасивая, с большими ногами. Вот такая жена ему и нужна.

А потом состоялась помолвка Дорис с Джеффри Деннисоном. У Дорис в восемнадцать лет вполне приличный жених, а ей уже двадцать пять, и у нее никого, даже на примете. А вдруг она вообще не выйдет замуж? За весь этот год ей сделал предложение только двадцатилетний юнец, еще учится в Оксфорде. Не брать же в мужья мальчика на пять лет моложе себя! В прошлом году она отказала кавалеру ордена Бани, вдовцу с тремя детьми. Пожалуй, зря отказала. Мать теперь поедом ее будет есть, а Дорис... Дорис, которую всегда приносили в жертву, потому что блестящее замужество прочили не ей, а Китти, — Дорис, можно не сомневаться, будет торжествовать победу. У Китти больно сжималось сердце.

11

Но как-то днем, по дороге домой из магазина «Хэрродз», она встретила на Бромптон-роуд Уолтера Фейна. Он остановился, заговорил с ней, спросил как бы мимоходом, не хочет ли она пройтись по Гайд-парку. Домой ее не тянуло — в эти дни ее ждало там мало приятного. Они пошли рядом, как всегда переговариваясь о том о сем, и он, между прочим, спросил, где она думает провести лето.

— О, мы всегда забираемся в какую-нибудь глушь. Понимаете, папа страшно устает за зиму, и мы стараемся выбрать самое тихое местечко.

Китти хитрила — она отлично знала, что работы у ее отца не так много, чтобы ему валиться с ног от усталости, да к тому же при выборе летнего пристанища никто не стал бы считаться с его удобствами. Но тихое местечко означало недорогое.

— Не находите ли вы, что эти кресла выглядят соблазнительно? — спросил он вдруг.

Проследив за его взглядом, она увидела два зеленых кресла, стоявших особняком на траве, под деревом.

— Так давайте на них посидим, — сказала она.

Но когда они сели, он словно впал в непонятную задумчивость. Чудак-человек! Впрочем, она продолжала весело болтать и только дивилась мысленно, зачем он пригласил ее пройти по парку. Может, вздумал посвятить ее в тайну своей любви к большеногой медсестре в Гонконге? Внезапно он повернулся к ней, перебив ее на полуслове, так что ей стало ясно, что он не слушал. Лицо его побелело как мел.

— Мне нужно вам сказать одну вещь.

Она бросила на него быстрый взгляд и прочла в его глазах тяжкую тревогу. Голос его прозвучал глухо, не совсем твердо. Но она еще даже не успела подумать о причине его волнения, как он снова заговорил:

— Я хотел просить вас стать моей женой.

— Вот уж не ожидала, — сказала она и от удивления уставилась на него во все глаза.

— Неужели вы не знали, что я вас люблю безумно?

— Вы этого никак не проявили.

— Я очень нелепо устроен. Мне всегда труднее высказать то, что есть, чем то, чего нет.

Сердце у нее забилося чуть сильнее. Ей так часто признавались в любви, но либо весело, либо сентиментально, и она отвечала в тон. Никто еще не делал ей предложения так неожиданно и на таких трагических нотах.

— Вы очень добры... — протянула она с сомнением.

— Я полюбил вас с первого взгляда. Давно хотел признаться, но все не мог себя заставить.

Она усмехнулась:

— Дипломат из вас, прямо сказать, неважный.

Она была рада случаю посмеяться — в этот ясный солнечный день в воздухе вдруг повеяло предчувствием беды. Он угрюмо нахмурился.

— Неужели не ясно? Я не хотел терять надежду. Но теперь вы вот-вот уедете, а осенью я должен вернуться в Китай.

— Я никогда и не думала о вас в этом смысле, — сказала она жалобно.

Он молчал, упорно не поднимая глаз. Очень, очень странный человек. Но сейчас, когда он высказался, она ощутила непонятную уверенность в том, что такой любви она еще не встречала. Ощущение это вселяло и легкий страх, и радость. И даже его невозмутимость чем-то ей импонировала.

— Дайте мне время подумать.

Он и тут ничего не сказал. Не шелохнулся. Что же, он намерен держать ее здесь, пока она не надумает? Но это глупо. Она ведь должна все обсудить с матерью. Нужно было встать, как только он заговорил, а она пропустила минуту, думала, он еще что-нибудь скажет, и вот теперь неизвестно почему не решается даже пальцем пошевелить. Она не смотрела на него, но четко представляла себе его внешность. Никогда бы она не поверила, что может выйти за мужчину лишь совсем немного выше ее ростом. Когда сидишь рядом с ним, особенно заметно, какие у него правильные черты лица и какие холодные глаза. Странно это, если вспомнишь, что он изнемогает от любви.

— Я вас не знаю, совсем вас не знаю, — произнесла она нерешительно.

Он посмотрел на нее так, словно и ее вынуждал заглянуть в его глаза. В них была нежность, которой она раньше никогда в них не читала, но была и мольба, как у побитой собаки, и это вызывало легкую досаду.

— При ближайшем знакомстве я, мне кажется, не так плох.

— Вы, наверно, очень робкий, правда?

Да, такого диковинного предложения ей еще никто не делал. Ей и сейчас казалось, что они говорят друг другу все самое неподходящее к случаю. Она нисколько в него не влюблена. И все же что-то мешает ей сразу отказать ему.

— Я такой бестолковый, — отвечал он. — Хочу сказать вам, что люблю вас больше всего на свете, но сказать это так трудно.

И — тоже странно — почему-то эти слова ее растрогали. Нет, он, конечно, не холодный, просто у него такая

невыигрышная манера. Сейчас она, как никогда, сочувствовала ему. Дорис в ноябре выходит замуж. Он в это время будет уже на пути в Китай, и она, если они поженятся, будет с ним. Не очень-то приятно стоять с букетом на свадьбе у Дорис! Без этого она предпочла бы обойтись. А потом... Дорис замужем, а она девица! Все знают, что Дорис намного моложе ее, а тут она покажется еще старше, чуть ли не старой девой. Брак для нее не очень блестящий, но все-таки брак, и к тому же она уедет в Китай, и то хлеб. А чего только не наговорит мать, если она ему откажет? Да что там, все девушки, которые стали выезжать в свет одновременно с ней, давно замужем, у многих уже есть дети. Ей до смерти наскучило ходить к ним в гости и умиляться на их младенцев. Уолтер Фейн предлагает ей совсем новую жизнь. Она поглядела на него с безошибочно рассчитанной улыбкой.

— А если б я решила броситься головой в омут, когда бы вы хотели на мне жениться?

У него вырвался короткий счастливый вздох, бледные щеки залила краска.

— Сейчас. Теперь же. Как можно скорее. В свадебное путешествие уедем в Италию. На август и сентябрь.

Значит, не придется проводить лето с родителями в каком-нибудь пасторском домике, снятом за пять гиней в неделю. Перед глазами сверкнуло объявление о помолвке на странице «Морнинг пост» — ввиду того, что жених должен вернуться на Восток по месту работы, свадьба состоится теперь же. Свою мать она знает — можно не сомневаться, она и по этому случаю сумеет наделать шума; на какое-то время Дорис, во всяком случае, окажется в тени, а когда будут праздновать свадьбу Дорис, куда более пышную, она, Китти, уже будет далеко. Она протянула Уолтеру Фейну руку.

— Мне кажется, вы мне очень нравитесь. Только дайте мне время к вам привыкнуть.

— Значит, согласны? — перебил он.

— Похоже, что так.

12

В то время она его почти не знала, да и теперь, хоть они были женаты уже около двух лет, знала немногим лучше.

Поначалу она ценила его доброту, ей льстила его страстность, явившаяся для нее полной неожиданностью. Он был до крайности внимателен и заботлив, спешил исполнить каждое ее желание. Вечно дарил ей какие-то мелочи. Если ей случалось прихворнуть, никакая сиделка не могла бы лучше за ней ухаживать. Самое скучное ее поручение он воспринимал как милость. И был безукоризненно вежлив. Вставал, когда она входила в комнату, подавал ей руку, чтобы выйти из машины; встретив ее на улице, снимал шляпу, никогда не входил без стука к ней в спальню или в будуар. Обращался с ней не так, как у нее на глазах большинство мужчин обращались со своими женами, а так, будто оба они были гостями в имении у общих друзей. Все это было приятно, но немножко смешно. Ей было бы с ним легче, будь он попроще. И супружеские их отношения не способствовали душевной близости. Его страстность граничила с яростью, истеричность сменялась слезливой чувствительностью.

Ее сбивало с толку, до чего это оказалась эмоциональная натура. Сдержанность его происходила то ли от робости, то ли от многолетнего самообуздания. И недостойным казалось, что, когда она лежала в его объятиях, он, так всегда боявшийся сболтнуть глупость, показаться смешным, утолив свою страсть, способен был нелепо сюсюкать. Однажды она жестоко его оскорбила — рассмеялась и сказала, что он болтает несусветную чушь. Она почувствовала, как разом ослабели обнимавшие ее руки, он умолк, а через минуту отодвинулся от нее и ушел к себе в спальню. Ей не хотелось обижать его, и дня через два она сказала:

— Дурачок ты, да говори все, что хочешь, я не против.

Он ответил виноватым смешком. Очень скоро она поняла, что он, несчастный, не умеет отвлечься от себя и это его связывает. Когда на каком-нибудь сборище начинали петь хором, он не мог заставить себя раскрыть рот. Сидел, улыбался, чтобы показать, что ему весело, но улыбка была наигранная, смахивала на язвительную усмешку, и чувствовалось, что, на его взгляд, вся эта веселящаяся публика — дурачье. Он не мог заставить себя участвовать в играх и развлечениях, которые общительная Китти так любила. На пароходе, когда они плыли в Китай, устроили маскарад, но он наотрез отказался наряжаться. И ее расхолаживало, что он так явно считал все это пустой тратой времени.

Сама она готова была болтать без умолку, смеяться по любому поводу. Его молчаливость сбивала с толку. Выводила из себя его манера оставлять ее беглые замечания без ответа. Правда, ответа они не требовали, но все же какого-то отклика она ждала. Если шел дождь и она говорила: «Льет как из ведра», ей хотелось услышать: «Да, прямо ужас!» А он молчал. Иногда ее подмывало встряхнуть его хорошенько.

— Я сказала: льет как из ведра, — повторила она.

— Я слышал, — отозвался он с ласковой улыбкой.

Значит, он не хотел ее обидеть. Промолчал, потому что нечего было сказать. Но если бы люди говорили, только когда им есть что сказать, улыбнулась про себя Китти, они очень скоро совсем разучились бы общаться.

13

Все горе в том, решила она, что у него нет обаяния. Потому он не пользуется успехом, а что это так — она поняла скоро по приезде в Гонконг. Его работу она представляла себе очень смутно. Зато быстро усвоила, что правительственный бактериолог — не бог весть какая персона. В эту сторону своей жизни он, видимо, не склонен был ее посвящать. Всегда готовая заинтересоваться чем-нибудь новым, она сперва пыталась его расспрашивать. Он отделился шуткой, а в другой раз сказал:

— Скучная это материя, долго объяснять. И оплачивается безобразно низко.

Замкнутый человек. Все, что Китти было известно о его прошлом, о его детстве, учении, вообще о его жизни до того, как он познакомился с ней, она узнала только потому, что сама его расспрашивала. А его, как ни странно, если что и раздражало, так именно расспросы. И когда она, движимая естественным любопытством, принималась выпаливать один вопрос за другим, его ответы становились все лаконичнее. У нее хватило ума понять, что вызвано это вовсе не желанием что-то утаить от нее, а врожденной скрытностью. Ему тяжело было говорить о себе. Он стеснялся, конфузился, просто не умел откровенничать. Он любил читать, но книги, которые он читал, казались Китти ужасно скучными. Какие-то научные трактаты, а не то книги о Китае или исторические труды. Он не давал себе отдыха —

наверно, тоже не умел. А из игр признавал только теннис и бридж.

И как он мог в нее влюбиться? Казалось бы, кто-кто, а она уж никак не должна была пленить этого скрытного, холодного, застегнутого на все пуговицы человека. Однако же он, несомненно, любил ее, любил больше жизни. Готов был сделать все на свете, лишь бы угодить ей. Она могла из него веревки вить. При мысли о той стороне его натуры, которая открывалась только ей, она испытывала легкое презрение. Возможно, его язвительность, его снисходительное высокомерие по отношению к людям, которыми она восхищалась, — это всего лишь ширма, скрывающая глубоко упрятанную слабость? Наверно, он ужасно умный, думала она, все его, видимо, таким считают; но ей он не казался интересным, разве что очень редко, в обществе считанных людей, которые ему действительно нравились, да и то если бывал в настроении. Он не то чтобы нагонял на нее тоску, она просто была к нему равнодушна.

14

С женой Чарлза Таунсенда Китти встречалась уже несколько раз, его же увидела впервые, лишь когда прожила в Гонконге месяца три. Она познакомилась с ним на званом обеде у Таунсендов, куда приехала с мужем. Китти заранее приготовилась постоять за себя. Чарлз Таунсенд был помощник губернатора, и она твердо решила не допустить с его стороны того небрежно-покровительственного отношения, которое при всей своей воспитанности проявляла к ней миссис Таунсенд. Принимали гостей в большой, просторной комнате, обставленной — как и все гостиные в Гонконге, где ей уже пришлось побывать, — комфортабельно и уютно.Guestы съехалось много. Фейны прибыли последними, когда ливрейные слуги-китайцы уже обносили собравшихся коктейлями и маслинами. Миссис Таунсенд, поздоровавшись с ними, заглянула в список приглашенных и сказала Уолтеру, с кем ему предстоит сидеть за столом.

Китти увидела, что к ним направляется высокий, очень красивый мужчина.

— Знакомьтесь, мой муж.

— Мне выпало счастье сидеть рядом с вами, — сказал он.

Она сразу почувствовала себя легко и свободно, напряжение как рукой сняло.

Глаза его улыбались, но она успела заметить в них вспышку удивления. Она прекрасно поняла этот взгляд и еле удержалась от смеха.

— Я ни куска не смогу проглотить, — сказал он. — А жаль, обед будет отличный. Дороти в этом знает толк.

— Так за чем же дело стало?

— Просто грех, что мне не сказали. Кто-нибудь должен был меня предупредить.

— О чем?

— Никто ни словом не обмолвился. Откуда мне было знать, что я увижу писаную красавицу?

— Что я должна на это ответить?

— Ничего. Говорить буду я. И буду повторять это снова и снова.

Китти стало интересно, как же все-таки отозвалась о ней его жена. Он наверняка ее спрашивал. А он, глядя на Китти смеющимися глазами, вдруг вспомнил: «И какая же она?» — спросил он, когда Дороти рассказала ему, что познакомилась с молодой женой доктора Фейна. «Очень миленькая. Разыгрывает светскую даму». — «Она была актрисой?» — «Нет, едва ли. Ее отец врач или юрист, не помню точно. Надо будет, очевидно, пригласить их на обед». — «Успеется».

Сейчас, когда они сидели рядом, он сообщил ей, что знает Уолтера Фейна с тех пор, как приехал в колонию.

— Мы с ним играем в бридж. Он, без всякого сомнения, чемпион здешнего клуба.

По дороге домой она передала его слова Уолтеру.

— Ну, это еще не большая похвала.

— А он сам как играет?

— Неплохо. Даже очень хорошо, когда ему идет карта, а вот если не везет, тут он теряется.

— Он играет так же хорошо, как ты?

— Насчет себя я не строю иллюзий. Я бы сказал так: я очень хороший игрок второй категории. Таунсенд воображает, что принадлежит к первой. Но ошибается.

— Он тебе не нравится?

— Ни да, ни нет. Работник он, говорят, толковый и слывет превосходным спортсменом. Он меня не особенно интересуется.

Уже не в первый раз половинчатые суждения Уолтера выводили ее из себя. К чему такая осторожность? Либо человек тебе нравится, либо нет. Ей Чарлз Таунсенд очень понравился. При том, что она этого не ожидала. Наверно, он самая популярная фигура в колонии. Губернатор скоро должен уйти в отставку, и все надеются, что Таунсенд займет его место. Он играет в теннис, в поло, в гольф. Держит скаковых лошадей. Всегда готов всем помочь. Презирует волокиту. Нисколько не важничает. Китти понять не могла, почему до сих пор все эти похвальные отзывы вызывали у нее протест, почему она решила, что он задается. Глупости, вот уж в чем его не обвинишь.

Тот вечер прошел чудесно. Они болтали о лондонских театрах, о скачках и регате, все было так знакомо, точно встреча их произошла в доме у каких-нибудь друзей на Леннокс-Гарденз; а позже, когда мужчины тоже перешли в гостиную, он не спеша пересек комнату и опять подсел к ней. Ничего такого уж очень остроумного он не говорил, но несколько раз рассмешил ее. Наверно, все дело в том, как люди говорят. В его низком, бархатном голосе таилась ласка, в добрых синих глазах была неизъяснимая прелесть, от этого с ним было так легко. Да, ему не откажешь в обаянии, а ведь это самое главное.

Росту в нем шесть футов два дюйма, не меньше, вспоминала она, и сложен прекрасно; видимо, он в отменной форме: одни мускулы, ни капли жира. А как одевается, лучше всех, и все сидит на нем так ловко, все ему к лицу. Хорошо, когда мужчина следит за собой. Она перевела взгляд на Уолтера — вот кому не мешало бы немножко подумать о своей внешности. Она отметила и запонки Таунсенда и пуговицы на жилете — такие она видела в витрине у Картье. Ясно, что у Таунсендов есть доходы и помимо его жалованья. Загорел он страшно, но и сквозь загар проступает здоровый румянец. И симпатичные аккуратные усики не закрывают полных красных губ. Черные волосы коротко острижены, гладко прилизаны. Но лучше всего в нем конечно, эти глаза под густыми косматыми бровями — такие синие, такие веселые и ласковые, сразу видно, какой он хороший человек.

Она конечно, сознавала, что произвела на него впечатление. Даже если бы он не наговорил ей комплиментов, его выдали бы эти потеплевшие от восхищения взгляды.

И пленяла его полная раскованность, никаких тормозов, никакой оглядки. Китти хорошо разбиралась в таких вещах и оценила, как ловко он умел вернуть в самый, казалось бы, банальный разговор что-нибудь личное, лестное для нее. На прощание он пожал ей руку крепко, со значением, которого она не могла не понять.

— Надеюсь, мы прощаемся ненадолго, — сказал он светским тоном, а остальное досказали его глаза.

— В Гонконге трудно не встретиться, — сказала она.

15

Кто бы мог тогда предсказать, чем это кончится? Позже он говорил ей, что она уже в тот первый вечер свела его с ума. Что такой очаровательной женщины он в жизни не видел. Он помнил, как она была одета: на ней было ее подвенечное платье, и он сказал, что вся она была похожа на ландыш. Она поняла, что он влюблен, до того как он в этом признался, и, оробев, попробовала держать его на расстоянии. При его пылкости это было нелегко. Она боялась его поцелуев — от одной мысли, что он может ее обнять, у нее колотилось сердце. Впервые в жизни она любила. Это было упоительно. И теперь, узнав, что такое любовь, она вдруг поняла, как ее любит Уолтер. Она стала ласково его поддразнивать и чувствовала, что ему это приятно. До сих пор она его, возможно, побаивалась, теперь же держалась увереннее. Она подтрунивала над ним, и забавно было видеть, как он улыбается в ответ, столько было в этой улыбке удивления и счастья. Смотри-ка, думалось ей, этак он скоро станет совсем нормальным. Теперь, когда она узнала, что такое настоящая страсть, ей нравилось играть на его чувствах — так арфистка легко пробегает пальцами по струнам арфы. Она смеялась, видя, в какое блаженное смущение это его повергает.

И когда Чарли стал ее любовником, она особенно остро ощутила свои отношения с Уолтером как абсурд. Ей трудно было без смеха смотреть на него, такого серьезного, степенного. Сердиться на него она не могла, слишком была счастлива. Ведь как-никак, не будь его, она не встретила бы Чарли. Какое-то время она колебалась, прежде чем преступить последнюю черту, — не потому, что не хотела ответить на страсть Чарли, она и сама сгорала от страсти, а потому,

что этому противилось ее воспитание, все условности ее прежней жизни. Впоследствии (а в конце концов все вышло случайно, ни он, ни она этой возможности не предусмотрели) ее изумило открытие, что она нисколько не изменилась. Она-то думала, что с ней произойдет какая-то сказочная метаморфоза, что она станет на себя не похожа; и, взглянув наконец в зеркало, даже растерялась, увидев ту самую женщину, что гляделась в него накануне.

— Ты на меня сердишься? — спросил он, и она ответила:

— Я тебя люблю.

— А не кажется ли тебе, что тянуть так долго не стоило?

— Это было просто глупо.

16

От счастья, порой казавшегося нестерпимым, вновь расцвела ее красота. В последний год перед замужеством, когда стала блекнуть первая свежесть, вид у нее бывал усталый, издерганный. Злые языки поговаривали, что она линяет. Но есть огромная разница между двадцатипятилетней девушкой и замужней женщиной того же возраста. Как бутон белой розы, у которого лепестки стали было желтеть по краям, она вдруг распустилась пышным цветом. Глаза-звезды приобрели новую глубину; ослепительной стала кожа, всегда бывшая ее гордостью и предметом неустанных забот: ее нельзя было сравнить ни с персиком, ни с цветком — скорее и персик и цветок напрашивались на сравнение с этой кожей. Снова она выглядела на восемнадцать лет. Она была обворожительна. Не заметить этого было нельзя, и знакомые дамы, тактично понизив голос, спрашивали ее, не ждет ли она ребенка. Те равнодушные, что раньше утверждали, будто она всего лишь миловидная девушка с длинным носом, теперь признали, что недооценивали ее. Писаная красавица — правильно назвал ее Чарли в тот день, когда впервые ее увидел.

Свою близость они ловко скрывали от посторонних глаз. У него-то плечи широкие, сказал он однажды (и она шуточно его одернула: «Стыдно так кичиться своей фигурой!»), за себя он не боится, но ради нее они не могут позволить себе ни малейшего риска. Часто встречаться наедине им нельзя, об этом он может только мечтать, но для него

главное — не подвергать ее опасности: только время от времени в доме антиквара, еще реже — у нее среди дня, когда в доме пусто, — но видались они много, встречались то тут, то там. И ее забавляло, что в этих случаях он разговаривал с ней как добрый знакомый, непринужденно и весело, как со всеми, не изменяя своей обычной светской манере. Услышав их веселую пикировку, никто не подумал бы, что совсем недавно он сжимал ее в объятиях.

Она его боготворила. До чего же он хорош, когда в сапогах и в белых бриджах играет в поло! На теннисном корте его можно принять за юношу. Немудрено, что он гордится своей фигурой, такой фигуры поискать. И правильно, что не хочет располнеть. Он не ест ни хлеба, ни масла, ни картошки, очень много двигается. За руками следит, это тоже хорошо, — каждую неделю делает маникюр. Спортсмен он первоклассный — в прошлом году завоевал первенство по теннису. И уж конечно, танцует лучше всех, с кем ей приходилось танцевать, не танцор, а мечта. Никто не даст ему сорока лет. Она как-то сказала, что просто ему не верит.

— По-моему, ты это выдумал, на самом деле тебе двадцать пять.

Он рассмеялся, очень довольный.

— Дорогая моя, у меня пятнадцатилетний сын. Я типичный мужчина средних лет. Годика через три буду толстый и старый.

— Ты и в сто лет будешь неотразим.

Она любовалась его густыми черными бровями. Не они ли придают его глазам такое тревожащее выражение?

Талантов его не счесть. Он вполне порядочно играет на рояле — ну конечно, только рэгтаймы — и комические песенки исполняет выразительно и с юмором. Он все, все умеет. И на службе на отличном счету, какая это для нее радость, когда он рассказывает, как губернатор хвалил его, если ему удавалось ловко провернуть какое-нибудь трудное дело.

— Не хочу хвастаться, — говорил он, глядя на нее своими дивными глазами, в которых так и светились любовь, — но во всей колонии нет человека, который с этим справился бы так здорово.

О, как ей хотелось, чтобы он, а не Уолтер был ее мужем!

Еще неизвестно, конечно, знает ли Уолтер правду, и если нет, спокойнее, может быть, оставить все как есть; но если знает, для них для всех это будет лучший выход. Сначала ей было достаточно встречаться с Чарли только украдкой — во всяком случае, она с этим мирилась; но страсть ее росла, и чем дальше, тем сильнее она роптала на преграды, мешавшие им всегда быть вместе. Сколько раз он говорил ей, что проклинает свое служебное положение и те узы, что его связывают, и те, что связывают ее, и как было бы замечательно, если б они оба были свободны! Она понимала его точку зрения: публичный скандал никому не улыбается, и надо очень и очень подумать, прежде чем ломать свою жизнь; но если свобода придет сама собой, насколько это упростило бы дело!

И никому это не грозит особенными мучениями. О его отношениях с женой ей все известно. Она — холодная женщина, между ними уже давно нет любви. Связывает их привычка, удобство, ну и, конечно, дети. Ей-то труднее, чем ему: Уолтер ее любит. Но, в конце концов, он поглощен своей работой; и у мужчины всегда есть такое прибежище, как клуб; сначала ему будет тяжело, но это пройдет, и ничто не мешает ему жениться вторично. Чарли говорил ей, что просто отказывается понять, как она так мало ценила себя, что вышла за Уолтера.

Даже смешно — почему всего несколько часов назад она пришла в такой ужас от мысли, что Уолтер поймал их на месте преступления. Было, правда, жутко, когда ручка двери медленно повернулась. Но ведь они знают, на что способен Уолтер даже в худшем случае, и готовы к этому. Чарли, как и она, вздохнет с облегчением, когда их вынудят к тому, чего оба они хотят больше всего на свете.

Уолтер порядочный человек, этого нельзя не признать, и он ее любит; он сделает все, что нужно, чтобы она могла подать на развод. Они совершили ошибку, и очень хорошо, что они это поняли, пока не поздно. Она уже придумала все, что скажет ему и как будет с ним держаться — ласково, с улыбкой, но твердо. Им вовсе незачем ссориться. Она всегда будет рада его видеть. И ей очень хочется, чтобы о их недолгой совместной жизни он сохранил самое лучезарное воспоминание.

«Дороти Таунсенд, надо полагать, будет не прочь развестись с Чарли, — думала она. — Сейчас, когда и младший ее сын уедет в Англию, ей и самой там будет гораздо лучше. В Гонконге ей совершенно нечего делать. Все каникулы мальчики будут проводить с ней. И родители ее живут в Англии».

Все очень просто. Все можно уладить без скандала и без взаимных обид. А потом они с Чарли поженятся. Китти глубоко вздохнула. Они будут очень счастливы. Ради этого стоит претерпеть кое-какие неприятности. В голове у нее, сменяя одна другую, роились мысли о том, как интересно они будут жить, куда съездят, какой у них будет дом, до какого поста дослужится Чарли и как она будет ему помогать. Он будет гордиться ею, а она — она его обожает.

Но за всеми этими радужными мечтами словно таилось предчувствие беды. Как будто в оркестре духовые и струнные выводят пасторальные мелодии, а в басах тихо, но зловеще отбивают такт барабаны. Вот-вот вернется домой Уолтер — при мысли об этом начинает стучать сердце. Странно, почему он только заглянул домой, а потом опять ушел, не сказав ей ни слова. Она, конечно, не боится его, твердила себе Китти, ну что он может ей сделать? Но тревога не отпускала. Она еще раз вспомнила все, что решила ему сказать. К чему устраивать сцену? Ей очень жаль, видит Бог, она не хотела делать ему больно, но не ее вина, что она его не любит. Нечего притворяться, всегда лучше говорить правду. Она надеется, что он не будет несчастлив, но они совершили ошибку и единственный разумный выход — признать это. Она всегда будет вспоминать его с теплым чувством.

Но не успела она так подумать, как от внезапно налетевшего страха у нее вспотели ладони. А оттого, что ей стало страшно, она рассердилась на него. Если ему угодно устраивать сцену — пожалуйста; но пусть не удивляется, услышав кое-какие горькие истины. Она ему скажет, что никогда ни капельки его не любила и не проходило дня после их свадьбы, когда бы она не пожалела, что вышла за него замуж. Он ей надоел. С ним скучно, скучно, скучно! Он считает себя лучше всех, это же курам на смех; у него нет чувства юмора, ей ненавистно его высокомерие, его холодная сдержанность. Нетрудно быть сдержанным, когда тебя никто и ничто не интересует, кроме тебя самого. Он ей противен.

Его поцелуи вызывают гадливость. И с чего он о себе возомнил? Танцует отвратительно, в компании только портит всем настроение, не умеет ни петь, ни играть и в поло не играет, а теннисист самый посредственный. Бридж? Подумаешь, кому это интересно?

Китти взвинтила себя до полного исступления. Пусть только попробует попрекать. Он сам виноват во всем, что случилось. Очень хорошо, что он наконец узнал правду. Она его ненавидит, глаза бы ее на него не глядели. Да, она рада, что между ними все кончено. И пусть оставит ее в покое. Он столько времени изводил ее, пока уговорил стать его женой. Теперь с нее хватит.

— Хватит, — твердила она вслух, дрожа от ярости. — Хватит! Хватит!

У ворот их сада остановился автомобиль. А вот и шаги Уолтера на лестнице.

18

Когда он вошел в комнату, сердце ее бешено колотилось и руки тряслись, хорошо, что она лежала на диване. Она держала открытую книгу, делая вид, будто он застал ее за чтением. Он секунду постоял на пороге, и взгляды их встретились. Сердце у нее упало, холод пробежал по всему телу, она передернулась. Появилось то чувство, о котором говорят — точно кто-то прошел по твоей могиле. Он был бледен как мел, таким она видела его лицо только раз, когда они сидели в Гайд-парке и он просил ее стать его женой. Темные глаза, неподвижные и непроницаемые, казались неестественно большими. Он все знает.

— Ты сегодня рано, — сказала она.

Губы у нее дрожали, едва выговаривая слова. Она боялась, что от страха потеряет сознание.

— Да нет, как обычно.

И голос показался незнакомым. Как будто он нарочно хотел придать своим словам небрежно-вопросительную интонацию. Заметил он, что она дрожит всем телом? Она еще удержалась, чтобы не вскрикнуть. Он опустил глаза.

— Сейчас оденусь.

Он вышел из комнаты. Она была совсем разбита. Несколько минут оставалась неподвижной, наконец с трудом приподнялась, словно еще не оправилась от долгой болезни,

и встала с дивана. Боялась, что не удержится на ногах. Хватаясь за столы и стулья, выбралась на веранду и кое-как по стенке дошла до двери в свою спальню. Надела вечернее платье, а когда вернулась в будуар (гостиной они пользовались только для званых вечеров), он стоял у столика и разглядывал иллюстрации в журнале. Она замерла на пороге.

— Пойдем вниз? Обед готов.

— Я заставила тебя ждать?

Ужас как дрожат губы. Когда же он заговорит? Они сели за стол, и на минуту воцарилось молчание. Потом он что-то сказал, и самая обыденность его слов придала им какой-то зловещий смысл.

— «Эмпресс» сегодня не прибыл, — сказал он, — очевидно, задержался из-за шторма.

— А должен был прибыть сегодня?

— Да.

Она взглянула на него и увидела, что он смотрит вниз, в тарелку. Он сказал еще что-то, такое же незначущее, насчет предстоящего теннисного турнира. Обычно голос у него был приятный, богатый интонациями, но сейчас он говорил на одной ноте, до странности неестественно. Казалось, его голос доносится откуда-то издалека. И взгляд был обращен то в тарелку, то на стол, то на стену, где висела картина. Но от Китти он упорно отводил глаза. Она поняла, что смотреть на нее он не в силах.

— Пойдем наверх? — спросил он, когда обед кончился.

— Как хочешь.

Она встала, он отворил дверь, пропуская ее вперед, не поднимая глаз. В будуаре он опять взял в руки журнал.

— Этот «Скетч» новый? Я, кажется, его не видел.

— Не знаю. Не заметила.

Журнал лежал там уже недели две, она знала, что Уолтер просмотрел его от корки до корки. Он взял его со стола и сел. Она опять прилегла на диван с книгой. Вечерами они, если бывали одни, обычно играли в кункен или раскладывали пасьянс. Он удобно откинулся в кресле и, казалось, внимательно разглядывал какую-то иллюстрацию. А страницы не переворачивал. Китти попыталась читать, но строки плыли и сливались перед глазами. Разболелась голова.

Когда же он заговорит?

Они просидели в молчании целый час. Она уже не притворялась, что читает, и, отложив книгу, смотрела в пустоту. Боялась вздохнуть, пошевелиться. Он сидел тихо-тихо, все в той же удобной позе, устремив неподвижные, широко открытые глаза на страницу журнала. В его неподвижности таилась угроза. Как хищный зверь перед прыжком, подумалось Китти.

Вдруг он встал с места. Она вздрогнула, стиснула руки и почувствовала, что бледнеет. Вот оно!

— Мне еще нужно поработать, — проговорил он все тем же негромким мертвым голосом, не глядя на нее. — Пойду в кабинет. К тому времени, когда я кончу, ты, вероятно, уже ляжешь спать.

— Да, я сегодня что-то устала.

— Ну так спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

И он ушел.

19

Наутро она в первую же удобную минуту позвонила Таунсенду на службу.

— Да, что случилось?

— Нам нужно повидаться.

— Дорогая моя, я страшно занят. Я, знаешь ли, рабочий человек.

— Дело очень важное. А можно я сейчас заеду?

— О нет, ни в коем случае.

— Тогда приезжай сюда.

— Не могу я сейчас отлучиться. Разве что во второй половине дня. И стоит ли мне вообще приходить к вам домой?

— Мне надо сейчас же с тобой повидаться.

Последовала пауза, точно их разъединили.

— Ты здесь? — спросила она испуганно.

— Да, я соображаю. Что-нибудь стряслось?

— По телефону сказать не могу.

Снова пауза, потом его голос:

— Так вот, послушай. Если это тебя устроит, могу встретиться с тобой на десять минут в час дня. Приходи к Гуджоу, я зайду туда, как только смогу вырваться.

— В лавку? — переспросила она растерянно.

- А ты что, предлагаешь вестибюль отеля «Гонконг»? Она уловила в его голосе нотку раздражения.
- Хорошо, я буду у Гу-джоу.

20

Она отпустила рикшу на Виктория-роуд и по узкой крутой улочке поднялась к лавке. Задержалась на минуту у витрины, словно разглядывая выставленный товар. Но мальчик, стоявший в дверях в ожидании покупателей, сразу узнал ее и приветствовал широкой заговорщицкой улыбкой. Оглянувшись через плечо, он сказал что-то по-китайски, и из лавки с поклоном вышел хозяин, низенький, круглолицый, в черном халате. Она поспешно вошла в лавку.

— Мистер Таунсенд еще нет. Вы идти наверх, да?

Она прошла через лавку, поднялась по шаткой темной лестнице. Китаец поднялся следом за ней и отпер дверь в спальню. Там было душно, стоял приторный запах опиума. Она села на ларь сандалового дерева.

Очень скоро ступеньки заскрипели под тяжелыми шагами. Вошел Таунсенд и закрыл за собою дверь. При виде ее его хмурое лицо разгладилось. Он улыбнулся своей обаятельной улыбкой, обнял ее и поцеловал в губы.

— Так в чем же дело?

— Как увидела тебя, сразу легче стало, — улыбнулась она в ответ.

Он сел на постель и закурил.

— Что-то ты неважно выглядишь.

— Еще бы, я, кажется, всю ночь глаз не сомкнула.

Он посмотрел на нее. Он все еще улыбался, но улыбка стала чуть натянутой, неестественной. И в глазах как будто мелькнула тревога.

— Он знает, — сказала Китти.

Он чуть запнулся, прежде чем спросить:

— Что он сказал?

— Ничего не сказал.

— Да? — Он бросил на нее беспокойный взгляд. — Почему же ты решила, что он знает?

— По всему. Как он смотрел. Как говорил за обедом.

— Был резок?

— Напротив. Был изысканно вежлив. В первый раз с тех пор, как мы женаты, он не поцеловал меня, когда прощался на ночь.

Она потупилась, неуверенная, понял ли Чарли. Обычно Уолтер обнимал ее и целовал в губы долгим поцелуем, словно не мог оторваться. Все его тело становилось страстным и нежным.

— Как тебе кажется, почему он ничего не сказал?

— Не знаю.

Пауза. Китти сидела не шевелясь на ларе сандалового дерева и смотрела на Таунсенда тревожно и пристально. Лицо его опять стало хмурым, между бровями пролегли морщинки. Уголки рта опустились. Но вдруг он поднял голову и в глазах загорелись лукавые огоньки.

— Очень может быть, что он ничего и не скажет.

Она не ответила, не поняла значения этих слов.

— Между прочим, не он первый предпочтет закрыть глаза на такую ситуацию. Если бы он поднял шум, что бы это ему дало? А если б хотел поднять шум, так заставил бы нас отпереть дверь. — Глаза его заблестели, на губах заиграла веселая улыбка. — И хороши бы мы с тобой тогда были!

— Не видел ты, какое у него было лицо вчера вечером.

— Ну да, он расстроился. Это естественно. Любой мужчина в таком положении сочтет себя опозоренным. И над ним же будут смеяться. Уолтер, мне кажется, не из тех, кто склонен предавать гласности свои личные неурядицы.

— Да, пожалуй, — проговорила она задумчиво. — Он очень щепетилен. Я в этом убедилась.

— А нам это на руку. Знаешь, иногда бывает очень полезно влезть в чужую шкуру и подумать, как бы ты сам поступил на месте этого человека. У того, кто попал в такой переплет, есть только один способ не уронить свое достоинство — притвориться, что ничего не знаешь. Ручаюсь, Уолтер именно так и поступит.

Чем больше Таунсенд говорил, тем жизнерадостнее звучал его голос. Его синие глаза сверкали. Он снова стал самим собой — веселым, благодушным. Он излучал уверенность и бодрость.

— Видит Бог, я не хочу говорить о нем плохо, но, в сущности, бактериолог — не ахти какая персона. Не исключено, что, когда Симмонс уйдет в отставку, я стану губернатором, и не в интересах Уолтера со мной ссориться. Ему, как и всем нам, нужно думать о хлебе насущном: едва ли в министерстве по делам колоний хорошо посмотрят

на человека, который стал виновником скандала. Поверь мне, для него самое безопасное — помалкивать и самое опасное — поднимать шум.

Китти беспокойно повела плечами. Она знала, как Уолтер застенчив, готова была поверить, что на него может повлиять страх перед оглаской, перспектива оказаться в центре внимания; но чтобы им руководили материальные соображения — нет, в это не верилось. Возможно, она знает его не так уж хорошо, но Чарли-то его совсем не знает.

— А что он меня безумно любит, об этом ты забыл?

Он не ответил, но в глазах засветилась озорная улыбка, которую она так хорошо знала и любила.

— Что ж ты молчишь? Сейчас скажешь какую-нибудь гадость.

— Да знаешь ли, женщина нередко обольщается мыслью, что мужчина любит ее безумнее, нежели оно есть на самом деле.

Тут она рассмеялась. Его самоуверенность заражала.

— Надо же такое сболтнуть!

— Сдается мне, что в последнее время ты не слишком много думала о своем муже. Может, он тебя любит поменьше, чем прежде.

— Насчет тебя-то я, во всяком случае, не строю себе иллюзий, — отпаривала она.

— А вот это уже зря.

Какой музыкой прозвучали для нее эти слова! Она в это верила, его страсть согревала ей сердце. Он встал с кровати подошел, сел рядом с ней на ларь, обнял за плечи.

— Сию же минуту перестань терзаться. Говорю тебе, бояться нечего. Руку даю на отсечение, он сделает вид, что ничего не знает. Ведь доказать такие вещи почти невозможно. Ты говоришь, он тебя любит; возможно, он не хочет тебя потерять окончательно. Будь ты моей женой, я и сам, честное слово, согласился бы ради этого на любые условия.

Она прильнула к нему. Безвольно откинулась на его руку, изнывая от любви, как от боли. Последние его слова поразили ее: может быть, Уолтер любит ее до того, что готов принять любое унижение, лишь бы иногда она ему позволяла любить ее. Это она может понять: ведь так она сама любит Чарли. В ней волной поднялась гордость и в то же время — смутное презрение к человеку, способному унизиться в любви до такого рабства. Она обвила рукой его шею.

— Ты просто чародей. Я, когда шла сюда, дрожала как осиновый лист, а теперь совсем спокойна.

Он взял ее лицо в ладони, поцеловал в губы.

— Родная.

— Ты так умеешь утешить.

— Вот и хорошо, и хватит нервничать. Ты же знаешь, я всегда тебя выручу. Я тебя не подведу.

Страхи улеглись, но на какое-то безрассудное мгновение ей стало обидно, что ее планы на будущее пошли прахом. Теперь, когда опасность миновала, она готова была пожалеть, что Уолтер не будет требовать развода.

— Я знала, что могу на тебя положиться, — сказала она.

— А как же иначе?

— Тебе, наверно, надо пойти позавтракать?

— К черту завтрак. — Он притянул ее ближе, крепко сжал в объятиях.

— Ох, Чарли, отпусти меня.

— Никогда в жизни.

Она тихонько засмеялась, в этом смехе было и счастье любви, и торжество. Его взгляд отяжелел от желания. Он поднял ее на ноги и, не отпуская, крепко прижав к груди, запер дверь.

21

Весь день она думала о том, что Чарли сказал про Уолтера. В тот вечер им предстояло обедать в гостях, и, когда Уолтер вернулся домой, она уже одевалась. Он постучал в дверь.

— Да, войди.

Он не стал входить.

— Сейчас переоденусь. Ты скоро будешь готова?

— Через десять минут.

Он больше ничего не сказал и прошел к себе. Голос его прозвучал так же напряженно, как накануне вечером. Но она теперь чувствовала себя уверенно. Она оделась первая и, когда он спустился вниз, уже сидела в машине.

— Извини, что заставил тебя ждать, — сказал он.

— Ничего, переживу, — отозвалась она и даже сумела улыбнуться.

Пока машина катилась вниз с холма, она раза два заговорила о каких-то пустяках, но он отвечал односложно. Она пожала плечами. Что ж, если хочет дуться, пусть дуется, ей все равно. Оставшийся путь они проехали в молчании. Обед был многолюдный. Слишком много гостей и слишком много блюд. Весело болтая с соседями по столу, Китти наблюдала за Уолтером. Он был очень бледен, лицо осунулось.

— Ваш муж плохо выглядит. Я думал, он хорошо переносит жару. Он что, завален работой?

— Он всегда завален работой.

— Вы, наверно, скоро уедете?

— О да, — отвечала она. — Вероятно, съезжу в Японию, как в прошлом году. Доктор говорит, что здешняя жара мне вредна, того и гляди совсем расклеюсь.

Обычно, когда они обедали в гостях, Уолтер время от времени с улыбкой поглядывал на нее, сегодня же он ни разу на нее не взглянул. Она заметила, что он отвел глаза еще тогда, когда сажился в машину, и потом, когда подал ей руку, помогая выйти. Сейчас, разговаривая со своими соседками справа и слева, он не улыбался, смотрел на них в упор, не мигая, и глаза его на бледном лице казались огромными, черными как уголь. А лицо точно каменное.

«Веселенький, должно быть, собеседник», — насмешливо подумала Китти, и ей стало забавно от мысли, как трудно несчастным женщинам поддерживать светскую беседу с этим мрачным истуканом.

Разумеется, он знает. В этом-то можно не сомневаться. И зол на нее как черт. Но почему он ничего не сказал? Неужели и правда, несмотря на боль и гнев, боится, что она его бросит? Однако презрение ее было вполне благодушно: как-никак он ее муж, он ее содержит; и, если только он не будет ей мешать, ставить ей палки в колеса, она не собирается его обижать. А с другой стороны, возможно, что его молчание объясняется болезненной стеснительностью. Чарли правильно говорит, для Уолтера скандал — нож острый. Он по возможности избегает всяких публичных выступлений. Он рассказывал ей, что, когда его однажды вызвали в суд как свидетеля и эксперта, он на целую неделю лишился сна. Робость просто ненормальная.

И еще: ведь мужчины очень тщеславны. Пока не начались пересуды, Уолтер тоже, может быть, будет делать вид,

что ничего не случилось. А потом подумалось — может, Чарли и в этом прав, и Уолтер действительно блюдет свою выгоду. Чарли — самый популярный человек в английской колонии и скоро станет губернатором. Он может быть очень полезен Уолтеру, но, если Уолтер вздумает ерепениться, может и очень ему повредить. У нее даже сердце забилося от радости при мысли о том, как энергичен и решителен ее любовник; сама-то она совершенно беззащитна перед его властью. Мужчины — странный народ: ей бы и в голову не пришло, что Уолтер способен на такую подлость, но как знать? Вдруг за его серьезностью скрывается гадкая, расчетливая натура? Чем больше она думала, тем вероятнее ей казалось, что Чарли прав; и она снова взглянула на мужа. Теперь в ее взгляде не было снисхождения.

Случилось так, что как раз в эту минуту Уолтеровы дамы беседовали каждая со своим другим соседом и он остался в одиночестве. Он смотрел прямо перед собой, забыв об окружающем, и в глазах его была смертельная тоска. Китти стало жутко.

22

На следующий день, когда она прилегла после второго завтрака, в дверь постучали.

— Кто там? — крикнула она сердито. В это время дня ее не полагалось тревожить.

— Это я.

Она узнала голос Уолтера и быстро села в постели.

— Войди.

— Я тебя разбудил? — спросил он, входя.

— Представь себе, да, — отвечала она тем невозмутимо веселым тоном, каким говорила с ним последние два дня.

— Выйди, пожалуйста, мне нужно с тобой поговорить.

Сердце ее точно подпрыгнуло в груди.

— Сейчас надену халат.

Он ушел. Она сунула босые ноги в ночные туфельки и накинула кимоно. Посмотрелась в зеркало, обнаружила, что очень бледна, и слегка подрумянилась. Постояла в дверях, собираясь с духом, потом с решительным видом вошла в булуар.

— Как это ты вырвался из лаборатории в такой час? Я в это время редко тебя вижу.

— Может быть, сядешь?

Он не смотрел на нее. Говорил очень серьезно. Китти с облегчением опустила на стул: колени дрожали, и она молчала, не в силах продолжать в том же шутливом тоне. Он тоже сел и закурил. Взгляд его беспокойно блуждал по комнате. Казалось, ему трудно начать.

Вдруг он в упор посмотрел на нее, и, оттого что он так долго отводил от нее глаза, этот взгляд ужасно испугал ее, она чуть не вскрикнула.

— Ты знаешь, что такое Мэй-дань-фу? — спросил он. — Последнее время о нем много писали в газетах.

Она в изумлении уставилась на него. Не сразу решилась спросить.

— Это тот город, где холера? Мистер Арбетнот только вчера о нем говорил.

— Да, там эпидемия. Самая сильная вспышка за много лет. Там работал врач-миссионер. Три дня назад он умер от холеры. Там есть французский монастырь и, конечно, таможенный чиновник. Все остальные европейцы уехали.

Он смотрел на нее не отрываясь, и она, как замороженная, не опускала глаз. Пыталась прочесть выражение его лица, но от волнения не смогла ничего в нем уловить, кроме какой-то странной настороженности. И как он может смотреть так пристально? Даже не моргая.

— Монахини-француженки делают, что могут. Свой детский приют отдали под больницу. Но люди мрут как мухи. Я предложил поехать туда и возглавить медицинскую службу.

— Ты?!

Она вздрогнула. Первой ее мыслью было, что, если он уедет она будет свободна, сможет без помехи видаться с Чарли. Но она тут же устыдилась этой мысли и густо покраснела. Почему он так смотрит на нее? Она смущенно потупилась и пролепетала:

— Это необходимо?

— Там нет ни одного врача-европейца.

— Но ты же не врач, ты бактериолог.

— У меня, как тебе известно, законченное медицинское образование, и до того, как специализироваться, я успел поработать в больнице. А то, что я в первую очередь бактериолог, это очень кстати. Будет широкое поле для научной работы.

Он говорил небрежно, даже развязно, и она с удивлением увидела в его глазах насмешку. Что-то тут было непонятно.

— Но это ведь очень опасно?

— Очень.

Он улыбнулся. Не улыбка, а издевательская гримаса. Она подперла голову рукой. Самоубийство. Вот это что такое. Ужас. Не думала она, что он так к этому отнесется. Не может она это допустить. Это жестоко. Не виновата она, что не любит его. Но чтобы он из-за нее покончил с собой... По щекам ее потекли слезы.

— О чем ты плачешь? — Голос прозвучал холодно.

— Тебе не обязательно ехать?

— Нет, я еду добровольно.

— Не надо, Уолтер, пожалуйста. А вдруг что-нибудь случится? Вдруг ты умрешь?

Лицо его оставалось бесстрастным, только в глазах опять мелькнула насмешка. Он не ответил.

— А где этот город? — спросила она, помолчав.

— Мэй-дань-фу? На одном из притоков Западной реки. Поедем мы по Западной реке, а дальше в паланкинах.

— Кто это мы?

— Ты и я.

Она бросила на него быстрый взгляд. Может, ослышалась? Но теперь улыбались уже и глаза, и губы. А взгляд был устремлен на нее.

— Ты что же, воображаешь, что и я поеду?

— Я думал, тебе захочется.

Она задышала часто-часто. Всю ее пронизала дрожь.

— Но там не место женщинам. Тот миссионер еще когда отправил свою жену и детей к морю. И чиновник казначейства с женой тоже здесь. Мы с ней недавно познакомились. Я только что вспомнила — она сказала, что уехала откуда-то из-за холеры.

— Там живут пять монахинь-француженок.

Ее охватил безумный страх.

— Ничего не понимаю. Мне туда ехать никак нельзя. Ты же знаешь, какое у меня слабое здоровье. Доктор Хэй-урд сказал, что в жару мне нужно уезжать из Гонконга. А тамошнюю жару я просто не вынесу. Да еще холера. Я от одного страха сойду с ума. Что мне, нарочно себя губить? Незачем мне туда ехать. Я там умру.

Он не ответил. В отчаянии она взглянула на него и чуть не вскрикнула, до того страшным ей вдруг показалось его посеревшее лицо. В нем читалась ненависть. Неужели он хочет, чтобы она умерла? Она сама ответила на эту чудовищную догадку.

— Это глупо. Если ты считаешь, что должен ехать, — дело твое. Но от меня ты не можешь этого требовать. Я ненавижу болезни. А тут эпидемия холеры. Пусть я не бог весть какая храбрая, а скажу — на такую авантюру я не решусь. Я останусь здесь, а потом поеду в Японию.

— А я-то думал, что ты захочешь сопровождать меня в эту опасную экспедицию.

Теперь он откровенно издевался над ней. Она смешалась. Не разобрать было, серьезно он говорит или только хочет ее запугать.

— Никто, по-моему, меня не осудит, если я откажусь ехать в опасное место, где мне нечего делать и где от меня не будет никакой пользы.

— От тебя могла бы быть большая польза. Ты могла бы утешать и подбадривать меня.

Она побледнела.

— Не понимаю, о чем ты говоришь.

— А казалось бы, большого ума для этого не требуется.

— Я не поеду, Уолтер. И не проси, это просто дико.

— Тогда и я не поеду. И сейчас же подам в суд.

23

Она смотрела на него, не понимая. Так неожиданны были его слова, что она не сразу уловила их смысл.

— Ты о чем? — еле выговорила она.

Даже для нее самой это прозвучало фальшиво, а суровое лицо Уолтера выразило презрение.

— Ты, видно, считала меня совсем уж круглым дураком.

Что на это сказать? Она колебалась — то ли изобразить оскорбленную невинность, то ли возмутиться, осыпать его гневными упреками. Он словно прочел ее мысли.

— Все необходимые доказательства у меня есть.

Она заплакала. Слезы лились по щекам, это были легкие слезы и она не отирала их, выгадывала время, собиралась с мыслями. Но мыслей не было. Он смотрел на нее совершенно спокойно. Это ее пугало. Он стал терять терпение.

— Слезами, знаешь ли, горю не поможешь.

Его голос, сухой, холодный, пробудил в ней дух протеста. К ней возвращалось самообладание.

— Мне все равно. Ты, надеюсь, не будешь возражать, если я с тобой разведусь. Для мужчины это ничего не значит.

— Разреши спросить, с какой стати мне ради тебя подвергать себя каким-либо неудобствам?

— Тебе это должно быть безразлично. Я, кажется, немного прошу — только чтобы ты поступил как порядочный человек.

— Твое будущее не может меня не беспокоить.

Тут она выпрямилась в кресле и вытерла слезы.

— Ты что, собственно, имеешь в виду?

— Таунсенд на тебе женится, только если будет соответчиком на суде и дело примет такой скандальный оборот, что его жена будет вынуждена с ним развестись.

— Ты сам не знаешь, что говоришь! — воскликнула она.

— Дура ты, дура.

Столько презрения было в его тоне, что она вспыхнула от гнева. И гнев ее, возможно, разгорелся потому, что до сих пор она слышала от мужа только ласковые, лестные, приятные слова. Она так привыкла, что он готов выполнить любую ее прихоть.

— Хочешь знать правду — пожалуйста. Он только о том и мечтает, чтобы на мне жениться. Дороти Таунсенд готова хоть сейчас дать ему развод, а как только он будет свободен, мы поженимся.

— Он говорил это тебе в точности такими словами или у тебя просто сложилось такое впечатление?

В глазах Уолтера была злая насмешка. Китти стало не по себе. Она была не вполне уверена, что Чарли когда-либо произнес в точности такие слова.

— Говорил, сто раз говорил.

— Это ложь, и ты это знаешь.

— Он меня любит всем сердцем. Любит так же страстно, как я его. Ты все узнал. Я не намерена отпираться. К чему? Мы уже год как любовники, и я этим горжусь. Он для меня — все на свете, и очень хорошо, что ты это наконец узнал. Нам осточертело скрываться, врать, идти на всякие уловки. Мое замужество было ошибкой, я сглупила. Я никогда тебя не любила. У нас никогда не было ничего общего.

Таких людей, какие тебе нравятся, я не люблю, то, что тебе интересно, мне скучно. Слава Богу, теперь с этим покончено.

Он слушал ее застыв. Слушал внимательно, хотя ни взглядом, ни жестом не показывал, что ее слова как-то на него действуют.

— Ты знаешь, почему я за тебя вышла?

— Знаю. Потому что не хотела, чтобы твоя сестра Дорис вышла замуж раньше тебя.

Так оно и было, но ее немного смутило, что он это знал. Странно, даже в эту минуту страха и гнева ей стало жаль его. Он чуть заметно улыбнулся.

— Я насчет тебя не обольщался, — сказал он. — Я знал что ты глупенькая, легкомысленная, пустая. — Но я тебя любил. Я знал, что твои мечты и помыслы низменны, пошлы. Но я тебя любил. Я знал, что ты — посредственность. Но я тебя любил. Смешно, как подумаешь, как я старался найти вкус в том, что тебя забавляло, как старался скрыть от тебя, что сам-то я не пошляк и невежда, не сплетник, не идиот. Я знал, как тебя отпугивает ум, и всячески пытался внушить тебе, что я такой же болван, как и другие мужчины, с которыми ты была знакома. Я знал, что ты пошла за меня только ради удобства. Я так любил тебя, что решил — пусть так. Насколько я могу судить, те, кто любит без взаимности, обычно считают себя обиженными. Им ничего не стоит озлобиться, очерстветь. Я не из их числа. Я никогда не надеялся, что ты меня полюбишь. С чего бы? Я никогда не считал, что достоин любви. Я благодарил судьбу за то, что мне разрешено любить тебя, замирал от восторга, когда мне казалось, что ты мною довольна, или когда читал в твоих глазах проблеск добродушной симпатии. Я старался не докучать тебе моей любовью, знал, что это обошлось бы мне слишком дорого, подстерегал малейшие признаки раздражения с твоей стороны. То, что большинство мужей считают своим по праву, я готов был принимать как милость.

Китти, с детства привыкшей к лести, еще не доводилось слышать таких слов. Слепая ярость поднялась в ней, вытеснив страх, и душила ее, в висках стучало. Оскорбленное тщеславие способно привести женщину в бешенство, уподобить ее львице, у которой отняли детенышей. Китти пообезьянни выпятила вперед нижнюю челюсть, и всегда-то

слишком тяжелую, а ее красивые глаза почернели от злости. Но она еще сдерживалась.

— Если мужчина не способен внушить женщине любовь, виноват в этом он, а не она.

— Надо полагать, что так.

Этот издевательский тон пуше разжег ее ярость. Она почувствовала, что может больше его ранить, если сохранит спокойствие.

— Я не очень образованная и не очень умная. Я самая нормальная молодая женщина. Мне нравится то, что нравится людям, среди которых я выросла. Я люблю танцы, теннис, театр, люблю хороших спортсменов. Ты прав, с тобой мне всегда было скучно. То, что тебе нравится, для меня пустой звук, и я об этом не жалею. В Венеции ты таскал меня по бесконечным музеям, когда мне гораздо интереснее было бы играть в гольф в Сандвиче¹.

— Знаю.

— Мне очень жаль, что я не оправдала твоих ожиданий. К сожалению, как мужчина ты всегда был мне противен. За это ты вряд ли можешь меня осуждать.

— Я и не осуждаю.

Китти легче было бы справиться с такой ситуацией, если бы он злобствовал, бушевал. За это она могла бы отплатить той же монетой. В его сдержанности было что-то сверхчеловеческое, и никогда еще он не вызывал у нее такой ненависти.

— По-моему, ты вообще не мужчина. Почему ты не вломился в спальню, когда знал, что я там с Чарли? Мог хотя бы попробовать исколотить его: Побоялся, да?

Но не успела она это выговорить, как залилась краской — ей стало стыдно. Он не ответил, но в его глазах она прочла ледяное презрение. На губах его промелькнула тень улыбки.

— Возможно, мне, как некоему историческому персонажу, гордость не позволяет лезть в драку².

¹ Сандвич — городок на юге Англии, славившийся своими площадками для игры в гольф. (*Здесь и далее примеч. переводчика.*)

² В своей речи, произнесенной в Филадельфии 10 мая 1915 года, президент США Вудро Вильсон, отстаивая нейтралитет США в первой мировой войне, сказал: «Бывает, что человеку гордость не позволяет лезть в драку».

Китти, не придумав ответа, только пожала плечами. Еще минуту он не спускал с нее неподвижного взгляда.

— Кажется, я сказал все, что хотел сказать. Раз ты отказываешься ехать со мной в Мэй-дань-фу, я подаю на развод.

— Почему ты не согласен, чтобы истицей была я?

Наконец-то он отвел глаза. Он откинулся в кресле, закурил. Молча докурил сигарету до конца. Потом бросил окурок, улыбнулся и опять посмотрел на Китти.

— Если миссис Таунсенд заверит меня, что разведется с мужем, и если он даст мне письменное обещание жениться на тебе не позже чем через неделю после того, как оба судебных решения вступят в силу, тогда я выполню твою просьбу.

Что-то было в его тоне обескураживающее. Но чтобы не уронить себя, она приняла его слова милостиво и с достоинством:

— Ты очень великодушен, Уолтер.

К ее удивлению, он громко расхохотался. Она вспыхнула от гнева.

— Чему ты смеешься? Не вижу ничего смешного.

— Прошу прощения. Видно, чувство юмора у меня несколько своеобразное.

Она нахмурилась. Хотелось сказать ему что-нибудь злое, обидное, но ничего подходящего не пришло в голову. Он взглянул на часы.

— Ты смотри не опоздай, если хочешь застать Таунсенда на работе. Если ты решишь ехать со мной в Мэй-дань-фу, выезжать нужно послезавтра.

— Ты хочешь, чтобы я ему сказала сегодня?

— Да, чем скорее, тем лучше.

Сердце у нее забилося. Беспокойства она не ощущала, но что-то... что-то тут было не так. Жаль, что у нее нет времени, Чарли следовало бы подготовить. Правда, в нем она вполне уверена, он любит ее не меньше, чем она его, стыдно было даже усомниться в том, что он ухватится за эту возможность обрести свободу. Она горделиво повернулась к Уолтеру.

— Ты, видимо, не знаешь, что такое любовь. Ты даже отдаленно не представляешь себе, какое чувство связывает меня с Чарли. Только это и имеет значение, и нам ничего не стоит пойти на любую жертву, какой наша любовь может потребовать.

Он молча отвесил ей легкий поклон, а потом провожал ее глазами, пока она неспешной поступью не вышла из комнаты.

24

Она послала Чарли записку: «Нужно повидаться. Дело срочное». Китаец-рассыльный просил ее обождать и вернулся с ответом, что мистер Таунсенд примет ее через пять минут. Она почему-то взволновалась. Когда ее наконец пригласили в кабинет Чарли, он поднялся ей навстречу, пожал руку, но стоило бою выйти и закрыть за собой дверь, как вся официальная любезность с него слетела.

— Слушай, дорогая, не приходи ты сюда в рабочее время. У меня нет ни минуты свободной, да и не стоит давать людям повод для пересудов.

Она посмотрела на него долгим взглядом и попыталась улыбнуться, но губы словно одеревенели и не слушались.

— Если б можно было не прийти, я не пришла бы.

Он с улыбкой взял ее под руку.

— Ну, раз пришла, так садись.

Комната была голая, узкая, с высоким потолком. Стены выкрашены в терракотовые тона, светлый и темный. Всю обстановку составлял большой письменный стол, кресло-вертушка для Таунсенда и кожаное кресло для посетителей. Китти с опаской в него опустилась. Таунсенд сел за стол. Она еще никогда не видела его в очках, даже не знала, что он их носит. Поймав ее взгляд, он снял очки.

— Я их надеваю только для работы.

У Китти слезы всегда были наготове, и сейчас она ни с того ни с сего расплакалась. В этом не было умышленного обмана, скорее инстинктивное желание вызвать сочувствие. Он вопросительно посмотрел на нее.

— Что-нибудь случилось? Да ну же, дорогая, не надо плакать.

Она достала платок и попыталась сдержать рыдания. Он позвонил и сам подошел к двери встретить рассыльного.

— Если меня будут спрашивать, говорите, что меня нет.

— Понятно, сэр.

Бой закрыл дверь. Чарли присел на ручку кожаного кресла и обнял Китти за плечи.

— Теперь рассказывай, девочка.

— Уолтер требует развода, — сказала она.

Она почувствовала, что его рука уже не так крепко ее обнимает. Все его тело застыло. Последовало короткое молчание, потом Таунсенд встал и пересел на свое кресло-вертушку.

— Как это надо понимать? — спросил он.

Она кинула на него быстрый взгляд, потому что голос его прозвучал хрипло, и увидела, что все лицо его побагровело.

— У нас был разговор. Я сейчас прямо из дому. Он говорит, у него доказательств больше чем нужно.

— Ты, надеюсь, не проболталась? Ничего не признала? У нее упало сердце.

— Нет.

— Ты хорошо это помнишь?

— Да, — солгала она снова.

Он откинулся в кресле и устремил взгляд на карту Китая, висевшую перед ним на стене. Китти с тревогой следила за ним. То, как он принял ее новость, озадачило ее. Она-то думала, что он заключит ее в объятия, скажет, как он счастлив, что отныне они всегда будут вместе; но мужчины — странный народ. Она тихо заплакала — теперь уже не из желания вызвать его сочувствие, а просто потому, что это казалось так естественно.

— В хорошенькую мы влипли историю, черт возьми, — заговорил он наконец. — Но нельзя терять голову. Слезами, знаешь ли, горю не поможешь.

Она уловила в его голосе досаду и вытерла глаза.

— Я не виновата, Чарли. Я не могла иначе.

— Конечно, не могла. Нам просто не повезло. Тут столько же моей вины, сколько и твоей. Теперь вопрос в том, как нам выпутаться. Тебе, надо полагать, тоже не улыбается роль ответчицы.

Она чуть не ахнула от изумления и постаралась что-нибудь прочесть в его лице. О ней он не думает.

— Интересно, какие у него доказательства. Мне не ясно, как он может доказать, что мы тогда были вместе. Вообще-то мы вели себя достаточно осторожно. И старик Гу-джоу, я уверен, не мог нас выдать. Даже если Уолтер видел, как мы входили в лавку, — ну и что? Почему бы нам вместе не поинтересоваться антикварными вещами?

Он словно рассуждал сам с собой.

— Предъявить обвинение легко, а вот доказать — чертовски трудно; это тебе всякий юрист подтвердит. Наше дело — все отрицать, а если он пригрозит подать в суд — черт с ним, будем бороться.

— Я не могу судиться, Чарли.

— Это еще почему? Очень может быть, что и придется. Видит Бог, скандала я не жажду, но не можем же мы сдаться без боя.

— А зачем нам защищаться?

— Ну и вопрос! Во-первых, дело это касается не только тебя, но и меня. Тебе-то, мне кажется, бояться нечего. С твоим мужем мы уж как-нибудь договоримся. Важно только решить, как половчее за это взяться.

Ему словно пришла в голову какая-то забавная мысль — он повернулся к Китти со своей неотразимой улыбкой и сменил резкий, деловой тон на заискивающий.

— Бедняжка моя, нелегко тебе пришлось, я понимаю. — Он потянулся через стол и сжал ее руку. — Попались мы с тобой, но как-нибудь выкрутимся, мне это... — Он осекся, и Китти показалось, что он чуть не сказал, что ему не впервой выкручиваться из таких передрыг. — Главное — не терять голову. Ты же знаешь, я тебя не подведу.

— Я не боюсь. Пусть делает, что хочет.

Он еще улыбался, но теперь уже чуть наигранно.

— В крайнем случае придется мне покаяться губернатору. Он меня отчитает по первое число, но он добрый малый, и к тому же человек светский. Он это как-нибудь уладит. Ему публичный скандал тоже не пошел бы на пользу.

— А что он может сделать? — спросила Китти.

— Оказать нажим на Уолтера. Попробует сыграть на его самолюбии, а если не выйдет, тогда на его чувстве долга — это уж дело верное.

Китти приуныла. Ну как Чарли не понимает, до чего это все серьезно! Его легкомысленный тон совсем неуместен. Напрасно она пришла к нему на службу. Здешняя обстановка подавляет ее. Куда легче было бы все ему объяснить, если б они сидели обнявшись.

— Не знаешь ты Уолтера, — сказала она.

— Зато знаю, что купить можно каждого.

Она любила Чарли всем сердцем, но его ответ обескуражил ее: как мог такой умный человек сболтнуть такую глупость?

— Ты, наверно, не понимаешь, до чего Уолтер рассержен. Ты не видел, какое у него было лицо, какие глаза.

Он ответил не сразу, только поглядел на нее с легкой усмешкой. Она поняла, о чем он думает. Уолтер — бактериолог, положение его подчиненное; едва ли у него хватит наглости пойти наперекор высокому начальству.

— Не обольщайся, Чарли, — сказала она очень серьезно. — Если Уолтер решил подать в суд, слова на него не действуют, ни твои, ни чьи бы то ни было.

Лицо его снова помрачнело.

— Уж не хочет ли он сделать меня соответчиком?

— Сначала хотел, но я его отговорила, он согласился, чтобы я сама подала на развод.

— Ну, тогда это не так страшно. — В его глазах она снова прочла облегчение. — Это, по-моему, превосходный выход. Что же и остается мужчине, если он порядочный человек.

— Но он ставит условие.

Он посмотрел на нее вопросительно, как бы что-то соображая.

— Я, конечно, не богач, но все, что могу, сделаю.

Китти промолчала. Чарли сегодня говорит совсем непохоже на себя. И от этого ей особенно трудно. Она-то думала, что выложит ему все сразу, спрятав пылающее лицо у него на груди!

— Он согласен, чтобы я развелась с ним, если твоя жена разведется с тобой.

— Это все?

Китти выговорила, запинаясь:

— Ужасно трудно это сказать, Чарли, это звучит так страшно... и если ты пообещаешь жениться на мне не позже чем через неделю после того, как судебные решения войдут в силу.

25

Он ответил не сразу. Снова ласково сжал ее руку.

— Вот что, девочка. Как бы ни обернулось дело, Дороти мы не должны в это впутывать.

Она изумилась:

— Но я не понимаю. Как же так?

— Ну, знаешь ли, в этой жизни нельзя думать только о себе. При прочих равных условиях я бы завтра же на тебе

женился. Но это исключено. Я знаю Дороти: ничто не заставит ее развестись со мной.

Китти почувствовала, что ее охватывает ужас. Она опять заплакала. Он встал, подсел к ней, обнял.

— Мужайся, девочка. Нельзя терять голову.

— Я думала, ты меня любишь...

— Конечно, люблю, — произнес он нежно. — Неужели ты в этом сомневаешься?

— Если она с тобой не разведется, Уолтер сделает тебя соответчиком.

Он выдержал заметную паузу, прежде чем ответить. Голос его звучал холодно.

— Это, конечно, означало бы конец моей карьеры, но боюсь, что и тебе бы не помогло. Если дойдет до крайности, я во всем признаюсь Дороти. Для нее это будет страшный удар, большое горе, но она простит меня. — Новая мысль пришла ему в голову. — Пожалуй, самое лучшее — рассказать ей все теперь же. Если она встретится с твоим мужем, то, возможно, сумеет уговорить его держать язык за зубами.

— Проще говоря, ты не хочешь, чтобы она с тобой развелась?

— Я и о сыновьях должен подумать, разве не так? И конечно, мне не хочется доставлять ей страдания. Мы всегда с нею ладили. Она, знаешь ли, жена каких мало.

— Зачем же ты говорил мне, что она для тебя ничто?

— Я этого не говорил. Я говорил, что не влюблен в нее. Мы уже давно не спим вместе, разве что в исключительных случаях, на Рождество, например, или накануне ее отъезда в Англию, или в день возвращения. Для нее это вообще не так уж важно. Но мы всегда оставались друзьями. Могу тебе прямо сказать — никто даже представления не имеет о том, как всецело я на нее полагаюсь.

— В таком случае не лучше ли было оставить меня в покое?

Странно, что она может говорить так спокойно, когда сердце сжимается от ужаса.

— Такой прелестной женщины, как ты, я не встречал уже много лет. Я безумно тобой увлекся. За это ты едва ли можешь меня осуждать.

— И между прочим, ты говорил, что не подведешь меня.

— О Господи, да я и не собираюсь тебя подводить. Мы влипли в пренеприятную историю, и я сделаю все, что в моих силах, чтоб тебя вызволить.

— Все, кроме того, что только и было бы логично и естественно.

Он встал и пересел в свое кресло.

— Дорогая моя, будь же благоразумна. Лучше отнестись к этой ситуации трезво. Мне не хочется огорчать тебя, но я должен сказать тебе правду. Я очень дорожу моей карьерой; не сегодня завтра я могу оказаться в губернаторском кресле, а пост губернатора колонии — это, черт возьми, не шутка. Если мы не сумеем замять это дело, все мои планы вылетят в трубу. Со службы меня, возможно, и не выгонят, но и продвинуться не дадут — репутация-то подмочена. А если все же придется расстаться со службой, тогда надо будет вступить в какое-нибудь дело здесь, в Китае, где у меня есть связи и много знакомых. И в том, и в другом случае я смогу добиться успеха, только если Дороти меня не бросит.

— Так нужно ли было говорить мне, что тебе ничего на свете не нужно, кроме меня?

Его губы капризно скривились.

— Ох, моя милая, нельзя же понимать буквально каждое слово влюбленного мужчины.

— Значит, ты мне лгал?

— В ту минуту — нет.

— А что будет со мной, если Уолтер со мной разведется?

— Если мы убедимся, что дело безнадежное, тогда, конечно, защищаться не будем. Особенной огласки я не предвижу, в наше время к таким вещам относятся снисходительно.

В первый раз Китти подумала о своей матери. Она поехала. Опять поглядела на Таунсенда. К ее боли теперь примешивалась обида.

— Ты-то, конечно, с легкостью перенесешь все неудобства, какие выпадут мне на долю.

— Не вижу, какой нам смысл обмениваться колкостями.

У нее вырвался крик отчаяния. Какая мука — так страстно его любить и так в нем разочароваться. Нет, это невыносимо, не может он не понимать ее состояния.

— Чарли! Неужели ты не знаешь, как я люблю тебя?

— Но, дорогая моя, я тоже тебя люблю. Только мы живем не на необитаемом острове, и надо мириться с обстоятельствами, когда они сильнее нас. Будь же благоразумна.

— Как я могу быть благоразумной? Для меня наша любовь была всем на свете, в тебе была вся моя жизнь. Не очень-то приятно узнать, что в твоей жизни я была всего лишь эпизодом.

— Неправда, какой там эпизод. Но знаешь ли, когда ты требуешь, чтобы со мною развелась жена, к которой я очень привязан, и чтобы я погубил свою карьеру, женившись на тебе, ты требуешь очень многого.

— Не больше того, на что я готова пойти ради тебя.

— Обстоятельства-то у нас не одинаковые.

— Вся разница в том, что ты меня не любишь.

— Можно любить женщину очень сильно и все же не мечтать о том, чтобы прожить с нею всю жизнь.

Отчаяние овладело ею. Тяжелые слезы поползли по щекам.

— О, как это жестоко! Как ты можешь быть таким бессердечным!

Она истерически зарыдала. Он бросил тревожный взгляд на дверь.

— Постарайся взять себя в руки, милая.

— Ты не знаешь, как я тебя люблю, — всхлипнула она.

— Я не могу без тебя жить. Неужели тебе не жаль меня?

Не в силах продолжать, она опять дала волю слезам.

— Я не хочу быть жестоким и, видит Бог, не хочу оскорблять твои чувства, но сказать тебе правду я должен.

— Вся моя жизнь пошла прахом. Почему ты не мог оставить меня в покое? Что я тебе сделала плохого?

— Конечно, если для тебя легче взвалить всю вину на меня, сделай одолжение.

Китти вскипела от ярости.

— Я, значит, вешалась тебе на шею? Не успокоилась, пока ты не внял моим мольбам?

— Этого я не говорю. Но мне, безусловно, и в голову не пришло бы за тобой ухаживать, если бы ты не дала понять, совершенно недвусмысленно, что готова принять мои ухаживания.

О, какой стыд! И ведь она знает, что это правда. Лицо у него стало угрюмое, озабоченное, руки беспокойно двигались. Он поглядывал на нее, уже не скрывая раздражения.

— Ты думаешь, муж тебя не простит? — спросил он, помолчав.

— Я не просила у него прощения.

Он невольно стиснул кулаки. Она увидела, что он с трудом удержался от крепкого словца.

— А ты пойди к нему, изобрази кающуюся грешницу. Если он любит тебя так, как ты уверяешь, он не может не простить.

— Плохо же ты его знаешь.

26

Она утерла слезы, постаралась успокоиться.

— Чарли, если ты меня бросишь, я умру.

Ей оставалось одно — звать к его состраданию. Надо было сразу сказать ему. Когда он узнает, перед каким выбором она поставлена, его великодушие, чувство справедливости, мужское достоинство, наконец, так возмутятся, что он забудет обо всем, кроме грозящей ей опасности. О, как хотелось ей сейчас ощутить себя под надежной защитой любимых рук.

— Уолтер хочет, чтобы я поехала в Мэй-дань-фу.

— Что? Но ведь там холера. Самая сильная вспышка за пятьдесят лет. Там женщинам не место. Не можешь ты туда ехать.

— Если ты от меня отступишься — придется.

— То есть как? Я не понимаю.

— Уолтер решил сменить того врача-миссионера, который умер. И хочет, чтобы я поехала с ним.

— Когда?

— Теперь же. Сразу.

Таунсенд отодвинулся назад вместе с креслом и воззрился на нее.

— Наверно, я совсем поглупел, я просто не могу взять в толк, что ты такое говоришь. Если он хочет, чтобы ты ехала с ним, при чем же тогда развод?

— Он предложил мне выбор: либо я еду с ним, либо он подает на развод.

— Ах, вот как. — Тон его чуть заметно изменился — По-моему, это очень благородно с его стороны, ты не находишь?

— Благородно?!

— Ну как же, сам вызвался ехать в такое место. Я бы, прямо скажу, не рискнул. Конечно, по возвращении ему обеспечен орден Михаила и Георгия.

— А я-то, Чарли! — воскликнула она с болью в голосе.

— Что ж, если он хочет взять тебя с собой, в данных обстоятельствах отказываться как-то некрасиво.

— Но это смерть, верная смерть.

— Это уж ты, черт возьми, преувеличиваешь. Не повез бы он тебя туда, если б так думал. И для тебя там меньше риска, чем для него. Риска вообще, можно сказать, никакого — надо только соблюдать осторожность. При мне здесь была одна вспышка, ну и ничего. Главное — не есть ничего в сыром виде: ни фруктов, ни салатов из овощей — и воду пить только кипяченую.

Он говорил все более уверенно и свободно, и лицо оживилось, вся угрюмость пропала, он был почти весел.

— Как-никак, это его специальность. Он интересуется микробами. В сущности, для него это редкая удача.

— Но я-то, Чарли! — повторила она уже не с болью, а с ужасом.

— Чтобы понять человека, нужно поставить себя на его место. С его точки зрения, ты вела себя далеко не примерно, и он хочет оградить тебя от соблазнов. Мне с самого начала казалось, что разводиться с тобой он не хочет, не в его это характере, и он предложил тебе выход, по его мнению великодушный, а ты отказалась, вот он и взбеленился. Я не хочу тебя обвинять, но мне кажется, что ради нас всех тебе следовало бы отнестись к этому не так опрометчиво.

— Но как ты не понимаешь, что это меня убьет? И разве не ясно, что он потому и тащит меня туда, что знает это?

— Да перестань ты, девочка. Положение наше хуже некуда, и, право же, сейчас не время разыгрывать мелодраму.

— А ты нарочно не желаешь ничего понять.

О, какая это мука, и как страшно. В пору закричать в голос.

— Не можешь ты послать меня на верную смерть. Пусть у тебя нет ко мне ни любви, ни жалости, но должно же быть какое-то человеческое отношение.

— Ты, пожалуй, ко мне несправедлива. Сколько я могу понять, твой муж поступил очень великодушно. Он готов тебя простить, а ты отказываешься. Он хочет тебя увезти, и вот представилась возможность увезти тебя в такое место, где ты на несколько месяцев будешь ограждена от соблаз-

нов. Я не утверждаю, что Мэй-дань-фу — курорт. Этого ни про один китайский город не скажешь. Но это еще не причина для паники. Поддаться панике — самое опасное дело. Я уверен, что во время эпидемий столько же людей умирает от страха, сколько и от самой болезни.

— А мне уже сейчас страшно. Когда Уолтер об этом заговорил, я чуть в обморок не упала.

— Ну понятно, в первую минуту ты струхнула, но потом посмотришь на это трезво, и все обойдется. Такое захватывающее приключение мало кому доводится пережить.

— Я думала, я думала...

Она корчилась, как от физической боли. Он молчал, и опять на лице его появилось угрюмое выражение, которого она до последнего времени на нем никогда не видела. Теперь Китти не плакала. Она сидела спокойно, с сухими глазами, и голос ее прозвучал тихо, но твердо.

— Значит, ты хочешь, чтобы я уехала?

— Выбора-то у нас нет.

— Разве?

— Скажу честно: если бы твой муж подал в суд на развод и выиграл дело, я все равно не мог бы на тебе жениться.

Минуты, пробежавшие до ее ответа, вероятно, показались ему вечностью. Она медленно встала с места.

— Я думаю, мой муж и не собирался подавать в суд.

— Так какого же черта ты меня напугала до полусмерти?

Она смерила его спокойным взглядом.

— Он знал, что ты от меня отступишься.

И умолкла. Постепенно, как бывает, когда изучаешь иностранный язык и целая страница сперва кажется совсем непонятной, а потом ухватишься за какую-нибудь одну фразу или слово, и внезапно твой усталый мозг хотя бы приблизительно осмысливает всю страницу, — так же постепенно и приблизительно ей открывался ход мыслей Уолтера.словно темный, мрачный пейзаж озаряла молния и тут же снова поглощала тьма. И она содрогалась от того, что успевала увидеть.

— Он пустил в ход эту угрозу только потому, что знал, что ты перед ней спасуешь, Чарли. Поразительно, как безошибочно он тебя расценил. А подвергнуть меня такому жестокому разочарованию — это на него похоже.

Чарли опустил глаза на лежавший перед ним лист промокашки. Он надул губы и слегка хмурился, но не отвечал.

— Он знал, что ты трус, тщеславный, корыстный. И хотел, чтобы я сама в этом убедилась. Он знал, что стоит возникнуть опасности, и ты пустишься наутек, как заяц. Он знал, как страшно я ошибалась, воображая, что ты меня любишь, потому что знал, что ты способен любить только себя. Он знал, что ты с легкостью мною пожертвуешь, лишь бы спасти свою шкуру.

— Если тебе доставляет удовольствие поливать меня грязью, что ж, я, наверно, не вправе возражать. Женщины вообще несправедливы, и обычно им удается свалить всю вину на мужчину. Но и у другой стороны могут найтись веские доводы.

Она будто и не слышала.

— Теперь я знаю все, что он знал давно. Знаю, что ты черствый, бессердечный. Что ты эгоист до мозга костей, что храбрости у тебя, как у кролика, что ты лжец и притворщик, презренный человек. И самое ужасное, — лицо ее исказилось от боли, — самое ужасное то, что все-таки я люблю тебя без памяти.

— Китти!

Она горько усмехнулась. Он произнес ее имя тем вкрадчивым, проникновенным тоном, который давался ему так легко и значил так мало.

— Болван! — сказала она.

Он отшатнулся, ошеломленный, разобиженный до глубины души. В ее глазах светилась насмешка.

— Я тебе, кажется, стала меньше нравиться? Ну ничего, пусть так и будет. Мне теперь все равно. — И стала натягивать перчатки.

— Как же ты поступишь? — спросил он.

— А ты не бойся, тебе ничего не грозит. Ты не страдаешь.

— Ради Бога, Китти, не надо так говорить. — В его звучном голосе слышалась тревога. — Ты же знаешь, все, что касается тебя, касается меня. Я не успокоюсь, пока не буду знать, что будет дальше. Что ты скажешь мужу?

— Скажу, что согласна ехать с ним в Мэй-дань-фу.

— Если ты согласишься, он, может быть, не будет настаивать.

Почему она так странно посмотрела на него в ответ эти слова?

— И ты не боишься?

— Нет, — ответила она, — ты вселил в меня мужество. Пожить в холерном городе — это интереснейшее приключение, а если я умру, значит, так тому и быть.

— Я старался обойтись с тобой как можно мягче.

Она опять на него взглянула. Слезы выступили на глазах, сердце разрывалось. Неудержимо тянуло броситься ему на шею, выпиться губами в его губы. Ни к чему это.

— Если хочешь знать, — сказала она, стараясь, чтобы голос не дрогнул, — в сердце у меня ужас и смерть. Я не знаю, что там у Уолтера в его темной, путаной душе, но сама трясусь от страха. Может быть, смерть даже будет для меня избавлением.

Чувствуя, что самообладание ее иссякло, она быстро пошла к двери и выскользнула из комнаты, не дав ему даже времени встать с места. У Таунсенда вырвался долгий вздох облегчения. Больше всего ему сейчас хотелось выпить бренди с содовой.

27

Уолтера она застала дома. Она хотела пройти прямо к себе, но он был внизу, в прихожей, — давал распоряжения одному из боев. Она была так измучена, что с готовностью пошла на неминуемое унижение. Задержавшись около мужа, она сказала:

— Я еду с тобой.

— Вот и отлично.

— Когда мы уезжаем?

— Завтра вечером.

Его равнодушие подействовало на нее как укол копья. Она даже сама удивилась, когда сказала с вызовом:

— Наверно, достаточно будет взять с собой несколько летних платьев и саван?

По его лицу она поняла, что ее легкомысленный тон рассердил его.

— Я уже сказал твоей горничной что отобрать.

Она кивнула и поднялась к себе в спальню. В лице ее не было ни кровинки.

28

Наконец-то они приближались к месту своего назначения. Уже сколько времени, день за днем, их несли в

паланкинах по узкой грунтовой дороге между нескончаемых рисовых полей. Они выступали с рассветом и двигались до тех пор, пока дневная жара не загоняла их в какую-нибудь придорожную харчевню, а потом снова в путь — до того города, где намечено было остановиться на ночлег. Возглавлял шествие паланкин Китти, за ней следовал Уолтер; последними шли кули, сгибаясь под тяжестью постелей, съестных припасов и прочей клади. Китти ничего не видела вокруг. В долгие часы, когда молчание лишь изредка нарушал возглас носильщика или обрывок несуразной песни, она мучительно перебирала в памяти все подробности душераздирающей сцены в служебном кабинете у Чарли. Вспоминая, что он сказал ей и что она сказала ему, она ужасалась, до чего же прозаический и деловой получился их разговор. Она не сказала того, что хотела сказать, говорила не тем тоном, каким собиралась. Если бы она сумела объяснить ему, как безгранично, как страстно она его любит, он не показал бы себя таким бесчеловечным, не бросил бы ее на произвол судьбы. Она просто не успела опомниться. Не поверила своим ушам, когда он дал ей понять — без слов, но до ужаса ясно, — что она для него ничто. Потому она и плакала тогда так мало — слишком была ошарашена. Потом-то наплакалась.

По ночам в харчевнях, где им с мужем отводили лучшую комнату, лежа без сна и зная, что Уолтер на своей походной койке в нескольких футах от нее тоже не спит, она кусала подушку, чтобы он не услышал ни звука. Но днем, за шторками паланкина, давала себе волю. Боль ее была так сильна, что в пору кричать на крик; она и не знала, что бывает такое жгучее страдание, и в отчаянии спрашивала себя, чем она его заслужила. Почему, почему Чарли ее не любит? Наверно, она сама виновата, но ведь она сделала все, чтобы удержать его любовь. Им всегда так хорошо бывало вместе, они все время смеялись, были не только любовниками, но и добрыми друзьями. Нет, она отказывалась понять и чувствовала, что сломлена. Она твердила себе, что ненавидит его, презирает, но как жить дальше, если она никогда больше его не увидит? Если Уолтер везет ее в Мэй-дань-фу в наказание, это глупо с его стороны: не все ли ей теперь едино, что с ней станется? Жить больше незачем. Тяжело это — покончить счеты с жизнью в двадцать семь лет.

На пароходе, увозившем их вверх по Западной реке, Уолтер не отрываясь читал, но за столом пытался как-то поддерживать разговор. Говорил он с ней, как со случайной попутницей, о всяких пустяках — из вежливости, думала Китти, или чтобы еще подчеркнуть разделявшую их пропасть.

В минуту прозрения она сказала Чарли, что Уолтер пригрозил разводом в случае, если она с ним не поедет в зараженный город, чтобы она сама могла убедиться, какой он, Чарли, бездушный эгоист и трус. Да, так оно и было, такой маневр отлично вязался с его издевательским юмором. Он в точности знал, что случится, еще до того, как она вернулась домой, и дал ее горничной нужные распоряжения. В его глазах она прочла презрение, словно относившееся и к ней, и к ее любовнику. Возможно, он говорил себе, что, будь он на месте Таунсенда, ничто не помешало бы ему пойти ради нее на любые жертвы. И это тоже была правда. Но после того, как она прозрела, как мог он заставить ее подвергнуть себя такой опасности, да еще зная, как это ее страшит? Сначала она думала, что он шутит, — до самого отъезда, нет, дольше, до того, как они сошли на берег и двинулись дальше в паланкинах, все ждала, что он скажет, со своим сдержанным смешком, что она, если хочет, может вернуться. Что у него на уме — ей не понять. Не может же он в самом деле желать ее смерти, ведь он так любил ее. Она теперь знает, что такое любовь, тысячу раз он доказывал, как сильно ее любит. Каждое ее слово было для него закон. Не может быть, чтобы он ее разлюбил. Неужели можно разлюбить, если с тобой обошлись жестоко? Она не ранила его так больно, как Чарли ранил ее, а ведь она, несмотря ни на что, по первому знаку Чарли, хоть теперь она его знает, махнула бы рукой на все блага мира и кинулась ему на грудь. Пусть он принес ее в жертву, пусть он бездушный эгоист, но она его любит.

Сперва она думала, что нужно только подождать, рано или поздно Уолтер простит ее. Она была слишком уверена в своей власти над ним, не могла допустить и мысли, что этой власти пришел конец. «Большие воды не могут потушить любви...»¹ Раз он любил ее, значит, был слабый, а

¹ Библия. «Песнь песней Соломона», 8:7.

потому и разлюбить ее не должен. Но теперь ее уверенность поколебалась. Вечерами, когда он читал, сидя на жестком стуле, и свет лампы «молния» падал на его лицо, она могла без помехи его разглядывать. Она лежала в тени, на тюфяке, где ей должны были постелить постель. Лицо его с правильными прямыми чертами казалось очень строгим.

Кто бы поверил, что порой его озаряет такая ласковая улыбка. Он читал спокойно, точно был от нее за тысячу миль; она видела, как он переворачивает страницы, как переводит глаза со строчки на строчку. О ней он не думал. А когда стол накрывали и появлялся обед, он откладывал книгу и коротко взглядывал на нее (забыв, что лицо его на свету, он не старался смягчить его выражение), и она с испугом читала в его глазах физическую гадливость. Это пугало ее. Неужели от его любви ничего не осталось? Неужели он действительно задумал ее погубить? Да нет же, это был бы поступок сумасшедшего. И легкая дрожь пробирала ее при мысли, что Уолтер, может быть, не вполне нормален.

30

Ее носильщики, долго шагавшие молча, вдруг заговорили, и один из них попытался жестом и непонятными словами привлечь ее внимание. Она посмотрела в ту сторону, куда он указывал, и там, на вершине холма, увидела ворота. Она уже знала, что ворота воздвигнуты в память какого-нибудь знаменитого ученого или добродетельной вдовы, — с тех пор как они сошли на берег, она уже видела много таких сооружений; но эти ворота, черные на фоне заходящего солнца, показались ей особенно причудливыми и прекрасными. А между тем зрелище это почему-то ее встревожило: в нем таился какой-то смысл — она смутно чувствовала это, но не могла бы выразить словами. Что это, угроза, насмешка? Они вступили в бамбуковую рощу, и стволы склонялись над дорогой, словно хотели задержать паланкин; и хотя в этот вечер не было ни ветерка, узкие зеленые листья чуть подрагивали. Создавалось впечатление, будто меж стволов кто-то прячется и следит за ней. Они подошли к подошве холма, рисовые поля кончились. Носильщики бодрым шагом стали подниматься в гору. Весь склон покрывали зеленые холмики, теснившиеся близко-близко друг к

другу, так что поверхность получалась рубчатая, как песчаный пляж во время отлива. И это тоже было знакомо: в точности такое место встречалось им на подходе к каждому густонаселенному городу. Кладбище! Теперь стало ясно, почему носильщик обратил ее внимание на ворота, венчающие холм: конец пути был уже близок.

Они прошли под воротами, и носильщики остановились, чтобы переложить палки от паланкина с плеча на плечо.

Один из них вытер потное лицо грязной тряпкой. Дорога пошла под гору. По обеим сторонам лепились грязные домишки. Уже темнело. И вдруг носильщики взволнованно залопотали и одним прыжком, резко встряхнув паланкин, прижались к стене. Китти тут же поняла, чего они испугались: пока они стояли, громко переговариваясь, навстречу быстро и молча прошло четверо крестьян, несущих гроб, новый, некрашенный, в сумерках он казался совсем белым. Сердце у Китти заколотилось от страха, гроб проплыл мимо, а носильщики все стояли как вкопанные, словно не могли заставить себя сдвинуться с места. Но вот сзади раздался окрик, и они тронулись. Теперь они шли молча.

Еще через несколько минут они круто свернули в ограду. Паланкин опустили на землю. Долгая дорога осталась позади.

31

Дом был одноэтажный, с верандами. Сразу с порога Китти оказалась в гостиной. Она села и стала смотреть, как кули один за другим вносят в дом тяжелую кладь. Уолтер во дворе распоряжался, что куда нести. Она очень устала и даже вздрогнула, услышав незнакомый голос:

— Можно войти?

Ее познабливало. В таком нервном состоянии ей вовсе не улыбалось с кем-то знакомиться. Какой-то человек выступил из темноты — длинная узкая комната была освещена всего одной лампой — и протянул ей руку.

— Уоддингтон. Я помощник полицейского комиссара.

— А-а, знаю, таможня. Мне говорили, что вы здесь.

В полумраке она разглядела только, что он худой и маленький, не выше ее ростом, с лысой головой и бритым лицом.

— Я живу внизу, в начале подъема, но вы мимо моего дома не ехали. Я подумал, вы, наверно, совсем выдохлись, пойти ко мне обедать не захотите, потому и заказал для вас обед здесь и сам назвался к вам в гости.

— Очень приятно слышать.

— Повар неплох, вот увидите. Я всех слуг Уотсона для вас тут оставил.

— Уотсон — это тот миссионер, который здесь жил?

— Да. Отличный был малый. Завтра я, если хотите, покажу вам его могилу.

— Вы очень любезны, — улыбнулась Китти.

Тут вошел Уолтер. Уоддингтон представился ему еще во дворе, а теперь сказал:

— Я тут предупредил вашу супругу, что буду у вас обедать. С тех пор как умер Уотсон, мне и поговорить-то не с кем, разве что с монахинями, но я во французском не силен, к тому же и говорить с ними можно далеко не обо всем.

— Сейчас бой принесет напитки, — сказал Уолтер.

Слуга принес виски и содовой, и Китти заметила, что Уоддингтон налил себе изрядную порцию. Еще когда он только вошел, она по его манере говорить и частым смешкам заподозрила, что он не совсем трезв.

— Ваше здоровье, — сказал он, а потом обратился к Уолтеру: — Работы вам здесь хватит. Люди мрут как мухи. Городской голова уже ничего не соображает, а полковник Ю, он командует гарнизоном, все силы тратит на то, чтобы не дать своим солдатам пуститься в мародерство. Если в самом скором времени что-нибудь не изменится, нас всех убьют в постели. Я пытался уговорить монахинь, чтоб уезжали отсюда, но они, конечно, ни в какую. Все как одна желают заработать мученический венец, чтоб им пусто было.

Говорил он легким, поверхностным тоном, и в голосе слышался призрак смеха, так что, слушая его, трудно было удержаться от улыбки.

— А вы почему не уехали? — спросил Уолтер.

— Да как вам сказать, половину моих подчиненных я потерял, и остальные вот-вот лягут и умрут. Кто-то должен же остаться и поддерживать хотя бы видимость порядка.

— Прививку сделали?

— Да. Еще Уотсон заставил. Он и себе сделал прививку, но ему, бедняге, это не очень-то помогло. — Он повернулся к Китти, его забавная рожица весело сморщилась. — Большого риска, по-моему, нет, надо только соблюдать осторожность. Молоко и воду обязательно кипятить, не есть сырых фруктов и овощей. Вы граммофонных пластинок не привезли?

— Кажется, нет, — сказала Китти.

— Вот это жаль. Я-то надеялся. Давненько я не покупал пластинок, а свои старые слушать больше не могу.

Вошел бой узнать, можно ли подавать обед.

— Вы ведь нынче не будете переодеваться? — спросил Уоддингтон. — У меня бой на прошлой неделе умер, а новый — олух, так что я перестал переодеваться к обеду.

— Пойду сниму шляпу, — сказала Китти.

Ее комната была рядом с той, где они сидели. На полу, поставив рядом с собой лампу, сидела служанка и распаковывала ее пожитки.

32

Столовая была маленькая, почти всю ее занимал огромный стол. На стенах висели гравюры на библейские темы и иллюминированные тексты.

— У миссионеров всегда большие столы, — объяснил Уоддингтон. — Им на каждого ребенка полагается прибавка к жалованью, а столы они покупают, когда женятся, чтобы было где усадить весь выводок.

С потолка свисала большая керосиновая лампа, так что Китти могла теперь получше рассмотреть Уоддингтона. Оттого, что он был лысый, она было подумала, что он уже немолод, но теперь увидела, что ему, конечно, нет и сорока. Лицо под высоким выпуклым лбом было свежее и без морщин, безобразное, как у обезьянки, но не отталкивающее; очень занятое лицо. Нос и рот маленькие, как у ребенка, и небольшие ярко-голубые глаза. Похож на смешного старенького мальчика. Он не скупясь подливал себе вина — и к концу обеда был порядком пьян. Но пьянел он безобидно, весело, точно сатир, стащивший бурдюк у вздремнувшего пастуха.

Он болтал о Гонконге, где у него было много знакомых, расспрашивал о них. В прошлом году он побывал там на скачках и теперь вспоминал лошадей и их владельцев.

— Кстати, а как там Таунсенд? — спросил он вдруг. — Займет он пост губернатора?

Китти почувствовала, что краснеет, но муж не смотрел на нее. Он ответил:

— Очень возможно.

— Да, он из таких.

— Вы с ним знакомы? — спросил Уолтер.

— А как же. Один раз вместе плыли из Англии.

Из-за реки слышались удары гонга и треск хлопушек. Там, совсем близко от них, корчился в страхе город; и смерть, внезапная и безжалостная, металась по извилистым улицам. А Уолдингтон заговорил о Лондоне, о театрах. Он был в курсе всего, что шло на лондонских сценах, рассказал, какие спектакли видел сам, когда в последний раз приезжал в Англию в отпуск. Он смеялся, вспоминая шутки низкопробного комика, вздыхал, восторгаясь красотой опереточной дивы. С явным удовольствием похвастался, что на одной из самых среди них знаменитых женился его родственник, он однажды завтракал у них, и она подарила ему свою фотографию — непременно покажет, когда они будут обедать у него в управлении.

Уолтер поглядывал на гостя с холодной насмешкой, но гость, очевидно, забавлял его, и он старался проявить интерес к вещам, в которых, как знала Китти, ничего не смыслил. А Китти, сама не зная почему, снова поддалась страху. В доме умершего миссионера, так близко от зараженного города, они словно были отрезаны от всего мира. Три одиноких человека, чужие друг другу.

Обед кончился, она встала.

— Вы не обидитесь, если я пожелаю вам спокойной ночи? Я иду спать.

— А я откланяюсь, — ответил Уолдингтон. — Доктор, наверно, тоже валится с ног. Завтра нам надо выйти пораньше.

Он пожал Китти руку. На ногах он держался твердо, а глаза блестели ярче прежнего.

— Я за вами зайду, — сказал он Уолтеру. — Поведу вас знакомиться с городским головой и с полковником Ю, а потом в монастырь. Да, работы вам здесь хватит.

33

В ту ночь ее мучили странные сны. Словно ее несут в паланкине, и чувствуется, как его покачивает, потому что

носились и идут размашистым, неровным шагом. Они входили в города, большие и сумрачные, и к ним сбегались толпы любопытных. Улицы были узкие, кривые, а в открытых лавках, полных экзотических товаров, с их появлением прекращалась торговля — и продавцы, и покупатели замирали на месте. Потом они приблизились к мемориальным воротам, и причудливые их очертания внезапно ожили, стали похожи на машущие руки индусского бога, а сверху раздавались отзвуки язвительного смеха. Но тут появился Чарли Таунсенд, обнял ее, поднял с сиденья и сказал, что все это было ошибкой, он совсем не хотел обойтись с ней так дурно, ведь он ее любит и не может без нее жить. Она чувствовала на губах его поцелуи и, плача от счастья, спрашивала, почему же он поступил так жестоко, но, спрашивая, уже знала, что это не имеет значения. А потом раздался хриплый возглас, их разлучили, и между ними торопливо и молча прошли кули в синих лохмотьях — они несли гроб. Она проснулась от страха.

Их дом стоял на склоне крутого холма, из окна ей была видна узкая река глубоко внизу, а за рекой — город. Только что рассвело, от реки поднимался белый туман, окутавший джонки, причаленные тесно одна к другой, как горошины в стручке. Сотни джонок, беззвучных и загадочных в призрачном свете, словно обитатели их во власти колдовских чар, словно не просто сон, а некто странный и грозный обрек их на эту неподвижность и безмолвие.

Утро разгоралось, и солнце коснулось тумана, так что он засветился белым, как призрак снега на угасающей звезде. На реке уже было светло, стали видны несчетные джонки и густой лес их мачт, но выше, впереди, поднималась непроницаемая светящаяся стена. И вдруг из этого белого облака выступила высокая, массивная, мрачная крепость. Казалось, ее не просто открыло взору всепроникающее солнце — скорее, она возникла из пустоты, по мановению волшебной палочки. Она повисла над рекой, как твердыня жесткого владыки варварского племени. Но волшебник, строивший ее, работал быстро, и вот уже с одной стороны ее увенчала зубчатая стена; а еще через минуту из тумана проглянуло, все в пятнах солнечных бликов, скопище зеленых и желтых крыш. Они казались громадными, не складывались в общий рисунок. Если и образовали узор, то неуловимый для глаза, капризный и замысловатый, но

невообразимо прекрасный. То была уже не крепость и не храм, но волшебные чертоги некоего владыки богов, недоступные для смертных. Таким воздушным, сказочным, невещественным не могло быть творение рук человеческих; его породила мечта, сновиденье.

По лицу Китти бежали слезы, а она все смотрела не отрываясь, прижав к груди руки, приоткрыв рот, едва дыша. Никогда еще она не испытывала такой душевной легкости, ей казалось, что тело ее, как сброшенная оболочка, лежит у ее ног, а сама она обратилась в чистейший дух. Перед ней была Красота, и Китти впивала ее, как верующий вкушает облатку, которая есть тело Христово.

34

Уолтер уходил рано утром, позавтракать забегал только на полчаса, а потом возвращался уже вечером, к обеду, так что Китти много бывала одна. Несколько дней она вообще не выходила из дому. Было очень жарко, и большую часть дня она проводила в шезлонге у открытого окна, пытаясь читать. Резкий дневной свет лишил волшебный дворец всякой таинственности, теперь это был просто храм, построенный на городской стене, кричаще яркий и облупленный, но оттого, что однажды она увидела его в таком неземном сиянии, он уже никогда не казался ей совсем обыденным, и нередко на заре или в сумерках, а порой и ночью ей удавалось снова уловить отблеск той красоты. То, что она приняла за неприступную крепость, было всего лишь городской стеной, и эта стена, массивная и темная, снова и снова притягивала ее взгляд. Там, за ее зубцами, лежал город, сжавшись от страха перед смертоносной эпидемией.

Кое-что об ужасах, творившихся там, она знала — не от Уолтера, тот отвечал на ее расспросы (сам он редко с ней заговаривал) с небрежной усмешкой, от которой ее бросало в дрожь, а от Уоддингтона и от своей служанки. Каждый день умирало около ста человек, почти никто из заболевших не выздоравливал; изображения богов вынесли из покинутых храмов и поставили на улицах; им приносили жертвы, но болезнь не внимала молитвам. Люди умирали так быстро, что их едва успевали хоронить. В некоторых домах вымирали целые семьи, и некому было совершать

погребальные обряды. Начальник гарнизона был человек решительный и властный, и только благодаря ему город уберегся от грабежей и пожаров. Он заставлял солдат хоронить тех, у кого не осталось родственников, и своими руками застрелил офицера, не решавшегося войти в зараженный дом.

Китти бывало так страшно, что сердце заходило и ее трясло как в лихорадке. Пусть кто угодно уверяет, что риск невелик, если соблюдать осторожность, — она была в панике. В голове у нее рождались безумные планы бегства. Чтобы вырваться отсюда, она была готова бросить все и одна, в чем была, добираться до какого-нибудь безопасного места. Подумывала о том, чтобы отдаться на милость Уоддингтону, все ему рассказать и умолять помочь ей вернуться в Гонконг. Или броситься в ноги мужу, сказать, как ей страшно, — хоть он теперь ненавидит ее, он же все-таки человек, он должен над ней сжалиться.

Но нет, и думать нечего. Если даже она вырвется отсюда, куда ей себя девать? Не ехать же к матери — та не скроет, что, выдав ее замуж, считает себя свободной от дальнейших обязательств; да ей и не хочется ехать к матери. Ей хочется только к Чарли, а ему она не нужна. Ей известно, что он скажет, если она вдруг перед ним появится. Она не забыла его угрюмое лицо и холодный расчет за прелестной улыбкой. Нелегко ему будет найти для нее приемлемые слова. Она стискивала руки. Чего бы она не дала, чтобы унижить его так, как он ее унижил! Порой ее охватывала такая ярость, что она жалела, что не дала Уолтеру подать на развод — ну и погибла бы, но и его бы тоже погубила. Вспоминая некоторые его фразы, она от стыда краснела до корней волос.

В первый же раз, как они с Уоддингтоном остались одни, она навела разговор на Чарли. Уоддингтон упоминал о нем в вечер их приезда. Она притворилась, будто он просто знакомый ее мужа.

— Я о нем невысокого мнения, — сказал Уоддингтон, — мне он всегда казался ужасно скучным.

— На вас, наверно, трудно угодить, — возразила она тем светским шутливым тоном, который так легко ей давался. — Он ведь, кажется, самый популярный человек в Гонконге.

— Знаю. Это его козырь. Он возвел популярность в искусство. Умеет кому угодно внушить, что он для него самый нужный человек. Всегда готов оказать услугу, если ему это ничего не стоит, и, даже если не сделает того, о чем вы его просили, умудряется создать впечатление, что ваша просьба вообще невыполнима.

— А ведь это привлекательная черта.

— По-моему, обаяние как таковое в конце концов приедается. Хочется для разнообразия обратиться к человеку пусть не столь обходительному, но более искреннему. Чарли Таунсенда я знаю уже много лет и несколько раз видел его без маски — понимаете, я для него никто, какой-то таможенный чиновник, при мне нечего стесняться, — и я уверен, что ему наплевать на всех, кроме самого себя.

Китти сидела в непринужденной позе в своем кресле, смотрела на него улыбающимися глазами и вертела на пальце обручальное кольцо, а он продолжал:

— Разумеется, он далеко пойдет. Знает все ходы и выходы. Не сомневаюсь, что мне еще доведется величать его «ваше превосходительство» и вставать, когда он входит в комнату.

— Все считают, что это заслуженный успех, что у него выдающиеся способности.

— Способности? Какая чушь! Он очень недалекий человек. Впечатление такое, что со своей работой он справляется блестяще, шутя и играя. Ничего подобного. Он трудяга, старателен, как счетовод-евразиец.

— Почему же его считают таким талантливым?

— Дураков на свете много, и когда человек, занимающий довольно-таки высокий пост, не задается, хлопает их по плечу и клянется, что сделает для них все на свете, им недолго и наделить его всеми талантами. Ну и потом, конечно, жена. Вот это действительно умница. Голова у нее работает, к ее совету всегда стоит прислушаться. Пока у Чарли Таунсенда есть такая опора в жизни, он может не бояться, что сядет в лужу, а, чтобы продвинуться на правительственной службе, это главное. Способные люди там не нужны: у способных появляются идеи, а это чревато лишними хлопотами. Там нужны люди обаятельные, тактичные, за которых не страшно, что они попадут впросак. О да, Чарли Таунсенду обеспечено будущее.

— Интересно, почему вы его не любите?

— Кто сказал, что я его не люблю?

— Но его жена вам нравится больше? — улыбнулась Китти.

— Я человек старого закала, люблю, когда женщина хорошо воспитана.

— Если бы вдобавок она хорошо одевалась...

— А она разве плохо одевается? Я не заметил.

— Я слышала, они отличная пара, — сказала Китти, наблюдая за ним сквозь ресницы.

— Он к ней очень привязан. Тут нужно отдать ему должное. Пожалуй, это самое ценное, что в нем есть.

— Маловато для похвального отзыва.

— Бывают у него интрижки на стороне, но это несерьезно. У него хватает ума не доводить их до такого этапа, когда это уже грозит ему неудобствами. И как мужчина он, конечно, неспособен на сильные чувства, он только тщеславен. Любит, чтобы им восхищались. Сейчас-то он немного раздобрел, слишком себя ублажает, а когда только приехал в колонию, был очень красив. Жена подтрунивает над его победами, я сам слышал.

— Она не принимает его интрижки близко к сердцу?

— О нет, она знает, что слишком далеко он не зайдет. Она говорит, что охотно дружила бы с теми бедняжками, которые пленяются Чарли, но очень уж они все неинтересные. По ее словам, для нее не бог весть как лестно, что ее мужем увлекаются сплошь посредственности.

35

Когда Уоддингтон ушел, Китти обдумала все, что он так неосторожно выболтал. Слушать это было не очень приятно, ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы не показать, как близко это ее касается. Горько было думать, что все сказанное им — чистая правда. Она знала, что Чарли недалек и тщеславен, что он жаден до лести, она вспомнила, как самодовольно он рассказывал всякие случаи, долженствующие доказать, какой он умный и ловкий. Он гордится своей низкопробной хитростью. Какое же она ничтожество, если могла полюбить человека за... за то, что у него красивые глаза и хорошая фигура! Ей хотелось ощутить к нему презрение, потому что пока она его только ненавидела, она еще была слишком близка к любви и знала это. После того

как он с ней обошелся, у нее должны были открыться глаза. Уолтер, тот всегда отзывался о нем презрительно. Ах, если б можно было выбросить его из головы! Значит, жена над ним подтрунивала, видя, что она, Китти, им увлечена? Дороти рада была бы с ней подружиться, но сочла ее слишком неинтересной? Китти невольно улыбнулась: как вознегодовала бы ее мать, узнав, что ее дочь считают посредственностью!

А ночью он опять ей снился. Она чувствовала его руки, крепко обнявшие ее, страстность его поцелуев. Что из того, что он немного раздобрел? Она ласково смеялась над его огорчениями, любила еще сильнее за его ребяческое тщеславие, рвалась пожалеть и утешить. Когда она проснулась, лицо ее было мокро от слез.

Она сама не знала, почему плакать во сне показалось ей такой трагедией.

36

С Уоддингтоном она виделась каждый день — покончив с работой, он всегда поднимался к их дому, и за какую-нибудь неделю они сблизились так, как при других обстоятельствах не сблизились бы и за год. Однажды, когда Китти сказала, что не знает, что бы она без него делала, он ответил смеясь:

— Понимаете, только мы с вами и ходим спокойно и мирно по твердой земле. Монахини витают в раю, а ваш муж бродит во мраке.

Она отделалась легким смешком, однако задумалась над его словами. Она уже не раз замечала, что его веселые голубые глазки вглядываются в нее — дружелюбно, но очень уж внимательно. Она уже поняла, что он прозорлив, и ей казалось, что к ее отношениям с Уолтером он проявляет нездоровое любопытство. Морочить его было забавно. Он ей нравился, она знала, что и он относится к ней дружески. Он не блистал особенным остроумием, но умел выразить свою мысль язвительно и ехидно, так что слушать его было не скучно; а порой, когда его мальчишья рожица под лысым черепом кривилась веселой гримасой, слова его звучали просто уморительно. Он много лет провел на разных аванпостах империи, где часто бывал единственным европейцем, и никакие посторонние воздействия не влияли на

свободное развитие его характера. Откровенность его была неотразима. Жизнь он словно бы не принимал всерьез, гонконгскую колонию высмеивал едко, но смеялся и над китайскими чиновниками в Мэй-дань-фу, и над холерой, опустошавшей город. Всякий рассказ о какой-нибудь трагедии или о подвиге в его устах звучал иронично. За двадцать лет, прожитых в Китае, у него накопилось множество анекдотов, из которых можно было заключить, что земной шар — весьма неудобное, фантастическое и смехотворное местожительство.

Он отрицал, что разбирается в китаистике (уверял, что все синологи — сумасшедшие), однако говорил по-китайски вполне свободно. Читал он мало, то, что знал, почерпнул из разговоров. Но он часто пересказывал Китти страницы из китайских романов или книг по истории Китая, и, хотя рассказы его сопровождались обычными для него шуточками, он вкладывал в них сочувствие и даже нежность. Ей казалось, что он, может быть бессознательно, проникся представлением китайцев, будто европейцы — варвары, а их жизнь — сплошное безумие; только в Китае жизнь устроена так, что разумный человек может усмотреть в ней что-то реальное. Тут было о чем подумать: до сих пор Китти слышала только, что китайцы — народ вырождающийся, грязный, отвратительный. Словно приподнялся на минутку уголок занавеса, и ей открылся мир, полный красок и значения, какой ей и во сне не снился.

А Уоддингтон все болтал, смеялся и пил.

— Вам не кажется, что вы слишком много пьете? — спросила Китти без обиняков.

— Это моя лучшая улада в жизни, — ответил он. — И от холеры предохраняет.

Уходил он от нее обычно пьяный. Во хмелю бывал весел, но не противен.

Как-то вечером Уолтер, вернувшись домой раньше обычного, предложил ему остаться у них пообедать. И тут произошел странный случай. Они съели суп, рыбу, а потом были цыплята, и бой подал Китти салат из свежей зелени.

— Боже правый, вы что, хотите это есть? — вскричал Уоддингтон, увидев, что Китти накладывает себе салат.

— Да, мы его каждый вечер едим.

— Моя жена его любит, — добавил Уолтер.

Салат поднесли Уоддингтону, но тот покачал головой.

— Благодарю, я пока еще не собираюсь кончать жизнь самоубийством.

Уолтер с угрюмой улыбкой последовал примеру Китти. Уоддингтон больше ничего не сказал, сразу помрачнел и вскоре после обеда откланялся.

А они и правда ели салат каждый вечер. На третий день после их приезда повар, фаталист, как все китайцы, приготовил его, и Китти, не подумав, взяла себе порцию. Уолтер быстро подался вперед.

— Не ешь салат. Зря бой его подал.

— Почему? — спросила Китти, глядя ему прямо в лицо.

— Это вообще опасно, а сейчас это безумие. Ты убьешь себя.

— А мне казалось, что так и было задумано, — сказала Китти.

Она преспокойно стала есть. Какая-то бесшабашная удаля овладела ею. Она с насмешкой поглядела на Уолтера. Он как будто побледнел, но, когда ему подали салат, тоже не отказался. Повар, убедившись, что блюдо понравилось, стал готовить его день за днем, и день за днем, с риском для жизни, они его ели. У Китти, панически боявшейся заразы, было такое чувство, словно она не только мстит Уолтеру, но и глумится над собственными страхами.

37

На следующий день Уоддингтон явился не поздно, посидел немного, а потом предложил Китти пойти погулять. Она с самого приезда не выходила за пределы участка и с радостью согласилась.

— Прогулок здесь, правда, мало, — сказал он, — но мы с вами поднимемся на вершину холма.

— Да-да, туда, где ворота. Я часто смотрю на них с веранды.

Один из боев отворил тяжелую калитку, и они вышли на пыльную улочку. Не прошли они и нескольких шагов, как Китти вцепилась Уоддингтону в рукав и вскрикнула:

— Ой, гляньте!

— В чем дело?

У стены, окружавшей участок, лежал на спине человек, ноги его были вытянуты, руки закинута за голову, судя по

спутанной шевелюре и синим лохмотьям, это был нищий-китаец.

— Лежит как мертвый, — прошептала Китти.

— Он и есть мертвый. Пошли, вы лучше не смотрите в ту сторону. Когда мы вернемся, я распоряжусь, чтобы его убрали.

Но Китти так дрожала, что не могла сдвинуться с места.

— Я еще никогда не видела мертвеца.

— Значит, пора привыкать. В этом веселеньком местечке вы еще наглядитесь на них вволю.

Он взял ее руку и продел себе под локоть. Несколько минут они шли молча.

— Он умер от холеры?

— Скорее всего.

Они поднялись в гору к самым воротам. Ворота, покрытые замысловатой резьбой, высились над окружающей местностью как ориентир и иронический символ. Они сели у подножия одного из столбов, лицом к широкой равнине. Склон густо усеяли зеленые холмики мертвых, расположенные не рядами, а как попало, так что казалось, что под землей им неудобно и тесно. Узкая дорога вилась среди рисовых полей, исчезала вдаль. Маленький мальчик проехал домой, усевшись на шее у буйвола, три крестьянина в широкополых соломенных шляпах протрусили мимо, сгибаясь под тяжестью огромных тюков. После дневной жары лицо здесь приятно ласкал ветерок, и необозримый простор вливал в измученное сердце покой и грусть. Но Китти не могла забыть про мертвого нищего.

— Как вы можете болтать, смеяться и пить виски, когда вокруг вас все время умирают люди? — спросила она неожиданно.

Уоддингтон не ответил. Он повернулся, поглядел на нее и, положив руку ей на плечо, сказал очень серьезно:

— А знаете, здесь не место для белой женщины.

Она искоса взглянула на него из-под длинных ресниц, и на губах у нее мелькнула тень улыбки.

— Я бы сказала, что в таких условиях место жены — рядом с мужем.

— Когда я получил телеграмму, что Фейн едет с женой, я удивился. А потом подумал, что вы, может быть, работали медицинской сестрой и это для вас обычное дело. Я ожидал, что вы окажетесь одной из тех мегер, что тиранят вас,

стоит только угодить в больницу. Я просто глазам не поверил, когда вошел в ваш дом и вижу — вы там сидите и отдыхаете, такая хрупкая, бледная, усталая.

— Вряд ли я могла выглядеть здоровой и бодрой после девяти дней в дороге.

— У вас и сейчас вид хрупкий, бледный, усталый и, уж не посетуйте на меня, бесконечно несчастный.

Китти вспыхнула, но заставила себя рассмеяться.

— Мне очень жаль, что выражение моего лица вам не нравится. А вид у меня может быть несчастный только потому, что мне с двенадцати лет внушали, что у меня слишком длинный нос. Но лелеять тайное горе — это очень выигрышная поза, вы представить себе не можете, сколько очаровательных молодых людей пытались меня утешить.

Ярко-голубые глаза Уоддингтона были обращены на нее, и она поняла, что он не поверил ни единому ее слову. Ну и пусть, лишь бы делал вид, что верит.

— Я знал, что вы замужем еще не так давно, и решил, что вы с мужем безумно влюблены друг в друга. Что он звал вас с собой — в это я не мог поверить, но, может быть, вы сами наотрез отказались отпустить его без себя.

— Это очень правдоподобная версия, — уронила она.

— Да, но неправильная.

Она ждала продолжения, опасаясь того, что еще он может сказать — в его прозорливости она уже убедилась, знала, что высказывать свои мнения он не стесняется, — но сильно было и желание, чтобы он говорил о ней.

— Я не допускаю и мысли, что вы любите мужа. По-моему, он вам антипатичен. Очень возможно, что вы его ненавидите. В чем я уверен, так это что вы его боитесь.

Она отвернулась. Не собирается она показать Уоддингтону, что его слова могут больно задеть ее.

— Сдается мне, что мой муж вам не очень нравится, — связвила она.

— Я его уважаю. Он умен и с характером, а это, поверьте, весьма необычное сочетание. Чем он здесь занят, вы, вероятно, не знаете, ведь он, как я подозреваю, не склонен посвящать вас в свои дела. Если возможно, чтобы один человек положил конец этой злосчастной эпидемии, он это сделает. Он лечит больных, наводит в городе чистоту, пытается обеззараживать питьевую воду. По двадцать раз в день рискует жизнью. Полковника Ю он так прибрал к

рукам, что тот предоставил ему солдат в полное распоряжение. Он даже городского голову взбодрил, и старик пытается кое-что предпринимать. А монахини в нем души не чают, для них он герой.

— А для вас нет?

— Строго говоря, ведь это не его работа. Он бактериолог. Никто не заставлял его сюда ехать. И не кажется мне, что им движет сострадание ко всем этим умирающим китайцам. Уотсон был не такой. Тот любил людей. Хоть он и был миссионером, для него и христиане, и буддисты, и конфуцианцы были просто люди. Ваш муж не потому здесь находится, что его беспокоит, как это сто тысяч китайцев умрут от холеры, и не потому, что хотел послужить науке. Почему он здесь?

— Вы его спросите.

— Мне интересно видеть вас вместе. Иногда я гадаю, как вы ведете себя наедине. При мне вы играете комедию, и очень плохо играете, черт подери. Если это лучшее, на что вы способны, ни вам, ни ему и тридцати шиллингов в неделю не положат в гастрольной поездке.

— Не пойму, о чем вы, — улыбнулась Китти, хотя уже знала, что ее показная фривольность его не обманывает.

— Вы красивая женщина. Странно, что муж никогда на вас не смотрит. Когда он к вам обращается, у него и голос становится чужой.

— Вы думаете, он меня не любит? — спросила она тихо и хрипло, вдруг отбросив легкомысленный тон.

— Не знаю. То ли вы ему так противны, что он не может к вам подойти без содрогания, то ли он сохнет от любви, которую по каким-то причинам считает нужным скрывать. Я уж спрашивал себя, не в порядке ли самоубийства вы оба сюда приехали.

Китти еще во время эпизода с салатом заметила, как удивился Уоддингтон и как испытующе потом оглядел их.

— По-моему, вы придаете слишком большое значение нескольким листикам латука, — пошутила она и тут же встала. — Пошли домой? Вы наверняка соскучились по стаканчику виски с содовой.

— Вы-то, во всяком случае, не героиня. Вы напуганы до смерти. Вы уверены, что не хотите отсюда уехать?

— А вам какое дело?

— Я бы вам помог.

— Неужели выражение тайного горя, написанное на моем лице, и вас покорило? Взгляните на мой профиль, нос-то длинноват.

Он задумчиво поглядел на нее, и в его ярких глазах светилась лукавая насмешка, но рядом с ней, как тень, как отражение дерева в реке, у которой оно растет, была удивительная доброта. У Китти даже слезы на глаза навернулись.

— Вы не можете уехать?

— Не могу.

Они прошли под раскрашенными воротами и спустились с холма. Подходя к дому, опять увидели труп нищего. Уоддингтон взял ее под руку, но она высвободилась. Остановилась.

— Ужасно, правда?

— Что именно? Смерть?

— Да, все остальное кажется таким мелким, пошлым. Он и на человека не похож. Смотришь на него, и не верится, что когда-то был живой. А ведь еще не так давно он мальчонкой носился по холмам, запуская змея.

Она едва удержалась, чтобы не разрыдаться.

38

Несколько дней спустя Уоддингтон, сидя у Китти и потягивая из большого стакана виски с содовой, завел речь о монастыре.

— Тамошняя аббатиса — весьма примечательная женщина, — сказал он. — Сестры мне рассказывали, что она принадлежит к одному из знатнейших семейств Франции, но к какому — не говорят. Она, видите ли, не хочет, чтобы это стало известно.

— Что же вы ее не спросите, если это вас интересует? — улыбнулась Китти.

— Знали бы вы ее, вы бы поняли, что ей просто невозможно задавать нескромные вопросы.

— Уж наверно, она примечательная, если даже вас держит в страхе Божиим.

— У меня к вам от нее поручение. Она просила вас передать, что хотя вы, вполне возможно, и не отважитесь сунуться в самый очаг эпидемии, но, если вы не против,

ей доставило бы большое удовольствие показать вам монастырь.

— Очень любезно с ее стороны. Я и понятия не имела, что она знает о моем существовании.

— Я говорил ей о вас. Я туда заглядываю раза два в неделю узнать, не требуется ли моя помощь. Ну и муж ваш, вероятно, рассказывал им о вас. Вы должны быть готовы к тому, что они вами безмерно восхищаются.

— Вы католик?

Его лукавые глазки блеснули, забавная рожица сморщилась от смеха.

— Ну что вы ухмыляетесь?

— «Из Назарета может ли быть что доброе?»¹ Нет, я не католик. Я причисляю себя к англиканской церкви. Это, пожалуй, самая безобидная формула, когда хочешь сказать, что, в сущности, ни во что не веруешь. Десять лет назад, когда аббатиса сюда приехала, она привезла с собой семерых монахинь, сейчас из них осталось в живых только три. Понимаете, Мэй-дань-фу даже в лучшие времена не курорт. Они живут в самом центре города, в самом бедном квартале, тяжело работают и никогда не отдыхают.

— Значит, их теперь только три, не считая аббатисы?

— О нет, кое-кто прибавился. Сейчас их там шесть. Одна умерла от холеры в самом начале эпидемии, тогда на ее место приехали из Кантона еще две.

Китти поежилась.

— Вам холодно?

— Нет, просто кто-то прошел по моей могиле.

— Когда они уезжают из Франции, то уезжают навсегда. Это протестантские миссионеры время от времени на год отбывают в отпуск. Я всегда думаю, что это и есть самое трудное. Мы, англичане, не так крепко привязаны к земле, мы в любом уголке земного шара чувствуем себя как дома, а французов связывают с родиной прямо-таки физические узы. Вдали от родины они не могут жить полной жизнью. Это, мне кажется, самая серьезная из жертв, на которые идут эти женщины. Будь я католиком, это, наверно, казалось бы мне в порядке вещей.

Китти бросила на него критический взгляд. Волнение, с каким он говорил, было ей не совсем понятно: может

¹ Евангелие от Иоанна, 1:46.

быть, это поза, а может, виной выпитое виски? Он тут же разгадал ее мысль и улыбнулся.

— Побывайте там, убедитесь сами. Это не так рискованно, как есть сырые помидоры.

— Раз вы не боитесь, мне тоже нечего бояться.

— Я думаю, вам будет интересно. Увидите кусочек Франции.

39

Через реку они переправились в сампане. На пристани Китти ждал паланкин, в котором ее и внесли в гору, к «водяным» воротам. Через эти ворота кули ходили к реке за водой, и теперь они сновали вверх и вниз с огромными ведрами на коромыслах, расплескивая воду на дорогу, мокрую, как после сильного дождя. Носильщики паланкина резкими криками сгоняли их на обочины.

— В городе вся жизнь приостановилась, — сказал Уоддингтон, шагая рядом с паланкином. — В обычное время тут не протолкаться, столько кули бегают с грузами к реке и обратно.

Улица, в которую они вступили, была узкая, кривая, и Китти сразу перестала соображать, в какую сторону она ведет. Многие лавки стояли закрытые. По пути от парохода она привыкла к неряшливому виду китайских улиц, но здесь за много недель скопились целые горы отбросов и мусора, и пахло так невыносимо, что она зажала нос платком. Проезжая через китайские города, она стеснялась любопытства зевак, теперь же заметила, что ее удостаивают только равнодушными взглядами. Редкие прохожие спешили по своим делам, глядя прямо перед собой, запуганные, апатичные. Временами из какого-нибудь дома доносились удары гонга и пронзительные жалобы каких-то неведомых музыкальных инструментов. За этими закрытыми дверями лежал покойник.

— Приехали, — сказал наконец Уоддингтон.

Паланкин опустили перед узкой, осененной крестом дверью в длинной белой стене, и Китти сошла на землю. Уоддингтон позвонил.

— Только не ждите ничего грандиозного. Бедность у них тут вопиющая.

Дверь отворила молоденькая китайка и, выслушав Уоддингтона, провела их в небольшую комнату, выходящую в коридор. В комнате стоял длинный стол под клетчатой клеенкой, а по стенам жесткие стулья. В одном конце возвышалась гипсовая статуя Богородицы. Через минуту вошла монахиня, толстушка с простецким лицом, румяными щеками и веселыми глазами. Уоддингтон, знакомя с ней Китти, назвал ее сестра Сен-Жозеф.

— *C'est la dame du docteur?*¹ — спросила она, широко улыбаясь, и добавила, что настоятельница сейчас к ним выйдет.

Сестра Сен-Жозеф не говорила по-английски, а Китти лишь кое-как изъяснялась по-французски; зато Уоддингтон бегло, хоть и с ошибками, болтал и шутил без умолку, и добродушная монахиня так и заходила от смеха. Эта смешливость удивила Китти: ей представлялось, что монахини неизменно торжественны и серьезны, и детская веселость сестры Сен-Жозеф растрогала ее.

40

Дверь отворилась — Китти почудилось, что произошло это само собой, без постороннего вмешательства, — и вошла настоятельница. Секунду она стояла на пороге, и снисходительная улыбка тронула ее губы, когда она взглянула на смеющуюся монахиню и сморщенную плутоватую физиономию Уоддингтона. Потом она с протянутой рукой подошла к Китти.

— Миссис Фейн? — Она чуть заметно поклонилась. По-английски она говорила правильно, но с сильным акцентом. — Это для меня большое удовольствие — познакомиться с женой нашего доброго, храброго доктора.

Китти чувствовала на себе ее оценивающий взгляд, долгий и откровенный, до того откровенный, что не казался невежливым. Словно эта женщина считала своим долгом о каждом составить себе собственное мнение и у нее даже мысли не возникало о необходимости притворяться. Степенно и учтиво она предложила гостям садиться и села сама. Сестра Сен-Жозеф, все еще улыбающаяся, но присмиревшая, осталась стоять чуть позади настоятельницы.

¹ Это жена нашего доктора? (*фр.*).

— Я знаю, вы, англичане, любите чай, сейчас его подадут. Но должна извиниться, это будет чай по-китайски. Мистер Уоддингтон, я знаю, предпочел бы виски, но этим я, к сожалению, не могу его угостить.

— Полноте, та мёге, вы говорите так, как будто я завзятый алкоголик.

— Хорошо бы вы могли сказать, что вы вообще не пьете, мистер Уоддингтон.

— Во всяком случае, я не могу сказать, что пью умеренно.

Она засмеялась и перевела его непочтительное замечание на французский для сестры Сен-Жозеф, а на него поглядела с нескрываемой лаской.

— К мистеру Уоддингтону мы не должны быть слишком строги. Он столько раз выручал нас, когда мы оказывались совсем без денег и не знали, как накормить наших сирот.

Молоденькая китаянка, та, что открыла им дверь, вошла с подносом, на котором стояли китайские чашки, чайник и тарелка с бисквитным печеньем под названием «мадлен».

— Попробуйте «мадлен», — сказала настоятельница, — сестра Сен-Жозеф испекла их сегодня специально для вас.

Они заговорили о всякой всячине. Настоятельница спросила у Китти, давно ли она в Китае, очень ли утомила ее дорога из Гонконга. Спросила, бывала ли она во Франции и как переносит гонконгский климат. Разговор шел дружеский, но самый обыденный, однако окружающая обстановка придавала ему особенную остроту. В комнате было тихо, не верилось, что находишься в гуще большого города. Здесь царил покой. А за стенами свирепствовала эпидемия, и горожан, со страху потерявших голову, удерживала от эксцессов только сильная воля человека, который и сам был наполовину бандит. Лазарет в монастырской ограде был полон больных и умирающих солдат, в сиротском приюте, которым ведали монахини, четвертая часть детей погибла.

Китти, как-то невольно притихнув, поглядывала на знатную даму, что так любезно занимала ее разговором. Она была в белом, белизну ее одеяния нарушал только красный крест на груди. Среднего возраста, лет сорок — пятьдесят, точнее сказать трудно, бледное лицо почти без морщин, а впечатление, что она уже не молода, создавала главным образом ее величавая осанка, уверенная манера и худоба ее сильных красивых рук. Лицо удлиненное, с боль-

шим ртом и крупными ровными зубами, нос изящный, хотя и не маленький; но напряженное, трагическое выражение придавали всему лицу глаза под тонкими черными бровями. Глаза очень большие, черные, не то чтобы холодные — спокойно-внимательные, гипнотизирующие. При виде ее сразу думалось, как хороша она, должно быть, была в молодости, но потом становилось ясно, что она из тех женщин, чья красота с годами проступает все явственнее. Голос у нее был низкий, звучный, хорошо поставленный, и говорила она медленно как по-английски, так и по-французски. Но самым поразительным в ней была властность, смягченная милосердием; чувствовалось, что она привыкла повелевать и послушание принимает как должное, но со смирением. Она как бы сознательно опиралась на авторитет церкви. И все же Китти догадывалась, что к человеческим слабостям она может отнестись по-человечески терпимо, а стоило увидеть улыбку, с какой она слушала неумную болтовню Уоддингтона, чтобы с уверенностью сказать, что она не лишена живого чувства юмора.

Однако было еще в ней и нечто такое, что Китти чувствовала, но не могла назвать. Нечто такое, что, несмотря на ее сердечный тон, держало собеседника на расстоянии.

41

— *Monsieur ne mange rien*¹, — сказала сестра Сен-Жозеф.

— У мосье вкус испорчен маньчжурской кухней, — отозвалась настоятельница.

Сестра Сен-Жозеф перестала улыбаться и чопорно поджала губы. Уоддингтон озорно блеснул глазами и потянулся за печеньем. Китти не поняла этого обмена репликами.

— Чтобы доказать, как вы несправедливы, та тѐге, я авансом загублю превосходный обед, который меня ожидает.

— Если миссис Фейн хочет осмотреть монастырь, я буду рада все ей показать. — Настоятельница обратилась к Китти с виноватой улыбкой: — Жаль, что вы увидите его сейчас, когда у нас такой беспорядок. Работы так много, а сестер не хватает. Полковник Ю пожелал, чтобы наш лазарет мы предоставили больным солдатам, так что лазарет для наших сирот пришлось перевести в трапезную.

¹ Мосье ничего не ест (*фр.*).

В дверях она пропустила Китти вперед, и они, в сопровождении сестры Сен-Жозеф и Уоддингтона, пустились в путь по прохладным белым коридорам. Сначала они зашли в большую голую комнату, где группа девочек-китайок прилежно занималась вышиванием. При виде гостей девочки встали, и настоятельница показала Китти образцы их рукоделия.

— Мы продолжаем эти занятия, несмотря на эпидемию, так у них остается меньше времени думать об опасности.

В другой комнате девочки помоложе учились простому шитью — подрубали, сметывали; в третьей помещались самые младшие: малыши от двух до четырех лет. Они шумно возились на полу, а завидев настоятельница, сбежались к ней, черноглазые, черноволосые, хватали ее за руки, зарывались лицом в ее широкие юбки. Чудесная улыбка озарила ее лицо, она гладила их по голове, произносила какие-то слова, в которых Китти, и не зная китайского, уловила нежную ласку. Китти брезгливо передернулась — в этих детишках, одинаково одетых, желтокожих, чахлых, с приплюснутыми носами, не было ничего человеческого. Они вызывали отвращение. А настоятельница стояла среди них как воплощенное Милосердие. Заметив, что она собралась уходить, они вцепились в нее и не отпускали, так что ей пришлось, все так же улыбаясь и приговаривая, высвободиться силой. Эти-то крохи, во всяком случае, не видели в знатной даме ничего устрашающего.

— Вам, вероятно, известно, — сказала она, когда они опять очутились в коридоре, — что сироты они только в том смысле, что родители от них отказались. Мы даем им несколько медяков за каждого ребенка, которого они сюда приводят, иначе они бы и трудиться не стали, а просто приканчивали бы их. — Она обратилась к сестре: — Сегодня новенькие есть?

— Четверо.

— Сейчас, с этой холерой, они больше, чем когда-либо, озабочены тем, чтобы не обременять себя лишними девочками.

Она показала Китти спальни, потом они оказались перед дверью с надписью «Лазарет». Китти слышала стоны, громкие крики, словно жалобы бессловесных тварей.

— Лазарет я вам не покажу, — сказала настоятельница невозмутимо. — Это зрелище не из приятных. — Она вдруг словно что-то вспомнила. — Доктор Фейн сейчас здесь?

В ответ на ее вопросительный взгляд монахиня, весело улыбаясь, отворила дверь и проскользнула в лазарет. Китти отшатнулась — при открытой двери несусветный шум зазвучал еще громче. Сестра Сен-Жозеф вернулась к ним.

— Нет, он был раньше и обещал еще заглянуть.

— А как номер шесть?

— Умер, *pauvre garçon*¹.

Настоятельница перекрестилась, и губы ее зашевелились в безмолвной молитве.

Они пересекли внутренний дворик, там Китти увидела два длинных предмета, лежащие на земле и прикрытые синим полотнищем. Настоятельница обратилась к Уоддингтону:

— У нас такая нехватка кроватей, что приходится класть их по двое на одну. А как только кто-нибудь умирает, его выносят из помещения, чтобы освободить место для следующего. — Потом улыбнулась гостье. — Теперь мы вам покажем капеллу. Это наша гордость. Один из наших друзей во Франции недавно прислал нам статую Пресвятой Девы в натуральную величину.

42

Капеллой звалась попросту длинная низкая комната с выбеленными стенами и рядами деревянных скамей; в глубине был алтарь, и там стояла статуя, гипсовая, грубо раскрашенная, очень яркая, новая, кричащая. Позади нее картина маслом — распятие и обе Марии у подножия креста, в позах непомерной скорби. Рисунок беспомощный, темные краски выбраны живописцем, слепым к красоте цвета. По стенам шли изображения крестного пути, размалеванные той же незадачливой рукой. Капелла была некрасивая, вульгарная.

Войдя, монахини преклонили колени и сотворили молитву, а поднявшись, настоятельница опять заговорила с Китти:

— Когда сюда что-нибудь везут, все, что может разбиться, разбивается, а статуя, которую подарил нам наш благодетель, доехала из Парижа целехонькая. Это, безусловно, было чудо.

¹ Бедняжка (фр.).

У Уоддингтона лукаво блеснули глаза, но он придержал язык.

— Запрестольный образ и путь на Голгофу написала одна из наших сестер, сестра Сент-Ансельм. — Настоятельница перекрестилась. — Она была подлинная художница. К несчастью, ее унесла эпидемия. Очень красиво это выполнено, правда?

Китти пробормотала что-то в знак согласия. На алтаре лежали букеты бумажных цветов, подсвечники были до ужаса вычурны.

— Нам разрешено хранить здесь святые дары.

— Да что вы! — сказала Китти, ничего не поняв.

— В такое трудное время это для нас большое подспорье.

Они вышли из капеллы и повернули обратно, к той приемной, где сидели вначале.

— Хотите перед уходом посмотреть на тех крошек, которых нам принесли сегодня?

— Очень хочу, — сказала Китти.

Настоятельница отворила дверь в маленькую комнату через коридор. На столе под покрывалом шло какое-то шевеление. Сестра Сен-Жозеф откинула покрывало, и взору их предстали четыре крошечных голых младенца. Они были очень красные и делали беспомощные движения ручками и ножками, на их китайских мордашках застыли смешные гримаски. В них было мало человеческого — какие-то зверюшки неизвестной породы, — но было и что-то трогательное. Настоятельница смотрела на них и улыбалась.

— Эти как будто здоровенькие. Иногда их приносят сюда только умирать. Мы, конечно, первым делом совершаем над ними обряд крещения.

— Наш доктор будет ими доволен, — сказала сестра Сен-Жозеф. — Он, кажется, может часами играть с этими крошками. Чуть заплачут, берет их на руки, да так ловко, удобно держит, что они смеются от радости.

И вот Китти и Уоддингтон очутились у входной двери, Китти от души попросила у настоятельницы прощения, что доставила ей столько хлопот. Та поклонилась любезно, но с большим достоинством.

— Я была очень рада. Вы не представляете себе, как много мы обязаны вашему мужу. Нам его Бог послал. Так хорошо, что вы с ним приехали. Какое это для него уте-

шение, когда он вечером приходит домой, а там его ждет ваша любовь и ваше... ваше милое лицо. Вы заботьтесь о нем получше, не давайте переутомляться. Берегите его ради всех нас.

Китти покраснела и не нашлась что ответить. Настоятельница пожала ей руку, и она опять почувствовала на себе спокойный, задумчивый взгляд, отрешенный и все же исполненный глубокого понимания.

Сестра Сен-Жозеф затворила за ними дверь, и Китти села в паланкин. Они пустились в обратный путь по узким извилистым улицам. Уоддингтон что-то сказал, Китти не ответила. Он оглянулся, но шторы у паланкина были задернуты, и он ее не увидел. Дальше он шел молча. Но когда они спустились к реке и Китти вышла, он с удивлением увидел, что глаза ее полны слез.

— Что случилось? — спросил он, и лицо его озабоченно сморщилось.

Китти попыталась улыбнуться.

— Так, ничего. Глупости.

43

Снова оставшись одна в неудобной гостиной умершего миссионера, лежа в шезлонге у окна и устремив взгляд на храм за рекой (сейчас, в наступающих сумерках, он опять казался сказочным и прекрасным), Китти пыталась разобраться в своих впечатлениях. Никогда бы она не подумала, что посещение монастыря так ее взволнует. Привело ее туда любопытство. Делать ей было нечего, и, насмотревшись на обнесенный стеною город на том берегу, она была не прочь хоть одним глазком взглянуть на его таинственные улицы.

Но стоило ей переступить порог монастыря, как она словно перенеслась в другой мир, существующий вне времени и пространства. В этих аскетически строгих голых комнатах и белых коридорах словно веяло чем-то далеким, мистическим. Маленькая капелла, некрасивая и вульгарная, умиляла самой своей безвкусицей; там было что-то, чего не хватает пышным соборам с их витражами и картинами великих мастеров: она была очень смиренна, и вера, украсившая ее, любовь, которая ее лелеяла, наделили ее неуловимой красотой души. Методичность, с какой монахини продолжали свою работу вопреки эпидемии, доказывала их

хладнокровие перед лицом опасности и здравую деловитость, почти парадоксальную, но вызывающую глубокое уважение. Мысленно Китти все еще слышала жуткие звуки, донесшиеся до нее, когда сестра Сен-Жозеф на минуту открыла дверь в лазарет.

Поразило ее и то, как они говорили про Уолтера — сначала монахиня, а потом и сама настоятельница, как тепло звучал ее голос, когда она его хвалила. Странно, Китти даже ощутила прилив гордости, узнав, как высоко они его ценят. Уоддингтон тоже говорил ей, что Уолтер творит чудеса; но монашенки превозносили не только его деловые способности (что он хороший работник, она знала еще в Гонконге), они называли его заботливым, нежным. Да, он может быть очень нежен, думала она. Лучше всего проявляет себя, когда болеешь. Он не раздражает разговорами, касается тебя удивительно бережно, успокаивающе. От одного его присутствия становится легче. Она знала, что никогда уже ей не прочесть в его глазах той нежности, что в прошлом была привычной и только злила. Она знала, каким огромным запасом любви он наделен; теперь он, видно, изливает эту любовь на несчастных, которым больше не от кого ждать помощи. Она не ощущала ревности, только пустоту — словно у нее внезапно отняли опору, к которой она так привыкла, что перестала ее замечать, и вот теперь шатается из стороны в сторону, как будто потеряла центр тяжести.

К себе она чувствовала только презрение за то, что когда-то презирала Уолтера. Он не мог не знать, как она к нему относилась, и принял ее оценку, не озлобившись. Она была дурой, и он это знал, и, пока он любил ее, это его не смущало. Теперь у нее нет к нему ненависти и нет обиды, а скорее растерянность и страх. Нельзя не признать за ним замечательных достоинств, иногда она даже видела в нем какое-то странное, непривлекательное величие духа. Почему же тогда она не могла его полюбить, а продолжает любить человека, чье ничтожество теперь для нее несомненно? Она столько передумала за эти долгие дни, что наконец поняла, что такое Чарлз Таунсенд. Пошляк, посредственность. Если б только вырвать из сердца любовь, которая все еще там гнездится! Если б забыть о нем!

Уоддингтон тоже высокого мнения об Уолтере. Только она, Китти, не разглядела его достоинств. Почему? Потому

что он любил ее, а она его не любила. Что это за выверт человеческого сердца — презирать человека за то, что он тебя любит. А вот Уоддингтон признался, что недолюбливает Уолтера. Как и другие мужчины. Эти две монашенки чуть не влюблены в него, сразу видно. С женщинами он и держится иначе; несмотря на его застенчивость, в нем угадывается чудесная доброта.

44

Но самое сильное впечатление произвели на нее именно монахини. Сестра Сен-Жозеф, ее веселые глаза и щечки-яблочки... она была одной из тех немногих, что приехали в Китай вместе с настоятельницей десять лет назад; на ее глазах ее товарки одна за другой умирали от болезней, лишений и тоски по родине, а она не поддавалась ни унынию, ни страху. Откуда в ней эта прелестная простодушная веселость? А настоятельница... Китти вспомнила, как стояла с ней рядом, и опять ощутила смиренную робость и стыд. Держится так просто, естественно, но ее врожденный аристократизм внушает благоговение, невозможно даже вообразить, что кто-нибудь может обойтись с ней непочтительно. Для сестры Сен-Жозеф ее власть непререкаема, это сказывается и в ее позе и жестах, и в том, как она отвечает на вопросы; и Уоддингтон, нахал и насмешник, явно перед нею робеет. Китти подумалось, что ей могли и не говорить, что настоятельница принадлежит к одному из знатнейших семейств Франции: вся ее повадка свидетельствует о родовитости, ее властность — черта женщины, даже не допускающей мысли, что ее могут послушаться. В ней сочетается милостивая снисходительность владельницы замка и смирение святой. В ее сильном, красивом, исхудалом лице строгость мученицы, и в то же время от нее исходит ласковая заботливость, и маленькие дети льнут к ней без стеснения и страха, уверенные, что она их не обидит. Когда она смотрела на четверых новорожденных, улыбка ее была печальна, но прелестна — как луч солнца на дикой, безлюдной пустоши. Слова, которые сестра Сен-Жозеф мимоходом сказала про Уолтера, тоже взволновали Китти; она знала, что он страстно желал иметь от нее ребенка, но никак не ожидала, что он, такой сдержанный, способен без всякого смущения, весело и ласково возиться с маленькими детьми. Ведь

обычно мужчины ведут себя с детьми беспомощно и глупо. Станный он человек!

Но на этом волнующем переживании лежала какая-то непонятная тень (нет, видно, добра без худа!). В спокойной веселости сестры Сен-Жозеф, а тем более в безупречной учтивости настоятельницы она чувствовала гнетущую отчужденность. Они были приветливы, даже сердечны, но что-то держали про себя, тем давая ей почувствовать, что она для них — посторонний человек, всего лишь случайная знакомая. Между ними и ею стояла преграда. Они говорили на другом языке, не только вслух, но и в мыслях. И она догадывалась, что, как только за нею закрылась дверь, они поспешили вернуться к прерванной работе и начисто забыли о ней, словно ее и на свете не было. Она чувствовала, что ей заказан вход не только в этот нищий монастырь, но и в некий таинственный сад, о котором тоскует ее душа. Она вдруг ощутила такое одиночество, какого не знала доселе. Потому она тогда и заплакала.

И теперь, устало откинувшись в кресле, она вздыхала:
— Какое же я ничтожество!

45

В тот вечер Уолтер вернулся домой пораньше обычного. Китти лежала в шезлонге у окна. В комнате уже почти стемнело.

— Тебе не нужна лампа? — спросил он.

— Принесут, когда обед поспеет.

Говорил он с ней, как всегда, о пустяках, как с хорошей знакомой, ничто в его манере не позволяло заподозрить, что он таит в душе злобу. Он никогда не смотрел ей в глаза и никогда не улыбался. Но был неукоснительно вежлив.

— Уолтер, — спросила она, — что ты намерен делать, если мы не умрем от холеры?

Он ответил не сразу, лицо его было в тени.

— Я об этом не думал.

В прежние времена она говорила все, что придет в голову, не обдумывала вперед, что скажет; теперь она его боялась. Губы у нее дрожали, сердце билось.

— Я сегодня была в монастыре.

— Слышал.

Она заставила себя продолжать:

— Ты, когда увез меня сюда, правда хотел, чтобы я умерла?

— Стоит ли ворошить прошлое, Китти. Бессмысленно, мне кажется, говорить о том, о чем лучше забыть.

— Но ты не забыл, и я тоже. Я очень много думаю с тех пор, как приехала сюда. Ты не хочешь меня выслушать?

— Нет, отчего же.

— Я очень плохо с тобой поступила. Я тебе изменяла.

Он весь застыл. Его неподвижность пугала.

— Не знаю, поймешь ли ты меня. Для женщины, когда такое кончается, оно уже не имеет большого значения. Мне кажется, женщина даже не может понять позицию, которую занимают мужчины. — Она говорила отрывисто, не узнавая собственного голоса. — Ты знал, что представляет собой Чарли, и знал, как он поступит. Что ж, ты оказался совершенно прав. Он ничтожество. Наверно, я бы им не увлеклась, если бы сама не была таким же ничтожеством. Я не прошу у тебя прощения. Не прошу полюбить, как любил когда-то. Но неужели мы не можем быть друзьями? Когда вокруг нас люди умирают тысячами, и эти монахини...

— А они тут при чем? — перебил он.

— Я не могу объяснить. Когда я там сегодня была, у меня появилось такое странное чувство. Все это полно значения. Кругом столько ужасов, их самопожертвование просто поразительно. Пойми меня правильно, мне кажется, что нелепо, несообразно терзаться оттого, что какая-то глупая женщина тебе изменила. Стоит ли вообще думать о такой пустышке.

Он не ответил, но и не отодвинулся от нее; он словно ждал, что еще она скажет.

— Мистер Уоддингтон и монашенки мне много чего рассказали про тебя. Я горжусь тобой, Уолтер.

— Раньше-то не гордилась, раньше ты меня презирала. Это что же, прошло?

— Разве ты не чувствуешь, что я тебя боюсь?

Он опять помолчал, прежде чем ответить.

— Не понимаю я тебя. Чего тебе, собственно, нужно?

— Для себя — ничего. Я только хочу, чтобы тебе стало легче.

Он опять застыл, и голос его прозвучал очень холодно.

— Напрасно ты думаешь, что мне тяжело. Я так занят, что мне некогда особенно о тебе беспокоиться.

— Я тут думала, может быть, монахини разрешат мне поработать у них. Они с ног сбиваются, я была бы рада принести хоть какую-нибудь пользу.

— Работа там нелегкая и не из приятных. Сомневаюсь, чтобы этого развлечения тебе хватило надолго.

— Ты до такой степени меня презираешь, Уолтер?

— Нет. — Он запнулся, голос его прозвучал странно, — Я презираю себя.

46

Они отобедали. Уолтер, как обычно, сидел у лампы и читал. Он читал каждый вечер, пока Китти не уходила спать, а потом шел в лабораторию, под которую приспособил одну из пустующих комнат, и работал там до поздней ночи. Спал он очень мало. Был занят какими-то экспериментами. Ей он ничего об этом не рассказывал — он и в прежние дни не посвящал ее в свою работу, по натуре был необщителен. Сейчас она обдумывала его слова. Их разговор кончился ничем. Она так плохо его знала, что даже не могла решить, правду он говорил или нет. Неужели сейчас, когда его существование для нее так бесспорно и страшно, она вообще перестала для него существовать? Когда-то он с удовольствием слушал ее болтовню, потому что любил ее; что, если теперь, когда он ее разлюбил, слушать ее ему просто скучно? Обидно это до слез.

Она посмотрела на него. В свете лампы его профиль был обрисован четко, как камень. Черты правильные, красивые, но все лицо — мало что строгое, почти злое. До ужаса неподвижное, только глаза передвигаются вниз по странице... Кто бы поверил, что это каменное лицо так преобразается в минуты страсти? Она-то знала, каким нежным оно может быть, и это ей претило. Поразительно, что она так и не смогла его полюбить, притом что он не только красив, но честен, надежен, талантлив. Хорошо хоть, что ей больше никогда не придется терпеть его ласки.

Он не пожелал ответить, когда она спросила, действительно ли он вынудил ее сюда приехать, чтобы убить ее. Ведь он очень добрый, как мог у него зародиться такой дьявольский умысел? Скорее всего, он только хотел ее припугнуть и расквитаться с Чарли (в это можно поверить,

зная его саркастический склад ума), а потом из упрямства или из боязни показаться смешным решил довести свою затею до конца.

Да, он сказал, что презирает себя. Как это понять? Китти снова бросила взгляд на его спокойное, сосредоточенное лицо. О ней он забыл, точно ее здесь и нет.

— За что ты себя презираешь? — спросила она, не сознавая, что говорит вслух, как бы продолжая только что прерванный разговор.

Он отложил книгу и задумчиво посмотрел на нее. Казалось, он возвращается мыслями откуда-то очень издалека.

— За то, что любил тебя.

Она вспыхнула и отвернулась, не в силах вынести его холодный, оценивающий взгляд. Теперь она его поняла. И заговорила не сразу.

— Мне кажется, ты ко мне несправедлив, — сказала она. — Нельзя осуждать меня за то, что я была глупенькая, легкомысленная, пустая. Такой меня воспитали. Все мои подруги были такие... Это все равно что упрекать человека, лишенного слуха, в том, что он скучает на симфоническом концерте. Разве справедливо осуждать меня за то, что ты приписывал мне достоинства, которых у меня не было? Я не пыталась ввести тебя в заблуждение, притвориться не тем, что есть. Просто была хорошенькая и веселая. На ярмарке человек не пытается купить жемчуг и соболье манто, а покупает жестяную дудку и воздушные шарик.

— Я тебя не осуждаю.

Голос был усталый. В ней закипала досада. Как он не может понять то, что для нее стало так ясно, понять, до чего мелки их личные дела по сравнению со смертельной опасностью, которая над ними нависла, и с той высокой красотой, которая ей приоткрылась сегодня? Что с того, если какая-то дурочка изменила мужу, и стоит ли мужу обращать на это внимание? Странно, что у Уолтера при его уме нет чувства соразмерности. Оттого, что он нарядил куклу в роскошный костюм и поклонялся ей как богине, а потом убедился, что кукла-то набита опилками, он теперь не может простить ни ее, ни себя. Душа у него изранена. Он долго жил сказкой, которую сам выдумал, а когда жизнь разрушила сказку, решил, что рухнула жизнь. Вот уж правда: он потому ее не прощает, что не может простить себя.

Ей показалось, что он тихо вздохнул, и она вскинула на него глаза. Странная мысль пришла ей в голову, так неожиданно, что она чуть не вскрикнула.

Может быть, у него... как это говорится... разбито сердце?

47

Весь следующий день Китти думала о монастыре, а еще через день рано утром, вскоре после ухода Уолтера, взяв с собой служанку, чтобы послать за паланкинами, переправилась через реку. Солнце только что взошло, и китайцы, заполнившие паром, — крестьяне в синих ситцевых рубашках и почтенные горожане в черном — наводили на мысль о душах умерших, которых перевозят через реку в царство теней. А ступив на берег, они еще постояли на пристани, словно не зная, куда двинуться, и лишь потом, по двое, по трое стали медленно подниматься в гору.

Улицы в этот час были безлюдны, так что город более, чем когда-либо, казался городом мертвых. Редкие прохожие выступали из утренней дымки неясно, как призраки. Небо было безоблачное; первые лучи солнца лили на землю ласковый свет; в это прохладное, погожее, радостное утро трудно было вообразить, что город задыхается в безжалостных когтях болезни, как человек, которого душит маньяк-убийца. Не верилось, что природа (эта небесная лазурь, ясная, как сердце ребенка) так равнодушно взирает на то, что люди корчатся в муках и умирают во власти страха. Когда паланкин опустили у дверей монастыря, нищий, лежавший на земле, поднялся и протянул руку за подающим. На нем были выцветшие бесформенные лохмотья, словно подобранные на свалке, в прорехах проглядывала кожа, жесткая, шершавая, выдубленная, как козлиная шкура; босые ноги поражали худобой, голова с шапкой грязно-серых волос (запавшие глаза, блуждающий взгляд) была головой юродивого. Китти в испуге отшатнулась, носильщики стали грубо его отгонять, и, чтобы отделаться от него, Китти пришлось дать ему пару медяков.

Дверь отворилась, служанка объяснила, что Китти хотелось бы видеть настоятельницу. Ее провели в уже знакомую душную приемную, где, казалось, никогда не открывали окна, и там она просидела так долго, что уже думала, о ней забыли доложить. Наконец настоятельница появилась.

— Простите, что заставила вас ждать, — сказала она. — Меня не предупредили о вашем приходе, и я была занята.

— Это мне надо просить у вас прощения за беспокойство. Я, кажется, пришла в неподходящее время.

Настоятельница с ласковой улыбкой предложила ей стул. Но Китти заметила, что глаза у нее заплаканные. Китти изумилась: у нее осталось впечатление, что к земным горестям эта женщина относится спокойно.

— У вас, наверно, что-нибудь случилось, — промолвила она смущенно. — Мне лучше уйти? Я могу прийти в другой раз.

— Нет-нет. Скажите мне, чем я могу быть вам полезна. Дело в том... дело в том, что вчера вечером скончалась одна из наших сестер. — Голос ее сорвался, глаза наполнились слезами. — Скорбеть о ней грешно, я знаю, что ее простая, добрая душа отлетела к Богу, она была святая женщина; но не всегда легко побороть свою слабость. Боюсь, и я бываю неразумна.

— Мне так жаль, — сказала Китти, — так ужасно жаль... — и всхлипнула от искреннего сочувствия.

— Она была из тех, что приехали со мной из Франции десять лет тому назад. Теперь нас осталось только трое. Я помню, мы сбились кучкой на конце парохода (как это сказать, на носу?), и когда пароход выходил из марсельского порта и мы увидели золотую статую на церкви святой Марии Милостивой, мы все вместе прочитали молитву. С тех самых пор, как я приняла постриг, я мечтала, что мне разрешат поехать в Китай, но, когда земля стала удаляться, я не удержалась и заплакала. Не очень-то хороший пример я тогда подала моим дочерям, ведь я была их духовной матерью. А сестра Сен-Франсис Ксавье — та, что вчера скончалась, — взяла меня за руку и стала утешать. Где бы мы ни были, сказала она, там и Франция, там и Бог.

Ее строгое прекрасное лицо исказилось от простого человеческого горя и от усилия сдержать слезы, противные ее рассудку и ее вере. Китти отвернулась. Она почувствовала, что наблюдать за этой борьбой непристойно.

— Я написала ее отцу. Она, как и я, была единственной дочерью. Они рыбаки, живут в Бретани. Для них это будет тяжелый удар. Ох, когда же кончится эта ужасная эпидемия? Сегодня утром у нас заболели две девочки. Спасти их может только чудо. У этих китайцев нет никакой сопротив-

ляемости. Утрата сестры Сен-Франсис для нас очень чувствительна. Работы так много, а нас теперь осталось еще меньше. Наши сестры есть в других монастырях в Китае, они бы приехали с радостью; я думаю, любая монахиня нашего ордена отдала бы все на свете, чтобы сюда приехать (правда, отдавать-то им нечего). Но это почти верная смерть, и пока мы хоть как-то справляемся, мне бы не хотелось множить жертвы.

— Вы облегчили мне дело, *ma mère*, — сказала Китти. — А то я уж думала, что явилась сюда в самую неудачную минуту. В тот раз вы сказали, что сестрам трудно управляться с работой, и я хотела спросить, нельзя ли мне приходить сюда и помогать им. Что делать — мне все равно, лишь бы приносить пользу. Заставьте меня мыть полы, я и то скажу спасибо.

Настоятельница улыбнулась веселой улыбкой, и Китти подивилась, как легко эта гибкая натура поддается новым настроениям.

— Полы вам мыть не нужно. Это, плохо ли, хорошо ли, делают сиротки. — Она примолкла и ласково оглядела Китти. — Милое мое дитя, вы не думаете, что сделали достаточно, приехав сюда с мужем? Не у многих жен хватило бы на это мужества, да и может ли для вас быть занятие лучше, чем веселить и ублажать его, когда он возвращается к вам после рабочего дня? Поверьте мне, ему тогда нужна вся ваша любовь и забота.

Китти трудно было выдержать ее взгляд, строго-оценивающий и в то же время насмешливо-ласковый.

— Мне решительно нечего делать с утра до вечера. А когда у всех столько работы, бездельничать просто невыносимо. Я не хочу вам надоедать, я знаю, что не могу посягать ни на вашу доброту, ни на ваше время, но говорю я вполне серьезно, и, право же, вы окажете мне благодеяние, если позволите хоть немножко вам помогать.

— На вид вы не особенно крепкая. Третьего дня, когда вы были у нас, мне показалось, что вы очень бледненькая. Сестра Сен-Жозеф даже подумала, что вы, может быть, ждете ребенка.

— Нет-нет! — воскликнула Китти и покраснела до корней волос.

Настоятельница рассмеялась негромким серебристым смехом.

— Тут нечего стыдиться, дитя мое, и ничего невероятного в этом предположении нет. Вы сколько времени замужем?

— Бледная я всегда, но я очень здоровая и, уверяю вас, не боюсь никакой работы.

Настоятельница тем временем совсем овладела собой. Она бессознательно приняла свой обычный властный вид и смотрела на Китти спокойно, словно оценивая ее возможности. Китти ждала и нервничала.

— Вы по-китайски говорите?

— К сожалению, нет.

— Вот это жаль. Я бы могла приставить вас к старшим девочкам. С ними сейчас особенно трудно, боюсь, как бы они не... не отбились от рук? — закончила она на вопросительной ноте.

— А за больными я не могла бы ухаживать? Я совсем не боюсь холеры. Могла бы ходить либо за девочками, либо за солдатами.

Настоятельница, уже без улыбки, раздумчиво покачала головой.

— Вы не знаете, что такое холера. Зрелище это страшное. В лазарете санитарями работают солдаты, сестра только надзирает за ними. А что касается девочек... нет-нет, я уверена, что ваш муж не одобрил бы этого. Это тяжелая, пугающая картина.

— Я бы привыкла.

— Нет, это исключено. Мы все это делаем, потому что в этом наш долг и наше призвание, но для вас это вовсе не обязательно.

— Выходит, я ни на что не гожусь и ничего не умею. Не могу я поверить, что меня совсем нельзя использовать.

— Вы мужу говорили о вашем желании?

— Да.

Настоятельница поглядела на нее так, словно хотела проникнуть в самую глубину ее сердца, но при виде встревоженного, умоляющего лица Китти опять улыбнулась.

— Вы, конечно, протестантка? — спросила она.

— Да.

— Это ничего. Доктор Уотсон, миссионер, который умер, тоже был протестант, ну и что же? Он относился к нам как нельзя лучше. Мы ему очень, очень благодарны.

Теперь улыбка мелькнула на губах Китти, но она промолчала. Настоятельница, видимо, что-то обдумывала. И вот она встала с места.

— Вы очень добры. Думаю, что я подберу вам занятие. Теперь, когда сестра Сен-Франсис нас покинула, мы действительно не должны отказываться от помощи. Когда вы могли бы приступить к работе?

— Хоть сейчас.

— Вот и хорошо. Я довольна вашим ответом.

— Обещаю вам, я буду очень стараться. Спасибо, что разрешаете мне попробовать.

Настоятельница отворила дверь в коридор, но на пороге задержалась. Еще раз окинула Китти долгим пронизательным взглядом, потом мягко коснулась ее руки.

— Не забывайте, дитя мое, душевный покой можно обрести не в работе или в удовольствиях, не в миру или в монастыре, а только в своем сердце.

Китти вздрогнула, но настоятельница уже вышла из комнаты.

48

Окунувшись в работу, Китти воспрянула духом. Она отправлялась в монастырь каждое утро вскоре после восхода солнца, а домой возвращалась, когда солнце, клонясь к закату, уже заливало узкую реку и скопище джонок жидким золотом. Настоятельница поручила ей группу младших девочек. Мать Китти привезла в Лондон из своего родного Ливерпуля бесспорные хозяйственные способности, и Китти, несмотря на свой легкомысленный образ жизни, отчасти их унаследовала, хотя упоминала об этом только в шутку. Она была неплохой кулинаркой и прекрасно шила. Когда обнаружился этот ее талант, ей поручили обучать шитью младшую группу девочек. Они кое-что понимали по-французски, а она каждый день узнавала от них по несколько китайских слов, так что общаться им было нетрудно. Другие часы она проводила с самыми маленькими, одевала и раздевала их, укладывала спать. Грудные младенцы были на попечении няни-китаянки, но Китти попросили присматривать и за ней. Вся эта работа была не такая уж важная, и Китти хотелось делать что-нибудь потруднее, но настоя-

тельница не внимала ее мольбам, а Китти относилась к ней с таким почтением, что перестала настаивать.

Первые несколько дней она лишь с усилием преодолевала легкое отвращение, которое вызывали в ней эти девочки, все одинаково одетые, с торчащими черными волосами, круглыми желтыми лицами и глазами-смородинами. Но она вспоминала, как в день ее первого посещения чудесно преобразилось лицо настоятельницы, когда ее обступили эти уродцы, и старалась побороть это чувство. И постепенно, когда она брала на руки кого-нибудь из этих плачущих крошек — эта упала и расшиблась, у той режется зуб — и раз за разом убеждалась, что несколько ласковых слов, пусть и произнесенных на непонятном для них языке, прикосновение ее рук, ее мягкая щека, к которой прижималась плачущая желтая рожица, способны успокоить и утешить, неприятное чувство совсем пропадало. Малышки безбоязненно тянулись к ней со своими младенческими горестями, и их доверие наполняло ее счастьем. То же было и с девочками постарше, теми, которых она учила шить; ее трогали их широкие, понимающие улыбки и радость, которую им доставляли ее похвалы. Она чувствовала, что они ее любят, и, польщенная, гордая, сама проникалась к ним любовью.

Но к одной из девочек она никак не могла привыкнуть. Это была шестилетняя кретинка с огромной тяжелой головой на худеньком теле, большими пустыми глазами и слюнявым ртом, говорить она не умела, только хрипло бормотала отдельные слова. Она внушала гадливость и страх, и почему-то именно она особенно привязалась к Китти, ходила за ней по пятам, в какой бы конец комнаты она ни направилась, цеплялась за ее юбку, терлась лицом о ее колени. Пыталась гладить ей руки. Китти мутило от отвращения. Она понимала, что девочка жаждет ласки, но не могла заставить себя до нее дотронуться.

Однажды в разговоре с сестрой Сен-Жозеф она высказала мнение, что такому ребенку лучше не жить. Сестра Сен-Жозеф улыбнулась и протянула кретинке руку, а та подошла и ткнулась в эту руку своим выпуклым лбом.

— Бедняжка, — сказала монахиня. — Ее доставили сюда еле живую. Волею провидения я как раз в это время оказалась у дверей. Я увидела, что нельзя терять ни минуты, и тут же ее окрестила. Вы не поверите, сколько труда мы

положили на то, чтобы сохранить ей жизнь. Три или четыре раза мы уже были готовы к тому, что ее душа вот-вот упорхнет на небо.

Китти молчала. Сестра Сен-Жозеф, как всегда словоохотливая, стала судачить о чем-то другом. А на следующий день, когда девочка подошла к Китти и тронула за руку, Китти заставила себя положить руку на ее большую безволосую голову. Но девочка, с непоследовательностью помешанной, вдруг убежала, словно потеряв к ней всякий интерес, и ни в тот день, ни в последующие дни не обращала на нее внимания. Китти не могла понять, чем она ей не угодила, пыталась приманить ее улыбками и жестами, но та отворачивалась и притворялась, что не видит ее.

49

Монахини были заняты каждая своим делом с утра и до позднего вечера, так что Китти почти не встречалась с ними, кроме как на богослужениях в смиренной голой капелле. Увидев ее там в первый же день — она сидела на задней скамье позади старших девочек, — настоятельница остановилась и заговорила с ней:

— Вы не думайте, что вам положено бывать в капелле вместе с нами. Вы протестантка, у вас свои порядки.

— Но мне тут нравится, та тѣге. Для меня это отдых.

Настоятельница степенно склонила голову.

— Ну конечно, поступайте согласно своему желанию. Я только хотела вам объяснить, что никто вас не принуждает.

А с сестрой Сен-Жозеф у Китти скоро завязались если не близкие, то, во всяком случае, более простые отношения. Она ведала монастырским хозяйством, и заботы о материальном благополучии этой большой семьи не оставляли ей ни минуты, чтобы посидеть спокойно. Она сама говорила, что единственный ее отдых — это время, посвященное молитве. Но ближе к вечеру, когда Китти занималась с девочками, ей случалось к ним заглянуть и, поклявшись для начала, что она совсем вымоталась и у нее нет ни минуты свободной, посидеть и посудачить. Когда настоятельницы не было поблизости, она давала волю своей говорливости, любила пошутить и была не прочь посплетничать. Ее-то Китти не боялась: сестра Сен-Жозеф и в монашеской

одежде была добродушной, уютной болтушкой, при ней Китти не стеснялась делать ошибки во французском языке, они вместе смеялись ее промахам. От нее Китти тоже узнала много нужных китайских слов. Она была дочкой фермера и в душе оставалась крестьянкой.

— В детстве я пасла коров, как Жанна д'Арк, — рассказывала она. — Но явлений мне, при моем дурном поведении, не бывало. Оно, наверно, и к лучшему, а то отец непременно бы меня выдрал. Он, царство ему небесное, и так часто меня порол, ведь я была ох какая озорница. Вспомнить совестно, каких только шалостей не выдумывала.

Китти рассмеялась, представив себе, что эта толстая, немолодая монахиня была когда-то своенравным ребенком. Но что-то детское было в ней до сих пор и привлекало к ней сердце; от нее словно исходил сладкий запах деревни в осеннюю пору, когда ветки яблонь гнутся под тяжестью спелых яблок, а хлеб сжат и убран в закрома. В ней, в отличие от настоятельницы, не было строгой, трагической святости, а была простая, безмятежная веселость.

— И вас никогда не тянет домой? — спросила однажды Китти.

— О нет. Вернуться было бы трудно. Мне тут хорошо, особенно с нашими сиротками. Они такие славные, такие благодарные. Но монашка-то я монашка, а все же у меня есть мать, и разве забудешь, что она меня своей грудью выкормила! Мать у меня старая, тяжело думать, что я ее уж никогда больше не увижу. Но и то сказать, снохой своей она довольна, и брат мой ее уважает. У него уже подрастает сынок, хороший работник на ферме пригодится. Когда я уезжала из Франции, он был совсем еще маленький, но и тогда кулачок у него был ого какой сильный.

В этой тихой комнате, слушая неторопливые речи монахини, почти невозможно было поверить, что за стенами свирепствует холера. Безмятежность сестры Сен-Жозеф передавалась и Китти.

Она по-детски наивно интересовалась внешним миром и его обитателями. Расспрашивала Китти про Лондон, про Англию, воображая, что туман там такой густой — даже днем собственной руки не видно; она спрашивала Китти, ездит ли она на балы, очень ли богатый дом у ее родителей, есть ли у нее братья и сестры. Часто говорила об Уолтере. Мать настоятельница им не нахвалится, все они каждый

день молятся за него Богу. Счастливица Китти, что муж у нее такой добрый, и храбрый, и умный.

50

Но рано или поздно сестра Сен-Жозеф в своих рассказах неизменно возвращалась к настоятельнице. Китти с самого начала поняла, что личность этой женщины подчинила себе весь монастырь. Все его обитатели взирали на нее с любовью и восхищением, но также и с почтительным страхом. Китти и та чувствовала себя перед нею школьницей. Держаться с ней свободно мешало чувство, которое нельзя было назвать иначе как благоговением. Простодушная сестра Сен-Жозеф для вящей внушительности рассказала Китти, к какому знатному семейству принадлежит настоятельница. Среди ее предков есть исторические личности, она состоит в родстве чуть не со всеми европейскими монархами. Альфонс Испанский охотился в угодьях ее отца, и по всей Франции у них есть фамильные замки. Трудно было, наверно, расстаться со всем этим великолепием. Китти слушала и улыбалась, но рассказы эти производили на нее впечатление.

— Да на нее стоит только посмотреть, — сказала сестра Сен-Жозеф, — сразу видно, что знатнее ее и на свете нет.

— У нее удивительно красивые руки, — сказала Китти.

— А вы бы знали, как мало она их жалеет. Она никакой работой не гнушается.

Когда они прибыли в этот город, здесь ничего не было. Они построили монастырь. Настоятельница сама нарисовала план и надзидала за работами. С первого же дня они стали спасать бедненьких, никому не нужных девочек от «башни» и от жестоких рук повивальных бабок. Вначале у них ни кроватей не было, ни стекла, чтобы отгородиться от ночного холода (ведь ночной холод — самое вредное для здоровья, добавила сестра Сен-Жозеф); временами у них не оставалось денег не только платить рабочим, но и на еду для себя; они жили, как простые крестьяне, да что там, во Франции крестьяне, вот хоть батраки ее отца, бросали бы такую пищу свиньям. Тогда настоятельница созывала своих дочерей, они преклоняли колени и молились, и Пресвятая Дева присылала им денег. То назавтра придет тысяча франков по почте, то какой-нибудь незнакомец, англичанин

(подумать только — протестант!) или даже китаец, постучит в дверь в ту самую минуту и принесет пожертвование. А один раз они дошли до того, что дали Богородице обет посвятить ей *peuvaine*¹, если она их выручит, и, поверите ли, на следующий день явился этот забавный мистер Уоддингтон, сказал, что вид у нас такой, будто мы не отказались бы от ростбифа, и подарил нам сто долларов.

Вот уж правда забавный он человек, голова лысая, глаза хитрющие, а уж эти его шуточки... *Mon Dieu*², как же он калечит французский язык! Но сердиться на него невозможно. Никогда не унывает. И эпидемия ему нипочем, веселится как на празднике. Сердце у него французское и язык острый, прямо не поверить, что англичанин. Вот только акцент. Но иногда думается, что он говорит так плохо нарочно, чтобы посмешить. Нравственностью он особой не отличается, это да, но, в конце концов, это его личное дело, — тут она, вздохнув и кивнув, пожала плечами, — он ведь холостяк, молодой мужчина.

— А чем плоха его нравственность? — спросила Китти с улыбкой.

— Да неужто вы не знаете? Грех мне про это говорить, ну да что уж там. Он живет с китайкой, то есть не то чтобы с китайкой, а с маньчжуркой. Она, говорят, принцесса и любит его до безумия.

— Не может быть! — воскликнула Китти.

— А вот и может, я вам правду говорю. Это большой грех. Бог этого не велит. Вы разве не слышали, когда первый раз сюда приходили, он не хотел есть «мадлен», которые я нарочно для него испекла, а мать настоятельница сказала, что он испортил себе желудок маньчжурской кухней? Она тогда на это самое намекала, он еще такую рожу скорчил. А история это очень даже интересная. Он, говорят, работал в Ханькоу во время революции, когда там маньчжурцев резали, и по доброте своей спас жизнь нескольким членам одного из их знатных семейств. Они в родстве с императорской фамилией. И девушка эта в него влюбилась, ну а дальше сами можете догадаться. А когда он уехал из Ханькоу, она сбежала из дому и последовала за ним, и так с тех пор и ездит за ним повсюду, так что он, бедный, смирился

¹ Девять дней молитвы (*фр.*).

² Боже мой (*фр.*).

и содержит ее и очень, говорят, к ней привязан. Эти маньчжурки, они бывают очень миловидные... Но что же это я, меня дела ждут, а я тут с вами рассиделась. Хороша мо-нахиня. Стыд, да и только.

51

У Китти появилось странное ощущение, будто она взрослеет. Постоянная работа отвлекала ее мысли, то, что она узнавала о жизни и взглядах других людей, будило воображение. Она приободрилась и чувствовала себя лучше. Ей долго казалось, что она способна только плакать; теперь же она, к своему удивлению и даже стыду, то и дело ловила себя на том, что смеется. Жить посреди страшной эпидемии стало казаться вполне естественным. Она знала, что вокруг люди умирают сотнями, но почти перестала об этом думать. Настоятельница запретила ей ходить в лазареты, и эти закрытые двери возбуждали ее любопытство. Ей очень хотелось туда заглянуть, но она, конечно, попалась бы кому-нибудь на глаза, и тогда неизвестно, какому наказанию подвергнет ее настоятельница. Вдруг ее прогонят, это было бы ужасно. Она так привязалась к детям, они будут по ней скучать, они вообще не смогут жить без нее.

А однажды она вдруг подумала, что уже неделю как не вспоминала Чарлза Таунсенда и не видела его во сне. Сердце громко стукнуло в груди — она исцелилась! Теперь она может думать о нем равнодушно. Она его больше не любит. О, какое это облегчение — чувствовать, что ты свободна! Даже странно оглянуться назад, вспомнить, как страстно она по нему тосковала. Узнав о его вероломстве, она думала, что умрет, не ждала от жизни ничего, кроме страданий. А вот она, оказывается, уже может смеяться. Ничтожество. Какой же она была душой! Теперь, успокоившись, она не могла понять, что она в нем нашла. Хорошо, что Уолдингтон ничего не знает, трудно было бы сносить его лукавые взгляды и иронические намеки. Наконец-то она свободна, свободна! Она чуть не расхохоталась от счастья.

Девочки в это время затеяли веселую возню; обычно она смотрела на них, снисходительно улыбаясь, умиряла, когда они слишком шумели, следила, чтобы не ушиблись и не поранились. Но сегодня она сама почувствовала себя ребенком и вступила в игру. Девочки приняли ее с восторгом.

Они гонялись за ней по всей комнате, пронзительно крича от непонятной, почти дикарской радости. От возбуждения они прыгали и топали ногами. Шум стоял оглушительный.

И вдруг отворилась дверь и на пороге выросла настоятельница. Китти страшно сконфузилась и с трудом высвободилась из десятка сцепившихся в нее маленьких рук.

— Так-то вы стараетесь, чтобы дети вели себя тихо? — спросила настоятельница с улыбкой.

— Мы играли, ма мёре. Они разволновались. Это я виновата. Я их взбудоражила.

Настоятельница вошла в комнату, и дети, как всегда, окружили ее. Она обнимала их за узенькие плечи, теребила их желтые ушки. Посмотрела на Китти долгим ласковым взглядом. Китти покраснелась, часто дышала. Ее влажные глаза сияли, чудесные волосы растрепались.

— Как вы прелестны, дитя мое, — сказала настоятельница. — Сердце радуется, на вас глядя. Немудрено, что дети вас обожают.

Китти покраснела еще гуще, и почему-то слезы брызнули у нее из глаз. Она закрыла лицо руками.

— О, ма мёре, мне стыдно.

— Полно, какие глупости. Красота тоже дар Божий, один из редчайших и драгоценнейших. Мы должны быть благодарны, если удостоились его, а если нет, должны быть благодарны, что другие удостоились его, нам на радость.

Она опять улыбнулась Китти и тоже, как ребенка, легонько потрепала ее по щеке.

52

С тех пор как Китти начала работать, она реже виделась с Уолдингтоном. Два-три раза он встречал ее у перевоза и они вместе поднимались к ее дому. Он заходил, выпивал стаканчик, но обедать не оставался. И вот однажды под воскресенье он предложил ей завтра захватить с собой закуску и отправиться в паланкинах в буддийский монастырь. Монастырь этот находился в десяти милях от города и когда-то славился как место паломничества. Настоятельница, полагая, что Китти хоть раз в неделю нужно отдыхать, не велела ей приходить по воскресеньям, а Уолтер, конечно, и в воскресные дни работал с утра до ночи.

Чтобы прибыть на место до большой жары, они пустились в путь очень рано по узкой дороге меж рисовых полей. Миновали несколько крепких крестьянских домов, приютившихся в бамбуковых рощах. Китти наслаждалась бездельем. Хорошо было после заточения в душном городе видеть вокруг деревенское раздолье. Они добрались до монастыря — низких построек, разбросанных по берегу реки в тени деревьев, — и улыбающиеся монахи повели их дворами, торжественно пустынными, и показали храмы, где кривлялись диковинные боги. В святилище восседал Будда, отрешенный, печальный, с чуть заметной улыбкой на губах. На всем лежала печать запустения; великолепия было дешевое, обветшалое; боги запылились, вера, породившая их, умирала. Монахи словно доживали здесь последние дни, готовые к тому, что их вот-вот попросят очистить помещение, а в улыбке благостно учтивого настоятеля таилась ироническая покорность судьбе. Скоро, скоро монахи покинут эти тенистые куши, и заброшенные здания начнут разрушаться от зимних бурь и под натиском вступающей в свои права природы. Ползучие растения обовьют умершие статуи, во дворах вырастут деревья. И обитать здесь будут уже не боги, а злые духи тьмы.

53

Они сидели на ступеньках маленькой пагоды (четыре лакированных столбика и высокая крыша, осеняющая бронзовый колокол) и смотрели на реку, как она лениво, по бесконечным излучинам уходила к зараженному городу. Отсюда были видны его зубчатые стены. Зной навис над ним, как погребальный покров. Но река, хоть и текла так медленно, все же была в движении, и от этого возникало грустное чувство быстротечности жизни. Все проходит, и если оставляет после себя след, то какой? Китти казалось, что все они, все люди на земле, подобны каплям воды в этой реке, что безымянный поток всех влечет к морю. Когда все так преходяще и ничтожно, стоит ли людям, раздувая мелочи до размеров важных событий, так терзать себя и других?

— Вы Харрингтон-Гарденз знаете? — спросила она Уоддингтона, задумчиво улыбаясь.

— Нет, а что?

— Да ничего, просто это очень далеко отсюда. Там живут мои родители.

— А вы подумываете об отъезде домой?

— Нет.

— Отсюда вы, надо полагать, сниметесь месяца через два. Эпидемия как будто пошла на убыль, а станет холоднее, так и совсем прекратится.

— Мне, пожалуй, будет жалко отсюда уезжать.

Она задумалась о будущем. Какие у Уолтера планы, она не знала. С нею он не делился. Был холоден, вежлив, молчалив, непроницаем. Две капли в реке, бесшумно текущей в неизвестность, такие неповторимые друг для друга, а на посторонний глаз неразличимые в общем потоке.

— Смотрите, как бы монахини не обратили вас в свою веру, — сказал Уоддингтон со своей лукавой усмешкой.

— Им некогда этим заниматься. Да это для них и не важно. Они бесконечно добры, вообще это удивительные женщины. А все-таки... не умею я это объяснить... нас разделяет стена. Не знаю, в чем тут дело. Как будто им известен секрет, который и есть для них самое важное, а я недостойна к нему приобщиться. Это не вера, а что-то более глубокое и значительное. Они пребывают в своем мире, а нам туда доступа нет и не будет. Каждый день, когда за мной закрывается дверь монастыря, я чувствую, что перестала для них существовать.

— Ну понятно, для вашего тщеславия это чувствительный афронт, — поддразнил он.

— Тщеславия? — Китти пожала плечами. Потом с ленивой улыбкой обратилась к нему: — Почему вы мне никогда не рассказывали, что живете с маньчжурской принцессой?

— Чего еще эти старые сплетницы вам наболтали? Для монахинь это же смертельный грех — обсуждать частную жизнь таможенных чиновников.

— Почему вы так болезненно это воспринимаете?

Уоддингтон скосил глаза вниз, словно придумывая ответ похитрее, а потом слегка пожал плечами.

— Афишировать тут нечего. Навряд ли это способствовало бы моему продвижению по службе.

— Вы ее очень любите?

Он поднял голову, теперь на его некрасивом лице было выражение как у провинившегося школьника.

— Она ради меня бросила все — дом, семью, обеспеченное положение. Уже много лет как от всего отказалась, лишь бы не расставаться со мной. Я несколько раз прогнал ее, а она возвращалась. И сам от нее сбегал, а она меня опять настигала. А теперь я махнул рукой — придется, видно, терпеть ее до конца дней.

— Она, наверно, любит вас до безумия.

— Странное это ощущение, — отозвался он, растерянно морща лоб. — Я ни минуты не сомневаюсь, что если б я решительно ее отставил, она покончила бы с собой. Не от обиды на меня, а совершенно естественно, потому что жить без меня не захотела бы. Очень странно сознавать это. От такого не отмахнешься.

— Но главное ведь — любить, а не быть любимым. К тем, кто тебя любит, даже благодарности не чувствуешь, с ними бывает только скучно.

— Как во множественном числе — не знаю. По опыту, могу говорить только о единственном.

— И она в самом деле принцесса и в родстве с императорской фамилией?

— Нет, это уж романтические фантазии монахинь. Она из очень знатной семьи, но в революцию они, конечно, разорились. Впрочем, она все же очень знатная леди.

Он произнес это с гордостью, так что Китти невольно улыбнулась.

— Значит, вы останетесь здесь на всю жизнь?

— В Китае? Да. Что ей делать в другой стране? Когда уйду в отставку, куплю в Пекине китайский домик и буду доживать там свои дни.

— А дети у вас есть?

— Нет.

Она с интересом на него посмотрела. Очень странно, что этот лысый человечек с обезьяньей мордочкой мог внушить чужестранке такую испепеляющую страсть. Говорил он о ней небрежно, не слишком уважительно, и все-таки безраздельное чувство этой женщины производило сильное впечатление, задевало какую-то струну.

— Да, далеко отсюда до Харрингтон-Гарденз, — улыбнулась она.

— Почему вы это сказали?

— Ничего я не понимаю. Жизнь вообще непонятна. Я чувствую себя так, будто всегда жила на берегу прудочка,

а мне вдруг показали море. Даже дух захватывает, но совсем не страшно. Я не хочу умирать, я хочу жить. Я чувствую в себе какое-то новое мужество. Как старый моряк пускается под парусом на поиски новых неведомых морей, так, наверно, и моя душа стремится все изведать.

Уоддингтон задумчиво поглядел на нее. Ее взгляд застыл на далекой глади реки. Две капли, что тихо, бесшумно движутся к вечному морю.

— Можно мне навестить маньчжурскую леди? — вдруг спросила она, подняв голову.

— Она ни слова не говорит по-английски.

— Вы были ко мне очень добры, вы много для меня сделали, может быть, я и без слов сумела бы ей выразить, как хорошо к ней отношусь.

Уоддингтон усмехнулся чуть язвительно, однако ответил вполне дружелюбно:

— Я как-нибудь зайду за вами, и она угостит вас жасминовым чаем.

Китти не стала говорить ему, что эта повесть о чужеземной любви с самого начала поразила ее воображение, и теперь маньчжурская принцесса сделалась для нее символом чего-то, что смутно, но неотступно манило ее, как загадочный перст, указующий на мистическую обитель духа.

54

Но несколько дней спустя Китти сделала совсем уже неожиданное открытие.

С утра, придя в монастырь, она, как всегда, первым делом пошла проследить, чтобы детей как следует умыли и одели. Поскольку монахини твердо держались мнения, что ночной воздух вреден для здоровья, атмосфера в спальнях была несвежая, спертая. После утренней прохлады Китти особенно это чувствовала и спешила открыть те из окон, которые вообще открывались. Но в этот день ей прямо-таки стало дурно, закружилась голова, и она остановилась у окна, чтобы немного прийти в себя. Так плохо ей еще никогда не бывало. Тошнота подступила к горлу, ее вырвало. Она вскрикнула, перепугала детей, к ней подбежала старшая девочка, помогавшая ей, и, увидев, что она изменилась в лице и вся дрожит, в страхе застыла на месте. Холера! Мысль эта пронеслась у Китти в мозгу, и ей показалось,

что она умирает. Ее охватил ужас. Минуту она еще мучительно боролась с темной силой, словно разлившейся по жилам, а потом провалилась во мрак.

Открыв глаза, она не сразу поняла, где находится. Словно бы она лежала на полу, а когда пошевелила головой, почувствовала под головой подушку. Она ничего не помнила. Рядом с ней стояла на коленях настоятельница, подносила к ее носу нюхательную соль, и тут же маячила сестра Сен-Жозеф. Потом сразу вспомнилось все. Холера! На лицах монахинь написан ужас. Сестра Сен-Жозеф стала огромная, контуры ее расплылись. Китти снова ощутила смертельный страх.

— О, ma mère, — простонала она, — я умру? Я не хочу умирать.

— С чего вы это взяли?

Настоятельница была совершенно спокойна, а глаза даже веселые.

— Но это холера! Где Уолтер? За ним послали? О Господи!

И она разрыдалась. Настоятельница протянула ей руку, и Китти ухватилась за эту руку, словно то была сама жизнь, которую она так боялась упустить.

— Полно, полно, дитя мое, будьте благоразумны. Никакая это не холера.

— Где Уолтер?

— Ваш муж занят, и незачем его зря беспокоить. Через пять минут вы будете совершенно здоровы.

Китти ответила ей изумленным, непонимающим взглядом. Почему она не волнуется? Это жестоко.

— Полежите еще немножко, — сказала настоятельница. — А тревожиться не о чем.

У Китти бешено заколотилось сердце. Она так свыклась с мыслью о холере, что уже перестала было бояться за себя. Какая же она была дура! Вот она и умирает. Девочки внесли в комнату низкое плетеное кресло и поставили у окна.

— Давайте-ка мы вас поднимем, — сказала настоятельница. — В шезлонге вам будет удобнее. На ногах вы стоите?

Она подхватила Китти под мышки, сестра Сен-Жозеф помогла ей встать. Она без сил опустилась в кресло.

— Я лучше закрою окно, — сказала сестра Сен-Жозеф. — Ну, как утренний воздух ей повредит.

— Нет-нет, — взмолилась Китти. — Пожалуйста, не закрывайте.

Хорошо было увидеть синее небо. Ее еще трясло, но ей безусловно стало лучше.

Обе монахини смотрели на нее, потом сестра Сен-Жозеф сказала настоятельнице что-то, чего Китти не разобрала. Потом настоятельница села с ней рядом и взяла ее за руку.

— Послушайте, дитя мое...

Она задала ей кое-какие вопросы. Китти отвечала, не понимая их смысла. Губы у нее дрожали и не слушались.

— И сомневаться нечего, — сказала сестра Сен-Жозеф. — Меня в этих делах не обманешь.

Она залилась смехом, в котором Китти послышалось и радостное волнение, и участие. Настоятельница, все еще держа Китти за руку, улыбнулась с нескрываемой нежностью.

— Сестра Сен-Жозеф разбирается в этом лучше меня, дитя мое, она сразу определила, что с вами такое. И очевидно, не ошиблась.

— А что со мной? — встрепелась Китти.

— Все ясно как день. Неужели такая возможность не приходила вам в голову? Вы беременны.

Китти как на пружине подкинуло. Она спустила ноги на пол, готовая вскочить.

— Тихо, тихо, — сказала настоятельница.

Китти, красная как рак, прижала руки к груди.

— Не может этого быть. Это неправда.

— *Qu'est ce qu'elle dit?*¹ — спросила сестра Сен-Жозеф.

Настоятельница перевела. Румяное лицо сестры Сен-Жозеф расплылось в улыбке.

— Уж вы мне поверьте. Даю честное слово.

— Вы сколько времени замужем, дитя мое? — спросила настоятельница. — Ну вот, у жены моего брата через столько же времени после свадьбы уже было двое детей.

Китти устало откинулась в кресле. В душе ее была смерть.

— Мне так стыдно, — прошептала она.

— Стыдно, что у вас будет ребенок? Это же так естественно.

— *Quelle joie pour le docteur?*², — добавила сестра Сен-Жозеф.

¹ Что она говорит? (фр.).

² Какая радость для доктора (фр.).

— Да, подумайте только, какая это радость для вашего мужа. Он будет вне себя от счастья. Надо видеть, какое у него делается лицо, когда он возится с нашими младенцами, а уж своему-то и подавно будет рад.

Китти умолкла. Монахини продолжали ласково ее разглядывать, настоятельница гладила по руке.

— Глупо, как я раньше не догадалась, — сказала Китти. — Во всяком случае, я рада, что это не холера. Мне уже гораздо лучше, пойду работать.

— Сегодня бы не стоило, милая, — сказала настоятельница. — Вы переволновались, ступайте-ка лучше домой и отдохните.

— Нет-нет, я лучше останусь здесь.

— Старших надо слушаться. Что бы сказал наш милый доктор, если бы я разрешила вам поступить так неосторожно? Приходите завтра, если будет охота, или послезавтра, но на сегодня с вас хватит. Сейчас пошлю за паланкином. Отрядить мне кого-нибудь из девочек вам в провожатые?

— Не надо. Я отлично доберусь и одна.

55

Китти лежала на своей постели при закрытых ставнях. Шел третий час дня, слуги спали. После того что она узнала утром (а теперь у нее не осталось сомнений), она пребывала в полном оцепенении. С самого возвращения домой она старалась собраться с мыслями, но в голове было пусто, мысли разбегались. Вдруг за стеной послышались шаги, шел кто-то в обуви — значит, не слуги; у нее екнуло сердце, это мог быть только Уолтер. Он прошел в гостиную, окликнул ее, она не ответила. После короткой паузы — стук в дверь.

— Да?

— Можно войти?

Китти встала и накинула халат.

— Входи.

Он вошел. Хорошо, что ставни закрыты, так что ее лицо в тени.

— Я тебя не разбудил? Я постучал совсем тихо.

— Я не спала.

Он подошел к одному из окон и распахнул ставни. В комнату хлынул поток теплого света.

— Что случилось? — спросила она. — Почему ты так рано?

— Монахини сказали, что ты плохо себя чувствуешь. Я зашел узнать, в чем дело.

На минуту в ней вспыхнул гнев.

— Что ты сказал бы, если б это была холера?

— Будь это холера, ты, безусловно, не добралась бы домой.

Чтобы оттянуть время, она подошла к туалетному столику, провела гребенкой по стриженным волосам. Потом села и закурила.

— Утром мне нездоровилось, настоятельница решила, что мне надо побыть дома. Но сейчас все прошло. Завтра пойду туда, как обычно.

— Так что же с тобой было?

— А они тебе не сказали?

— Нет, настоятельница говорит, что ты мне сама расскажешь.

Тут случилось то, чего уже давно не бывало: он в упор посмотрел на нее; профессиональный инстинкт оказался сильнее личного чувства. Она заколебалась, потом заставила себя встретиться с ним глазами.

— У меня будет ребенок.

Она уже привыкла, что он встречает молчанием слова, которые должны бы вызвать удивленный возглас, но никогда еще это молчание не казалось ей таким убийственным. Он не вздрогнул, не шелохнулся, ни словом, ни выражением глаз не показал, что слышал ее. Ей захотелось плакать. Когда муж и жена любят друг друга, в такие минуты глубокое волнение еще больше их сближает. Молчание было нестерпимо, и она не выдержала.

— Не знаю, почему я раньше об этом не подумала. Глупо, конечно, но... я как-то запуталась...

— И сколько времени ты уже... когда ты должна родить?

Слова как будто давались ему с трудом. Она чувствовала, что у него пересохло в горле. И надо же, как у нее дрожат губы. Если он не каменный, это должно вызывать жалость.

— У меня сейчас срок два или три месяца.

— Отец ребенка я?

Она судорожно вздохнула. Голос его слегка дрогнул, или ей показалось? Будь проклята эта его холодная сдержанность, при которой малейшее проявление чувства так

потрясает. Почему-то ей вдруг вспомнился прибор, который ей показывали в Гонконге, на нем чуть заметно колебалась стрелка, и ей объяснили, что это значит: за тысячу миль от них произошло землетрясение, унесшее около тысячи человеческих жизней. Она взглянула на Уолтера. Он был бледен как полотно. Таким она видела его только раз, нет, два раза. Он смотрел в пол, слегка скосив глаза.

— Ну?

Она стиснула руки. Как ему сейчас нужно, чтобы она ответила «да»! Он ей поверит, непременно поверит, потому что хочет поверить. И простит. Она знала, сколько нежности он таит в душе и как, вопреки своей робости, мечтает излить ее на кого-то. Она знала, что он не злопамятен; он простит, если только дать ему для этого повод, который затронул бы его сердце, и простит до конца. Никогда не попрекнет ее тем, что было, этого можно не бояться. Пусть он жесток, мрачен, холоден, но он не подл и не мелочен. Все пойдет по-другому, стоит ей сказать «да».

А она жаждала сочувствия. Когда ей так неожиданно открылось, что она беременна, в ней зародились странные надежды, неосознанные желания. Она чувствовала себя слабой, оробевшей, одинокой, без единого друга на свете. Как ни далеки они были с матерью, ее остро потянуло под материнское крыло. Она тосковала о помощи, об утешении. Уолтера она не любила и знала, что никогда не полюбит, но сейчас ей страстно хотелось, чтобы он ее обнял и можно было прижаться головой к его груди и заплакать счастливыми слезами. Хотелось, чтобы он поцеловал ее, хотелось обвить руками его шею.

Она заплакала. Она столько лгала в последние месяцы, лож давалась ей так легко. Чем плоха ложь, если она — на благо? Так легко сказать «да». Она уже видела потеплевшие глаза Уолтера, его руки, протянутые к ней. И не могла выговорить это слово. Не могла, и все. Она столько пережила за эти горькие недели. Чарли и его отступничество, холера и бесконечные смерти со всех сторон, монахини, даже забавный пьянчужка Уолдингтон — все это произвело в ней перемену, она сама себя не узнавала. Ей казалось, будто какой-то двойник следит за ней с удивлением и страхом. Нет, она должна сказать правду. Какой смысл лгать. Мысль ее сделала странный скачок: она вдруг увидела того мертвого нищего на земле, у стены участка. Почему он ей

вспомнился? Она не рыдала. Слезы ее лились рекой, глаза были открыты. Наконец она вспомнила про его вопрос. Он ее спросил, он ли отец ребенка. И теперь она ответила: — Не знаю.

Послышался тихий смешок, от которого ее бросило в дрожь.

— Нескладно получилось, а?

Как это на него похоже. Именно такого замечания от него можно было ждать, но у Китти упало сердце. Понял ли он, как трудно ей было сказать правду (впрочем, поправилась она, совсем было не трудно, а просто невозможно иначе), оценил ли ее честность? Собственные слова «не знаю, не знаю» стучали в мозг. Теперь уж их не возьмешь обратно. Она достала из сумки платок и вытерла слезы. Оба молчали. На столе у кровати стоял сифон, Уолтер налил ей воды. Он поддерживал стакан, пока она пила, и она заметила, как исхудала эта рука, красивая, с длинными пальцами, но буквально кожа да кости. И чуть дрожит. С лицом он мог совладать, а рука его выдала.

— Ты не обращай внимания, что я плачу, — сказала она. — Это я так, просто слезы сами из глаз льются.

Она выпила воду, он отнес стакан на место, сел на стул и закурил. Вот он легонько вздохнул. Ей уже доводилось слышать такие вздохи, от них всякий раз щемило сердце. Он устремил невидящий взгляд в окно, а она, присмотревшись к нему, поразилась, до чего он похудел за последние недели. Виски запали, кости лица выпирают наружу. Платье висит на нем как на вешалке. Кожа под загаром зеленовато-бледная. Вид изможденный. Он слишком много работает, спит мало, ничего не ест. Несмотря на собственные горести и тревоги, она нашла в себе силы пожалеть его. Как больно думать, что ничем не можешь ему помочь.

Он приложил руку ко лбу, словно у него разболелась голова, и ей представилось, что у него в мозгу тоже неотступно стучат слова «не знаю, не знаю». Странно, что этот холодный, хмурый, застенчивый человек наделен любовью к самым маленьким. Мужчины часто и к своим-то равнодушны, но про него монахини сколько раз ей рассказывали, это их и трогало, и смешило. Если он так любит этих китайчат, как же он любил бы своего ребенка! Китти закусила губу, чтобы опять не расплакаться.

Уолтер взглянул на часы.

— Пора мне обратно в город. У меня сегодня еще уйма работы. Ты как, ничего?

— Обо мне не беспокойся.

— Ты вечером не дожидайся меня. Я, возможно, вернусь очень поздно, а накормит меня полковник Ю.

— Хорошо.

Он встал.

— Советую сегодня не переутомляться, дай себе передышку. Тебе что-нибудь подать, принести?

— Нет, спасибо. Ничего не нужно.

Он еще постоял как бы в нерешительности, потом, не глядя на нее, взял шляпу и вышел. Она слышала, как он шел от крыльца к воротам. Одна, до ужаса одна. Сдерживаться теперь было не нужно, и она дала волю слезам.

56

Вечер был душный, и, когда Уолтер наконец вернулся, Китти сидела у окна, глядя на причудливые крыши китайского храма, черные на фоне звездного неба. Глаза ее опухли от слез, но она успокоилась. Странная тишина снизошла в душу, несмотря на все треволнения, — может быть, просто от усталости.

— Я думал, ты уже спишь, — сказал Уолтер входя.

— Мне не спалось. Когда сидишь, не так жарко. Тебя покормили?

— Еще как.

Он прошелся взад-вперед по длинной комнате, и она поняла, что он хочет о чем-то поговорить с ней, но не знает, как начать. Без тени волнения она ждала, чтоб он собрался с духом. И дождалась.

— Я обдумал то, что ты мне сегодня рассказала. Мне кажется, тебе лучше отсюда уехать. Я уже поговорил с полковником Ю, он согласен предоставить тебе охрану. Можешь взять с собой служанку. Ты будешь в полной безопасности.

— А куда я могла бы уехать?

— Можешь уехать к матери.

— Думаешь, она мне обрадуется?

— Тогда можешь поехать в Гонконг.

— А что мне там делать?

— Тебе сейчас нужен уход, внимание. Я просто не вправе удерживать тебя здесь.

В ее улыбке была не только горечь, но и веселая насмешка. Она взглянула на него и чуть не рассмеялась.

— С чего это ты вдруг так беспокоишься о моем здоровье?

Он подошел к окну и остановился, глядя в ночь. Никогда еще в безоблачном небе не было столько звезд.

— Женщине в твоём положении нельзя здесь оставаться.

Его легкий белый костюм пятном выделялся во мраке; в чеканном профиле было что-то зловещее, но, как ни странно, сейчас он не внушал ей ни малейшего страха. Неожиданно она спросила:

— Когда ты добился, чтобы я сюда поехала, ты хотел моей смерти?

Он не отвечал так долго, что она успела подумать, не притворяется ли он, будто не слышал.

— Сначала — да.

Она нервно поежилась — ведь это он впервые сознался в своём намерении. Но зла она на него не держала. Она сама себе удивлялась — сейчас он даже внушал ей восхищение и в то же время был немного смешон. А когда она вдруг вспомнила про Чарли Таунсенда, то решила, что он просто глуп.

— Ты шел на страшный риск, — отозвалась она. — При твоей сверхчувствительной совести ты не простишь себе, если бы я умерла.

— Ну вот, а ты не умерла. Ты даже поздоровела.

— Я в жизни не чувствовала себя лучше.

Ее подмывало воззвать к его чувству юмора. После всего, что они пережили, среди всех этих ужасов и невзгод, идиотством казалось придавать значение такой ерунде, как блуд. Когда смерть подстерегает за каждым углом и уносит свои жертвы, как крестьянин — картошку с поля, не все ли равно, хорошо или плохо тот или иной человек распоряжается своим телом. Если б он только мог понять, как мало значит для нее теперь Чарли — даже лицо его вспоминается уже с трудом, — как безвозвратно эта любовь ушла из ее сердца! У нее не осталось к Таунсенду ни капли чувства, и потому обесмыслилось все, в чем они были повинны. Сердце ее снова свободно, а что тут было замешано тело — да наплевать на это! Ей хотелось сказать Уолтеру: «Слушай,

не пора ли нам образумиться? Мы дулись друг на друга, как дети. Давай помиримся. Любви между нами нет, но почему нам не быть друзьями?»

Он стоял очень тихо. Бесстрастное лицо в свете лампы было мертвенно-бледно. Она не надеялась на него: если скажешь не то, он обрушит на тебя такой ледяной сарказм! Она уже знала, какая ранимость скрывается под этой язвительной маской, как быстро он может замкнуться, если будут задеты его чувства. Надо же быть таким идиотом! Для него важнее всего удар по его самолюбию — наверно, от такого удара вообще труднее всего оправиться. Чудаки эти мужчины, что придают такое значение верности жен. Самато она, когда сошлась с Чарли, думала, что изменилась неузнаваемо, а оказалось, что она все такая же, только счастливее и жизнерадостнее. И почему она не смогла сказать Уолтеру, что ребенок его? Ей эта ложь ничего бы не стоила, а для него была бы такая радость. А может, это и не было бы ложью; даже удивительно, что в своих интересах она не подумала о такой лазейке, а вот не подумала... До чего же мужчины глупые! Их роль в этом деле так ничтожна. Это женщина долгие, тягостные месяцы носит ребенка, женщина в муках рождает его, а мужчина, сбоку припека, туда же, со своими претензиями. Почему это должно влиять на его отношение к ребенку? И мысли Китти обратились к тому ребенку, которого ей самой предстояло родить; она подумала о нем не с волнением, не в радостном предвкушении материнства, а с ленивым любопытством.

— Тебе, конечно, еще хочется это обдумать, — сказал Уолтер, нарушая долгое молчание.

— Что обдумать?

Он оглянулся, словно удивленный ее вопросом.

— Когда тебе лучше ехать.

— Но я не хочу уезжать.

— Почему?

— Мне нравится работать в монастыре. По-моему, я приношу там пользу. Я предпочла бы дождаться тебя.

— Мне, пожалуй, следует тебе объяснить, что в твоём теперешнем положении ты особенно подвержена любой инфекции.

— Как деликатно ты это выразил, — сказала Китти с усмешкой.

— Ты не ради меня остаешься?

Она замялась. Откуда ему знать, что сейчас самое сильное чувство, какое он у нее вызывает, и самое неожиданное — это жалость.

— Нет. Ты меня не любишь. Тебе со мной, наверно, скучно.

— Не подумал бы я, что женщина твоего склада способна пожертвовать своими удобствами ради нескольких праведных монахинь и оравы китайских детишек.

Она улыбнулась.

— Это несправедливо — презирать меня за то, что ты так неправильно меня расценил. Я не виновата, что ты был таким олухом.

— Если ты твердо решила остаться, я, конечно, не собираюсь тебе перечить.

— К сожалению, я не могу дать тебе повод проявить великодушие. — Почему-то ей сейчас было трудно говорить с ним всерьез. — И между прочим, ты совершенно прав: я остаюсь не только ради бедных сироток. Я, понимаешь ли, оказалась в таком положении, что у меня во всем мире нет ни одной родной души. Я не знаю никого, кто принял бы меня с радостью. Никого, кому есть дело, жива я или умерла.

Он нахмурился, но не от гнева.

— Хорошеньких дел мы с тобой натворили, а? — сказал он.

— Ты все еще собираешься подать на развод? Мне это теперь безразлично.

— Ты же знаешь, что, привезя тебя сюда, я тем самым отказался от права обвинения.

— Нет, я не знала. Я, понимаешь, не специалист по супружеским изменам. Что же мы будем делать, когда уедем отсюда? По-прежнему будем жить вместе?

— Ох, давай лучше не загадывать так далеко вперед.

В голосе его была смертельная усталость.

57

Три дня спустя Уоддингтон зашел за Китти в монастырь (она, не находя себе места от беспокойства, сразу вернулась к работе) и повел, как было обещано, на чашку чаю к своей сожительнице. Китти уже не раз обедала у него. Дом был белый, квадратный, парадный, из тех, какие Таможня строит для своих служащих по всему Китаю. Столовая,

где они обедали, гостиная, где пили кофе, были обставлены добротнo и строго. В обстановке ничего домашнего, не то отель, не то канцелярия, сразу видно, что эти дома — всего лишь случайное, временное жилище для сменяющихся обитателей. Никому бы и в голову не пришло, что на втором этаже скрыта от посторонних глаз тайна, притом романтического свойства. Они поднялись по лестнице. Уоддингтон отворил дверь. Китти оказалась в большой голой комнате с белыми стенами, на которых развешаны были свитки со столбиками иероглифов. За квадратным черным столом, в жестком кресле тоже черного дерева и покрытого сложной резьбой, сидела маньчжурка. При виде Китти и Уоддингтона она встала, но не двинулась им навстречу.

— Вот она, — сказал Уоддингтон и добавил что-то по-китайски.

Женщина поздоровалась за руку. Она была очень стройная, в длинном вышитом платье и выше ростом, чем ожидала Китти, привыкшая к уроженкам южного Китая. На ней была бледно-зеленая кофта с узкими рукавами, прикрывавшими запястья; на черных, тщательно причесанных волосах красовался головной убор маньчжурских женщин. Лицо было густо напудрено, щеки от глаз до самого рта нарумянены, выщипанные брови как тонкие черные черточки, рот ярко-алый. На этой маске большие черные, слегка раскосые глаза горели, как два озера живого агата. Не женщина, а раскрашенный идол. Движения ее были неспешны, уверенны. Китти показалось, что она немного робеет, но полна любопытства. Пока Уоддингтон говорил с ней, она изредка кивала и взглядывала на Китти. Китти поразили ее руки — невероятно длинные, тонкие, цвета слоновой кости, с накрашенными ногтями. Никогда еще она не видела таких прелестных, томных, грациозных рук. В них угадывалась родовитость несчетных поколений.

Она заговорила высоким, резким голосом — словно птицы защебетали в саду, — и Уоддингтон перевел Китти ее слова, что она рада ее видеть, и сколько ей лет, и сколько у нее детей? Они сели на три жестких кресла вокруг квадратного стола, и бой подал чай, бледный и ароматизированный жасмином. Маньчжурка предложила Китти зеленую жестянку с сигаретами «Три замка». Кроме стола и кресел, в комнате почти не было мебели, только широкий спальньй тюфяк с вышитым валиком в изголовье и два ларя сандалового дерева.

— Что она делает целыми днями? — спросила Китти.

— Немного рисует красками, изредка пишет стихи. А по большей части просто сидит. Курит, но умеренно, и я этому рад, поскольку в мои обязанности входит пресекать торговлю опиумом.

— А сами вы курите? — спросила Китти.

— Очень редко. Честно говоря, я предпочитаю виски.

В комнате стоял слабый приторно-едкий запах, не то чтобы неприятный, но характерный, свойственный восточным домам.

— Скажите ей, что мне жаль, что я не могу с ней поговорить. У нас, я уверена, нашлось бы что сказать друг другу.

Когда Уоддингтон перевел, маньчжурка бросила на Китти быстрый взгляд, в котором светилась улыбка. Она сидела в своем пышном наряде, очень величественная, нисколько не смущенная, а глаза на раскрашенном лице были настороженные, загадочные, бездонные. Она была неестественна, как кукла, и притом до того грациозна, что Китти перед ней казалась себе неуклюжей. До сих пор Китти воспринимала Китай, куда забросила ее судьба, без особого внимания, немного свысока. Так было принято в ее кругу. Теперь же на нее повеяло чем-то потусторонним, таинственным. Вот он, Восток, древний, неведомый, непостижимый. Верования и идеалы Запада показались ей грубыми по сравнению с теми идеалами и верованиями, что словно воплотились в этом изысканно-прекрасном создании. Перед ней была совсем другая жизнь, жизнь в совершенно ином измерении. Перед лицом этой куклы с накрашенным ртом и настороженными раскосыми глазами искания и боли повседневного мира утрачивали всякий смысл. Словно за размалеванной маской скрывалось огромное богатство глубоких, значительных переживаний, словно эти тонкие, изяшные руки с длинными пальцами держали ключ к неразрешимым загадкам.

— О чем она думает целыми днями? — спросила Китти.

— Ни о чем, — улыбнулся Уоддингтон.

— Она изумительна. Скажите ей, что я еще никогда не видела таких прекрасных рук. Хотела бы я знать, за что она вас любит.

Уоддингтон улыбаясь перевел ее вопрос.

— Она говорит, что я хороший.

— Как будто женщины любят мужчин за их добродетели, — фыркнула Китти.

Рассмеялась маньчжурка всего один раз. Это случилось, когда Китти, чтобы поддержать разговор, стала восхищаться ее нефритовым браслетом. Она сняла браслет, и Китти попробовала его примерить, но, хотя рука у нее была маленькая, браслет на нее не налез. Вот тут маньчжурка и рассмеялась, как ребенок. Она сказала что-то Уоддингтону. Потом позвала служанку, дала ей какое-то поручение, и та, исчезнув на минуту, вернулась с парой очень красивых маньчжурских туфель.

— Она хочет подарить их вам, если окажутся впору, — объяснил Уоддингтон. — Для комнат это очень удобная обувь.

— Они мне как раз, — сказала Китти не без самодовольства, но, заметив, как хитро ухмыльнулся Уоддингтон, быстро спросила:

— А ей они велики?

— О да.

Китти рассмеялась, а когда Уоддингтон перевел, посмеялись и маньчжурка и служанка.

Немного позднее, когда Китти и Уоддингтон поднимались к ее дому, она повернулась к нему с дружеской улыбкой.

— Вы мне и не сказали, как сильно ее любите.

— А с чего вы это взяли?

— По глазам видно. Странно. Это, наверно, все равно как любить призрак или грезу. Мужчины вообще непредсказуемы. Я думала, вы как все, а теперь чувствую, что ничегошеньки о вас не знаю.

Проводив ее до калитки, он неожиданно спросил:

— Зачем вам нужно было ее увидеть?

Китти ответила, немного подумав:

— Я чего-то ищу, чего — сама не знаю. Но знаю, что это очень важно и что, если найти, все пойдет по-другому. Может быть, это известно монахиням; но когда я с ними, я чувствую, что они знают секрет, которым не хотят делиться. Почему-то мне пришло в голову, что, если я увижу эту женщину, мне станет понятно, чего я ищу. Может, она мне и сказала бы, если б могла.

— А почему вы думаете, что она это знает?

Китти искоса поглядела на него и ответила вопросом на вопрос:

— А вы это знаете?

Он пожал плечами.

— Дао. Путь. Одни из нас ищут его в опиуме, другие в Боге, кто в вине, кто в любви. А Путь для всех один и ведет в никуда.

58

Китти вернулась в уже привычную для нее рабочую коллею и, хотя с утра чувствовала себя очень неважно, не давала себе распускаться. Ее удивило, какой интерес стали проявлять к ней монашенки. Раньше, встречая ее в коридоре, они только здоровались, теперь же, по-детски волнуясь, норовили под каким-нибудь пустячным предлогом зайти в комнату, где она находилась, посмотреть на нее и поболтать. Сестра Сен-Жозеф раз за разом вспоминала, что она уже давно что-то заметила и все думала: «Что бы это значило?» или «Скорее всего, это самое», а потом, когда Китти стало дурно, — «И сомневаться нечего, сразу видно». Она не уставала рассказывать о том, как проходили роды у ее невестки, и некоторые подробности могли бы сильно встревожить Китти, не обладай она чувством юмора. В сестре Сен-Жозеф приятно сочетались памятьливость (по лугу на ферме ее отца протекала река, и тополя, что росли на берегу, дрожали от малейшего ветра) и короткое знакомство с библейскими героями. Твердо убежденная в том, что еретичка ничего в этом не может смыслить, она однажды рассказала Китти про Благовещение.

— Я, когда читаю про это в Священном писании, всегда плачу, — сказала она. — Сама не знаю почему, просто сердце как-то дрожит.

И процитировала по-французски слова, показавшиеся Китти незнакомыми и суховатыми: «Ангел, вошед к ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою, благословенна Ты между женами»¹.

Тайна рождения веяла в стенах монастыря, как легкий ветерок среди цветущих яблонь. Мысль, что Китти ждет ребенка, смущала и будоражила этих бесплодных женщин. Они и робели перед Китти, и тянулись к ней. Физическую сторону ее состояния они воспринимали вполне здраво, ибо были дочерьми крестьян и рыбаков; но детские их сердца

¹ Евангелие от Луки, 1:28.

были полны благоговения. Мысль о бремени, которое она носит под сердцем, тревожила их и в то же время вызвала душевный подъем. Сестра Сен-Жозеф говорила, что все они за нее молятся, а сестра Сен-Мартен выразила сожаление, что Китти не католичка. Но настоятельница побранила ее и объяснила, что и протестантка может быть хорошей женщиной — *une brave femme* — и *le bon Dieu*¹ так или иначе все это уладит.

Китти и трогало, и забавляло, что она вызывает такой интерес, но по-настоящему ее удивило то, что даже настоятельница, столь строгая в своей святости, стала относиться к ней по-новому. Она всегда была добра к Китти, однако не снисходила до нее; теперь же проявляла к ней чуть не материнскую нежность. И голос ее звучал по-новому мягко, и в глазах мелькали веселые искорки, словно она любовалась Китти, как смышленным ребенком, сумевшим заслужить ее расположение. Китти все это умиляло. Словно в эту душу, спокойную и величавую, как серое море, пугающее своей сумрачной мощью, внезапно проник луч солнца, и оно ожило, подобрело, повеселело. По вечерам она теперь часто заходила посидеть с Китти.

— Я должна следить, чтобы вы не переутомлялись, дитя мое, — сказала она однажды, явно выдумав себе оправдание, — а то доктор Фейн ни за что мне не простит. Ах, эта британская сдержанность! Вот ведь он какой, себя не помнит от радости, но, стоит заговорить с ним про это, сразу бледнеет.

Она ласково потрепала Китти по руке.

— Доктор Фейн рассказал мне, что советовал вам уехать, но вы отказались, потому что не хотели расстаться с нами. Это очень похвально, дитя мое, и не думайте, что мы не ценим вашей помощи. Но я подозреваю, что вы и с ним не захотели расстаться, а это еще лучше, ибо ваше место — рядом с ним, вы ему нужны. Да, просто не знаю, что бы мы делали без этого замечательного человека.

— Мне отраднo думать, что он кое-что сделал для вас, — сказала Китти.

— Любите его всем сердцем, милая. Он — святой.

Китти улыбнулась и подавила вздох. Для Уолтера она могла теперь сделать только одно, но как это сделать — не

¹ Боженька (*фр.*).

знала. Она хотела, чтобы он простил ее — уже не ради нее, но ради себя, ведь только это могло дать ему душевный покой. Просить его прощения бесполезно, если он догадается, что она желает добра не столько себе, сколько ему, он в своем упорном тщеславии тем более ей откажет (его тщеславие почему-то перестало ее раздражать, оно казалось естественным и только усиливало жалость, которую он внушал ей); единственный шанс — что какое-нибудь непредвиденное внешнее обстоятельство поможет застигнуть его врасплох. Он, возможно, даже ждет эмоционального взрыва, который избавил бы его от кошмара затаенной обиды, но и в этом случае будет в своей одержимости всеми силами бороться с собой.

Ну не позор ли, что люди, которым отпущено так мало времени в полном страданий мире, так безжалостно себя мучат?

59

Хотя настоятельница подолгу беседовала с Китти всего три или четыре раза да еще изредка по несколько минут, впечатление она произвела на Китти очень глубокое. Ее образ был подобен некой стране, на первый взгляд прекрасной, но негостеприимной; лишь потом обнаруживаешь в вкладах суровых гор приветливые деревушки под сенью фруктовых деревьев и веселые речки, бегущие по сочным лугам. Но этих отрадных картин, хоть они и удивляют и успокаивают, еще мало, чтобы чувствовать себя дома в этой стране бурых кряжей и просвистанных ветром равнин. Сойтись с настоятельницей по-человечески близко было бы невозможно, в ней было что-то безличное, что Китти ощущала и в общении с другими монахинями, даже с добродушной болтушкой сестрой Сен-Жозеф, но от настоятельницы ее отделяла почти физически осязаемая преграда. Как-то неуютно и страшновато делалось при мысли, что она ходит по одной с тобою земле, по горло занята мирскими делами и все же явственно обитает на уровне, для тебя недостижимом. Однажды она сказала Китти:

— Монахине мало пребывать в непрестанной молитве. Иисусу, она сама должна быть молитвой.

Хотя речь ее была неотделима от ее веры, Китти чувствовала, что это получается само собой, без всякого намере-

ния повлиять на еретичку. Ее удивляло, что настоятельница, столь милосердная к людям, даже не пытается вывести ее, Китти, из состояния, которое не может не казаться ей греховным невежеством.

Как-то вечером они засиделись за разговором. Дни стали короче, мягкий вечерний свет и радовал, и навевал легкую грусть. У настоятельницы вид был очень усталый. Трагическое бледное лицо осунулось, прекрасные темные глаза потеряли блеск. Может быть, это усталость склонила ее к несвойственной ей откровенности.

— Сегодня для меня памятный день, дитя мое, — сказала она, словно пробуждаясь от долгой задумчивости. — Годовщина того дня, когда я окончательно решила посвятить себя Богу. Я уже два года об этом думала, но призвание это меня отпугивало, я боялась, как бы меня вновь не одолели мирские помыслы. Но в то утро, во время причастия, я дала обет, что в этот же день, еще до вечера, сообщу о своем желании матери. После причастия я помолилась Иисусу о ниспослании мне душевного покоя и явственно услышала в ответ: «Ты тогда обретишь его, когда перестанешь его желать».

Настоятельница словно унеслась мыслями в прошлое.

— В тот день наш близкий друг мадам Вьерно ушла к кармелиткам, не сказавшись никому из родных. Она знала, что они не сочувствуют ее планам, но считала, что, как вдова, имеет право сама собой распоряжаться. Одна из моих кузин ездила к ней проститься и вернулась только вечером, очень взволнованная. Я еще не говорила с матерью, я дрожала при мысли, что нужно ей открыться, но не хотела и нарушить обет, данный во время святого причастия. Я стала расспрашивать кузину о ее поездке. Моя мать, казалось поглощенная рукоделием, внимательно слушала, а я мысленно подгоняла себя: если говорить, то нельзя терять ни минуты.

Странно, до чего отчетливо я помню эту сцену. Мы сидели за столом, круглым столом под красной скатертью, и работали при свете лампы с зеленым абажуром. Две мои кузины гостили у нас, и мы все вместе вышивали гладью сиденья и спинки, чтобы обновить стулья в гостиной. Подумайте только, на них не меняли обивку с времен Людовика XIV, когда их только купили, и они, как говаривала моя мать, выцвели и обтрепались до безобразия.

Я пробовала заговорить, но не могла выдать из себя ни слова, и вдруг моя мать, до того молчавшая, сказала, обращаясь ко мне: «Не понимаю поведения твоей подруги. Как это можно — уйти, не сказав ни слова тем, кому она так дорога. Это какой-то театральный жест, на мой взгляд безвкусный. Воспитанная женщина не сделает ничего такого, что заставило бы о ней судачить. Я надеюсь, что если ты когда-нибудь вздумаешь нас покинуть, что было бы для нас большим горем, то все же не сбежишь тайком, словно совершила преступление».

Вот когда нужно было заговорить, но так велика была моя слабость, что я могла только вымолвить: «О, не беспокойтесь, татап, у меня на это не хватило бы сил».

Мать ничего не ответила, и мне стало стыдно, что я не осмелилась выразиться яснее. Я словно услышала слова Иисуса, обращенные к святому Петру: «Петр, любишь ли ты меня?»¹ Какая же я слабая, подумала я, какая неблагодарная! Я люблю мою спокойную, обеспеченную жизнь, люблю мою семью, мои развлечения. Немного погодя, когда я еще предавалась этим горьким размышлениям, моя мать сказала, словно наш разговор и не прерывался: «А все же мне думается, моя Одетта, что в своей жизни ты еще совершишь что-то такое, о чем люди будут долго помнить».

Я еще не очнулась от своих мыслей, а мои кузины, не ведая, как колотится у меня сердце, продолжали спокойно вышивать, но матушка вдруг выронила из рук работу и, внимательно посмотрев на меня, сказала: «Дорогое мое дитя, я почти не сомневаюсь, что рано или поздно ты примешь постриг».

«Вы не шутите, маменька? — отозвалась я. — Вы ведь только что описали самое сокровенное мое желание».

«Ну еще бы! — вскричали мои кузины, не дав мне договорить. — Одетта уже два года только об этом и мечтает. Но вы не дадите вашего согласия, тетя? Нельзя вам на это соглашаться!»

«А по какому праву мы можем это запретить, мои милые дети, если на то будет воля Божия?»

Тогда мои кузины, желая обратить все в шутку, стали меня спрашивать, как я намерена распорядиться всякими безделушками, принадлежащими лично мне, и затеяли

¹ Евангелие от Иоанна, 21:15 — 17.

шутливый спор о том, кому из них что достанется. Однако веселье это длилось очень недолго, а потом мы заплакали. И тут на лестнице послышались шаги моего отца.

Настоятельница умолкла и глубоко вздохнула.

— Для моего отца это был тяжелый удар. Я была единственной дочерью, а мужчины часто любят дочек сильнее, чем сыновей.

— Великое это несчастье — иметь сердце, — улыбнулась Китти.

— Зато великое счастье — посвятить это сердце любви к Спасителю.

Тут к настоятельнице подошла одна из младших девочек и, уверенная, что ее не прогонят, показала ей неизвестно где раздобытую очень страшную игрушку. Настоятельница обняла девочку за плечи своей прекрасной худошавой рукой, а та доверчиво к ней прижалась. И Китти опять отметила, как ласкова ее улыбка и как безлична.

— Просто поразительно, па тебе, как эти сиротки вас обожают. Я бы загордилась, если б могла вызывать такое преклонение.

И ей настоятельница тоже подарила отрешенную и, однако же, прекрасную улыбку.

— Единственный способ завоевывать сердца — это уподоблять себя тем, чью любовь мы хотим заслужить.

60

Уолтер в тот вечер не вернулся к обеду. Китти подождала немного — обычно он, если задерживался в городе, находил способ известить ее, — но в конце концов села обедать одна. Она больше для вида отведала каждого из пяти-шести блюд, которые повар неизменно готовил, соблюдая обеденный обряд, несмотря на эпидемию и трудности со снабжением; а поев, растянулась в низком плетеном кресле у открытого окна и дала околдовать себя звездной ночи. Тишина сулила ей отдых.

Читать она не пыталась. Мысли проплывали по поверхности ее сознания, как белые облачка, отраженные в тихом пруду. Она так устала, что не в силах была ухватиться за какое-нибудь одно такое облачко, последовать за ним, проследить его путь. Она лениво пробовала подытожить впечатления, оставшиеся у нее от разговоров с монахинями. Каза-

лось странным, что, хотя их образ жизни внушал ей такое уважение, вера, толкавшая их на такой образ жизни, оставляла ее равнодушной. Она даже вздыхала легонько: может быть, все стало бы проще, если бы душу ее озарило это широкое белое сияние. Бывали минуты, когда ей хотелось рассказать настоятельнице о своем горе и чем оно вызвано, но не хватало духу: слишком страшно было, что эта строгая женщина будет плохо о ней думать. В ее глазах поведение Китти, несомненно, являет собой тяжкий грех. Странно, думалось Китти, что ей самой оно кажется не столько греховным, сколько некрасивым и глупым.

Может, это недомыслие с ее стороны, но, если связь с Таунсендом и представляется ей достойной сожаления, даже неприличной, в ней не раскаиваться надо, а поскорее о ней забыть. Все равно как если допустишь какой-нибудь промах на званом вечере — очень, конечно, обидно, но ничего не поделаешь, а придавать этому серьезное значение просто неумно. При воспоминании о Чарли ее пробирала дрожь — эта его крупная, упитанная фигура, безвольный подбородок и манера выпячивать грудь, чтобы не казалось, что у него брюшко. Жизнелюбие проявляется у него в тонких красных жилках, которые скоро затянут щеки сплошной сеткой. Когда-то ей так нравились его косматые брови, теперь же ей виделось в них что-то грубое, отталкивающее.

А будущее? Она была к нему до странности равнодушна, вообще о нем не задумывалась. Может быть, она умрет, когда родится ребенок. Ее сестра Дорис всегда считалась здоровее ее, а Дорис ведь чуть не умерла от родов. (Она исполнила свой долг — подарила наследника новой династии баронетов. Китти улыбнулась, вспомнив, какой радостью это было для ее матери.) Раз будущее так темно, это может означать, что ей не суждено его увидеть. Уолтер, вероятно, препоручит ребенка заботам ее матери... если ребенок выживет; а Уолтера она знает: он, даже если не будет уверен в своем отцовстве, не бросит ребенка на произвол судьбы. На Уолтера можно положиться, он в любых обстоятельствах покажет себя с наилучшей стороны. Какая жалость, что при всех его достоинствах — честности, готовности к самоотречению, чуткости и уме — его так трудно полюбить! Она теперь несколько его не боится, она его жалеет, и все же он кажется ей глуповат. Глубина его чувства — вот что сделало его особенно уязвимым, но когда-нибудь, как-

нибудь она сумеет добиться его прощения. Ее не оставляла мысль, что только вернув ему душевный покой, она искупит боль, которую причинила ему. Как жаль, что у него не развито чувство юмора: она-то может себе представить, что когда-нибудь они вместе посмеются, вспомнив, как сами себя терзали.

Она устала. Унесла лампу к себе в спальню, разделась. Легла и вскоре уснула.

61

Но ее разбудил громкий стук. Он впелся в ее сновидения, так что она не сразу сообразила, что это не сон. Стук продолжался, и она поняла, что стучат в калитку. Было совсем темно. Она посмотрела на свои часики со светящимися стрелками: половина третьего. Наверно, Уолтер — как он поздно! — а бой не слышит. Стук продолжался, все громче и громче, в молчании ночи он звучал очень тревожно. Потом он прекратился, она услышала, как отодвинули тяжелый засов. Никогда еще Уолтер не возвращался так поздно. Бедняга, наверно, совсем вымотался. Хоть бы у него хватило ума сразу лечь, а не корпеть, как всегда, в этой своей лаборатории!

Послышались голоса, кто-то вошел во двор. Странно, ведь Уолтер, когда возвращается поздно, старается не шуметь, чтобы не беспокоить ее. Не то два, не то три человека взбежали на крыльцо и вошли в соседнюю комнату. Китти испугалась. В глубине ее сознания всегда жила боязнь антиевропейских волнений. Что-нибудь началось? Сердце у нее забилося. Но смутные опасения еще только зародились в ее мозгу, когда кто-то подошел к ее двери и постучал.

— Миссис Фейн!

Она узнала голос Уоддингтона.

— Да. Что случилось?

— Встаньте, пожалуйста. Я к вам по делу.

Она встала и, надев халат, отперла и распахнула дверь. За дверью стоял Уоддингтон в китайских шароварах и чесучовом пиджаке, бой с фонарем в руке, а немного позади них — три китайских солдата в хаки. Она вздрогнула, увидев расстроенное лицо Уоддингтона, и весь он выглядел так, будто только что вскочил с постели.

— Что случилось? — повторила она чуть слышно.

— Не надо волноваться. Но нельзя терять ни минуты. Одевайтесь поскорее, и идемте.

— Но почему? Что-нибудь произошло в городе?

При виде солдат она сразу решила, что начались беспорядки и они присланы охранять ее.

— Ваш муж заболел. Идемте скорее.

— Уолтер! — вскрикнула она.

— Держите себя в руках. Я сам еще точно не знаю, в чем дело. Полковник Ю прислал ко мне этого офицера и просил меня немедленно доставить вас в его резиденцию.

Китти, вся похолодев, тупо посмотрела на него, потом отступила от двери.

— Я буду готова через две минуты.

— Я пришел в чем был, — отозвался он. — Я тоже спал. Надел только пиджак и туфли.

Она не слышала. Натянула на себя первое, что попало под руку, пальцы не слушались, она с трудом застегнула какие-то крючки на платье. На плечи накинула кантонскую шаль, которая была на ней вечером.

— Шляпу можно не надевать?

— Да.

Бой с фонарем пошел впереди, они поспешно спустились с крыльца и вышли на улицу.

— Осторожней, не упадите, — сказал Уоддингтон. — Вот моя рука, цепляйтесь.

Военные не отставали от них ни на шаг.

— Полковник Ю выслал паланкины. Они ждут на том берегу.

Они быстро спустились к реке. Китти не могла заставить себя задать вопрос, мучительно стучавший в мозг, — слишком боялась ответа. На пристани их ждал сампан с фонариком на носу. Тут она спросила:

— Это холера?

— Видимо, так.

Она вскрикнула и остановилась.

— Не будем задерживаться, пошли. — Он шагнул в лодку и подал ей руку. Переправа была недолгая, они сгруппировались на носу, а перевозчица с привязанным к бедру младенцем одним веслом погнала лодку по неподвижной воде.

— Он заболел сегодня днем, — сказал Уоддингтон. — Вернее, вчера днем.

— Почему за мной сразу не послали?

Таиться было не от кого, но они говорили шепотом. В темноте лица Уоддингтона не было видно, и Китти только чувствовала, как он весь напряжен.

— Полковник Ю хотел послать, он сам не позволил. Полковник Ю все это время не отходил от него.

— Он должен был за мной послать. Разве так можно?

— Ваш муж знал, что вы никогда не видели холерного больного. Это очень страшно и отвратительно. Он хотел избавить вас от этого зрелища.

— Как-никак, он мой муж, — выговорила она задыхаясь.

Уоддингтон не ответил.

— А почему теперь меня вызвали?

Уоддингтон дотронулся до ее руки.

— Дорогая моя, наберитесь мужества. Нужно быть готовой к самому худшему.

Она громко застонала и тут же отвернулась, заметив, что солдаты на нее смотрят. Глаза их таинственно блеснули во мраке.

— Он умирает?

— Я знаю только, какое поручение полковник Ю дал этому офицеру, когда посылал его за мной. Сколько я понимаю, он уже без сознания.

— И никакой надежды?

— Мне страшно жаль, но боюсь, мы можем не застать его в живых.

Она содрогнулась. Из глаз хлынули слезы.

— Понимаете, он очень истощен, никакой сопротивляемости.

Она раздраженно оттолкнула его руку. Ее бесило, что он говорит таким тихим, сдавленным голосом.

Они причалили, и два кули, стоявших на берегу, помогли ей выйти из лодки. Паланкины их ждали. Подсаживая ее, Уоддингтон сказал:

— Постарайтесь не распускаться. Нервы вам еще понадобятся.

— Скажите носильщикам, чтобы торопились.

— Им дан приказ — бежать как можно быстрее.

Офицер, уже сидя в паланкине, крикнул что-то ее носильщикам. Они подхватили паланкин, приладили палки на плечах и дружно тронули с места. Подъем они одолели

бегом, впереди каждого паланкина бежал человек с фонарем, а наверху, у водяных ворот, стоял сторож с факелом. Офицер окликнул его, он распахнул одну створку ворот и пропустил их, обменявшись с носильщиками какими-то непонятными возгласами. Эти гортанные звуки на чужом языке прозвучали в ночной темноте загадочно и тревожно. Они стали подниматься по мокрым и скользким булыжникам мостовой, один из носильщиков офицера споткнулся. До Китти донесся гневный окрик офицера, визгливый ответ носильщика, потом головной паланкин помчался дальше. Улицы были узкие, извилистые. Здесь, в городе, было совсем темно. Город мертвых. Они пронеслись по узкому переулку, свернули за угол, избежали вверх по каким-то ступеням. Запыхавшиеся носильщики уже не бежали, а шли, молча, быстрым размашистым шагом; один из них на ходу достал рваный платок и вытер пот, заливавший глаза. Они без конца сворачивали то вправо, то влево, как в лабиринте. Порой можно было угадать, что у порога какой-нибудь запертой лавки лежит человеческая фигура, но невозможно было определить, проснется ли этот человек рано утром или не проснется никогда. В узких безлюдных улочках стояла жуткая тишина, и, когда где-то залаяла собака, натянутые нервы Китти совсем сдали. Куда ее несут? Этой дороге не будет конца. Неужели нельзя побыстрее? Быстрее, быстрее. Время не ждет. А что, если они уже опоздали?

62

В длинной глухой стене, вдоль которой лежал их путь, появились ворота с будками по бокам, и паланкины стали. Уоддингтон бросился к Китти. Она уже соскочила на землю. Офицер постучал, что-то крикнул, открылась калитка, и они вошли во двор. Двор был большой, квадратный. У стен его, под стропилами выступающих крыш, лежали вповалку солдаты, завернувшись в одеяла. У ворот офицер, задержавшись на минуту, перекинулся словами с военным, судя по всему — начальником караула. Потом офицер сказал что-то Уоддингтону.

— Он еще жив, — сказал Уоддингтон. — Осторожно, не споткнитесь.

По-прежнему следуя за огоньками фонарей, они пересекли двор, поднялись по ступенькам к широкой двери, потом

вниз, в другой просторный двор. Вдоль одной его стороны тянулась длинная освещенная комната. Сквозь рисовую бумагу чернел сложный узор оконных переплетов. Провожатые довели их до этой комнаты, офицер постучал. Дверь тотчас отворилась, и офицер, взглянув на Китти, отступил в сторону.

— Входите, — сказал Уоддингтон.

Комната была длинная, низкая, лампы тускло горели в зловещем полумраке. У противоположной стены лежал на тюфяке человек, укутанный одеялом. В ногах стоял навзрыд военный. Китти подбежала и склонилась над тюфяком. Уолтер лежал с закрытыми глазами. В сумрачном свете его серое лицо казалось мертвым. Он был до ужаса неподвижен.

— Уолтер, Уолтер, — проговорила она задыхаясь.

Тело чуть шевельнулось. Это был только призрак движения — легкий, как дуновение ветра, которого не чувствуешь, только видишь, как оно шевельнуло неподвижную поверхность воды.

— Уолтер, Уолтер, скажи мне что-нибудь.

Глаза медленно раскрылись, словно поднять тяжелые веки стоило ему невероятных усилий, но он не смотрел на нее, он уставился в стену, приходившуюся в нескольких дюймах от его лица. Он заговорил; в голосе, тихом и слабом, можно было угадать улыбку.

— Вот в какой я попал переплет, — сказал он.

Китти затаила дыхание. Ни звука, ни намек на жест, только глаза, темные, холодные, прикованы к белой стене (какие тайны им сейчас открылись?). Китти встала на ноги и растерянно обратилась к своему спутнику:

— Неужели ничего нельзя сделать? Вы так и будете стоять как истукан?

Она стиснула руки. Уоддингтон заговорил с офицером, стоявшим в ногах постели.

— Видимо, они сделали все, что могли. При нем был полковой врач. Его обучил ваш муж. Он сделал все то же, что доктор Фейн сам бы сделал.

— Это и есть врач?

— Нет, это полковник Ю. Он не отходит от вашего мужа.

Китти бросила на него отчаянный взгляд. Он был высокого роста, крепкого сложения, защитная форма казалась ему тесна. Он смотрел на Уолтера, и она заметила в его глазах слезы. У нее защемило сердце. С какой стати у этого

чужого человека с круглым желтым лицом глаза полны слез? Это невыносимо.

— Какой ужас, что ничего нельзя сделать.

— Сейчас он хотя бы уже не страдает, — сказал Уоддингтон.

Она опять склонилась над мужем. Его пугающие глаза по-прежнему смотрели прямо вперед. Непонятно было, видит он что-нибудь или нет, слышит ли, что говорится. Она придвинула губы к его уху.

— Уолтер, чего тебе дать?

Ей казалось, что должно быть какое-то лекарство, которое можно ему дать, чтобы задержать эту быстро уходящую жизнь. Теперь, когда глаза привыкли к полумраку, она видела, что лицо его ссохлось. Он был неузнаваем. Немыслимым казалось, что за каких-нибудь несколько часов он стал настолько непохож на себя. Он вообще не был похож на человека: не человек, а сама смерть. Ей показалось, что он хочет что-то сказать. Она пригнулась ближе.

— Не суетись. Было скверно, очень скверно, а сейчас ничего.

Китти ждала, что он еще скажет, но он молчал. Самое страшное, что он лежит так тихо, точно уже приготовился к молчанию могилы. Подошел какой-то человек, санитар или врач, и жестом велел ей отойти, а сам, склонившись над умирающим, обтер мокрой тряпкой его губы. Китти еще раз шепотом воззвала к Уоддингтону:

— И никакой, никакой надежды?

Он покачал головой.

— Сколько он еще может прожить?

— Точно не скажешь. Может быть, час.

Китти обвела глазами голую комнату, и взгляд ее остановился на внушительной фигуре полковника Ю.

— Можно мне побыть с ним вдвоем? — спросила она. — Совсем недолго, всего минуту.

— Разумеется.

Уоддингтон подошел к полковнику и поговорил с ним. Тот поклонился и вполголоса отдал приказ.

— Мы будем за дверью, — сказал Уоддингтон, выходя с остальными. — Если что, позовите.

Теперь, когда неотвратимое завладело ее сознанием, как наркотик, разлившийся по жилам, когда она уже не сомневалась, что Уолтер умрет, у нее осталось одно желание —

облегчить ему последние минуты, выдернув из его души отравленную занозу старой обиды. Ей казалось, что если он перед смертью помирится с нею, то помирится и с самим собой. Она думала не о себе, только о нем.

— Уолтер, умоляю, прости меня, — сказала она. Из опасения сделать ему больно она его не касалась. — Я так перед тобой виновата. Я так горько раскаиваюсь.

Он молчал. Как будто не слышал. Она не сдавалась. Ей чудилось, что его душа — как бабочка, что бьется о стекло, и крылья ее отяжелели от ненависти.

— Милый.

Тень прошла по землистому, изможденному лицу. Лицо даже не шевельнулось, но ей показалось, что его свела судорога. Никогда еще она так к нему не обращалась. Может быть, в его угасающем мозгу мелькнула мысль, смутная, почти неуловимая, что раньше она употребляла это слово не думая, относя его к собакам, к детям, к автомобилям. А потом случилось самое страшное. Она сжала руки, изо всех сил стараясь сдержаться: две слезы медленно поползли по его исхудалым щекам.

— О дорогой мой, родной, если ты когда-нибудь меня любил, а ты любил меня, я знаю, и я так ужасно с тобой поступила — прости меня. Я уже не смогу доказать тебе, как я раскаиваюсь. Сжался надо мной. Прости меня, умоляю.

И умолкла. Смотрела на него не дыша, страстно ждала ответа. И вот он попытался заговорить. Сердце ее подскочило. Да, она искупит все страдания, которые причинила ему, если сейчас, в последнюю минуту, ей удастся освободить его от груза застарелой злобы. Губы его дрогнули. Он не смотрел на нее. Невидящие глаза упирались в белую стену. Она наклонилась, чтобы лучше слышать. Но он произнес совершенно отчетливо:

— Собака околела.

Она застыла, словно обратилась в камень. Ничего не поняв, смотрела на него в горестной растерянности. Это бессмыслица. Бред. Он не понял ни единого ее слова.

Не может быть, чтобы человек был так неподвижен — и все-таки жив. Она ждала. Глаза у него открыты. Дышит или нет — не понять. Ей стало тревожно.

— Уолтер, — шепнула она. — Уолтер.

Она рывком поднялась, внезапно охваченная страхом. Повернулась и пошла к двери.

— Подите сюда, пожалуйста. Он, кажется, не...

Они вошли. Врач-китаец приблизился к постели, зажег электрический фонарик и посветил Уолтеру в глаза. А потом закрыл их. Сказал что-то по-китайски. Уоддингтон обнял Китти за плечи.

— Умер.

Китти глубоко вздохнула. Несколько слезинок скатились по щекам. Это было не потрясение, какая-то оторопь нашла на нее. Китайцы стояли кучкой, с беспомощным видом, словно не зная, что делать дальше. Уоддингтон молчал. Потом китайцы стали тихо переговариваться.

— Давайте я провожу вас домой, — сказал Уоддингтон. — Его перенесут туда.

Китти устало провела рукой по лбу. Подошла к постели, наклонилась, осторожно поцеловала Уолтера в губы. Она уже не плакала.

— Простите, что доставила вам столько хлопот.

Военные отдали честь, она с достоинством им поклонилась. Они снова пересекли один двор, потом другой и сели в паланкины. Уоддингтон закурил. Дымок папиросы растаял в воздухе — вот она, человеческая жизнь!

63

Уже светало, кое-где китайцы открывали свои лавки, убирали ставни. В темном закутке при свете свечи умывалась женщина. В чайном домике на углу закусывала группа рабочих. Серый, холодный утренний свет крался по узким улочкам, как вор. На реке лежал белесый туман, мачты джонок пронзали его, как копья призрачных воинов. На воде было холодно, Китти закуталась в свою веселую цветастую шаль. На безоблачном небе взошло солнце. Оно светило как всегда, как будто ничего не случилось и этот день был как все остальные.

— Вам бы прилечь? — сказал Уоддингтон, когда они вошли в дом.

— Нет, я посижу у окна.

За прошедшие недели она сидела здесь так часто и долго, глаза ее так привыкли к сказочному, прекрасному и загадочному храму на городской стене, что зрелище это

навевало покой. Но даже в трезвом свете дня оно казалось таким нереальным, что отвлекало мысли от действительности.

— Я скажу бою, чтобы подал вам чай. Похоронить его, к сожалению, придется сегодня же. Я обо всем договорюсь.

— Спасибо.

64

Три часа спустя его хоронили. Китти покорило, что его положили в громоздкий китайский гроб, она не могла отделаться от чувства, что ему будет неудобно, но выбора не было. Монахини, узнав о смерти Уолтера, как они узнавали обо всем, что творилось в городе, прислали с посылным крест из георгинов, парадный и казенный, словно сделанный опытными руками в цветочном магазине, и этот крест на голой крышке китайского гроба выглядел нелепо, не у места. Когда все было готово, пришлось еще подождать полковника Ю — он прислал к Уоддингтону солдата передать, что желает присутствовать на похоронах. Он прибыл в сопровождении адъютанта. Шестеро кули внесли гроб на склон холма, к небольшому участку, где покоилось тело миссионера, которого сменил Уолтер. Среди пожитков последнего Уоддингтон нашел английский молитвенник и теперь тихим голосом и явно смущаясь, что было ему так не свойственно, прочитал заупокойную службу. Возможно, что, произнося эти торжественные, но грозные слова, он думал о том, что, если сам в свой черед падет жертвой эпидемии, прочесть их над ним будет уже некому. Гроб опустили в могилу, могильщики стали забрасывать его землей.

Полковник Ю, стоявший у могилы обнажив голову, надел фуражку, почтительно отдал честь Китти, простился с Уоддингтоном и отбыл, сопровождаемый адъютантом. Кули еще потолкались на месте — им любопытно было поглядеть на христианские похороны, — потом забрали свои веревки и не спеша поплелись восвояси. Китти и Уоддингтон дождались, пока могилу засыплют, и на холмик, пахнувший свежей землей, положили крепко связанные в крест георгины монахинь. Китти не плакала, но, когда по крышке гроба застучали первые комья земли, чуть не застонала от горя.

Она заметила, что Уолдингтон ее дожидается.

— Вы торопитесь? — спросила она. — Не хочется мне сразу возвращаться в дом.

— Я совершенно свободен, целиком в вашем распоряжении.

65

Они добрались по дороге до вершины холма, где стояли ворота, этот памятник безутешной вдове, занявший такое значительное место в здешних впечатлениях Китти. Это был символ, но что он символизировал — неизвестно, и непонятно было, почему ей мерещилась в нем такая злая ирония.

— Посидим? Мы так давно здесь не были. — Равнина привольно раскинулась перед ней, тихая, безмятежная под безоблачным небом. — Всего несколько недель я здесь прожила, а кажется — целую жизнь.

Он не ответил, и она помолчала, задумавшись. Потом вздохнула и спросила:

— Как вы думаете, душа бессмертна?

Он, казалось, не удивился ее вопросу.

— Откуда мне знать?

— Час назад, когда Уолтера обмывали, я смотрела на него. На вид он был совсем молодой, таким рано умирать. Помните того нищего, которого мы видели, когда вы в первый раз вытащили меня погулять? Я тогда испугалась не потому, что он был мертвый, а что выглядел так, будто никогда и не был человеком. Просто мертвое животное. А Уолтер выглядел как машина, у которой кончился завод. Вот что ужасно. Ведь если это только машина, до чего же ничтожны и бессмысленны все наши страдания, боли, душевные муки!

Не отвечая, он бродил взглядом по широкому ландшафту, расстилавшемуся у их ног. Бескрайний простор в это солнечное утро наполнял сердце ликованием. Аккуратные квадратики рисовых полей тянулись вдаль сколько хватал глаз, на многих из них копошились фигурки — буйволы, крестьяне в синей одежде. Мирная, счастливая картина. Китти нарушила молчание:

— Не могу вам выразить, как меня взволновало то, что я увидела в монастыре. Эти монахини — поразительные женщины, перед ними я чувствую себя полным ничтоже-

ством. Они от всего отказались, бросили все: дом, родину, любовь, детей, свободу; и все те мелочи, от которых отказаться, может быть, еще труднее, — цветы и зеленые луга, прогулки осенним днем, книги, музыку, комфорт — на всем поставили крест. И ради чего? Что их ждет взамен? Жизнь, полная самопожертвования и лишений, послушание, изнуряющая работа и молитва. Этот мир для них поистине место изгнания. Жизнь — крест, который они несут добровольно, но в сердце их не умирает ожидание — да что там, это куда сильнее — не ожидание, а страстное желание смерти, которая откроет перед ними жизнь бесконечную.

Китти стиснула руки в горестном недоумении.

— И что же?

— А если «жизни бесконечной» нет? Подумайте, что это значит, если со смертью действительно кончается все? Они от всего отказались — и не получили ничего. Их обманули. Одурачили.

Уоддингтон ответил не сразу.

— Вот не знаю. Не знаю, так ли уж это важно, что их высокая цель оказалась иллюзией. Жизнь их сама по себе прекрасна. Мне представляется, что на мир, в котором мы живем, можно смотреть без отвращения только потому, что есть красота, которую человек время от времени создает из хаоса. Картины, музыка, книги, которые он пишет, жизнь, которую ему удастся прожить. И больше всего красоты заключено в прекрасно прожитой жизни. Это — самое высокое произведение искусства.

Китти вздохнула. Его рассуждения показались ей сухими. Ей было этого мало.

— Вы бывали на симфонических концертах? — продолжал он.

— Бывала, — улыбнулась она. — В музыке я мало что смыслю, но слушать очень люблю.

— Каждый музыкант в оркестре играет на своем инструменте, и много ли ему известно о тех сложных гармониях, что из этого рождаются? Он играет только свою, порой очень скромную партию. Но он знает, что симфония чудесна, чудесна, даже если никто ее не слышит, и он доволен тем, что в ней участвует.

— Вы как-то говорили о Дао, — сказала Китти. — Объясните мне, что это такое.

Уолдингтон кинул на нее быстрый взгляд, секунду колебался, а потом заговорил с едва заметной улыбкой:

— Это Путь и Путник. Это вечная дорога, по которой движется все живое, но ее никто не создал, ибо она сама — живая. Она все и ничто. От нее все возникает, ей подчиняется и к ней в конечном счете возвращается. Это квадрат без углов, звук, не слышный уху, образ без формы. Это необъятная сеть, и, хотя ячейки ее огромны, как море, она ничего сквозь себя не пропускает. Это святая святых, где все могут найти прибежище. Оно — нигде, но его можно увидеть и не выглянув из окна. Не желай желать, учит оно, предоставь всему идти своими путями. Смиряющийся будет сохранен. Сгибающийся будет выпрямлен. Неудача — основа успеха, а в успехе таится зародыш неудачи; но кто скажет, когда одно сменится другим? Стремящийся к нежности может уподобиться малому ребенку. Доброта приносит победу нападающему и спасение защищающемуся. Могууществен тот, кто одолеет себя.

— А это что-нибудь значит?

— Когда вольешь в себя стаканчиков десять и согласишься на звезды, иногда кажется, что как будто и значит.

Наступило молчание, и опять его нарушила Китти:

— Скажите, «Собака околела» — это цитата?

Уолдингтон улыбнулся и уже готов был ответить. Но возможно, что в эту минуту восприятие его было обострено больше обычного. Китти не смотрела на него, но что-то в ее лице заставило его поостеречься.

— Не знаю, — ответил он. — Вполне возможно. А что?

— Так. Просто вспомнилось. Как будто что-то знакомое.

И снова молчание.

— Когда вы остались наедине с вашим мужем, — заговорил Уолдингтон, — я побеседовал с полковым врачом. Мне хотелось узнать кое-какие подробности.

— И что же?

— Он был очень возбужден. Я, возможно, неправильно его понял. Насколько я мог разобрать, ваш муж заразился во время какого-то эксперимента.

— Он все время ставил эксперименты. Ведь он был не практикующим врачом, а бактериологом. Потому ему так и хотелось сюда попасть.

— Но я не понял вот чего: то ли он заразился нечаянно, то ли сознательно экспериментировал на себе.

Китти сильно побледнела. Мысль эта привела ее в содрогание. Уоддингтон коснулся ее руки.

— Простите, что возвращаюсь к этому, — сказал он мягко. — Я подумал, может быть, это послужит вам утешением... в таких случаях ужасно трудно сказать что-то нужное... я подумал, что для вас это важно — знать, что Уолтер умер на посту, как мученик за науку.

Китти пожала плечами и ответила чуть раздраженно:

— Уолтер умер от разбитого сердца.

Уоддингтон промолчал. Она медленно повернулась и посмотрела на него. Лицо ее было бледно, сосредоточенно.

— Почему он сказал «Собака околела»? Откуда это?

— Это последняя строка «Элегии» Голдсмита¹.

66

На следующее утро Китти отправилась в монастырь. Девочка, открывшая ей дверь, как будто удивилась, увидев ее, а через несколько минут в комнате, где она приступила к своим занятиям, появилась настоятельница, подошла к ней и взяла ее за руку.

— Я рада вас видеть, дитя мое. Это очень мужественно с вашей стороны — прийти сюда так скоро после постигшего вас несчастья — и очень разумно: я уверена, что работа отвлечет вас от тяжелых мыслей.

Китти потупилась и покраснела; ей не хотелось, чтобы настоятельница читала в ее сердце.

— Нечего и говорить о том, как мы все вам сочувствуем.

— Вы очень добры, — прошептала Китти.

— Все мы за вас молимся Господу, за вас и за душу того, кого вы потеряли.

Китти не ответила. Настоятельница отпустила ее руку и, как всегда, спокойным, непререкаемым тоном поручила ей кое-какую работу. Погладила по головке двух-трех малышей, улыбнулась им своей ласковой, но отрешенной улыбкой и ушла, куда призывали ее более срочные дела.

¹ У английского поэта, драматурга и романиста Оливера Голдсмита (1728—1774) есть хрестоматийно известная «Элегия на смерть бешеной собаки» — шуточное стихотворение о том, как человека укусила бешеная собака и все прочили ему близкую смерть. Но случилось чудо — так заканчивается стихотворение: «Укушенный остался жив, собака околела». (Перевод В. Рогова.)

Прошла неделя. Китти сидела за шитьем. Вошла настоящая тельница и, подсев к ней, внимательно разглядела ее рукоделие.

— Вы очень хорошо шьете, дитя мое. Среди молодых женщин вашего круга это сейчас редкий талант.

— У меня мать прекрасная рукодельница.

— Вот будет радость для вашей мамы опять с вами свидеться.

Китти подняла голову. Что-то было в манере настоятельницы, что не позволяло принять ее слова как простое проявление вежливости. А она продолжала:

— Я разрешила вам приходить сюда после смерти вашего мужа, полагая, что это отвлечет ваши мысли. Мне казалось, что в то время вам еще не по силам было бы совершить в одиночестве долгий путь в Гонконг, и не хотелось мне, чтобы вы целыми днями сидели одна дома без дела и только думали о своей утрате. Но теперь прошло уже восемь дней. Пора вам и в путь.

— Я не хочу уезжать, ma mère. Я хочу остаться здесь.

— Здесь вам незачем оставаться. Вы приехали, чтобы не разлучаться с мужем. Ваш муж скончался. В вашем положении вам скоро потребуются уход и забота, каких здесь не найти. Милое мое дитя, ваш долг — сделать все возможное для благополучия того существа, которое Бог поручил вашим заботам.

Китти молча понурила голову.

— Мне казалось, что я приношу здесь какую-то пользу. Это ощущение доставляло мне много радости. Я надеялась, что вы разрешите мне работать у вас до конца эпидемии.

— Мы все вам признательны за помощь, — отозвалась настоятельница с легкой улыбкой. — Но сейчас, когда эпидемия пошла на убыль, приезд сюда уже не связан с таким риском, и я жду двух наших сестер из Кантона. Они должны прибыть в ближайшее время, а тогда ваши услуги мне, пожалуй, уже не понадобятся.

У Китти упало сердце.

Тон настоятельницы не допускал возражений. Китти уже достаточно ее знала, чтобы понять: никакие мольбы на нее не действуют. Одно то, что ей пришлось уговаривать Китти, внесло в ее голос нотку если не раздражения, то опасной категоричности.

— Мистер Уоддингтон был так любезен, что спросил моего совета.

— Лучше бы он не совался не в свое дело, — перебила Китти.

— Если бы он и не обратился ко мне, я все равно была бы вынуждена сказать ему мое мнение, — мягко возразила настоятельница. — Сейчас ваше место не здесь, а у вашей матери. Мистер Уоддингтон уже договорился с полковником Ю, он дает вам охрану, так что в пути вы будете в полной безопасности. Уже наняты и кули, и носильщики. С вами поедет служанка, она позаботится о ночлегах. Словом, комфорт вам всячески обеспечен.

Китти стиснула губы. Могли бы, кажется, хоть посоветоваться с нею, ведь все это касается только ее. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы ответ ее не прозвучал резко:

— И когда же я должна отбыть?

Настоятельница и бровью не повела.

— Чем скорее вы вернетесь в Гонконг, а оттуда отплывете в Англию, тем лучше, дитя мое. Мы решили, что вам удобно будет пуститься в дорогу послезавтра рано утром.

— Уже?!

Китти чуть не заплакала. Но они правы: здесь она лишняя.

— Все вы, как видно, очень спешите от меня отделаться, — сказала она уныло.

И сразу уловила в манере настоятельница какое-то облегчение. Поняв, что Китти готова сдаться, та бессознательно перешла на более милостивый тон. Чувство юмора часто выручало Китти, и теперь глаза ее весело блеснули при мысли, что и святые любят поставить на своем.

— Не подумайте, что мы не ценим вашу доброту, дорогая, и похвальное сострадание, в силу которого вы так неохотно расстаетесь с добровольно взятыми на себя обязанностями.

Китти, глядя прямо перед собой, слегка повела плечами. Она знала, что таких высоких добродетелей за ней не водится. Остаться ей хотелось потому, что некуда было ехать. Странное это чувство, что во всем мире нет человека, которому не было бы безразлично, жива она или умерла.

— Я даже не понимаю, почему вам так не хочется вернуться на родину, — дружелюбно продолжала настоятельница. — Здесь, в Китае, есть немало иностранцев, которые много бы дали за такую возможность.

— Но вы не из их числа, ma mère?

— Ну мы — это другое дело. Мы, когда уезжаем сюда, знаем, что расстаемся с родиной навсегда.

Оттого, что ей самой было грустно и больно, у Китти возникло желание — недоброе желание отыскать шелку в той броне религии, что так надежно защищала монахинь от всех естественных человеческих чувств. Захотелось проверить, неужели в настоятельнице не осталось ничего от слабости, присущей всем обыкновенным людям.

— Я-то думала, хоть изредка, наверно, становится тяжело, когда вспомнишь, что никогда больше не увидишь дорогих тебе людей и те места, где прошло твое детство.

Настоятельница ответила не сразу, но Китти, наблюдая за ней, не заметила ни малейшей перемены в безмятежном выражении ее прекрасного строгого лица.

— Это тяжело для моей матери, ведь я у нее единственная дочь, а она уже старая, и, конечно, самое заветное ее желание — еще раз повидать меня перед смертью. Мне жаль, что я не могу доставить ей эту радость. Но этому не бывать, так что подождем того часа, когда свидимся с нею в раю.

— И все-таки, как подумаешь о тех, кто тебя любит, невольно задаешься вопросом, правильно ли было порывать с ними всякую связь.

— Вы хотите знать, жалею ли я когда-нибудь о своем поступке? — Лицо настоятельницы внезапно преобразилось. — Никогда, никогда! Я отказалась от никчемной, пошлой жизни ради другой, посвященной самопожертвованию и молитве.

После короткой паузы она продолжала уже не так торжественно:

— Я попрошу вас захватить с собой посылочку и отправить ее почтой из Марселя. Не хотелось бы вверять ее китайской почтовой службе. Сейчас принесу.

— Вы можете дать мне ее завтра, — сказала Китти.

— Завтра, дитя мое, вы будете так заняты, что и побывать здесь не успеете. Лучше уж мы простимся сегодня.

Она поднялась и с непринужденной грацией, которую не могли скрыть даже тяжелые складки ее одежды, выплыла из комнаты. А тут явилась сестра Сен-Жозеф. Она пришла проститься. Надеется, что Китти доберется благополучно. Опасности никакой, ведь полковник Ю обещал ей сильную охрану. Сестры то и дело ездят этим путем поодиночке, и

никогда с ними ничего не случается. А море она любит? Mon Dieu, как же ей было плохо во время шторма в Индийском океане! А как ее мать обрадуется, и пусть бережет себя, ей теперь надо думать и о ребеночке. Все они будут за нее молиться, и она будет молиться и за нее, и за ребеночка, и за душу бедного храброго доктора. Она говорила без умолку, приветливая, ласковая; а между тем Китти чувствовала, что для сестры Сен-Жозеф все измеряется вечностью, а сама она, Китти, всего лишь бесплотный, бестелесный дух. Ее так и подмывало схватить толстую добродушную монашенку за плечи, потряхнуть хорошенько и крикнуть: «Неужели вам невдомек, что я — живая женщина, несчастная, одинокая, что меня нужно утешить, подбодрить? Неужели вы ни на минуту не можете забыть о Боге, уделить мне немножко сочувствия? Не того христианского сочувствия, которое у вас припасено для всех страждущих, а простого, человеческого, личного?»

Китти даже улыбнулась. Вот удивилась бы сестра Сен-Жозеф, если б могла прочесть ее мысли! Уж наверняка решила бы, что все англичане сумасшедшие, она давно это подозревала!

— Я, к счастью, отлично переносу качку, — ответила Китти. — Ни разу в жизни не страдала морской болезнью.

Вернулась настоятельница с аккуратным пакетиком в руках.

— Это носовые платки, — сказала она, — подарок моей матери к именинам. Монограммы вышивали наши девочки.

Сестра Сен-Жозеф высказала мнение, что Китти интересно будет посмотреть, какая это искусная работа, и настоятельница, снисходительно улыбаясь, развернула пакет. Платки были из тончайшего батиста, над замысловатой монограммой вышита корона из земляничных листьев. Когда Китти, как от нее и ожидали, рассыпалась в похвалах, платки были снова завернуты и вручены ей. Сестра Сен-Жозеф, еще раз повторив свои вежливо-безличные напутствия, удалилась со словами: «Eh bien, Madame, je vous quitte», и Китти поняла, что пришло время проститься с настоятельницей. Она поблагодарила за все, что было для нее сделано. Вместе они пустились в путь по голым выбеленным коридорам.

— Вас не затруднит послать этот пакет заказным из Марселя? — спросила настоятельница.

— Что вы, конечно нет, — ответила Китти.

Она взглянула на адрес. Фамилия выглядела очень внушительно, но ее больше заинтересовало название места.

— Да ведь это один из тех замков, которые мы осматривали! Я как-то совершила с друзьями автомобильную поездку по Франции.

— Вполне возможно. Он открыт для обозрения два раза в неделю.

— Если б я жила в таком изумительном месте, у меня ни за что не хватило бы духу оттуда уехать.

— Это, конечно, известный памятник архитектуры. Но жить в нем неуютно. Если бы я о чем-нибудь жалела, так не об этом замке, а о другом, маленьком, где я жила ребенком. Он находится в Пиренеях. Там день и ночь шумит море. Не скрою, порой мне хочется услышать, как волны разбиваются о скалы.

Китти почудилось, что настоятельница, угадав, какими мыслями подсказано ее последнее замечание, лукаво над нею подтрунивает. Но они уже дошли до узкой, скромной наружной двери. К великому удивлению Китти, настоятельница обняла ее и поцеловала сначала в одну щеку, потом в другую. Это было так неожиданно, что Китти залилась краской и чуть не расплакалась.

— Прощайте, мое милое дитя. Да благословит вас Бог. — Она на минуту прижала Китти к груди. — Помните, исполнять возложенные на вас обязанности — это еще мало, это не более похвально, чем омыть руки, когда они грязные. Что действительно важно — это исполнять свой долг с любовью. Когда долг и любовь будут слиты воедино, вот тогда на вас снизойдет благодать и вы познаете радость несказанную.

Дверь монастыря закрылась за нею в последний раз.

68

Уоддингтон проводил Китти до вершины холма; по дороге они ненадолго свернули к могиле Уолтера. Они прошли у мемориальных ворот, и Китти, взглянув на них в последний раз, почувствовала, что может ответить на их загадочную иронию такой же иронией, своей собственной. Она села в паланкин.

Один день сменялся другим. Окружающие картины-служили фоном для ее мыслей. Каждую из них она видела как бы удвоенной, заключенной в круг, как в стереоскопе, и по-новому значительной, потому что ко всему, что она видела сейчас, добавлялось воспоминание о том, что она видела за неполных два месяца до того, когда проделывала тот же путь в обратном направлении. Кули со своими ношами растягивались по дороге — то шли парами, тройками, то какой-нибудь один отставал и к нему примыкали еще двое; солдаты из охраны шагали вразвалку, со скоростью, рассчитанной на двадцать пять миль в день; служанку несли два носильщика, а Китти — четыре, не потому, что она была тяжелее, а чтобы не уронить ее достоинство. Навстречу двигалась то вереница тяжело нагруженных кули, то чиновник-китаец в портшезе, бросавший на белую женщину испытующие взгляды; шли на рынок крестьяне в синих рубашках и огромных шляпах, семенили забинтованными ногами женщины, то молодые, то старые. На пологих подъемах и спусках проплывали мимо квадратики рисовых полей, крепкие крестьянские дома, приютившиеся в бамбуковых рощах; проплывали нищие деревушки и людные города, окруженные стеной, как на картинках в старинном требнике. Солнце уже не палило, как в разгаре лета; на заре, когда поля в неверном предутреннем свете мерцали как сказочные, было холодно, и тем приятнее потом казалось тепло. Оно наполняло Китти тихим блаженством, которому она и не пыталась противиться.

Эти яркие картины, такие изысканные по краскам, поражающие своим изяществом и своеобразием, были как гобелен, на фоне которого, подобные призракам, плясали загадочные тени, порожденные ее воображением. Они казались совершенно нереальными. Мэй-дань-фу с его зубчатыми стенами вспоминался как раскрашенный холст в старинной пьесе, где сцена должна изображать город. Монахини, Уоддингтон и маньчжурская принцесса, которая его любит, — персонажи в старинной пантомиме; а остальные — те, что крались по узким улочкам, и те, что умирали, — как безымянные статисты. Конечно, все это что-то значит, но что именно? Все они словно исполняют ритуальный танец, сложный и древний, и знаешь, что эти замысловатые телодвижения полны смысла, который очень важно понять, но ключа к разгадке нет и нет.

Китти казалось невероятным (по дороге шла старая женщина в синем, синее под солнцем блестело как лазурит, лицо ее, изборожденное мелкими морщинками, было как маска потемневшей слоновой кости; она шла, мелко перебирая крошечными ножками и опираясь на большой черный посох), казалось невероятным, что еще недавно она и Уолтер тоже участвовали в этом странном, непонятном танце, и притом исполняли в нем важные роли. Она вполне могла умереть, а он и вправду умер. Это не шутки. Может, это всего лишь сон, от которого она внезапно проснется со вздохом облегчения? Все это будто случилось очень давно, где-то очень далеко. Удивительно, какими призрачными кажутся персонажи этой пьесы на солнечном фоне действительной жизни. А временами Китти казалось, что она читает про все это в книжке и удивляется, почему судьба героев так мало ее трогает. Даже лицо Уоддингтона, такое, казалось бы, знакомое, она уже не могла припомнить отчетливо.

Сегодня к вечеру они придут в город на Западной реке, где она сядет на пароход. А оттуда всего одна ночь до Гонконга.

69

Сперва ей было стыдно, что она не плакала, когда Уолтер умер. Такая бессердечность! Ведь даже у этого китайца полковника Ю глаза были полны слез! Смерть мужа ошеломила ее. Не укладывалось в голове, что он больше никогда не войдет в комнату, никогда она не услышит, как рано утром он моется в деревянной китайской ванне. Был живой человек — и нет его. Монашенки ахали над ее христианским смирением, восхищались тем, как мужественно она несла свою утрату. Уоддингтон — тот более прозорлив. От нее не ускользнуло, что при самом искреннем сочувствии он в душе все же чуточку над ней подсмеивался. Конечно же, смерть Уолтера была для нее ударом. Она не хотела, чтобы он умер. Но и то сказать, ведь она его не любила, никогда не любила. Держаться с подобающим случаю печальным видом — этого требовали приличия; некрасиво, даже вульгарно было бы посвятить кого-нибудь в свои чувства; но притворяться перед самой собой она не могла, слишком много ей пришлось пережить. Ей казалось, что хотя бы этот

урок она извлекла из опыта последних месяцев — что, если бывает иногда необходимо солгать другим, лгать самой себе всегда отвратительно. Ей было жаль, что Уолтер умер при таких трагических обстоятельствах, но жаль чисто по-человечески, как если бы речь шла о любом знакомом человеке. Да, у него было много неоспоримых достоинств, горе в том, что ей он не нравился, он всегда нагонял на нее скуку. Не то чтобы его смерть явилась для нее облегчением; она, не покривив душой, могла сказать, что, если бы одно ее слово могло вернуть его к жизни, она бы произнесла это слово; но было и смутное чувство, что с его смертью ей самой жить стало в каком-то смысле полегче. Вместе они никогда не были бы счастливы, а расстаться было бы страшно трудно. Такие мысли путали ее: всякий, кто узнал бы о них, наверняка счел бы ее бессердечной, жестокой. Ну, так никто не узнает. Возможно, что каждый хранит в сердце какую-нибудь позорную тайну и всю жизнь только и делает, что старается уберечь ее от посторонних глаз.

В будущее она особенно не заглядывала, никаких планов не строила. Знала одно — что в Гонконге хочет провести как можно меньше времени. О возвращении туда она не могла думать без ужаса. Уж лучше бы странствовать без конца в паланкине по этим светлым, приветливым краям и, равнодушно взирая на фантасмагорию жизни, каждую ночь проводить под новой крышей. Однако следовало все же обдумать хотя бы ближайшее будущее. В Гонконге она остановится в гостинице, надо разделаться с домом, заняться продажей мебели. С Таунсендом можно вообще не встречаться. У него хватит такта не попадаться ей на глаза. А все-таки один раз хотелось бы его повидать — только чтобы сказать ему, сколь невысокого она о нем мнения.

Но какое ей дело до Чарли Таунсенда?

Как полнозвучная мелодия арфы порой покрывает ликующим арпеджио сложные гармонии оркестра, так одна мысль неумолчно звучала в ее сердце. Эта-то мысль придавала экзотическую красоту крестьянским полям, вызывала на ее бледных губах улыбку, когда проходил по дороге на рынок безусый юнец с горделивой осанкой и дерзким взором, населяла попутные города колдовской круговертью жизни. Охваченный эпидемией город был тюрьмой, из которой она вырвалась, и новой, неведомой доселе стала синева небес и прелесть бамбуковых рощ, с неподражаемой

грацией склонившихся над дорогой. Свободна! Вот мысль, которая пела в ее сердце, так что будущее, хоть и было темно, искрилось, как туман над рекой под первыми лучами солнца. Свободна! Свободна не только от докучных цепей и тех уз, что не давали дышать полной грудью; и не только от смертельной опасности, нависавшей над ней, но и от любви, ее унизившей; свободна от всяческих духовных связей, свободна, как бесплотный дух. А свобода означала и мужество, и готовность стойко встретить все, что бы еще ни ждало ее в жизни.

70

Когда пароход бросил якорь в Гонконге, Китти, до тех пор стоявшая на палубе, откуда любовалась оживленным движением в гавани, вернулась в каюту проверить, не забыла ли служанка что-нибудь уложить. На ходу она погляделась в зеркало. Платье на ней было черное (это монашенки перекрасили), но не траурное, и мелькнула мысль, что нужно будет сразу же этим заняться. Траур послужит эффективным прикрытием для ее крамольных настроений. В дверь каюты постучали. Служанка открыла.

— Миссис Фейн!

Китти обернулась и увидела лицо, которого в первое мгновение не узнала. Потом сердце ее подскочило, и она вспыхнула. Дороти Таунсенд! Это было так неожиданно, что она не знала, как быть, что сказать. Но миссис Таунсенд переступила порог и для начала крепко ее обняла.

— О моя дорогая, я вам так сочувствую!

Китти дала себя поцеловать. Ее немного удивила такая экспансивность в женщине, которую она всегда считала сухой и надменной.

— Вы очень добры, — проговорила она еле слышно.

— Пойдемте на палубу. Ама позаботится о вещах, а я привела своих боев.

Она взяла Китти за руку, и Китти, покорно следуя за ней, увидела, что ее доброе загорелое лицо выражает искреннюю озабоченность.

— Ваш пароход пришел раньше времени, — сказала миссис Таунсенд. — Я чуть не опоздала. Я бы не простила себе, если б мы разминулись.

— Неужели вы приехали меня встретить? — воскликнула Китти.

— Ну разумеется.

— Но откуда вы знали, когда я приеду?

— Мистер Уоддингтон известил меня телеграммой.

Китти отвела глаза. К горлу подступил комок. Странно, что этот неожиданный знак внимания так на нее подействовал. Она боялась расплакаться, ей хотелось, чтобы Дороти Таунсенд ушла. Но Дороти взяла ее руку и ласково пожала. И то, что эта сдержанная женщина не постеснялась проявить свои чувства, смутило ее.

— У меня к вам большая просьба. Мы с Чарли очень хотели бы, чтобы вы поселились у нас на то время, пока будете в Гонконге.

Китти вырвала руку.

— Это очень любезно с вашей стороны, но я не могу.

— Что вы, я этого и слышать не хочу. Как вы будете жить одна в своем доме? Вы там изведаетесь. Я уже все приготовила. У вас будет свой будуар. Обедать и завтракать можете там, если не захочется приходить в столовую. Мы оба вас приглашаем.

— Я не собиралась ехать к себе. Я хотела снять номер в отеле «Гонконг». Не могу я подвергать вас таким неудобствам.

Предложение Дороти застало ее врасплох. Она была сбита с толку и раздосадована. Будь у Чарли хоть малейшее чувство приличия, он не разрешил бы жене пригласить ее. Не желает она быть обязана ни ему, ни ей.

— О нет, о гостинице бросьте и думать. А уж отель «Гонконг» вам был бы сейчас просто противен. Там столько народу, с утра до ночи музыка. Ну пожалуйста, скажите, что согласны. Мы с Чарли не будем вам мешать, обещаю.

— Не знаю, чем я заслужила такую любезность. — У Китти уже истощались доводы, а отказаться наотрез она не решалась. — Боюсь, я сейчас малоподходящая компания для посторонних людей.

— Но разве мы для вас посторонние? О, мне бы так этого не хотелось, мне так хотелось бы, чтобы вы позволили мне быть вашим другом. — Дороти стиснула руки, и в ее голосе, ее спокойном, светском, воспитанном голосе, слышались слезы. — Мне так хочется, чтобы вы согласились. Понимаете, мне нужно загладить мою вину перед вами.

Китти не поняла. Чем провинилась перед ней жена Чарли?

— Дело в том, что сначала вы мне не очень понравились. Показались мне немножко легкомысленной. Я, понимаете, воспитана в старых правилах, и меня можно назвать нетерпимой.

Китти искоса взглянула на нее. Слова Дороти означали, что сначала она сочла Китти вульгарной. Лицо у Китти не дрогнуло, но в душе она посмеялась. Какое ей теперь дело до того, кто как о ней судит!

— А когда я узнала, что вы без минуты колебания уехали с мужем навстречу смертельной опасности, я почувствовала себя такой свиньей. Мне стало так стыдно. Вы поступили так смело, так благородно, что все мы тут оказались по сравнению с вами сплошной посредственностью. — По ее доброму, простому лицу уже катились слезы. — Не могу выразить, как я вами восхищаюсь, как уважаю вас. Я знаю, что бессильна утешить вас в вашем страшном несчастье, но хочу, чтобы вы знали, как искренне и глубоко я вам сочувствую. И для меня была бы такая радость вам помочь. Не сердитесь на меня за то, что неверно о вас судила. Вы героиня, а я всего лишь глупая женщина.

Китти упорно не поднимала глаз от настила палубы. Она была очень бледна. Ну к чему эти безудержные излияния? Да, все это очень трогательно, но досада берет, как подумаешь, что эта простушка верит в такие небылицы. Наконец она вздохнула:

— Что ж, если вам правда так хочется меня приютить, спасибо.

71

Таунсенды жили на Вершине, в доме с широким видом на море, и Чарли, как правило, не приезжал домой завтракать; но в день ее приезда Дороти (они уже звали друг друга по имени) сказала, что, если Китти хочется его повидать, он будет рад заглянуть домой. Китти подумала, что, раз встреча все равно неизбежна, можно повидаться и сразу, и, невесело усмехаясь в душе, представляла себе, как неловко ему будет с ней встретиться. Она отлично понимала, что идея пригласить ее исходила от Дороти, а он, что бы ни думал про себя, горячо ее поддержал. Китти знала, как

он всегда стремился угодить мнению света, а проявив сейчас гостеприимство, он мог как нельзя лучше этому мнению угодить. Но вспоминать их последний разговор едва ли было ему приятно: для такого тщеславного человека этот разговор должен был остаться незаживающей ссадиной. Надо надеяться, что она причинила ему такую же боль, как он ей. Теперь он ее, наверно, ненавидит. Хорошо, что у нее самой нет к нему ненависти, а только презрение. И злобную радость доставляла мысль, что ему предстоит забыть о своих чувствах и оказывать ей радушное внимание. Когда она в тот день вышла из его кабинета, он, наверно, мечтал об одном — никогда больше ее не видеть.

И вот она сидела у Дороти и ждала его появления. Она упивалась строгой роскошью хозяйской гостиной. Глубокие кресла, вазы с чудесными цветами, картины на стенах радуют глаз. Комната тенистая, прохладная. Она поежилась, вспомнив голую, пустую гостиную в доме миссионера, плетеные кресла и кухонный стол под холщовой скатертью, обшарпанные полки с книгами в дешевых изданиях и куцые красные занавески, словно пропитанные пылью. Ох, как там было неуютно! Дороти, наверно, и представить себе такого не может.

К дому подъехала машина. В комнату большими шагами вошел Чарли.

— Опоздал? Я вас, надеюсь, не заставил ждать? Раньше никак не мог вырваться, меня вызывал к себе губернатор.

Он подошел к Китти и пожал ей обе руки.

— Я очень, очень рад, что вы здесь. Дороти, конечно, вам сказала, что мы просим вас пожить у нас сколько захочется, считать этот дом своим. Но я и сам хочу это повторить. Если я хоть чем-нибудь могу вам быть полезен, скажите слово, я буду счастлив. — Он смотрел на нее с подкупающей искренностью, а она думала, замечает ли он в ее взгляде насмешку. — Не умею я говорить высокие слова, а болваном казаться не хочется, но, поверьте, я всей душой вам сочувствую. Ваш муж был молодец каких мало, здесь всем его будет не хватать.

— Довольно, Чарли, — остановила его жена, — Китти все понимает... А вот и коктейли.

В согласии с расточительными замашками иностранцев в Китае два ливрейных слуги внесли в комнату закуски и коктейли. Китти пить отказалась.

— Ну хоть один, — уговаривал ее Таунсенд своим бодрым, сердечным тоном. — Вам будет полезно. Ручаюсь, что вы в глаза не видели коктейля с тех пор, как отсюда уехали. В Мэй-дань-фу, если не ошибаюсь, льда не достать.

— Вы не ошибаетесь, — сказала Китти.

На мгновение перед ее мысленным взором возник мертвый нищий у стены их участка — растрепанный, в синих лохмотьях, сквозь которые проглядывало исхудалое тело.

72

Они пошли в столовую. Чарли, усевшись во главе стола, легко завладел разговором. Покончив с короткими соболезнованиями, он обращался с Китти так, словно она не пережила сокрушительную трагедию, а всего лишь приехала в гости из Шанхая, где ей проперировали аппендицит. Ее требовалось развлечь, и он готов был развлекать ее. Чтобы дать ей почувствовать себя как дома, лучше всего было обращаться с ней как с членом семьи. Он завел речь о пустяках: об осенних скачках, о поло — честное слово, в пору бросать поло, если не удастся сбавить вес, — о своем утреннем разговоре с губернатором. Поговорили о приеме, который адмирал устроил на флагманском корабле, о положении в Кантоне, о гольфе в Лушане. Вскоре у Китти уже было такое чувство, будто она отлучалась отсюда на два-три дня, не больше. Уже невероятным казалось, что там, в глубине страны, всего в шестистах милях (столько же, как от Лондона до Эдинбурга?), еще недавно умирали тысячами мужчины, женщины, дети. Скоро она уже поймала себя на том, что расспрашивает о старых знакомых — поправился ли такой-то, ведь он сломал ключицу, когда играл в поло, и уехала ли в Англию миссис А, и будет ли миссис В участвовать в теннисном турнире. Чарли отпускал свои шуточки, и Китти принимала их с улыбкой. Дороти, как всегда немного свысока (только теперь она ставила Китти рядом с собой, так что это было не обидно, а только еще больше сближало их), иронизировала над членами английской колонии. Китти понемногу оживала.

— Смотри-ка, она уже и выглядит получше, — сказал Чарли жене. — Перед завтраком была такая бледная, я даже испугался, а сейчас и щеки порозовели.

А Китти, принимая участие в разговоре если не весело (она знала, что этого не одобрили бы ни Дороти, ни Чарли, великий знаток этикета), то достаточно оживленно, втихомолку поглядывала на хозяина дома. За те долгие недели, что она думала о нем и лелеяла планы мщения, в ее воображении сложился очень яркий образ. Свои густые волнистые волосы он стрижет недостаточно коротко и расчесывает слишком старательно; чтобы скрыть седину, слишком сильно их помадит; лицо у него слишком красное, на щеках сетка мельчайших жилок; челюсть слишком массивная; когда он не задирает голову, видно, что у него двойной подбородок; и в косматых седеющих бровях есть что-то обезьянье, слегка тошнотворное. Движения у него тяжело-весные, и ни диета, ни спорт не уберегли его от полноты: кости затянуло жирком, суставы утратили былую гибкость. И безупречный костюм ему тесноват и выглядит на нем слишком молодо.

Но когда он перед завтраком вошел в гостиную, она испытала настоящее потрясение (потому, наверно, и побледнела). Оказалось, что воображение ее подвело: он был совсем не похож на этот созданный ею образ. Она чуть не рассмеялась над своим заблуждением. Волосы у него вовсе не седые, ну да, есть на висках несколько серебряных волосков, но это ему идет; и лицо не красное, а загорелое; и посадка головы хороша, и не толстый он, и не старый. Наоборот, он даже стройный, фигура отличная — немудрено, что он ею всегда немного гордился, молодой человек, да и только. И носить костюм он, конечно, умеет, смешно было бы это отрицать; и весь вид аккуратный, подтянутый, элегантный. Счастье ее, что она знает, какое он ничтожество. Что голос у него чарующий, она всегда признавала, а голос точно такой, каким она его помнит, потому так и ужасно, что речи его насквозь фальшивы; эти бархатные, теплые ноты — одно притворство, и как только она могла им поверить? А глаза прекрасны, это главное его обаяние: они лучатся таким мягким синим светом и, даже когда он болтает чепуху, выражение у них такое, что устоять почти невозможно.

Наконец завтрак кончился, подали кофе, и Чарли закурил сигару. Потом взглянул на часы и поднялся.

— Ну вот, девочки, я вас покидаю. Мне пора на работу. — И добавил, ласково глядя на Китти: — Денек-другой

я дам вам отдохнуть, не буду вас тревожить, а потом намерен побеседовать с вами о делах.

— Со мной?

— Ну да, ведь надо решить, как быть с вашим домом, и о мебели подумать.

— Но я могу обратиться к юристу. Ни к чему нагружать вас еще и этим.

— Не воображайте, что я разрешу вам тратить деньги на юридические консультации. Я сам обо всем позабочусь. Вы ведь имеете право на пенсию. Я поговорю с губернатором, очень возможно, что, если обратиться в соответствующие инстанции, можно выхлопотать для вас побольше. Положитесь на меня. Но торопиться некуда. Пока нам требуется, чтобы вы отдохнули и окрепли, ведь так, Дороти?

— Конечно.

Он кивнул Китти, а проходя мимо стула жены, взял ее руку и поцеловал. Обычно англичанин, когда целует женщине руку, выглядит глуповато, а у него это получилось легко и изящно.

73

Только освоившись немного в доме у Таунсендов, Китти поняла, до чего она устала. Комфорт и непривычные удобства сняли напряжение, в котором она до сих пор жила. Она уже успела забыть, как приятно никуда не торопиться, видеть вокруг себя красивые вещи, быть окруженной вниманием. Со вздохом облегчения она вновь окунулась в беспробужную жизнь богатого Востока. И неплохо было ощущать себя предметом сочувственного интереса, выражаемого тактично и ненавязчиво. Она овдовела так недавно, что устраивать в ее честь какие-нибудь увеселения было нельзя, но самые уважаемые в колонии дамы (супруга губернатора, супруги адмирала и главного судьи) по-дружески заезжали к ней на чашку чаю. Ее превосходительство сообщила, что его превосходительство очень хотел бы ее повидать и будет рад, если она придет как-нибудь позавтракать в губернаторский дом («Не званый завтрак, конечно, только мы и адъютанты!»). Эти леди обращались с Китти, как с фарфоровой чашкой, драгоценной и очень хрупкой. Она видела, что они носятся с ней, как с юной героиней, и у нее

хватало ума играть эту роль скромно и сдержанно. Порой ей хотелось, чтобы рядом оказался Уоддингтон: уж он-то, такой лукавый и прозорливый, оценил бы весь комизм этой ситуации, и они могли бы, оставшись вдвоем, вдоволь посмеяться вместе. Дороти получила от него письмо, в котором он много чего наговорил о ее самоотверженной работе в монастыре, о ее мужестве и стойкости. Плут этакий, конечно же, он просто подшучивал над ними.

74

Не понять было, случайно так выходит или нет, но Китти ни на минуту не оставалась одна с Чарли. Он держался неизменно дружески, приветливо, любезно. Никто бы не догадался, что когда-то они были не просто знакомы. Но однажды днем, когда она читала, лежа на кушетке, он появился на веранде и подошел к ней.

— Что это вы читаете?

— Книжку.

И посмотрела на него насмешливо. Он улыбнулся.

— Дороти уехала на прием в губернаторском саду.

— Я знаю. А вы почему не поехали?

— Я отвез ее туда, а потом решил: нет, хватит, вернусь-ка я лучше домой. Машина ждет, не хотите ли прокатиться по острову?

— Нет, благодарю.

Он сел в ногах кушетки.

— Нам с самого вашего приезда не удалось поговорить по душам.

Она подняла на него высокомерный взгляд.

— А вы думаете, нам есть что сказать друг другу?

— А как же иначе.

Она отодвинула ноги в сторону, чтобы не касаться его.

— Вы все еще на меня сердитесь? — спросил он, и тень улыбки, тронувшей было его глаза и губы, растаяла.

— Нисколько, — рассмеялась она.

— Что-то не верится, а то бы не смеялись.

— Ошибаетесь. Как я могу на вас сердиться, когда я вас так презираю?

Он принял это спокойно.

— Вы, мне кажется, ко мне несправедливы. Ну хоть теперь-то, задним числом, признайтесь, что я был прав.

— С вашей точки зрения — да.

— Теперь, когда вы поближе узнали Дороги, согласитесь, что она милая женщина.

— Еще бы. Я век буду ей благодарна за ее доброту.

— Она удивительный человек. Я бы никогда себе не простил, если б мы тогда сбежали. Это было бы подло по отношению к ней. Да и о детях надо было подумать. Это основательно испортило бы им жизнь.

С минуту она задумчиво смотрела на него. Она чувствовала себя полной хозяйкой положения.

— Я очень внимательно за вами наблюдаю с тех пор, как живу здесь, и пришла к выводу, что вы действительно любите Дороги. Я не думала, что вы на это способны.

— Я же вам говорил, что люблю ее. Мне было бы совестно доставить ей хоть малейшее огорчение. Такой жены днем с огнем не сыщешь.

— А вам не приходило в голову, что вы должны бы быть ей верны?

— Чего глаз не видит, о том сердце не болит, — улыбнулся он.

Она пожала плечами.

— Какой же вы дрянной человек.

— Не дрянной, а самый обыкновенный. Вас послушать, так я мерзавец потому, что по уши в вас влюбился. Это, знаете ли, было непреднамеренно

Сердце ее горестно дрогнуло от этих слов.

— Я оказалась легкой добычей, — отозвалась она горько.

— Я, конечно, не мог предвидеть, что мы так грандиозно влипнем.

— И во всяком случае, знали наперед, что если кто и пострадает, то не вы.

— Ну, знаете, это уже слишком. Теперь, когда все это позади, вы должны согласиться, что я поступил, как было лучше для нас обоих. Вы тогда потеряли голову, так скажите спасибо, что я не растерялся. Вы думаете, если б я исполнил ваше желание, что-нибудь хорошее из этого вышло бы? Нам и так пришлось несладко, а уж тогда и вовсе попали бы из огня да в полымя. И с вами ничего худого не случилось. Так, может, забудем прошлое и помиримся?

Она чуть не рассмеялась.

— Вы думаете, я могу забыть, что вы без зазрения совести послали меня почти на верную смерть?

— Ну что за вздор! Я же вам говорил, что никакого риска нет, если соблюдать осторожность. Думаете, я бы вас отпустил туда, если б не был в этом убежден?

— Были убеждены, потому что вам этого хотелось. Вы из породы тех трусов, которые убеждены только в том, что им выгодно.

— Тогда судите по результатам. Вы вернулись целехоньки и даже, да простятся мне столь предосудительные речи, еще похорошели.

— А Уолтер?

Он не мог удержаться от улыбки, от шутки, которая сама просилась на язык.

— Вам ни один цвет не идет так, как черный.

Она не нашла что ответить. Глаза наполнились слезами. Прелестное лицо исказилось от горя. Она и не старалась его скрыть, лежала на спине и плакала.

— Ради Бога, не плачьте. Я не хотел вас обидеть, я просто пошутил. Вы же знаете, как я вам сочувствую.

— Ох, придержите вы свой глупый язык.

— Я бы отдал что угодно, чтобы вернуть Уолтера к жизни.

— Он умер из-за нас с вами.

Он взял ее за руку, но она отдернула руку и разрыдалась.

— Об одном прошу, уйдите от меня. Я вас ненавижу, презираю. Уолтер был в сто раз лучше вас, только я, идиотка, не понимала этого. Уйдите, уйдите.

Увидев, что он опять готов заговорить, она вскочила с кушетки и ушла к себе в комнату. Он последовал за ней и, войдя, машинально задернул шторы, так что они очутились в почти полной темноте.

— Не могу я тебя оставить, — сказал он, обнимая ее. — Я ведь не со зла это сказал.

— Не касайся меня. Ради Бога, уйди.

Она попыталась вырваться, он не отпускал. Теперь она рыдала безудержно.

— Дорогая моя, неужели ты не знаешь, что я всегда тебя любил? — сказал он своим глубоким, чарующим голосом. — И теперь люблю больше прежнего.

— Лжешь! Пусти меня сейчас же. Пусти, черт тебя побери!

— Не гневайся на меня, Китти. Ну да, я поступил с тобой по-свински. Прости меня!

Содрогаясь и плача, она отбивалась от него, но прикосновение его крепких рук было неизъяснимо отраднo. Она так истосковалась по его объятиям, так мечтала еще хоть раз испытать это счастье, и теперь вся дрожала, слабела. Словно все тело ее растаяло и скорбь по Уолтеру переплавилась в жалость к самой себе.

— О, как ты мог поступить со мной так жестоко! — рыдала она. — Ведь я тебя любила больше жизни. Никто никогда тебя так не любил.

— Родная.

Он стал ее целовать.

— Нет, нет, — молила она.

Он пригнулся к ее лицу; она отвернулась; он искал ее губы. Что это он говорит? Горячие, несвязные слова любви. А руки держат ее крепко, как ребенка, который заблудился и вот наконец дома, в безопасности. Она тихо застонала. Глаза ее были закрыты, лицо мокро от слез. А потом он нашел ее губы, и божественный огонь разлился по жилам. Это было блаженство, она сгорала дотла и вновь разгоралась, преображенная. В своих одиноких снах, вот когда она бывала так счастлива. Что он с ней делает? Все равно. Она уже не женщина, не человек, она — одно желание. Он взял ее на руки, подхватил легко, как перышко, и понес, а она в упоении прижималась к нему. Голова ее упала на подушку, и не осталось ничего, кроме его поцелуев.

75

Она сидела на краю постели, закрыв лицо руками.

— Воды хочешь?

Она помотала головой.

Он подошел к умывальнику, налил в стакан воды и принес ей.

— На-ка выпей, тебе станет лучше.

Он поднес стакан к ее губам, она отпила немного, а потом в ужасе воззрилась на него. Он стоял, глядя на нее сверху, и в глазах его поблескивал самодовольный огонек.

— Ну что, ты все еще считаешь меня негодяем?

Она опустила глаза.

— Да, но я знаю, что и сама не лучше. Мне так стыдно.

— По-моему, ты очень неблагодарна.

— Теперь ты уйдешь?

— По правде говоря, пора. Надо привести себя в порядок, пока Дороти не вернулась.

И вышел из комнаты пружинистой походкой.

Китти еще посидела на краю постели, вся сжавшись, как побитый шенок. В голове было пусто. Ее пробрал озноб. Она с трудом встала на ноги и рухнула в кресло перед туалетным столом. Погляделась в зеркало. Глаза опухли от слез; лицо в красных пятнах. Оно внушало ужас. Но это было ее лицо. Она не могла бы сказать, какое клеймо позора ожидала на нем увидеть.

— Свинья, — бросила она своему отражению. — Свинья.

И горько заплакала, склонившись головой на вытянутые руки. Стыдно, так стыдно! Что это было, что на нее нашло? Ужас. Она ненавидела его, ненавидела себя. Но какое это было блаженство. Она никогда больше не решится посмотреть ему в лицо. Он во всем оказался прав. Правильно сделал, что не женился на ней, она ничтожество, не лучше шлюхи. Нет, хуже, ведь эти несчастные отдаются за кусок хлеба. Да еще в этом доме, куда Дороти привезла ее, одинокую, убитую горем! Плечи ее затряслись от рыданий. Теперь все пропало. Она думала, что изменилась, что она теперь сильнее, что вернулась в Гонконг обновленной; новые мысли порхали в душе, как желтые бабочки на солнце, она так надеялась, что стала лучше; свобода, как светоч, манила ее за собой, и мир расстилался перед ней широкой равниной, по которой она могла идти легким шагом, с высоко поднятой головой. Она думала, что избавилась от похоти и низменных страстей, что может впредь жить чистой, здоровой духовной жизнью. Она сравнивала себя с белыми цаплями, что в сумерки не спеша пролетают над рисовыми полями, подобно высоким мыслям, переставшим враждовать друг с другом. А оказалась рабой. Слабой, безвольной. Впереди безнадежность, напрасны старания, она — падшая женщина.

Обедать она не пошла. Послала слугу сказать Дороти, что у нее болит голова и она лучше побудет у себя в комнате. Дороти явилась и, увидев ее заплаканные глаза, мягко и сочувственно поговорила о каких-то пустяках. Китти поняла: Дороти решила, что она плакала об Уолтере, и, как хорошая, любящая жена, уважает ее столь естественную скорбь.

— Я понимаю, как вам тяжело, дорогая, — сказала она уходя. — Но мужайтесь. Ваш муж, я уверена, не хотел бы, чтобы вы так о нем горевали.

76

Но на следующий день Китти встала рано и, оставив Дороти записку, что ушла по делам, села в трамвай и поехала вниз, в город. По людным улицам, среди машин, паланкинов и рикш, в пестрой толпе европейцев и китайцев, она добралась до конторы пароходства. Через два дня отходил пароход, первый за долгое время, и она решила во что бы то ни стало попасть на него. Когда кассир сказал ей, что все места проданы, она попросила провести ее к директору. Она назвалась, и директор, с которым она была знакома, вышел в приемную и пригласил ее к себе в кабинет. Он был осведомлен о ее положении и, когда она изложила свою просьбу, велел принести список пассажиров. Пока он, растерянно хмуясь, просматривал список, Китти твердила свое:

— Умоляю вас, сделайте для меня, что можете.

— Любой человек в колонии сделает для вас все возможное, миссис Фейн.

Он послал за клерком, задал ему несколько вопросов, потом кивнул.

— Сообразим кое-какие передвижки. Я знаю, как вам важно уехать поскорее, уж мы для вас постараемся. Могу предложить вам небольшую отдельную каюту. Думаю, это вам подойдет.

Она поблагодарила его и вышла приободренная. Бежать! Больше она ни о чем не думала: бежать! Она послала телеграмму отцу, предупредить о дне приезда. О смерти Уолтера она его уже известила. А потом поехала обратно к Дороти и все ей рассказала.

— Ужасно жаль расставаться с вами, — сказала эта добрая душа, — но я, конечно, понимаю, как вас тянет к родителям.

После возвращения в Гонконг Китти еще не была в своем доме, откладывала со дня на день. Она боялась войти в этот дом, встретиться с населяющими его воспоминаниями. Но больше откладывать было нельзя. Таунсенд договорился о продаже мебели и нашел, кому передать аренду.

Но оставалась еще одежда, ее и Уолтера, ведь в Мэй-даньфу они взяли с собой совсем немного; оставались книги, фотографии, всякие мелочи. Китти все это было безразлично, ей хотелось одного — поскорее порвать с прошлым, но она понимала, что в колонии косо посмотрели бы на ее распоряжение пустить все это добро с торгов. Нужно было упаковать его и отправить в Англию. И после второго завтрака она собралась в путь. Дороти предложила поехать с ней и помочь, но Китти сказала, что предпочитает все сделать одна. Согласилась только на предложение Дороти послать с нею двух слуг — пусть укладывают вещи под ее руководством.

Дом оставался на попечении старшего боя, он и открыл Китти дверь. Странно было переступить этот порог как чужой. В доме было чисто прибрано, все по своим местам, хоть сейчас пользуйся, но, хотя день был теплый и солнечный, в молчащих комнатах царило холодное запустение. Мебель была расставлена в точности так, как полагалось, и вазы, в которых уже не было цветов, стояли на прежних местах; книга, которую Китти когда-то положила на столик, так и лежала открытая, обложкой вверх. Казалось, люди покинули эти комнаты всего минуту назад, но в эту минуту вошла вечность, так что уже невозможно было вообразить, что когда-нибудь здесь снова зазвучат человеческие голоса и смех. На рояле стояли раскрытые ноты, фокстрот словно ждал, чтобы его сыграли, но чудилось, что если ударить по клавишам, звука не последует. В комнате Уолтера все было так же аккуратно прибрано, как и при нем. На комоде стояли две большие фотографии — Китти в том платье, в котором ее представляли ко двору, и Китти в подвенечном наряде.

Но слуги уже притащили из чулана сундуки и стали укладывать вещи, а она стояла над ними и командовала. Работали они проворно. Китти прикинула, что за оставшиеся два дня все сборы можно с легкостью закончить. Только не давать себе думать — на это времени не было. Вдруг она услышала за спиной шаги и, оглянувшись, увидела Чарли Таунсенда.

— Что вам здесь нужно? — спросила она.

— Может быть, пройдем в ваш будуар? Мне нужно кое-что вам сказать.

— Я очень занята.

— Ну, всего на несколько минут.

Она не стала возражать, велела боям продолжать без нее и вышла в соседнюю комнату, а Чарли за ней. Садиться она не стала, давая ему понять, что надолго задерживаться не намерена. Она чувствовала, что побледнела, и сердце колотилось, но во взгляде была только спокойная враждебность.

— Так что же вам нужно?

— Я только что узнал от Дороти, что вы едете послезавтра. Она сказала, что вы поехали сюда укладываться, и велела мне позвонить и спросить, не могу ли я быть полезен.

— Спасибо, но я отлично справлюсь и одна.

— Я так и думал. И не за этим сюда приехал. Я приехал узнать, не связан ли ваш внезапный отъезд с тем, что произошло вчера.

— Вы с Дороти были ко мне очень добры, не хотелось злоупотреблять вашим гостеприимством.

— Ответ весьма двусмысленный.

— А вам не все равно?

— Конечно нет. Мне не хочется думать, что это я как-то повлиял на ваше решение.

Она стояла у стола. Взгляд ее упал на номер «Скетча», старый-престарый. Тот самый номер, от которого Уолтер не мог оторваться в тот страшный вечер, когда... а Уолтера нет... Она подняла голову.

— Я вконец опозорена. Вы не можете презирать меня сильнее, чем я сама себя презираю.

— Но я вас вовсе не презираю. И вчера говорил от чистого сердца. Зачем спасаться бегством? Почему нам не остаться друзьями? Не хочется мне, чтобы вы думали, что я плохо с вами обошелся.

— Неужели нельзя было оставить меня в покое?

— О черт, я же не ледышка, не камень. Ты смотришь на это неразумно, как-то болезненно. Я думал, что после вчерашнего ты ко мне подобрееешь. В конце концов, мы живые люди.

— Я не чувствую себя человеком. Я животное. Свинья, или кролик, или собака. О, я тебя не виню. Я и сама не лучше. Я тебе уступила, потому что хотела тебя. Но это была не я — та мерзкая, скверная, развратная женщина. Это не я лежала на постели, задыхаясь от твоих ласк, когда моего мужа только что опустили в могилу, а твоя жена была так

добра ко мне, так бесконечно добра. То был зверь, который живет во мне, темный, страшный, как злой дух, и я его не признаю, я его ненавижу, презираю. Стоит про это вспомнить, тошно становится, как будто меня сейчас вырвет.

Он слегка нахмурился и ответил с коротким смешком:

— Я, знаешь ли, человек достаточно терпимый, но иногда ты меня просто шокируешь.

— Что ж поделаешь, очень жаль. А теперь уходи. Ты очень неинтересный и мелкий человек, с тобой и говорить всерьез глупо.

По тому, как потемнели его глаза, она поняла, что он рассержен не на шутку. Каким же облегчением будет для него с ней распрощаться — как всегда, учтиво, по-дружески. Ей стало смешно, когда она представила себе, как вежливо они пожимают друг другу руки и он желает ей счастливого пути, а она благодарит его за гостеприимство. Но тут выражение его изменилось.

— Дороти мне сказала, что ты ждешь ребенка.

Она слегка покраснела, но осталась неподвижна.

— Совершенно верно.

— Уж не я ли, случайно, отец?

— Нет-нет, это ребенок Уолтера.

В тоне ее была излишняя горячность, и она сама услышала, что прозвучало это неубедительно.

— Ты уверена? — Он озорно улыбнулся. — Как-никак, вы с Уолтером были женаты не день и не два, а ничего не случилось. И сроки совпадают. Мне кажется, что он скорее мой, а не Уолтера.

— Я бы лучше себя убила, чем родить от тебя ребенка.

— Да брось, что за глупости. А я так был бы очень рад и горд. И хорошо бы родилась девочка, а то с Дороти у нас были одни мальчишки. Впрочем, долго сомневаться ты не будешь, мои все трое — вылитый мой портрет.

К нему вернулось хорошее настроение, и она поняла почему. Если ребенок его, то она никогда не будет от него свободна, хоть бы им и не довелось больше свидеться. Его власть над ней сохранится, и это, пусть косвенно, но неотвратимо, наложит печать на все дни ее дальнейшей жизни.

— Такого законченного болвана я еще не встречала, — сказала она.

Когда пароход входил в марсельскую гавань, Китти, любуясь ломаными очертаниями залитого солнцем берега, вдруг заметила золотую статую мадонны, воздвигнутую на церкви святой Марии Милостивой как символ защиты плавающих по морям. Ей вспомнилось, что сестры монастыря в Мэй-дань-фу, навсегда покидая родину, смотрели на эту статую, пока она не превратилась в маленький язычок золотого пламени в синем небе, и пытались молитвой смягчить шемящую боль расставания. Она стиснула руки и вся обратилась в мольбу неведомо каким силам.

Во время долгого, спокойного морского перехода она непрестанно думала о том страшном, что с нею случилось. Она не понимала себя. Это было так неожиданно. Что же это ею овладело, когда она, всем сердцем презирая Чарли, сладострастно уступила его нечистым ласкам? Ярость, отвращение к самой себе переполняли ее. Казалось, ей вовек не забыть этого унижения. Она плакала. Но по мере удаления от Гонконга эти ощущения постепенно теряли свою остроту. Уже казалось, что все это произошло в другом мире. Так бывает с человеком, который, очнувшись от внезапного припадка безумия, испытывает смятение и стыд, смутно припоминая нелепые, безобразные поступки, совершенные им, когда он перестал быть самим собой. Но, зная, что он тогда не был самим собой, он чувствует, что хотя бы в собственных глазах заслуживает снисхождения. Китти думала, что, может быть, у кого-нибудь и хватило бы великодушия не осудить, а пожалеть ее. Но сама она только вздыхала при мысли о том, какой удар был нанесен ее самонадеянности. Ей-то казалось, что дорога ее уходит вдаль прямая, легкая, а оказывается — дорога эта извилистая, и на каждом шагу ухабы. Необозримые пространства Индийского океана с его трагически прекрасными закатами немного успокоили ее. Она словно неслась на крыльях в какую-то страну, где сможет вновь обрести себя. А если вернуть себе самоуважение можно только ценой жестокой борьбы — что ж, нужно найти в себе силы и бороться.

Будущее рисовалось одиноким и трудным. В Порт-Саиде ее ждало письмо от матери — ответ на ее телеграмму. Письмо было длинное, написанное крупным витиеватым почерком, какому обучали молодых девиц в те далекие годы.

Почерк был такой вычурно аккуратный, что производил впечатление неискренности. Миссис Гарстин выражала сожаление по поводу смерти Уолтера и приличествующие случаю соболезнования. Она опасается, что Китти осталась почти без средств, но, конечно же, министерство по делам колоний назначит ей пенсию. Она рада, что Китти возвращается в Англию, и до рождения ребенка ее место, разумеется, под родительским кровом. Дальше шли всевозможные советы и наставления, а также кое-какие подробности касательно родов ее сестры Дорис. Сейчас мальчик уже весит столько-то фунтов, его дед с отцовской стороны уверяет, что в жизни не видел такого отличного ребенка. Дорис опять в положении, они надеются, что второй тоже будет мальчик, тогда за баронетский титул и вовсе можно будет не опасаться.

Китти уловила, что главная цель этого письма — точно установить срок, на который ее приглашают. Миссис Гарстин не намерена взвалить на себя такое бремя, как овдовевшая дочь в стесненных обстоятельствах. Когда вспомнишь, как мать с ней когда-то носилась, странно, что теперь, обманувшись в своих надеждах, она видит в ней только обузу. Странная это вещь вообще — отношения между родителями и детьми! Пока они маленькие, родители чуть не молятся на них, ночей не спят, когда дети болеют, а дети льнут к ним с благоговейной любовью. Проходит несколько лет, дети подрастают, и важнее для их счастья становятся уже не отец с матерью, а вовсе, казалось бы, посторонние люди. На смену слепой, инстинктивной любви приходит равнодушие. Встречаясь, они испытывают скуку или раздражение. Когда-то расстаться на месяц казалось им трагедией, теперь они хладнокровно думают о предстоящей им многолетней разлуке. Пусть ее мать не тревожится: она и сама предпочитает жить своим домом. Но ей нужно немножко времени, чтобы оглядеться, сейчас все так туманно, представить себе будущее она просто не в силах. Возможно, она еще умрет от родов, это было бы разрешением многих проблем.

Но когда они причалили в Марселе, ей передали два письма. Она с удивлением узнала почерк отца — он, сколько помнится, никогда не писал ей писем. Письмо было недлинное и начиналось «Дорогая Китти». Он сообщал, что пишет вместо матери — та заболела, ей пришлось лечь в

больницу на операцию. Пусть Китти не пугается и не меняет своих планов добраться до Англии морем. Поездом ехать гораздо дороже, к тому же, пока матери нет дома, Китти будет неудобно жить на Харрингтон-Гарденз. Второе письмо было от Дорис, оно начиналось «Китти, милая» — не потому, что Дорис питала к ней особенно нежные чувства, а потому, что она обращалась так ко всем без разбора.

«Китти, милая, папа тебе, наверно, уже написал. Маму будут оперировать. Оказывается, она уже год как тяжело больна, но ты ведь ее знаешь, докторов она терпеть не может и пила какие-то патентованные средства. Я не знаю точно, что с ней такое, а она все держит в секрете, а если спросишь, тут же взрывается. Вид у нее ужасный, я бы на твоём месте приехала из Марселя поездом, чтобы поскорее попасть домой, только не говори, что это я тебе посоветовала, ведь она уверяет, что ничего серьезного нет, и не хочет, чтобы ты приезжала, пока она еще в больнице. С врачом она взяла обещание, что ее выпишут через неделю.

Целую, *Дорис*.

P.S. Ужасно мне жалко Уолтера. Нелегко тебе досталось, бедняжка. Безумно хочу тебя видеть. Забавно, что мы с тобой одновременно ждем младенцев. Сможем держаться за руки».

Китти, задумавшись, стояла на палубе. Она не могла вообразить свою мать больной. Всегда она была такая живая, энергичная и ненавидела, когда кто-нибудь в семье хворал.

К ней подошел стюард с телеграммой:

«Глубоким прискорбием сообщая мама скончалась сегодня утром.

Отец».

78

Китти позвонила у подъезда знакомого дома на Харрингтон-Гарденз. Горничная сказала, что ее отец у себя в кабинете, и она тихонько отворила дверь: он сидел у огня с вечерней газетой в руках. Когда она вошла, он поднял голову, отложил газету и суетливо вскочил с места.

— А-а, Китти, а я ждал тебя следующим поездом.

— Не хотелось тебя беспокоить, ты бы еще вздумал встречать меня, вот я и не сообщила точное время.

Он подставил ей щеку для поцелуя движением, которое она помнила с детства.

— А я тут просматривал газету, — сказал он. — Я уже два дня газет не читал.

Он, видимо, считал нужным оправдаться в том, что занимался таким обычным делом.

— Ну и правильно, — сказала она. — Ты, наверно, устал ужасно. Ведь мамина смерть явилась для тебя неожиданностью?

С тех пор как они не виделись, он постарел, похудел. Маленький, сухонький, аккуратный.

— Хирург сразу сказал, что надежды нет. Она была больна больше года, но не хотела обращаться к врачам. Хирург сказал, что у нее должны были быть сильные боли, просто чудо, как она их терпела.

— И никогда не жаловалась?

— Говорила иногда, что ей нездоровится, а на боли не жаловалась, нет, — Он помолчал, посмотрел на Китти. — Ты очень устала с дороги?

— Не очень.

— Хочешь взглянуть на нее?

— А она здесь?

— Да, ее привезли сюда из больницы.

— Да, пойду сейчас же.

— Мне пойти с тобой?

Что-то в его тоне заставило Китти бросить на него быстрый взгляд. Он слегка отвернулся, отводя от нее глаза. За последнее время Китти научилась безошибочно читать чужие мысли. Недаром она изо дня в день прилагала все силы, чтобы по случайному слову или необдуманному жесту угадать тайные мысли мужа. И сейчас она сразу уловила то, что отец пытался от нее скрыть. Облегчение, вот что он чувствовал, огромное облегчение, и это его пугало. Почти тридцать лет он был верным и преданным мужем, ни разу ни словом не отозвался плохо о своей жене, и теперь ему следовало горевать о ней. Он всегда делал то, чего от него ожидали. Он счел бы непозволительным хотя бы неосторожным взглядом или намеком выдать тайну — что он не испытывает того, что в данных обстоятельствах полагалось бы испытывать безутешному вдовцу.

— Нет, я лучше пойду одна, — сказала Китти.

Она поднялась по лестнице и вошла в большую, холодную, претенциозно обставленную комнату, материнскую спальню. Как хорошо она помнила эту массивную мебель красного дерева и на стенах — гравюры по Маркусу Стоуну. На туалетном столе все было расставлено и разложено в том неукоснительном порядке, которого миссис Гарстин всегда придерживалась. Цветы казались не у места: миссис Гарстин нашла бы, что держать цветы в спальне глупо, аффектированно и нездорово. Их аромат не заглушал чуть едкого, кисловатого запаха, как от свежевystиранного белья, который у Китти всегда связывался с этой комнатой.

Миссис Гарстин лежала на постели, руки ее были скрещены на груди, словно выражая покорность, которой она в жизни не одобрила бы. Лицо было благообразно, даже внушительно — крупные, резкие черты, щеки, ввалившиеся от долгих страданий, запавшие виски. Смерть убрала с этого лица все мелкое, злое, оставила только силу характера. Супруга древнеримского императора, да и только. Китти поразило, что из всех мертвых людей, каких ей довелось видеть, только ее мать и в смерти выглядела так, словно эта неподвижная оболочка когда-то была обиталищем духа. Горя она не чувствовала: долголетняя отчужденность в ее отношениях с матерью не оставила места для дочерней любви; и, вспоминая ту девочку, какой она сама когда-то была, она думала, что такой ее сделала мать. Но, глядя на эту жесткую, властную, честолюбивую женщину, что лежала перед ней такая тихая и безмолвная сейчас, когда все ее суетные помыслы развеяны смертью, она смутно прозревала в этом некое возмездие. Всю жизнь она ловчила, интриговала, все ее желания были низменны и недостойны. Может быть, теперь, из какого-то иного мира, она оглядывается на свою земную жизнь с содроганием.

Вошла Дорис.

— Я так и думала, что ты приедешь этим поездом. Решила забежать хоть на минутку. Какой ужас, правда? Бедная мамочка.

И бросилась Китти на шею, заливаясь слезами. Китти поцеловала ее. Она помнила, как мать всегда пренебрегала Дорис и баловала ее, Китти, как она ругала Дорис за то, что та некрасивая и скучная. Неужели же Дорис в самом деле так потрясена ее смертью? Впрочем, Дорис всегда отличалась чувствительностью. Китти пожалела, что не мо-

жет заплакать: Дорис сочтет ее бессердечной. А она столько всего перенесла, что не в состоянии изображать скорбь, которой не чувствует.

— Ты к папе зайдешь? — спросила она, когда рыдания сестры поутихли.

Дорис утерла слезы. Китти отметила, что от беременности Дорис еще подурнела и в черном платье вид у нее какой-то грубый и неряшливый.

— Нет, пожалуй. Только опять расплачусь. Бедный папочка, как он стойко держится.

Китти проводила ее в переднюю и вернулась к отцу. Он стоял перед камином, газета была аккуратно сложена — видимо, с тем расчетом, чтобы она убедилась, что он больше не читает.

— Я не переодевался к обеду, — сказал он. — Решил, что теперь это необязательно.

79

Они пообедали. Мистер Гарстин обстоятельно рассказал Китти о болезни и смерти жены, упомянул, как тепло откликнулись на это событие друзья и знакомые (на столе лежали груды писем, и он вздохнул при мысли, что придется на них отвечать) и как он распорядился насчет похорон. Потом они вернулись в кабинет. Это была единственная во всем доме комната, где топили. Он машинально взял с каминной полки свою трубку и стал ее набивать, но потом с сомнением поглядел на дочь и отложил трубку.

— Разве ты не будешь курить? — спросила она.

— Твоя мама не очень-то любила запах трубочного дыма после обеда, а от сигар я отказался еще во время войны.

У Китти сжалось сердце — надо же, шестидесятилетний мужчина не решается покурить у себя в кабинете!

— А я люблю запах трубки, — улыбнулась она.

Тень облегчения скользнула по его лицу, он снова взял трубку и закурил. Они сидели друг против друга по обе стороны камина. Он, видимо, почувствовал, что должен поговорить с дочерью о ее затруднениях.

— Ты, наверно, получила письмо, которое мама послала тебе в Порт-Саид. Весть о смерти бедного Уолтера нас обоих сразила. Мне он очень нравился.

Китти молчала, не зная, что ответить.

— Мама мне сказала, что ты ждешь ребенка.

— Да.

— И когда же?

— Месяца через четыре.

— Это будет тебе большим утешением. Ты побывай у Дорис, посмотри ее мальчика. Очень хороший мальчуган.

Они говорили более отчужденно, чем если б только что познакомились: ведь чужому человеку было бы с ней интереснее, а общее прошлое воздвигло между ними стену равнодушия. Китти отлично понимала, что никогда не старалась заслужить его любовь, в доме с ним никто не считался, его принимали как должное — кормилец, которого слегка презирали, потому что он не мог обеспечить семье более роскошного существования; но ей-то казалось, что он как отец не может не любить ее, и неожиданностью явилось открытие, что никаких чувств он к ней не питает. Она помнила, что он на всех нагонял скуку, но ей в голову не приходило, что и ему с ними скучно. В нем, как и прежде, чувствовалась мягкая покорность, но невеселая прозорливость, рожденная страданием, подсказывала Китти, что хотя он, вероятно, никогда в этом не признавался даже самому себе и никогда не признается, — что, в сущности, она ему не симпатична.

Трубка его плохо тянула, он встал, чтобы поискать, чем бы ее прочистить. А может, просто хотел скрыть неловкость.

— Мама хотела, чтобы ты пожила здесь до рождения ребенка, она собиралась распорядиться, чтобы тебе приготовили твою прежнюю комнату.

— Да, я знаю. Обещаю, что не буду тебе мешать.

— Дело не в этом. В то время было совершенно ясно, что тебе следует ехать не куда-нибудь, а только в отчий дом. Но мне, понимаешь ли, только что предложили пост главного судьи на Багамах, и я принял это предложение.

— Ох, папа, как я рада! Поздравляю тебя.

— Предложение это немного запоздало, я уже не мог сообщить о нем твоей покойной матери. Оно доставило бы ей большое удовлетворение.

Вот она, горькая ирония судьбы! После всех своих хлопот, унижений и разочарований миссис Гарстин умерла, так и не узнав, что ее честлюбивый замысел все же осуществился.

— Я отплываю в начале будущего месяца. Этот дом я, разумеется, поручу продать, думал продать и мебель. Мне очень жаль, что ты не сможешь остаться здесь жить, но, если тебе захочется взять что-нибудь из мебели, чтобы об-

ставить квартиру, мне доставит истинное удовольствие тебе это подарить.

Китти глядела в огонь. Сердце у нее колотилось, даже странно было, до чего она вдруг разволновалась. Наконец она заставила себя заговорить. Голос слегка дрожал.

— А мне с тобой нельзя поехать, папа?

— Тебе? Ох, моя дорогая... — Лицо его вытянулось. Китти часто слышала это выражение, но считала, что так просто говорится, а тут впервые увидала воочию, да так явственно, что даже испугалась. — Но ведь все твои друзья здесь, и Дорис здесь. Я думал, тебе будет гораздо лучше, если ты снимешь квартиру в Лондоне. Я не знаю в точности, какими средствами ты располагаешь, но рад буду вносить квартирную плату.

— Денег у меня на жизнь достаточно.

— Я еду в совершенно незнакомое место. Какие там условия — понятия не имею.

— К незнакомым местам мне не привыкать. Лондон для меня теперь ничто. Мне здесь нечем было бы дышать.

Он закрыл глаза, и ей показалось, что он сейчас заплачет. Лицо его выражало безграничное горе. Сердце разрывалось, на него глядя. Она не ошиблась: смерть жены была для него избавлением, и теперь эта возможность полностью порвать с прошлым сулила ему свободу. Он уже видел впереди новую жизнь и наконец, после стольких лет, покой и призрак счастья. Сердцем она поняла, как он настрадался за тридцать лет. И вот он открыл глаза, не удержавшись от тяжелого вздоха.

— Разумеется, если тебе хочется ехать, я буду очень рад.

Жалкое зрелище. Борьба была короткой, он покорился чувству долга. В этих немногих словах было отречение от последней надежды. Она встала и, подойдя к его креслу, опустила на колени, сжала его руки.

— Нет, папа, я поеду, только если ты этого захочешь. Довольно ты жертвовал собой. Хочешь ехать один — поезжай. А обо мне не думай.

Он высвободил руку и погладил ее по пышным волосам.

— Разумеется, поедem вместе, милая. Ведь я, как-никак, твой отец, а ты вдова и одна на свете. Раз тебе хочется быть со мной, с моей стороны было бы дурно не хотеть этого.

— Да нет же, я не предъявляю на тебя никаких прав как дочь, ты мне ничего не должен.

— Ну что ты, моя дорогая...

— Ничего! — повторила она страстно. — У меня сердце болит, как подумаю, что мы всю жизнь тянули из тебя жилы, а тебе ничего не давали взамен. Даже немножко ласки. Боюсь, жизнь у тебя была не очень счастливая. Так позволь мне хоть отчасти возместить тебе то, чего я не дала тебе в прошлом!

Он нахмурился. Эти излияния приводили его в замешательство.

— Не понимаю, о чем ты говоришь. Мне не в чем тебя упрекнуть.

— Ах, папа, я столько всего пережила, я была так несчастна! Я не та Китти, которая уезжала отсюда. Я очень слабая, но, кажется, уже не такая дрянь, какой была тогда. Позволь мне хоть попытаться. У меня никого не осталось, кроме тебя. Позволь мне попытаться заслужить твою любовь. Ах, папа, мне так одиноко, так тоскливо, твоя любовь мне так нужна!

Она уткнулась лицом в его колени и заплакала горькими слезами.

— Китти, маленькая моя, — приговаривал он, наклонившись над ней.

Она подняла голову, обняла его за шею.

— Папа, помоги мне. Давай помогать друг другу.

Он поцеловал ее в губы, как любовник, щеки его были мокры от слез.

— Разумеется, поедем вместе.

— Ты так хочешь? Правда, хочешь?

— Да.

— Я так тебе благодарна!

— Дорогая моя, не говори мне таких вещей, ты меня конфузишь.

Он достал платок, вытер ей глаза. И улыбнулся такой улыбкой, какой она никогда у него не видела. Она опять обняла его.

— Нам с тобой будет так хорошо, папочка. Ты даже не знаешь, как славно мы с тобой заживем.

— А ты не забыла, что скоро будешь матерью?

— Я рада, что она родится где-то там, близко от моря, под широким синим небом.

— Ты уже твердо решила, что будет девочка? — спросил он с легкой, сухой усмешкой.

— Я хочу девочку, потому что хочу вырастить ее так; чтобы она не повторила моих ошибок. Когда я оглядываюсь на свое детство, я себя ненавижу. Но у меня и возможностей

не было стать иной. Я воспитаю свою дочку свободной, самостоятельной. Не для того произведу ее на свет и буду любить и растить, чтобы какому-то мужчине так сильно захотелось с ней спать, что он ради этого согласится до конца жизни давать ей кров и пищу.

Она почувствовала, что отец весь сжался. Он никогда не говорил о таких вещах и был шокирован, услышав эти речи из уст родной дочери.

— Дай мне хоть раз высказаться откровенно, папа. Я была глупая, скверная, отвратительная. Я была жестоко наказана. Мою дочь я хочу от всего этого уберечь. Хочу, чтобы она была бесстрашной и честной, чтоб была личностью, независимой от других, уважающей себя. И чтобы воспринимала жизнь как свободный человек и прожила свою жизнь лучше, чем я.

— Дорогая моя, ты говоришь так, точно тебе пятьдесят лет. У тебя еще вся жизнь впереди. Не унывай.

— А я не унываю. Я надеюсь и не боюсь.

С прошлым покончено. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Разве это так уж бессердечно? От всей души она надеялась, что научилась состраданию и милосердию. Что ждет ее в будущем — неизвестно, но в себе она ощущала способность встретить любую долю без жалоб. И вдруг, непонятно почему, из глубины подсознания возникла память о том, как они, она и бедный Уолтер, добирались в охваченный эпидемией город, где его ждала смерть: однажды утром они выступили в путь еще затемно, и, когда стало рассветать, она не столько увидела, сколько угадала картину такой несказанной прелести, что на какое-то время улеглась ее душевная боль. Все людские треволнения отступили перед этой красотой. Взошло солнце, туман растаял, и стало видно, как далеко впереди, до самого горизонта, меж рисовых полей, через узкую речку и дальше по отлогим холмам вьется дорога, по которой им предстояло пройти. Быть может, не напрасны были все ее ошибки и заблуждения, все муки, перенесенные ею, если теперь она сумеет пройти той дорогой, которую смутно различает впереди, — не тем путем, ведущим в никуда, о котором говорил забавный чудак Уоддингтон, а тем, которым так смиренно следовали монахини, — путем, что ведет к душевному покою.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ



Чарли Мейсону предстояла поездка, и мать уговаривала его как следует позавтракать, но слишком он был взволнован, какая уж тут еда. Был канун Рождества, и он ехал в Париж. К дню квартальных платежей им с отцом пришлось проделать уйму работы, и сегодня, когда отцу не было надобности идти в контору, он повез Чарли на вокзал Виктории. Уличная пробка на несколько минут задержала их у Гросвенор-Гарденс, и, опасаясь, как бы не опоздать на поезд, Чарли даже побледнел от тревоги. Отец посмеивался.

— У тебя еще добрых двадцать минут.

Но Чарли успокоился, только когда они приехали.

— Ну, счастливо, мой мальчик, — сказал отец. — Повелись в свое удовольствие, да смотри не слишком проказничай.

Пароход, пятясь, кормой вперед вошел в гавань, и при виде высоких, серых, закопченных домов Кале Чарли возликовал. День был сырой, дул пронзительный ветер. Он шагнул по перрону, будто по воздуху. «Золотая стрела», могучий, роскошный и величественный экспресс, который его поджидал, был не просто поездом, но романтическим символом. Пока не стемнело, Чарли смотрел в окно и про себя радостно смеялся — перед ним проносились картины, которые он уже видел в картинных галереях: песчаные дюны с лоскутами серой под свинцовым небом травы, селения, где жались друг к другу домишки бедняков под шиферными крышами, а потом широкие печальные просторы вспаханных полей и кое-где обнаженные деревья; но день, казалось, спешил покинуть эту безрадостную сцену, и вскоре, посмотрев в окно, Чарли только и увидел, что собственное отражение, а за ним полированное красное дерево пуль-

мановского вагона. Он пожалел, что не полетел самолетом. Он хотел лететь, но мать решительно воспротивилась, уредила отца, что среди зимы это безрассудно и опасно, и отец, всегда такой здравомыслящий, на сей раз поставил условие, что увеселительная поездка состоится, только если сын отправится поездом.

Чарли, разумеется, уже бывал в Париже, раз пять-шесть, не меньше, но впервые ехал туда один. Поездка эта — подарок отца, и на то была особая причина: Чарли проработал год в отцовской конторе, сдал необходимые экзамены и мог теперь с успехом следовать по избранной стезе. Сколько он помнил, отец, мать, сестра Пэтси и он сам всегда проводили Рождество у родных, Терри-Мейсонов, в Годэлминге; и чтобы объяснить, почему однажды вечером, обговорив все с женой, Лесли Мейсон, с улыбкой на добром лице, спросил сына, не хочет ли он вместо того, чтобы как обычно ехать с ним в Годэлминг, провести самостоятельно несколько дней в Париже, надо немного вернуться назад. Да, надо вернуться в середину девятнадцатого века, когда некто Сайберт Мейсон, человек работающий и толковый, старший садовник в большом имении в Сассексе, женился на кухарке, купил на свои и ее сбережения несколько акров земли севернее Лондона и стал выращивать овощи на продажу. Хотя ему было уже сорок и жене немногим меньше, они произвели на свет восемь детей. Мейсон преуспевал и на выручаемые деньги прикупал небольшие участки все еще свободных окрестных земель. Город разрастался, и огород приобрел ценность как место под застройку; заняв в банке деньги, Мейсон возвел целую улицу особнячков и в скором времени все их сдал в аренду. Подробно рассказывать о том, как успешно шли его дела, было бы скучно, довольно сказать, что, когда он умер в возрасте восьмидесяти четырех лет, та земля, которую он в свое время купил, чтобы выращивать овощи и продавать их на Ковентгарденском рынке, и участки, которые он неизменно приобретал при всякой возможности, отданы были под кирпич и известковый раствор. Сайберт Мейсон позаботился, чтобы его дети получили образование, в котором ему самому было отказано. Они поднимались по общественной лестнице. Он же преобразовал Владение Мейсона, как он, пожалуй, чересчур пышно его именовал, в частную компанию, и после его смерти каждый из детей получил в

наследство свою долю акций. Владение Мейсона отлично управлялось, и хотя ему не сравниться было ни с Вестминстерским, ни с Портсменским владением, ибо местоположение его было скромное и жить здесь давно уже не считалось почетным, но лавки, склады, фабрики, трущобы, длинные ряды закопченных двухэтажных домов приносили его владельцам довольно прибыли и позволяли, не прилагая особых усилий, жить как подобает джентльменам и леди, каковыми они теперь стали. И в самом деле, глава семьи, единственный оставшийся в живых сын старшего сына старшего Сайберта, — брат его погиб на войне, а сестра упала с лошади во время охоты и разбилась насмерть, — был очень богат. Был он членом парламента и во время пятидесятилетнего юбилея короля Георга Пятого получил титул баронета. Он присоединил к своей фамилии фамилию жены и отныне звался сэром Уилфридом Терри-Мейсоном. Семья надеялась, что его неколебимая преданность партии тори и верное место в парламенте принесут ему в конце концов титул пэра.

Лесли Мейсона, младшего из многочисленных внуков Сайберта, послали учиться в закрытую частную школу для мальчиков, а потом и в Кембриджский университет. Его доля в Компании приносила ему две тысячи фунтов стерлингов в год, и к этому прибавилась еще тысяча, которую он получал как секретарь Компании. Раз в год созывалось собрание под председательством сэра Уилфрида, — на нем присутствовали те члены семьи, которые оказывались в Англии, ибо кое-кто из третьего поколения служил своему отечеству в отдаленных пределах Империи, а кое-кто жил в праздности и часто проводил время за границей, — и Лесли читал в высшей степени благополучный отчет, составленный многоопытными бухгалтерами.

Лесли Мейсон был человеком весьма разнообразных интересов. Сейчас ему пятьдесят с небольшим, у него приятная наружность, он высокий, хорошо сложен, голубые глаза, красиво седеющие, довольно длинные волосы и яркий румянец. Он похож скорее на солдата или на приехавшего домой в отпуск губернатора какой-либо колонии, чем на комиссионера по продаже и сдаче внаем домов, и, глядя на него, никогда не скажешь, что его дед был садовником, а бабушка — кухаркой. Он хорошо играет в гольф, на что не жалеет времени, и хорошо стреляет. Но Лесли Мейсон

занимается не только гольфом и охотой, он еще и живо интересуется искусством. У остальных членов семьи никаких таких причуд не было, и они относились к склонностям Лесли со снисходительной улыбкой, но когда по той или иной причине кто-нибудь из них хотел купить мебель или картину, они спрашивали совета у Лесли и следовали ему. Вполне естественно, что Лесли разбирался в этих делах, ведь он женился на дочери художника. Джон Перон, отец его жены, художник, многие годы, между восьмидесятыми и концом века, был членом Королевской академии, заработал немалые деньги тем, что писал молодых женщин в костюмах восемнадцатого века, флиртующих с соответственно одетыми молодыми людьми. Он писал их в садах, среди цветов, которые сажали в те поры, в заплетенных листвою беседках и в гостиных, вполне правильно обставленных столами и стульями того периода. Но теперь, если его картины попадали на аукцион Кристи, они шли по тридцать шиллингов, от силы по два фунта. После смерти отца Винитии Мейсон досталось множество его картин, но они давно уже пылились в кладовке, лицом к стене, ибо по нынешним временам даже дочерняя любовь не могла помешать ей считать их никудышными. Чета Мейсонов нисколько не стыдилась того, что бабка Лесли была кухаркой, в дружеском кругу они склонны были шутить над этим, а вот о Джоне Пероне им упоминать было неловко. Кое у кого из родственников Лесли Мейсона до сих пор висели его картины; Винитию это унижало.

— Я вижу, у вас там еще висит картина отца, — говорила она. — Вам не кажется, что она изрядно устарела? Почему бы вам не поместить ее в одну из свободных комнат?

— Мой тесть был прелестный человек, — говорил Лесли. — И манеры у него были прекрасные, но, боюсь, художник он был неважный.

— Видишь ли, мой папаша выложил за нее кругленькую сумму. Было бы нелепо вешать в запасной спальне картину, которая стоила триста фунтов, но, знаешь, если такое к ней твое отношение, я продам ее тебе за сто пятьдесят.

Ибо хотя за три поколения Мейсоны и превратились в леди и джентльменов, деловую хватку они не утратили. За время брака художественный вкус четы Мейсонов весьма заметно изощрился, и на стенах их нового красивого дома на Порчестер-Клоуз висели картины Уилсона Стира и

Огастеса Джона, Дункана Гранта и Ванессы Белл. Были у них и Утрилло, и Виллар, купленные, когда картины обоих мастеров еще продавались за умеренную цену, были и Дерен, и Марке, и Кирико. Стоило войти в их дом, ничуть не загроможденный мебелью, и сразу становилось ясно — они не отстают от жизни. Они старались не пропускать недоступные широкой публике закрытые выставки, а бывая в Париже, не упускали случая посетить галерею Розенберга и торговцев картинами на Рю де Сен, чтобы взглянуть, что же здесь предлагают; они вправду любили картины, и если не покупали их до того, как нынешние знатоки сходились во мнении, что полотно заслуживает внимания, то отчасти из-за скромности и неуверенности в собственном суждении, а отчасти из-за опасения невыгодно вложить деньги. Ведь картины Джона Перона в свое время хвалили известнейшие критики и за каждую ему платили по несколько сот фунтов, а теперь сколько они стоят? Два-три фунта. Поневоле станешь осторожен. Но чету Мейсонов интересовала не одна только живопись. Они любили музыку, всю зиму посещали симфонические концерты, у них были любимые дирижеры, и никакие светские обязанности не заставили бы супругов пропустить их выступления. Раз в году они непременно слушали «Кольцо Нибелунгов». Обоим музыка доставляла истинное наслаждение. Они знали в ней толк и обладали хорошим вкусом. Они неизменно бывали на театральных премьерах и входили в общества, что ставят пьесы, которые считаются недоступными пониманию широкой публики. Они сразу же прочитывали книги, о которых говорят. И не только потому, что им это нравилось, но и потому, что надо же идти в ногу со временем. Они искренне интересовались искусством, и малейшая попытка посмеяться над ними оттого, что им недоставало смелости, а их оценкам оригинальности, была бы несправедлива. Возможно, суждения их были традиционны, но то была традиционность высочайшей культуры их времени. Сами они неспособны были совершить открытие, зато живо откликались на открытия других. Предоставленные самим себе, они вряд ли особенно восхитились бы Сезанном, но едва им стало ясно, что он великий художник, они со всей искренностью это признали. Своим вкусом они не гордились, и в их отношении к искусству не было ни тени снобизма.

— Мы просто самая заурядная публика, — говорила Винития.

— Как раз та, которую презирает художник, но которая знает, что ей нравится, — прибавлял Лесли.

По счастью и чистой случайности, Дебюсси им нравился больше, чем Артур Салливен, а Вирджиния Вулф больше, чем Джон Голсуорси. Эта поглощенность искусством почти не оставляла времени для светских развлечений; они не искали общества лиц высокопоставленных или знаменитых, друзья их были очень милые люди, состоятельные, но вовсе не богачи, которых отличало умеренное пристрастие к пище духовной. Они не очень-то любили званые обеды, сами давали их изредка и ходили на них не чаще, чем того требовали приличия; но они любили угощать друзей ужином, когда те заглядывали к ним воскресным вечером, одетые как кому угодно, и с удовольствием ели кеджери¹ и сосиски с картофельным пюре. Гостей ждала хорошая музыка и приятная партия в бридж. И разумная беседа. Эти вечера отличались той же милой непритязательностью, как и сами супруги Мейсоны, и хотя у всех гостей были собственные автомобили и лишь у немногих меньше пяти тысяч годового дохода, они льстили себя надеждой, что на их вечерах царил дух богемы.

Но счастливей всего Лесли Мейсон бывал, когда не надо было идти ни на концерт, ни на премьеру и можно было провести вечер в лоне семьи. С браком ему повезло. Жена его в молодости была хороша собой и сейчас, в зрелом возрасте, не утратила своей привлекательности. Была она почти такая же высокая, как он, глаза голубые, проседь в каштановых волосах пока еще не заметна. Склонная к полноте, она при своем росте носила ее с достоинством, а строгая диета помогала ей поддерживать форму, так что полнота ее не портила. Лицо у нее было открытое, высокий лоб и застенчивая улыбка. Одевалась она в Париже, правда, не у модных портних, а все-таки у мастерицы почти первоклассной, но, однако же, в ней всегда можно было признать англичанку. Она как бы подчиняла себе любой наряд, и если иной раз позволяла себе роскошь купить шляпу от Ребу, на ней эта шляпа казалась купленной в английском универмаге. По миссис Мейсон сразу видно

¹ Блюдо из риса, стручковых овощей, лука и яиц.

было, что она женщина добропорядочная, интеллигентная и притом обеспеченная. Она вышла замуж по любви и до сих пор любила мужа. Их связывали еще и общие интересы, и не удивительно, что жили они в полном согласии. С самого начала было решено, что из них двоих она лучше разбирается в живописи, а он в музыке, и они доверяли суждениям друг друга. Когда заходил разговор, к примеру, о последней работе Пикассо, Лесли говорил:

— Что ж, сказать по совести, мне она не сразу пришлась по вкусу, а вот Винития ни минуты не сомневалась; при ее чутье она мигом оценила картину.

А миссис Мейсон признавалась, что прежде, чем по-настоящему понять утверждение мужа, будто Вторая симфония Сибелиуса на свой лад не хуже Бетховена, ей пришлось прослушать это произведение раза четыре.

— Но Лесли, разумеется, по-настоящему понимает музыку. По сравнению с ним я, можно сказать, профан.

Лесли и Винития Мейсон повезло не только друг с другом, но и с детьми. Детей было двое, как раз столько, сколько нужно, ведь единственный ребенок может вырасти избалованным, а трое или четверо потребовали бы значительных расходов, так что уже невозможно было бы жить как хочется, не стесняя себя, и так обеспечить детей, чтобы не тревожиться за их будущее. К своим родительским обязанностям они отнеслись серьезно. Стены детской украсили не какими-нибудь глупыми картинками, предназначенными для детей, но репродукциями Ван Гога, Гогена и Мари Лорансен, чтобы с ранних лет у детей формировался вкус; столь же заботливо подобрали пластинки для патефона в детской, так что ни сын, ни дочь еще и на велосипеде не умели кататься, а уже знакомы были с Моцартом и Гайдном, с Бетховеном и Вагнером. Едва они подросли, превосходные учителя стали их обучать игре на фортепиано, и Чарли оказался особенно способным. Брат и сестра очень любили бывать на концертах. Они приходили на воскресный дневной концерт и слушали музыку с партитурой в руках или часами дожидались места на галерке в «Ковент-Гарден», потому что родители не считали нужным покупать им дорогие билеты, полагая, что если готов слушать музыку без особых удобств, значит, ты истинный ее поклонник. Супруги Мейсон не очень жаловали старых мастеров и в Национальной галерее бывали редко, разве что газеты

поднимут шум из-за какого-нибудь нового приобретения, однако они полагали, что детям необходимо знакомиться с великим искусством прошлого, и когда те подросли, постоянно водили их в Национальную галерею, но скоро поняли, что, если хотят их порадовать, надо повести их в галерею Тейта, и с удовольствием убедились, что понастоящему детей волнует искусство самое современное.

— Поневоле задумаешься, когда видишь, что два таких юных существа чувствуют себя в стихии Матисса, как рыба в воде, — говорил Лесли Мейсон жене, и в его добрых глазах сияла гордая улыбка.

В ее ответном взгляде читались и усмешка и печаль.

— Они считают меня ужасно старомодной, оттого что мне все еще нравится Моне. Они говорят, его картины будто с шоколадной коробки.

— Что ж, мы сами воспитывали их вкус. Не стоит ворчать, если они нас обогнали и оставили позади.

Винития мило и ласково засмеялась.

— Видит Бог, я нисколько на них не сержусь, пускай считают меня безнадежно старомодной. Что бы они ни говорили, все равно мне будут нравиться и Моне, и Мане, и Дега.

Но Мейсоны подумали не только о художественном образовании своих отпрысков. Они старались, чтобы те не выросли излишне чувствительными и достигли мастерства в спорте, в различных играх. Брат и сестра хорошо ездили верхом, и из Чарли получился совсем неплохой стрелок. Пэтси, которой исполнилось восемнадцать, училась в Королевской музыкальной академии. В мае она закончит курс, и тогда они устроят в ее честь бал в прекраснейшей гостинице «Кларидж». Леди Терри-Мейсон представит ее ко двору. Пэтси такая хорошенькая, голубоглазая, белокурая, стройненькая, веселая, с привлекательной улыбкой, ей, конечно же, обеспечен быстрый успех. Лесли хотел, чтобы она вышла за подающего надежды молодого адвоката, стремящегося сделать политическую карьеру. Столь утонченная и образованная девушка, да еще при деньгах, которые она со временем унаследует, Пэтси будет такому человеку замечательной женой. Но это означало бы конец дружной, уютной и счастливой жизни их семейства, какую они до сих пор наслаждаются. Конец приятнейшим вечерам, когда они обедают дома вчетвером в красиво обставленной

столовой, где над чиппендейловским буфетом висит полотно Стара, за столом, сияющим уотерфордским стеклом и георгианским серебром, где прислуживают хорошо обученные служанки в ловко сидящих фирменных платьях; простые английские блюда прекрасно приготовлены; а после обеда, за которым не умолкает беседа об искусстве, литературе, театре, — стакан портвейна, и потом в гостиной немного музыки и партия в бридж. Винития боялась, что это с ее стороны чистейший эгоизм, а все же поневоле радовалась, что прежде чем Чарли сможет позволить себе жениться, пройдет, по крайней мере, несколько лет.

Чарли родился во время войны, ему минуло двадцать три, и когда Лесли демобилизовался и поехал в Годэлминг к главе семьи, который был уже членом парламента, но имел еще только низшее дворянское звание, сэр Уилфрид посоветовал ему, когда придет время, отдать сына в Итон. Лесли и слышать об этом не хотел. И вовсе не из-за денег, которых бы это потребовало, — просто ему хватало здравого смысла не посылать мальчика в школу, где ему привьют экстравагантные вкусы и он наберется идей, никак не подходящих для предстоящей ему жизни.

— Сам я учился в Рагби, и, по-моему, для него будет лучше всего, если я пошлю его туда же.

— Я думаю, ты делаешь ошибку, Лесли. Своих я послал в Итон. Я, слава богу, не сноб, но и не дурак, в обществе Итон ценят, тут спорить не приходится.

— Да, еще бы, но мое положение не чета твоему. Ты очень богат, Уилфрид, и если все пойдет хорошо, ты в конце концов попадешь в палату лордов. Ты совершенно прав, тебе, конечно, следует предоставить сыновьям те возможности, которые позволяют им занять в обществе подобающее положение, а я, хоть я и секретарь компании «Мейсонское владение», что звучит весьма солидно, когда дело доходит до монеты, оказывается, я всего-навсего агент по продаже недвижимости, и не желаю я воспитывать сына важным господином, пускай пойдет по моей дорожке.

Такие речи Лесли были невинной хитростью. По завещанию старого Сайберта и из-за несчастий, приключившихся с братом и сестрой Уилфрида, о чем было уже рассказано, ему теперь принадлежали три восьмых Компании, это принесло ему значительный капитал, который будет становиться еще значительней благодаря доходам от

арендаторов, возрастающей стоимости земли и умелому управлению. Человек толковый, деятельный, да притом богатый и с положением, он пользовался особым влиянием в семье, и хотя никто из родных не ставил это под сомнение, ему приятно было, когда это признавали вслух.

— Неужели ты хочешь сказать, что был бы доволен, если бы сын тоже стал агентом по продаже недвижимости?

— Мне это занятие подходит. Почему ж оно не подойдет ему? Никто не знает, к чему идет мир, и когда Чарли вырастет, может, он еще как будет рад тепленькому местечку на тысячу в год. Но хозяин, разумеется, ты.

Сэр Уилфрид повел рукой, давая понять, что скромность не позволяет ему согласиться с такой своей ролью.

— Я такой же акционер, как и все вы, но что до меня, если ты хочешь, чтобы сын занял твое место, пускай займет. Все это, разумеется, еще нескоро, к тому времени я уже могу умереть.

— В нашей семье живут долго, ты проживешь не меньше Сайберта. Во всяком случае, будет неплохо, если ты дашь понять остальным, что это дело решенное: когда я отойду от дел, мое место займет мой сын.

Чтобы расширить кругозор детей, супруги Мейсоны проводили каникулы за границей — зимой там, где можно кататься на лыжах, а летом на морских курортах на юге Франции; и раза два они с той же похвальной целью совершали путешествия в Италию и в Голландию. Когда Чарли окончил школу, отец решил, что, прежде чем поступать в Кембридж, мальчику полезно пожить полгода в Туре, изучить французский. Но его пребывание в этом славном городе обернулось совершенно неожиданно и могло бы привести к катастрофе, — ибо, вернувшись, он объявил, что желает ехать не в Кембридж, а в Париж, хочет стать художником. Родители были ошеломлены. Они любили искусство, часто говорили, что оно занимает весьма важное место в их жизни; Лесли, временами не чуждый философических размышлений, склонен был думать, что только искусство придает смысл человеческому существованию, и с величайшим уважением относился к его творцам; но никогда он не мог себе представить, что кто-либо из его семьи, а тем более его родной сын, изберет путь столь неопределенный, необычный и в большинстве случаев отнюдь не доходный. Да и Винития не могла забыть судьбу своего отца. Было бы

несправедливо сказать, что оттого, как серьезно, серьезнее, чем им хотелось бы, сын воспринял их увлеченность искусством, родители растерялись; они и вправду были серьезно увлечены, но как покровители, меценаты; хоть и приверженные богеме, они владели акциями Компании Мейсон, а это, как понятно каждому, ставило их совсем в другое положение. К словам Чарли они отнеслись вполне недвусмысленно, но сознавали, как нелегко будет выразить это так, чтобы сын не счел их неискренними.

— Не понимаю, с чего ему это взбрело в голову, — сказал Лесли, обсуждая новость с женой.

— Я думаю, он это унаследовал. Все-таки мой отец был художник.

— Он занимался живописью, дорогая. Он был истинный джентльмен и поразительный рассказчик, но ни один разумный человек не назвал бы его художником.

Винития вспыхнула, и Лесли почувствовал, что обидел ее. И поспешил исправить свою оплошность.

— Если он унаследовал призвание к искусству, то куда скорей от моей бабки. Помню, старик Сайберт говаривал: тот не знает вкуса рубца с луком, кто не отведал бабкиной стряпни. Когда она ушла из кухарок и стала женой садовника, мир потерял замечательную мастерицу своего дела.

Винития прыснула и простила его.

Слишком хорошо они друг друга знали, им не требовалось обсуждать возникающие недоразумения. Дети любили их и смотрели на них снизу вверх; и супруги согласились, что было бы безмерно жаль каким-нибудь неверным шагом поколебать веру Чарли в мудрость и честность родителей. Молодые нетерпимы, скажи им то, что диктует здравый смысл, они тут же сочтут тебя старым обманщиком.

— По-моему, не стоит запрещать ему это слишком решительно, — сказала Винития. — Он только заупрямится.

— Тут поначалу требуется осмотрительность. Не спорю.

Положение осложнилось еще тем, что Чарли привез из Тура несколько полотен и, когда показал их, родители ото-звались о них в таких выражениях, которые теперь было бы трудно взять обратно. Они хвалили его работы не как зна-токи, а как любящие родители.

— Может быть, тебе стоило бы как-нибудь утром позвать Чарли в кладовку, и пускай посмотрит полотна твоего отца.

Ничего не навязывай, лучше, чтоб это получилось будто невзначай. А я при случае с ним поговорю.

Случай представился. Лесли сидел в малой гостиной, которую они отвели детям, чтобы те свободно ею располагали. На стенах красовались репродукции Гогена и Ван Гога, которые прежде украшали детскую. Чарли писал пестрый букет в зеленой вазе.

— По-моему, лучше вставить в рамы картины, что ты привез из Франции, и повесить их вместо этих репродукций. Давай-ка еще разок на них взглянем.

На одной из них были изображены три яблока на белой с синим тарелке.

— По-моему, она очень хороша, — сказал Лесли. —

Я видел сотни картин с тремя яблоками на белой с синим тарелке, твоя им не уступит. — Он усмехнулся. — Бедняга Сезанн, интересно, что бы он сказал, знай он, сколько тысяч раз люди писали эту его картину.

Был и еще один натюрморт — бутылка красного вина, пачка французского табака в синей обертке, пара белых перчаток, сложенная газета и скрипка. Все эти предметы лежали на столе, покрытом скатертью в белую и зеленую клетку.

— Очень хорош. Многообещающая работа.

— Ты правда так думаешь, папа?

— Ну, конечно. Видишь ли, работа не сказать чтоб оригинальная, у агентов по продаже картин таких на складе десятки, но ведь ты в жизни не взял ни единого урока, и работа поистине делает тебе честь. Ты, видно, отчасти унаследовал талант дедушки. Ты его картины видел?!

— Я много лет их не видел. А тут мама что-то искала в кладовке и показала их мне. Страх и ужас.

— По-моему, тоже. Но в его время их воспринимали иначе. Их всю расхваливали и покупали. Вот и множество вещей, которыми мы сейчас восхищаемся, через пятьдесят лет будут казаться ужасными. Это самое страшное в искусстве — в нем нет места посредственности.

— Но ведь пока не попробуешь, не поймешь, кто ты.

— Разумеется, и если ты хочешь профессионально заниматься живописью, кому-кому, а уж не нам с матерью становиться тебе поперек дороги. Сам знаешь, как много для нас значит искусство.

— Мне больше всего на свете хотелось бы заниматься живописью.

— Если жить скромно, при той доле Компании Мейсон, которая тебе отойдет, тебе всегда хватит. И я знаю любителей, которые создали себе вполне милое и негромкое имя.

— Но я вовсе не желаю быть любителем.

— Но с твоей тысячей-полутора в год вряд ли можно достичь большего. Не скрою, я буду несколько разочарован. Я держал для тебя место секретаря Компании, но кое-кто из твоих кузенов с радостью за него ухватится. Я-то полагал, что лучше быть умелым и знающим дельцом, чем посредственным художником, но это так, к слову. Главное, чтоб ты был счастлив, и нам остается только надеяться, что из тебя выйдет лучший художник, чем из твоего деда.

Они помолчали. Добрый взгляд Лесли был устремлен на сына.

— Только об одном я хотел бы тебя попросить. Мой дед поначалу был садовником, а его жена кухаркой. Я его едва помню, но, сдается мне, он был человек достойный, но грубоватый, неотесанный. Говорят, джентльменом можно стать лишь в третьем поколении, и, во всяком случае, я не ем горошек с ножа. Ты — четвертое поколение. Можешь считать меня снобом, но не улыбается мне мысль, что ты спустишься по общественной лестнице. Я бы хотел, чтобы ты поступил в Кембридж, получил степень, а потом, если захочешь поехать в Париж изучать живопись, езжай с богом.

Предложение отца показалось Чарли поистине великодушным, и он с благодарностью его принял. В Кембридже он наслаждался вовсю. Ему не часто выпадал случай заняться живописью, но он вошел в круг людей, увлекающихся театром, и на первом курсе написал несколько одноактных пьес. Их поставили в Любительском театральном клубе, и Мейсоны-родители приехали в Кембридж их посмотреть. Потом Чарли свел знакомство с одним преподавателем, выдающимся музыкантом. Чарли играл на фортепиано лучше большинства студентов, и они вместе исполняли дуэты. Он изучал гармонию и контрапункт. Поразмыслив, он решил, что лучше ему стать не художником, а музыкантом. Лесли Мейсон весьма добродушно на это согласился, но когда Чарли получил степень, отец на две недели повез его в Норвегию поудить рыбу. Дня за три до их возвращения Винития получила от мужа телеграмму,

состоящую из одного-единственного слова — «Эврика». При всей их образованности ни он, ни она не знали, что это значит, но смысл его получателнице был совершенно ясен, а ведь для того и служат слова. Она вздохнула с облегчением. В сентябре Чарли на четыре месяца поступил в бухгалтерскую фирму, услугами которой пользовалась Компания Мейсон, стал учиться основам делопроизводства и в новом году присоединился к отцу.

Чтобы поощрить усердие, с каким сын работал первый год в Компании, Лесли и посылал его теперь в Париж порезвиться, снабдив двадцатью пятью фунтами. И уж Чарли намерен был порезвиться вовсю.

2

Они уже почти приехали. Служители подносили багаж поближе к выходу, чтобы удобней было передать его носильщикам. Дамы делали последний мазок губной помадой, и им подавали меховые манто. Мужчины влезали в зимние пальто, нахлобучивали шапки. Близость, в которой все они просидели несколько часов, приятное тепло комфортабельного купе превратили их в некое содружество, отделило пассажиров пульмановского вагона с его особым номером от пассажиров всех остальных вагонов; но теперь общность распалась, и каждый человек или каждые двое-трое вновь обрели свое особое лицо, которое на время слилось со всеми остальными. В дымном воздухе, сдобренном запахом застоявшегося табака, резких духов, человеческого тела, в духоте парового отопления каждый вдруг напустил на себя некую загадочность. Вновь чужие, они смотрели друг на друга озабоченными невидящими глазами. Каждый ощущал смутную враждебность к соседу. Кое-кто уже выстраивался в очередь в коридоре, желая побыстрее выйти. От тепла в вагоне окна запотели, Чарли протер небольшой просвет и глянул за окно. Ничего он не увидел.

Поезд вкатил под своды вокзала. Чарли отдал саквояж носильщику и большими шагами зашагал по перрону; он надеялся, что его встретит его друг Саймон Фенимор. И огорчился, не увидев его у вагона; но у контрольного барьера толпился народ, и Чарли подумал, что Саймон ждет его там. Нетерпеливо, испытующе оглядел оживленные нетерпеливым ожиданием лица; прошел сквозь толпу; встреча-

ющие протягивали руки прибывшим; целовались женщины; его друга не было. Чарли так был уверен, что тот здесь, даже чуть замешкался, но носильщик явно спешил, и Чарли последовал за ним во двор. Он был несколько обескуражен. Носильщик взял ему такси, и Чарли назвал шоферу гостиницу, в которой Саймон заказал для него номер. Приезжая в Париж, Мейсоны всегда останавливались в гостинице на Рю Сент-Оноре. Ее постояльцами были исключительно американцы и англичане, но через двадцать лет Мейсоны все тешили себя иллюзией, будто это они ее отыскивали, настоящую французскую гостиницу, и когда видели на лестничной площадке американский багаж или поднимались в лифте с людьми, которые могли быть только англичанами, они не переставали удивляться.

— Интересно, их-то как сюда занесло? — говорили Мейсоны.

Сами они были осмотрительны, никогда не называли эту гостиницу своим друзьям; они набрали на уголок старой Франции и не собирались рисковать, не желали, чтоб его испортили. Хотя директор и портье свободно говорили по-английски, Мейсоны объяснялись с ними на своем прихрамывающем французском, уверенные, что только французский те и знают. Но, отправляясь в Париж один, Чарли решил не останавливаться в этой гостинице уже хотя бы потому, что столько раз бывал в ней со всем семейством. Он ехал в поисках приключений, и почтенная семейная гостиница, где, по словам родителей, останавливались одни лишь французские аристократы из провинции, вряд ли подходила для восхитительных, необузданных и романтических походов, что проносились в его воображении последний месяц. Вот он и написал Саймону и попросил найти ему комнату где-нибудь в Латинском квартале; что касается удобств, он был непривередлив и о чистоте не очень беспокоился, была бы там подходящая атмосфера; и в должный срок Саймон написал ему, что заказал номер в гостинице близ вокзала Монпарнас. Она была расположена на тихой улочке чуть в стороне от Рю де Ренн и в удобной близости от улицы Кампань Премьер, где жил он сам.

Чарли быстро справился с разочарованием от того, что Саймон его не встретил, — он не сомневался, что тот либо ждет его в гостинице, либо звонил, что будет с минуты на минуту, — и, пока ехал по людным улицам, ведущим от

Гар дю Нор к Сене, настроение у него улучшилось. Приехать в Париж вечером — это же замечательно. Моросит дождик, и улицы кажутся волнующе таинственными. Магазины ярко освещены. По тротуарам движется великое множество зонтов, с них капает вода, поблескивает в свете фонарей. Чарли вспомнилась одна из картин Ренуара. Время от времени налетает порыв ветра, и женщины съезживаются под зонтами, юбки закручиваются вокруг ног. По благоразумным английским представлениям такси мчится с неистовой скоростью, и всякий раз, когда, стараясь избежать столкновения, шофер вдруг нажимает на тормоза, у Чарли перехватывает дыхание. Красный свет задержал их на перекрестке, и в обе стороны хлынул поток людей, будто перепуганные толпы, убегающие от теснящей их полиции. Взволнованному взгляду Чарли они казались совсем не похожими на английских пешеходов — живее, нетерпеливей; когда взгляд его случайно упал на девушку, которая шла сама по себе, швею ли, машинистку, возвращавшуюся со службы, он с удовольствием представил, что она спешит на свидание с любовником; а когда увидел парочку, идущую под руку под одним зонтом, — бородатого молодого человека в широкополой шляпе и девушку с мехом вокруг шеи, идущих так, словно быть вместе такое блаженство, что и дождь им нипочем, и толчею они не замечают, — его пронизала острая радость сопереживания. На одном углу из-за пробки его такси оказалось бок о бок с роскошным лимузином. В нем сидела женщина в собольем мантии, нарумяненная, губы накрашены, профиль безупречнейший. Она вполне могла быть герцогиней Германт, что возвращается со званого чаепития к себе домой на бульвар Сен-Жермен. Замечательно, что ему двадцать три и он самостоятельно в Париже.

— Ох и проведу же я времечко!

Гостиница оказалась шикарней, чем он ожидал. Ее пышный фасад наводил на мысль об изысканном вкусе покойного барона Хаусмана. Оказалось, комната для него заказана, но ни письма Саймон ему не оставил, ни на словах ничего не передал. И наверх его провел не плохо выбритый мрачноватый тип в стоптанных башмаках и грязном фартуке, но любезный администратор в визитке, прекрасно говорящий по-английски. Просто обставленная комната отличалась чистотой, и в ней было две кровати, но администратор заверил Чарли, что будет брать с него только за одну. И с

гордостью показал ему прилегающую к номеру ванную комнату. Когда тот ушел, Чарли огляделся. Он ожидал, что комната будет небольшая, с тяжелыми блеклыми репсовыми гардинами, с деревянной кроватью, большущим пуховым стеганым одеялом и со старым зеркальным шкафом красного дерева; он ожидал найти на туалетном столике чьи-то шпильки, а в ящике тумбочки у кровати наполовину использованный тюбик губной помады и расческу со сломанными зубьями и застрявшими в ней крашеными волосками. Такой рисовалась в его романтическом воображении студенческая комната в Латинском квартале. Ванная! Вот уж чего он никак не ожидал. Такая комната могла быть в одной из тех недорогих гостиниц в Швейцарии, где он бывал с родителями. Чистая, давно не отремонтированная и убогая. Даже при своем пылком воображении Чарли не находил в ней ничего таинственного. Уныло распаковал он свой саквояж. Принял ванну. И подумал: ну что за необязательность, ведь даже если Саймон не побеспокоился его встретить, мог бы оставить записку. Если он так и не подаст признаков жизни, придется обедать в одиночестве. Отец, мать и Пэтси уже наверно приехали в Годэлминг; там будет весело, соберутся два сына сэра Уилфрида с женами и две племянницы леди Терри-Мейсон. Будут музыка, игры, танцы. Чарли даже пожалел было, что ухватился за предложение отца провести каникулы в Париже. Вдруг ему подумалось, что Саймону, возможно, неожиданно пришлось поехать по делам газеты и в спешке он забыл его известить. Вот незадача...

Саймон Фенимор был самым давним другом Чарли, и чтобы провести с ним несколько дней, Чарли так рвался в Париж. Они учились в одной частной школе, вместе были и в Рагби, и в Кембридже тоже, но оттуда Саймон ушел не доучившись, даже не закончил второй курс, решил, что зря теряет время; и не кто иной, как отец Чарли устроил его в одну лондонскую газету, парижским корреспондентом которой он и был этот последний год. Не было у Саймона никого на свете. Отец его служил в Индии в Лесном управлении, и, когда Саймон был еще совсем малыш, развелся с его матерью, которая ему изменяла. Она уехала из Индии, а Саймона, которого суд оставил на попечении отца, тот отправил в Англию в семейство некоего священника, где ему предстояло жить до поступления в школу. Мать как

сквозь землю провалилась. Саймон не знал, жива она или умерла. Отец умер от цирроза печени, когда мальчику было двенадцать, и он лишь смутно помнил молчаливого, сухошавого, хрупкого человека с болезненным, морщинистым лицом. Оставленных им денег только и хватило, что на образование сына. Одиночество мальчика тронуло чету Мейсонов, и они взяли за правило приглашать его чуть не на каждые каникулы. Мальчишкой он был долговязый, тощий, черные глаза на бледном лице казались огромными, копна прямых темных волос вечно нечесана, рот большой, чувственный. Он был разговорчив, не по годам развит, начитан и умен. У него и в помине не было застенчивости, что так привлекала в Чарли. Винития Мейсон не могла его полюбить, хотя по чувству долга и старалась изо всех сил. Она никак не могла взять в толк, почему сын привязался к Саймону, который так на него непохож. Ведь этот Саймон такой самодовольный, он нечувствителен к доброте, и что для него ни делаешь, принимает это как само собой разумеющееся. Похоже, он не очень-то высокого мнения и о ней, и о Лесли. Иной раз, когда Лесли толково, с присущим ему здравым смыслом говорил о чем-то интересном, в больших черных глазах Саймона, обращенных к нему, мелькала насмешка, а чувственные губы язвительно морщились. Можно было подумать, будто Лесли скучен и туповат. Время от времени, в какой-нибудь из их милых мирных вечеров, когда все были дома и болтали о том о сем, Саймон впадал в мрачное раздумье — сидел, уставясь в пустоту, словно мысли его далеко отсюда, и случалось, чуть погода брал какую-нибудь книгу и принимался читать, как если бы никого тут кроме него не было. Будто беседу их и слушать не стоит. Это было просто даже невежливо. Но Винития Мейсон укоряла себя.

— Бедный малыш, где ж ему было научиться хорошим манерам. Я непременно буду очень хорошо с ним обходиться. Непременно его полюблю.

Ее взгляд покоился на Чарли — такой он красивый, тоненький («а как быстро он из всего вырастает, рукава смокинга уже коротки»), каштановые волосы выются, глаза синие, длинные ресницы и такая чистая кожа. Хоть он, быть может, и не блистает, как Саймон, но он способный и до кончиков пальцев артистичен. Но как знать, каким бы он стал, если бы она сбежала от Лесли и Лесли стал бы

пить, и вместо того, чтобы наслаждаться утонченной атмосферой славного дома, ощущать ее благотворное влияние, он, как Саймон, вынужден был бы заботиться о себе сам? Бедняжка Саймон! На другой день она пошла и купила ему полдюжины галстуков. Он, кажется, обрадовался. — До чего мило с вашей стороны. У меня в жизни не было больше двух галстуков сразу.

Винития так была растрогана собственной неожиданной щедростью, ее даже обдало волной сочувствия.

— Какой же ты одинокий, бедняжка! — воскликнула она. — Так ужасно, что у тебя нет родителей.

— Ну, поскольку моя мать была шлюха, а отец пьяница, смею сказать, я не очень по ним тоскую.

В семнадцать лет это было сказано.

Ну что поделаешь, не могла Винития его полюбить. Уж очень он резкий, циничный, бессовестный. Ее выводило из себя, что Чарли так им восхищается; Чарли считал, что у него выдающийся ум и его ждет блестящее будущее. Даже Лесли поражался его начитанностью и тем, с какой ясностью он, совсем еще мальчишкой, выражал свои мысли. В школе он уже был горячим сторонником социализма, а в Кембридже стал коммунистом. Лесли слушал его нелепые теории с добродушной терпимостью. По его мнению, то были всего-навсего слова, а слова — они слова и есть; самого существа жизни они не задевали.

— И если он и в самом деле станет известным журналистом или войдет в парламент, что ж, совсем не вредно иметь друга во вражеском стане.

Лесли придерживался либеральных взглядов, весьма либеральных, даже не прочь был признать, что против иных убеждений социалистов не станет возражать ни один здравомыслящий человек; теоретически он и сам был за национализацию шахт, полагал также, что государство может управлять коммунальным обслуживанием не хуже частных компаний; но считал, что тут не следует заходить слишком далеко. К примеру, земельная рента — это уж никак не дело государства; или трущобы — в больших городах без них никак не обойтись, низшие классы, в сущности, предпочитают их образцовым жилым домам — Компания Мейсон чего тут только не делала; но не может землевладелец позволить, чтоб в его домах жили бесплатно, он должен получать приличный доход со своего капитала, это только справедливо.

Саймон Фенимор решил, что несколько лет ему следует поработать иностранным корреспондентом, — он научится разбираться в политике европейских стран и, когда войдет в палату общин, будет уже знатоком, а ведь большинство лейбористов ничего в ней не смыслят; но когда Лесли повел его к владельцу газеты, который готов был предоставить блестящему молодому человеку эту возможность, он предупредил Саймона, что владелец газеты человек очень богатый, и если показать ему свои революционные пристрастия, нечего надеяться произвести на него благоприятное впечатление. Однако своими скромными манерами, исходящей от него энергией и непринужденным разговором Саймон произвел на магната наилучшее впечатление.

— Он прекрасно держался, — говорил потом Лесли жене. — У этого молодца хорошая голова на плечах. Я всегда тебе говорил, слова еще ничего не значат. Когда дело доходит до получения места и приличного заработка, он, как всякий разумный человек, готов забыть о своих теориях.

Винития с ним согласилась. Что ж, вполне возможно, тому пример их собственный опыт — они по-настоящему любят красоту и в то же время прекрасно понимают, как важна материальная обеспеченность. Взять хотя бы Лоренцо Медичи — он был преуспевающий банкир и до кончиков ногтей художник. Как это хорошо со стороны Лесли, что он так старается оказать услугу человеку, от которого нечего ждать благодарности, думала Винития. Во всяком случае, работа, полученная Саймоном, потребует его пребывания в Вене, и тем самым Чарли будет избавлен от влияния, которое всегда ее беспокоило. Именно из-за нелепых разговоров Саймона Чарли забрал себе в голову, что хочет быть художником. Это все прекрасно для Саймона, ведь у него ни денег, ни родства, а для Чарли подготовлено тепленькое местечко. Художников и без него хватает. Чарли так чист душой, такой у него прелестный характер, не поддастся он никакому дурному влиянию, — только это ее и утешало.

В эти самые минуты Чарли в полном одиночестве одевался, недоумевая, как же ему провести вечер. Он надел брюки, позвонил в редакцию газеты, где работал Саймон, и сам Саймон ему и ответил.

— Привет, уже приехал? Ты где?

Так он небрежно разговаривал, Чарли просто опешил.

— В гостинице.

— А, вот как? Нынче вечером занят?

— Нет.

— Тогда давай пообедаем вместе, согласен? Я за тобой зайду.

И повесил трубку. Чарли был подавлен. Он-то ждал, что Саймону так же не терпится увидеться, как и ему, но по словам Саймона, по его тону можно было подумать, будто они только случайные знакомые и тому решительно все равно, встретятся они или нет. Конечно, они не виделись уже два года, и за это время Саймон мог измениться до неузнаваемости. Чарли вдруг испугался, как бы поездка в Париж не оказалась неудачной, и так волновался, ожидая Саймона, что его даже досада взяла. Но когда тот наконец вошел в комнату, Чарли увидел, что внешне он во всяком случае остался почти таким, как был. Сейчас, в двадцать три года, он был тощий и так и остался среднего роста. Одет убого, в коричневой тужурке и серых фланелевых брюках, без пальто, без шляпы. Длинное лицо похудело и побледнело, и черные глаза казались еще больше. Ни минуты не были они в покое. Холодные, блестящие, пытливые, подозрительные, они словно выражали характер таящегося за ними интеллекта. Рот большой, насмешливый и мелкие неровные зубы, напоминающие какого-нибудь мелкого хищного зверька. Со своим острым подбородком и выдающимися скулами он отнюдь не хорош собой, но лицо такое нервное, такое странно тревожное, что невольно привлечет внимание любого встречного. В иные мгновенья была в нем своего рода мучительная красота, не красота черт, но красота беспокойного, чего-то взыскующего духа. Тревожное чувство вызывала его улыбка, в ней не было веселья, она походила скорей на язвительную гримасу, а когда он смеялся, лицо страдальчески искажалось, словно от острой боли. Голос был высокий и, казалось, не вполне ему подчинялся, а в минуты волнения нередко становился визгливым.

Чарли подавил естественный порыв кинуться навстречу другу, со свойственной его счастливой натуре непосредственностью горячо пожать руку, и встретил его сдержанно. Услышав стук в дерь, крикнул «войдите» и продолжал

шлифовать ногти. А Саймон даже не протянул ему руку. Лишь кивнул, будто они уже сегодня виделись.

— Привет! — сказал он. — Комната хорошая?

— О да. Гостиница, пожалуй, роскошней, чем я ожидал.

— Она удобная. И можно кого угодно привести. Я умираю с голоду. Пойдем пообедаем?

— Хорошо.

— Давай пойдем в «Куполь».

Они прошли наверх, сели напротив друг друга за столик и заказали обед. Саймон окинул Чарли оценивающим взглядом.

— Я смотрю, ты все такой же красавчик, Чарли, — сказал он, криво усмехнувшись.

— К счастью, для меня красота не главное.

Чарли слегка робел. Время разрушило прежнюю многолетнюю близость, так, по крайней мере, он чувствовал сейчас. Он хорошо умел слушать, научился этому с раннего детства, бывало, он охотно сидел и молча слушал, когда Саймон красноречиво и путано изливал ему свои мысли. Чарли всегда бескорыстно им восхищался; он считал Саймона гением, и ему казалась вполне естественной роль второй скрипки. Он был привязан к Саймону, ведь тот совсем один на свете и никто особенно его не жаловал, тогда как сам он живет в любящей семье и в достатке; и ему приятно было, что Саймон, почти ко всем равнодушный, к нему привязан. Саймон часто бывал ожесточенным, язвительным, а вот с ним мог быть на удивление мягок. В одну из редких минут откровенности Саймон сказал ему, что он, Чарли, единственный человек, который хоть что-то для него значит. А вот сейчас Чарли с огорчением почувствовал, что между ними выросла перегородка. Беспокойный взгляд Саймона перебегал с его лица на руки, застыв на миг на его новом костюме, потом устремлялся на воротничок и галстук; он чувствовал, что Саймон не предается ему, как только ему и предавался в былые времена, он закрыт, держится недоброжелательно и отчужденно; казалось, он присматривается к нему как к незнакомому, пытается понять, что перед ним за человек. Чарли стало не по себе, сердце его сжалось.

— Как тебе нравится быть дельцом? — спросил Саймон.

Чарли слегка покраснел. После всех их бесед в прошлом он был готов к тому, что Саймон его высмеет, раз он в

конце концов уступил желанию отца, но слишком он был честен и не мог утаить правду.

— Нравится куда больше, чем я ожидал. Работа оказалась очень интересная и не слишком трудная. Остается вдоволь свободного времени.

— По-моему, ты поступил вполне разумно, — к его удивлению сказал Саймон. — Чего ради было становиться живописцем или пианистом? В мире и так избыток искусства. Да и вообще искусство это — суший вздор.

— Ох, Саймон!

— Ты все еще веришь в якобы истинную увлеченность искусством твоих высокочтимых родителей. Пора повзрослеть, Чарли. Искусство! Это лишь забавное развлечение для праздных богачей. В нашем мире, в мире, в котором мы живем, для подобной чепухи нет времени.

— По-моему...

— Знаю я, что по-твоему. По-твоему, оно несет красоту, придает смысл существованию. По-твоему, оно утешает уставших и удрученных и вдохновляет на более благородную и полную жизнь. Чушь! В будущем нам, возможно, опять понадобится искусство, но не для тебя, а для народа.

— О Господи!

— Народу нужен дурман, и, пожалуй, искусство лучшая форма, в какой его можно людям преподнести. Но они еще не готовы к этому. Сейчас им нужен другой наркотик.

— Какой же?

— Слова.

Чарли Мейсона поразило, с какой язвительной силой Саймон это произнес. Он улыбался, и хотя губы его кривились, Чарли заметил — в глазах на миг промелькнуло добродушное дружелюбие, которое он когда-то привык в них встречать.

— Нет, мой милый, — продолжал Саймон, — у тебя сейчас хорошее время, ходи каждый день в свою контору и радуйся. Это ненадолго, так что извлекай пока из этого побольше удовольствия.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Не важно. Поговорим об этом в другой раз. Скажи мне, что привело тебя в Париж?

— Ну, главное, я хотел повидать тебя.

Саймон густо покраснел. Доброе слово, — а когда Чарли говорил, можно было не сомневаться, что он говорит от чистого сердца, — кажется, отчаянно смутило Саймона.

— А кроме?

— Хочу посмотреть кое-какие картины, и если что-нибудь идет интересное в театре, я бы посмотрел. Ну и вообще неплохо бы позабавиться.

— Надо думать, это значит — ты не прочь заполучить женщину.

— Ты ведь знаешь, в Лондоне мне это не очень-то легко.

— Позднее я поведу тебя в *Sérail*¹.

— Что это такое?

— Увидишь. Это недурное развлечение.

Они заговорили о жизни Саймона в Вене, но он не слишком распространялся о ней.

— Я не сразу освоился. Понимаешь, я ведь никогда прежде не был за границей. Я занимался немецким. Много читал. Думал. Встречался со многими интересными людьми.

— А потом, в Париже?

— Жил более или менее так же. Приводил в порядок свои мысли. Я еще молод. Впереди масса времени. Когда мой срок в Париже кончится, поеду в Рим, в Берлин, а может, в Москву. Если не найду работу в газете, займусь чем-нибудь еще. Всегда можно преподавать английский, с голоду не помру. Я родился не в роскоши, как-нибудь перебыюсь. В Вене я провел опыт самоограничения, месяц жил на хлебе и молоке. И вовсе это было не трудно. Теперь я умею обходиться одной трапезой в день.

— Как, ты сегодня ничего еще не ел?

— Когда встал, выпил чашку кофе, а в час — стакан молока.

— Но чего ради? Ты же достаточно зарабатываешь в своей редакции, разве нет?

— Только-только хватает на жизнь. Разумеется, достаточно, чтобы есть трижды в день. Но кто сумеет властвовать другими, если не научился властвовать собой?

Чарли усмехнулся. Он уже начинал чувствовать себя свободнее.

— Это звучит как крылатая фраза из цитатника.

— Возможно, — равнодушно отозвался Саймон. — *Je prends mon bien ou je le trouve*². Поговорка включает в себе самую суть вековой мудрости, и только дурак презирает

¹ Сераль (*фр.*).

² Беру, что подвернется под руку (*фр.*).

банальности. Не думаешь же ты, будто я намерен всю жизнь быть иностранным корреспондентом лондонской газеты или учителем английского. Это мои *Wanderjahre*¹. Я намерен потратить их на то, чтобы получить образование, мне его не дали ни дурацкая школа, в которой мы с тобой учились, ни это провинциальное кладбище, что зовется Кембриджским университетом. Но я хочу достичь не только знания людей и книг; это всего лишь инструмент; мне нужно иное, чего достичь много трудней и что куда важнее: несокрушимая сила воли. Я хочу выковать себя сам, как железной дисциплиной выковывают послушника в ордене иезуитов. Мне кажется, я всегда себя знал; когда ты один на свете, и всем чужой, и всю жизнь живешь с людьми, для которых ничего не значишь, верней всего научишься понимать, что ты такое. Но мое знание родилось из чутя. А за эти два года за границей я узнал себя, как знаю пятую теорему Евклида. Знаю свою силу и свою слабость, и следующие пять-шесть лет готов потратить на то, чтобы развивать силу и избавиться от слабости. Я хочу властвовать собой, как тренер властвует спортсменом, чтобы сделать из него чемпиона. У меня хорошая голова. У меня собачий нюх, и можешь мне поверить, в нашем мире это огромное преимущество. Я умею говорить. Людей можно заставить действовать не логикой, а искусными речами. Всеобщая глупость человечества такова, что им можно управлять словами, и как это ни унижительно, в настоящее время приходится с этим мириться, как мириться в кино с тем, что фильм пользуется успехом, только если у него счастливый конец. Я сейчас многого могу добиться словами, а скоро для меня вообще не будет невозможного.

Саймон отхлебнул белого вина, которое они пили, и, откинувшись на спинку стула, засмеялся. Лицо его искажилось нестерпимым страданием.

— Надо рассказать тебе, какой тут несколько месяцев назад вышел случай. Было собрание Британского легиона или что-то в этом роде, не помню в честь чего, в память павших воинов, что ли; должен был выступить мой шеф, но он простудился и послал меня. Нашу газету ты знаешь, уж до того патриотическая, не чураемся никакой грязи, только бы увеличить тираж, а морализируем вовсю. Мой шеф

¹ Годы странствий (нем.).

тут как раз на месте. За двадцать лет у него не было ни единой собственной мысли. Изрекает одни избитые истины, а когда рассказывает какую-нибудь непристойную историю, то уж такую протухшую, что она даже и не смердит. Но свое дело знает лучше некуда. Отлично понимает, что требуется владельцу газеты, и рад стараться. Ну, произнес я речь, какую он бы и сам произнес. Так и сыпал банальностями. Такие запускать трескучие фразы, аж все грохотало. Остроты выдавал с такой длинной бородой, что и записной остряк постыдился бы их произнести. А все так и покатывались со смеху. Такую разводил фальшивую чувствительность, я думал, их стошнит. А у них слезы текли ручьем. Я так бил в барабан патриотизма, будто девица из Армии спасения, берущая реванш за свое подавленное женское естество. А мне устроили бурную овацию. Да, то была всем речам речь. Когда вечер кончился, ихние заправила от избытка чувств жали мне руку. Я их пронял. И знаешь, каждое сказанное мной слово было сущей галиматьей, я прекрасно это понимал. Слова, слова, слова! Бедняга Гамлет.

— По-моему, ты поступил просто бессовестно, — сказал Чарли. — Сколько я понимаю, там ведь собрались самые обыкновенные, вполне приличные люди, чтобы совершить то, что им казалось правильным, и более того, чтобы доказать искренность своих убеждений, они готовы были раскошелиться.

— Надо думать. И по правде сказать, они выложили куда больше денег, чем когда-либо, и устроители сказали моему шефу — это благодаря моей блестящей речи.

Чарли с его чистым сердцем стало не по себе. Перед ним сейчас сидел совсем не тот Саймон, какого он знал столько лет. Прежде, при всей нелепости его теорий и как бы вызывающе он их ни излагал, было в них своего рода благородство. Он был бескорыстен. Негодование его было направлено против угнетения и жестокости. Несправедливость приводила его в ярость. Но Саймон не заметил, какое впечатление он произвел на Чарли, а если заметил, остался к этому равнодушен. Он был поглощен собой.

— Но одного ума недостаточно, а красноречие, даже если оно и необходимо, в конечном счете презренный дар. Керенский обладал и тем и другим, а что они ему дали? Главное — это характер. Именно характер мне предстоит выковать. Я уверен, если постараться, можно сделать с со-

бой что угодно. Все дело в силе воли. Мне надо так себя натренировать, чтобы меня не задевали ни оскорбление, ни равнодушие, ни насмешка. Мне надо достичь такой полной духовной отчужденности, чтобы, даже если меня посадят, я и в тюрьме чувствовал себя свободным как птица. Мне надо обрести такую силу, чтобы, совершая ошибки, я не пошатнулся, а учился на них. Мне надо обрести такую безжалостность, чтобы не только противостоять искушению пожалеть кого-то, но вовсе не испытывать жалости. Мне надо вырвать из сердца способность любить.

— Почему?

— Я не могу себе позволить, чтобы на мои суждения влияло какое бы то ни было чувство к кому-либо из людей. В целом свете только тебя я и любил, Чарли. И до тех пор не успокоюсь, пока до мозга костей не проникнусь уверенностью, что, если придет нужда поставить тебя к стенке и расстрелять, я сам без всяких колебаний и сожалений тебя пристрелю.

Глаза его словно затянула темная дымка, какая бывает на старом зеркале в покинутом доме; ртутная амальгама на нем потускнела, и когда смотришься в него, видишь не себя, но темную глубину, где словно таятся отраженья событий и страстей далекого прошлого, давно уже отплавивших и, однако, неким пугающим образом доныне трепещущих загадочной заемной жизнью.

— Ты, наверно, недоумевал, почему я не встретил тебя на вокзале?

— Было бы славно, если б встретил. Ты, наверно, не мог вырваться.

— Я понимал, что ты огорчишься. У нас в редакции это рабочие часы, надо быть под рукой, передавать по телефону в Лондон новости, поступившие за день, но сегодня канун Рождества, завтра газета не выходит и ничего не стоило улизнуть. Мне очень хотелось тебя встретить, оттого я и не пошел. С той минуты, как я получил письмо и узнал, что ты приезжаешь, я не находил себе места, до того хотелось тебя увидеть. В те минуты, когда должен был прибыть поезд и я понимал — ты бродишь по перрону, высматриваешь меня и растерян в толпе и толчее, я взялся за книжку и стал читать. Сидел, заставлял себя углубиться в книгу и не позволял себе прислушиваться к телефону, который мог зазвонить в любую минуту. А когда он и вправду

завонил, я не сомневался, это ты, и до того обрадовался, что дико озлился на себя. Даже готов был не снимать трубку. Ведь уже больше двух лет я боролся со своей привязанностью к тебе. Сказать, почему я хотел, чтобы ты приехал? Когда человека нет рядом, его идеализируешь, на расстоянии чувство обостряется, это верно, а увидишь его снова — и удивляешься, что ты в нем находил. Я думал, если что-то еще осталось от моей привязанности к тебе, тех нескольких дней, что ты тут проведешь, будет довольно, чтобы окончательно ее убить.

— Боюсь, ты сочтешь меня сущим тупицей, но я ума не приложу, зачем тебе это надо, — сказал Чарли, улыбаясь своей милой улыбкой.

— Ты и вправду туп.

— Пусть так, но все же в чем причина?

Саймон чуть нахмурился, и его беспокойный взгляд заметался, точно заяц, что пытается улизнуть от преследователя.

— Ты единственный на свете человек, которому я не безразличен.

— Неправда. Мои родители всегда были очень расположены к тебе.

— Чепуха. Твой отец был ко мне так же равнодушен, как к искусству, но ему было приятно и утешительно чувствовать себя благодетелем, приятно быть добрым к нищему сироте, опекать его и внушать ему почтение. Твоя мать считала меня бессовестным и своекорыстным. Ей ненавистно было то влияние, которое, как ей казалось, я оказываю на тебя, и она была оскорблена, потому что понимала, что я нахожу твоего отца закоренелым обманщиком, самым скверным обманщиком, — из тех, кто сам себя обманывает; только одно во мне ее устраивало — глядя на меня, она неизменно думала, слава Богу, что ты совершенно на меня не похож.

— Не очень ты жалуешь моих родителей, — мягко сказал Чарли.

Саймон будто и не слышал.

— Мы мигом с тобой поладили. Этот зануда Гете назвал бы наши отношения родством душ. Ты дал мне то, чего у меня никогда не было. Я никогда не знал, что значит быть мальчишкой, а с тобой я был мальчишкой. С тобой я забывался. Я тебя изводил и высмеивал, помыкал и пренебрегал

тобой, но при этом обожал. С тобой я чувствовал себя на диво легко. С тобой я мог быть самым собой. Такой ты был непритязательный, веселый и добродушный, так легко было тебя обрадовать, рядом с тобой мои измученные нервы отдыхали, и та неистовая сила, что без конца меня погоняла, ненадолго меня отпускала. Но не хочу я отдыха, не хочу, чтобы меня отпускало. Когда я гляжу на твою милую, застенчивую улыбку, моя воля мне изменяет. Не могу я себе позволить быть податливым, не могу себе позволить нежности. Когда я гляжу в твои синие глаза, такие дружелюбные, такие доверчивые, мне изменяет твердость, а я должен быть тверд. Ты мой враг, ненавижу тебя.

Иные слова Саймона сбивали Чарли с толку, вгоняли в краску, но сейчас он добродушно усмехнулся.

— Ох, Саймон, ну какую ерунду, какой вздор ты несешь.

Саймон пропустил его слова мимо ушей. Он впился в Чарли своими блестящими неистовыми глазами, будто хотел проникнуть в самые глубины его существа.

— Есть там что-нибудь? — сказал он, словно сам себе. — Просто уж такое у него выражение лица, что чудится, будто и душа у него особенная? — И продолжал, уже обращаясь к Чарли: — Я часто спрашивал себя, что же такое я нахожу в тебе. Дело не в том, что ты красавчик, хотя, смею сказать, и это тоже играет роль. И не в твоих способностях, способности как способности, ничего выдающегося. И не в твоей бесхитростной натуре и добром нраве. Но что же это в тебе с первого взгляда привлекает людей? Ты еще и пальцем не шевельнул, а уже наполовину одержал победу. Обаяние? Но что за штука обаяние? Вот одно из слов, значение которого всем нам известно, но никто не может точно его определить. Я знаю только, что, обладай я этим твоим даром, при моем уме и решительности я бы одолел любое препятствие. В тебе есть жизненная сила, и это часть твоего обаяния. Но у меня ее не меньше, я могу обходиться четырьмя часами сна и работать без усталости по шестнадцать часов в сутки. С первого взгляда я вызываю в людях неприязнь, мне приходится их завоевывать силой ума, приходится играть на их слабостях, как-то им угождать, приходится им льстить. Когда я приехал в Париж, мой шеф решил, что он в жизни не встречал такого противного молодого человека и такого самодовольного. Он, конечно, дурак. Ну как можно быть самодовольным, если знаешь свои недостатки, как я их

знаю? Теперь он пляшет под мою дудку. Но чтобы достичь того, для чего тебе довольно одного взмаха твоих длинных ресниц, я должен работать как вол. Обаяние — важнейшая штука. За последние два года мне довелось познакомиться со многими выдающимися политическими деятелями, и оно присуще почти всем. У одних его больше, у других меньше. Но не может быть, чтобы всем оно было дано от природы. Выходит, его можно обрести. Оно ничего не значит, но возбуждает в последователях слепую преданность, они пляшут под твою дудку, и в награду им довольно доброго слова. Я наблюдал, как такие политики пользуются своим обаянием. Они могут его выпустить, будто воду из крана. Быстрая дружелюбная улыбка, рука, готовая пожать вам руку. Теплые нотки в голосе, похоже, сулят вам благосклонность, столь явный интерес к вам заставляет вас вообразить, будто он только и делает, что печется о вашем благополучии, сердечность в обращении, которая ни о чем не говорит, внушает мысль, будто вы пользуетесь его доверием. Избитые фразы, несчетные обращения вроде «дорогой», «старина» или «дружище» очень лестны, когда их слышишь от влиятельного лица. Свобода и естественность, превосходная игра, которая выдается за проявление подлинной натуры, и проницательность, что видит тщеславие дурака и уж нипочем его не заденет. Всему этому я могу научиться, тут надо только еще немного поднатужиться и еще чуть лучше владеть собой. Иной раз они, разумеется, пересаливают, эти деятели, их обаяние становится чересчур механическим и вовсе перестает действовать; люди понимают, что к чему, чувствуют, что их провели, и возмущаются. — Саймон опять посмотрел на Чарли своим пронизывающим взглядом. — У тебя обаяние от природы, вот почему оно такое сокрушительное. Ну не дико ли, что из-за какой-то крохотной черточки в лице жизнь для тебя так легка?

— Да о чем это ты?

— Одна из причин, по которым я хотел, чтобы ты приехал, это возможность разобраться, в чем оно состоит, твое обаяние. Сколько могу судить, оно зависит от некоей мускульной особенности нижнего века. Я уверен, секрет в складочке под глазами, когда ты улыбаешься.

Чарли смутился оттого, что стал предметом столь пристального изучения, и, желая перевести разговор, спросил:

— Но все эти твои старания, ради чего они?

— Как знать? Пойдем выпьем кофе в Dôme.

— С удовольствием. Вот только позову официанта.

— За обед плачу я. Это впервые плачу я, когда мы едим вместе.

Он достал из кармана деньги, чтобы рассчитаться, и среди бумажек оказалось несколько пригласительных билетов.

— Смотри-ка, у меня есть для тебя билет на Полночную мессу в Сент-Эташ. Это считается лучшей церковной музыкой в Париже, и тебе, наверно, захочется пойти.

— Ох, Саймон, как это мило с твоей стороны. Я буду очень рад. Ты ведь пойдешь со мной?

— Там видно будет поближе к делу. Во всяком случае, на, возьми билеты.

Чарли положил билеты в карман. И они отправились к Доме. Дождь перестал, но тротуары еще не высохли и поблескивали под светом, падающим из витрины или от уличного фонаря. На улицах полно празднующихся. Они появляются из тени обнаженных деревьев, словно из-за кулис, проходят полосу света и вновь скрываются в провале тьмы. Подобострастные, но настойчивые алжирцы со свернутыми восточными коврами и переброшенными через плечо дешевыми мехами вглядываются в проходящих, выискивая возможных покупателей. Мальчишки с грубыми лицами, в фесках, с корзинами, полными арахиса, пронзительно и однообразно выкрикивают: «Cacaouettes, cacaouettes!» На углу два негра, темные лица светло гримасой от холода, стоят и ждут, будто время остановилось и больше им делать нечего. Саймон и Чарли подошли к Dôme. Веранда, открытая летом, сейчас застеклена. Все столики на ней заняты, но когда друзья переступили порог, одна пара как раз поднялась уходить, и они заняли освободившиеся места. Было довольно прохладно, а Саймон вышел без пальто.

— Не замерзнешь? — спросил Чарли. — Может быть, пройдем внутрь?

— Нет, я научился не бояться простуды.

— А если простудишься, что делаешь?

— Не обращаю внимания.

Чарли много слышал об этом кафе, но никогда еще здесь не был и теперь с жадным любопытством рассматривал окружающих. Здесь были молодые люди в свитерах с высокими завернутыми воротами, иные с бородками, и

девушки с непокрытыми головами и в плащах; наверно, художники и писатели, подумал Чарли и смотрел на них не без трепета.

— Англичане или американцы, — сказал Саймон, презрительно пожав плечами. — Почти сплошь бездельники и моты, вырядились для роли в спектакле, который давным-давно сошел со сцены.

Поодаль расположилась компания высоких светловолосых юнцов, похоже, скандинавы, а за другим столиком кружок смуглых, жестикулирующих, говорливых левантинцев. Но больше всего тут было французов, спокойных, прилично одетых лавочников, живущих по соседству, которые пришли сюда просто потому, что это удобно, и среди них вкраплены провинциалы, которые, как Чарли, все еще воображали, будто окажутся здесь среди художников и студентов.

— Дураки несчастные, у них кончились денежки, и теперь не по карману жить, как полагается, в Латинском квартале. Живут впроголодь, а работают как проклятые. Ты, наверно, читал «*Vie de Bohême*»¹? Родольф теперь носит аккуратный синий костюм, купленный в магазине готового платья, и на ночь кладет брюки под матрац, чтобы не теряли складку. Он считает каждый грош и старается не делать ничего такого, что угрожало бы его будущему. Мими и Мюзетта великие труженицы, состоят в профсоюзе, в свободный вечер ходят на партийные собрания и, даже если расстаются с девичьей честью, головы не теряют.

— А с тобой живет подружка?

— Нет.

— Что ж так? По-моему, это должно быть очень приятно. За год в Париже у тебя, наверное, был миллион возможностей завести подружку.

— Да, были у меня две или три. Даже удивительно, если подумать. Знаешь, что у меня за дом? Кабинет и кухня. Ванной нет. Консьержка должна бы каждый день приходить и убирать, но у нее расширение вен, и ей совсем неохота подниматься по лестнице. Вот и все, что я могу предложить, и, однако, нашлись три девицы, которые хотели разделить со мной мою нищету. Одна была англичанка, служила здесь в Международном коммунистическом бюро, другая —

¹ «Жизнь богемы» (фр.).

норвежка, работает в Сорбонне, а еще одна — француженка, казалось бы, от нее можно было ждать больше здравого смысла; она была портниха, без места. Я познакомился с ней однажды вечером, когда вышел пообедать, она сказала, она весь день ничего не ела, ну, я ее угостил. Был субботний вечер, и она задержалась у меня до понедельника. Она хотела и дальше оставаться, но я велел ей уходить, и она ушла. Норвежка оказалась изрядной занудой. Хотела штопать мне носки, стряпать для меня и мыть пол. Когда я сказал, у нас дело не пойдет, она стала подкарауливать меня на улице, шла со мной рядом и говорила, что, если я не смягчусь, она покончит с собой. Она преподавала мне урок, и я его запомнил. В конце концов пришлось обойтись с ней поостроже.

— То есть?

— Однажды я ей сказал, надоели мне ее приставанья. Сказал, если еще раз заговорит со мной на улице, я собою ее с ног. Она, тупица безмозглая, не поняла, что я говорю всерьез. Назавтра выхожу я из дому часов в двенадцать, собрался в редакцию, смотрю, она стоит на другой стороне улицы. Подошла ко мне со своим обычным видом побитой собаки и заговаривает. Я и двух слов не дал ей сказать, двинул в подбородок, она и повалилась, будто кегля.

Глаза Саймона весело блеснули.

— И что потом?

— Не знаю. Наверно, поднялась. Я пошел своей дорогой и не обернулся. Во всяком случае, она поняла намек, больше ее не видел.

Чарли стало и неловко и смешно. Но он устыдился и не дал себе воли.

— Одна была препотешная — английская коммунистка. Представляешь, дочь священника. Училась в Оксфорде и защищала диплом по экономике. Ужасно была благовоспитанная, ну настоящая леди, но блудила почему зря, для нее это было самое святое дело. Всякий раз, как ложилась с товарищем в постель, чувствовала, что служит Общему делу. Нам предстояло стать добрыми приятелями, успешно бороться плечом к плечу и все такое прочее. Его преподобие давал ей какую-то сумму на содержание, мы должны были соединить наши капиталы, превратить мой кабинет в некий Центр, приглашать товарищей на чай и обсуждать животрепещущие проблемы дня. Я всего лишь сказал ей несколько горьких истин и на этом с ней покончил.

Саймон опять разжег трубку, тихо улыбаясь этой своей страдальческой улыбкой, словно радовался шутке, которая причиняла ему боль. Чарли хотел бы кое-что ему высказать, только не знал, как это сделать, чтобы слова не прозвучали фальшиво и не вызвали у Саймона насмешки.

— Ты что ж, намерен изгнать из своей жизни все человеческие отношения? — неуверенно спросил Чарли.

— Решительно все. Мне надо быть свободным. Я не могу себе позволить, чтобы кто-то взял надо мной власть. Вот почему я прогнал портнишку. Она была всех опасней. Такая нежная, ласковая. В ней была кротость бедняков, которым невдомек, что жизнь не обязательно должна быть трудной. Полюбить ее я бы не полюбил, но ее благодарность, обожание, готовность порадовать, ее простодушная веселость были опасны. Я понимал, что она может стать привычкой, от которой я не смогу отделаться. Нет ничего на свете коварней женской лести; потребность в этой лести так в нас велика, что можно стать ее рабом. Я должен быть глух к лести, как стал равнодушен к оскорблениям. Ничто не привязывает к женщине сильнее благ, которыми ее одаряешь. Эта девушка была бы обязана мне всем, и я никогда бы не смог от нее отделаться.

— Но, Саймон, ты же, как все мы, не чужд увлечений. Тебе ведь всего двадцать три.

— И меня одолевают сексуальные желания? Вовсе не так одолевают, как ты воображаешь. Когда работаешь двенадцать — шестнадцать часов в сутки и спишь в среднем шесть часов и ешь только один раз, как бы тебя это ни удивляло, но желания притупляются. Париж на редкость хорошо устроен, здесь легко удовлетворить сексуальный голод за умеренную плату и с наименьшей потерей времени, так что, когда я чувствую, что аппетит мешает мне работать, я пользуюсь женщиной, как слабительным при запоре.

Ясные синие глаза Чарли весело блеснули, и чудесная улыбка обнажила его крепкие белые зубы.

— Боюсь, ты лишаешь себя истинных удовольствий. Знаешь, ведь молодость так коротка.

— Наверно. Но чего-то достичь в мире может только человек целеустремленный. Граф Честерфилд лучше всех сказал о занятии любовью: удовольствие мимолетное, положение смехотворное, а плата черт-те какая. Это природный инстинкт, и его невозможно в себе задавить, но жалок и

глуп тот, кто позволит ему сбить себя с избранного пути. Мне это уже не грозит. Еще через несколько лет я начисто избавлюсь от этого искушения.

— А если вдруг в один прекрасный день ты влюбишься, неужели сумеешь себе это запретить? Такое ведь случается даже с самыми рассудительными людьми.

Саймон бросил на него странный, пожалуй, даже враждебный взгляд.

— Я вырву любовь из своего сердца, как выдернул бы из рта гнилой зуб.

— Это легче сказать, чем сделать.

— Знаю. Все, что чего-то стоит, сделать нелегко, но такова одна из странностей человеческой природы: когда это касается самосохранения, когда нужно сделать что-то, от чего зависит само твое существование, нужные силы находятся.

Чарли промолчал. Если бы кто-нибудь другой говорил с ним, как говорил в этот вечер Саймон, он счел бы это позой, желанием пустить пыль в глаза. За три года в Кембридже он наслушался вдоволь сумасбродных речей и при своем здравомыслии и спокойном юморе научился придавать им не больше значения, чем они того заслуживали. Но он знал, Саймон никогда не говорил, лишь бы поразить собеседника. Слишком он презирал мнение окружающих и ради того, чтобы вызвать у них восхищение, не стал бы говорить не то, что думает. Он искренен и бесстрашен. Если он сказал, что думает то-то и то-то, без сомнения, так оно и есть, а если сказал, что поступил так или эдак, можно без колебаний ему поверить. Но и образ жизни Саймона, только что им описанный, показался Чарли ужасным и неестественным, и его идеи, изложенные столь подробно, что ясно было, как хорошо они продуманы, показались ему чудовищными и возмутительными. Он заметил, что Саймон избегал говорить о цели, ради которой столь сурово себя тренировал; но в Кембридже он был ярым коммунистом, и естественно было предположить, что он готовился сыграть роль в революции, которую все они тогда предвкушали в ближайшем будущем. Чарли, больше всего поглощенный искусством, слушал горячие споры, гремевшие в комнате Саймона, с интересом, но вовсе не чувствовал, будто это касается и его. Если бы ему пришлось высказать свой взгляд на предмет споров, о котором он никогда

всерьез не задумывался, он согласился бы со своим отцом: что бы ни происходило на Континенте, а уж Англии-то коммунизм не грозит; от каши, которую заварили в России, толку явно нет; в мире всегда были и всегда будут богатые и бедные; английский рабочий слишком трезво мыслит, он не позволит безответственным агитаторам себя провести, и притом ему совсем неплохо живется.

А Саймон все говорил. Ему не терпелось высказаться, ведь долгие месяцы он держал свои соображения под спудом, и к тому же, сколько он себя помнил, он всегда делился с Чарли. Хотя его размышлениям была присуща редкая глубина — одно из величайших его достоинств, он увидел, что они обрели большую ясность и силу, когда он смог высказать их этому превосходному слушателю.

— Знаешь, о любви говорится столько всякой чуши. Ей придают совершенно непомерное значение. Люди так говорят, будто само собой разумеется, что она величайшая ценность в жизни. Но вовсе это не само собой разумеется. С тех пор как Платон облек свою сентиментальную чувственность в пленительную литературную форму, древние уделяли ей не больше внимания, чем уделять разумно; мусульмане, здравые реалисты, всегда считали ее лишь физической потребностью; это христианство, подкрепляя свои эмоциональные увлечения неоплатонизмом, сделало ее целью, смыслом, основой и оправданием жизни. Но христианство — религия рабов. Измученным и угнетенным оно сулит небеса, дабы вознаградить их в будущем за их страдания на земле, и предлагает любовный дурман, чтобы они в состоянии были вынести страдания в настоящем. И этот наркотик, как всякий другой, расслабляет и губит тех, кто не может без него обходиться. Две тысячи лет христианство душило нас. Ослабляло нашу волю, лишало мужества. В нашем современном мире мы понимаем, что для нас очень-очень многое куда важнее любви, понимаем, что только простак и тупица позволяют любви влиять на их поступки, и, однако, на словах мы по-дурацки ее превозносим. В книгах, на театре, в церкви и с трибуны провозглашается все тот же сентиментальный вздор, которым одурачивали рабов Александрии.

— Но, Саймон, рабы в древнем мире — это тот же сегодняшний пролетариат.

Губы Саймона дрогнули в улыбке, а взгляд, устремленный на Чарли, заставил того почувствовать, что он сморозил глупость.

— Знаю, — невозмутимо сказал Саймон.

На какое-то время его беспокойный взгляд перестал метаться, но хотя глаза его остановились на Чарли, казалось, они смотрели куда-то вдаль. Чарли не знал, о чем мысли Саймона, но чувствовал, что-то в них есть болезненное.

— Возможно, за две тысячи лет привычка сделала любовь необходимой человеку, и в этом случае ее следует принять в расчет. Но если уж наркотик надо пустить в ход, наилучшим образом это сделает как раз не наркоман. Если любовь можно поставить на службу какой-то стоящей цели, это по силам тому, кто сам к ней не восприимчив.

— Похоже, ты не хочешь мне сказать, чего ты надеешься достичь, отказывая себе во всем, что делает жизнь приятной. Уж не знаю, есть ли такая цель, которая стоит подобной жертвы.

— Что ты делал последний год, Чарли?

Внезапный вопрос этот казался неуместным, но Чарли ответил с присущей ему скромной откровенностью:

— Боюсь, ничего особенного. Почти всякий день ходил в контору, немало времени проводил на наших земельных угодьях, знакомясь с землями и всем прочим, играл в гольф с отцом. Он рад сыграть партию раза три в неделю. Еще продолжал занятия на фортепьяно. Бывал на многих концертах. Старался не пропускать художественные выставки. Иной раз бывал в опере и довольно часто в драматических театрах.

— Отлично проводил время?

— Недурно. Получал удовольствие.

— А на будущий год что намерен делать?

— Думаю, более или менее то же самое.

— А еще через год и еще?

— Через несколько лет я, вероятно, женюсь, и тогда отец удалится от дел и передаст свое место мне. Оно будет приносить мне тысячу в год, по нашему времени не так плохо, а рано или поздно мне достанется половина отцовской доли в Компании Мейсон.

— И тогда будешь жить примерно так, как жил до тебя твой отец?

— Разве только лейбористская партия конфискует Владение Мейсон. Тогда, конечно, мне придется нелегко. А до тех пор я вполне готов заниматься моим скромным делом и получать от жизни побольше удовольствия, насколько позволит мой доход.

— А когда умрешь, не все ли равно будет, жил ты на свете или не жил?

На миг от этого неожиданного вопроса Чарли растерялся, он вспыхнул.

— Пожалуй, все равно.

— И тебя это устраивает?

— По правде сказать, никогда об этом не задумывался. Но если ты спрашиваешь впрямую, думаю, было бы глупо, если б не устраивало. Большого художника из меня никогда бы не вышло. Я обсуждал это с отцом, в то лето, когда мы ездили с ним с Норвегию удить рыбу. Он очень мило к этому отнесся. Славный мой старик, он отчаянно боялся меня обидеть, но я не мог не признать, что его слова справедливы. Природа наделила меня способностями, я могу сносно рисовать, сносно писать, сносно играть на сцене. Возможно, займись я чем-нибудь одним, я бы чего-то достиг. Но это всего лишь способности. Отец сказал, что этого еще недостаточно, и он был совершенно прав, и опять же он прав, что лучше быть хорошим дельцом, чем второсортным живописцем. В конце концов мне повезло, что старина Сайберт Мейсон женился на кухарке и принялся выращивать овощи на клочке земли, который благодаря тому, что Лондон разросся, стал большой ценностью. Тебе не кажется, что вполне довольно, если я исполню свой долг в той роли, какую мне, можно сказать, отвели провидение или случай?

Саймон улыбнулся самой снисходительной из всех улыбок, что кривила его губы в тот вечер.

— Наверно, так, Чарли. Но это не для меня. Лучше пусть бы меня сбил на улице автобус и раздавил в лепешку, чем ждать для себя такой жизни, какую рисуешь себе ты.

Чарли спокойно на него посмотрел.

— Видишь ли, Саймон, у меня счастливый характер, а у тебя нет.

Саймон усмехнулся.

— Надо поглядеть, нельзя ли это изменить. Давай пройдемся. Я поведу тебя в *Sérail*.

Парадную дверь в весьма respectable доме, никак не бросающуюся в глаза, им открыл негр в турецком одеянии, и когда они вошли в неширокий, слабо освещенный коридор, навстречу вышла какая-то женщина. Она смерила их быстрым неприветливым взглядом, но едва узнала Саймона, лицо ее приняло радужное выражение. Они обменялись дружеским рукопожатием.

— Это мадемуазель Эрнестина, — сказал он Чарли, а потом ей: — Мой друг сегодня вечером приехал из Лондона. Хочет вкусить жизнь.

— Вы не ошиблись адресом.

Она окинула Чарли оценивающим взглядом. Чарли увидел женщину лет под сорок, красивую холодной строгой красотой, с прямым носом, тонкими накрашенными губами и твердым подбородком; она была изящно одета, в темном костюме почти мужского покроя. С воротником, в галстук, с булавкой в форме эмблемы знаменитого английского полка.

— Он хорош собой, — сказала она. — Наши дамы будут ему рады.

— А где нынче вечером мадам?

— Уехала домой провести праздники с семьей. Я вместо нее.

— Можно войти?

— Дорога вам известна.

Молодые люди прошли по коридору и, отворив дверь, оказались в просторной комнате, крикливо разубранной под турецкую баню. Вдоль стен стояли диванчики, а перед ними невысокие столики и стулья. Повсюду сидело немало народу, по большей части не в вечерних нарядах, но многие и в смокингах; мужчины сидели по двое, по трое, а за одним столиком смешанная компания, женщины в вечерних туалетах, видно, пришли посмотреть одну из достопримечательностей Парижа. Повсюду официанты в турецком одеянии принимали и выполняли заказы. На эстраде расположился оркестр, состоящий из пианиста, скрипача и саксофониста. Две скамьи, обращенные друг к другу, вдавались в площадку для танцев, и на них сидели десять или двенадцать молодых женщин. Они были в турецких коммодных туфельках, но на высоких каблуках, в широких

шальварах до шиколоток из какой-то блестящей мерцающей ткани, а на голове небольшой тюрбан. До пояса они были обнажены. Другие девушки, в таком же наряде, сидели с мужчинами, которые угощали их вином. Саймон и Чарли сели и заказали бутылку шампанского. Заиграл оркестр. Трое или четверо мужчин поднялись, направились к скамьям и выбрали партнерш для танца. Остальные девушки вяло танцевали друг с дружкой. Изредка они переговаривались, испытующе поглядывали на сидящих за столиками мужчин. Компания любителей достопримечательностей, с элегантными женщинами из иного мира, явно их занимала. Кроме того, что девушки были до пояса обнажены, на первый взгляд казалось, что заведение ничем не отличается от любого ночного клуба, разве что хватало места, чтобы с удобством потанцевать. Чарли заметил, что за соседним столиком двое мужчин с папками, из которых они по ходу разговора извлекали бумаги, вели деловую беседу так же естественно, как если бы сидели в кафе. Вот один из компании любителей достопримечательностей подошел к двум танцующим друг с другом девушкам, заговорил с ними, и они остановились, а потом подошли к его столику; одна из женщин, очень нарядная, в черном, с ниткой изумрудов на шее, встала и начала танцевать с одной из этих двух девушек. Вторая вернулась к скамье и села. *Sous-maitresse*¹ в костюме мужского покроя подошла к Саймону и Чарли.

— Ну как, приглянулась какая-нибудь из девушек вашему другу?

— Присядь с нами и выпей. Он осматривается. Ночь еще только начинается.

Она села и, когда Саймон подозвал официанта, заказала оранжад.

— Жаль, что он впервые пришел сюда в такой тихий вечер. Понимаете, канун Рождества многим приходится сидеть дома. Но скоро будет веселей. На праздники в Париж съехалась уйма англичан. Я читала в газете, они заняли в «Золотой стреле» три купе. Великая нация англичане, у них есть деньги.

Чарли несколько робел и сидел молча, и она спросила Саймона, понимает ли он по-французски.

— Конечно, понимает. Он провел полгода в Турени, изучал язык.

¹ Помощница хозяйки (фр.).

— Дивный край! Прошлым летом во время отпуска я проехала по всему Шато. Анджела родом из Турени. Может, ваш друг захочет с ней потанцевать. — Она обернулась к Чарли. — Вы ведь танцуете, правда?

— Да, я люблю танцевать.

— Она очень образованная, из прекрасной семьи. Когда я была в Турени, я их навестила, и они благодарили меня за все, что я сделала для их дочери. Они весьма почтенные люди. Не думайте, будто мы берем кого попало. Мадам очень разборчива. У нас есть репутация, и мы ею дорожим. Родители этих барышень у себя в городе люди очень уважаемые. Поэтому дочкам и нравится работать в Париже. Понятно, им не хочется ставить своих родных в неловкое положение. Жизнь тяжела, и каждому приходится зарабатывать свой хлеб кто как может. Я, конечно, не хочу сказать, что они по происхождению аристократки, но во Франции аристократия совершенно развращена, и что до меня, я куда больше ценю добропорядочных французских буржуа. Они опора страны.

Мадемуазель Эрнестина производила впечатление разумной женщины с твердыми принципами. Нельзя было не почувствовать, что ее взгляды на общественные вопросы современности вполне стоило бы послушать. Она похлопала Саймона по руке и опять обратилась к Чарли:

— Мне всегда приятно видеть месье Саймона. Он добрый друг нашего дома... Он не слишком часто у нас бывает, но уж когда приходит, ведет себя как истый джентльмен. Никогда не напивается, как некоторые ваши соотечественники, и с ним очень интересно побеседовать. Мы здесь всегда рады журналистам. Иной раз мне кажется, мы ведем довольно замкнутую жизнь и нам полезно поговорить с кем-то, кто в центре событий. Это выводит из привычной колеи. Он нам сочувствует.

В этом окружении Саймон, как ни странно, похоже, чувствовал себя будто рыба в воде и потому держался весело и непринужденно. Если то была игра, она отлично ему удавалась. Можно было подумать, он ощущает некое своеобразное родство с этой *sous-maitresse* публичного дома.

— Однажды он меня пригласил на генеральную репетицию в «Комеди Франсэз». Там был весь Париж. Академики, министры, генералы. Я была ошеломлена.

— Могу прибавить, ты выглядела изысканней всех женщин. Оттого, что меня увидели с тобой, моя репутация очень выиграла.

— Вы бы видели лица некоторых важных господ, которые у нас бывают, когда они увидели меня под руку с месяе Саймоном.

Чарли понимал, что, отправляясь на столь важную церемонию с подобной спутницей, Саймон сыграл с обществом своего рода шутку, вполне в духе его язвительного ума. Они еще поговорили, потом Саймон сказал:

— Послушай, дорогуша, я думаю, надо, чтоб наш молодой друг мог гордиться своим первым посещением этого дома. Не представить ли его княжне? Она ему понравится, как по-твоему?

Суровые черты мадемуазель Эрнестины смягчились улыбкой, и она весело взглянула на Чарли.

— Это мысль. Во всяком случае, такого опыта у него еще не было. У княжны прелестная фигурка.

— Давайте пригласим ее и угостим вином.

Мадемуазель Эрнестина подозвала официанта.

— Скажи княжне Ольге, пусть подойдет к нам. — Потом обратилась к Чарли: — Она русская. Конечно, со времени революции русские заплонили Париж, мы сыты по горло и ими самими, и их славянским нравом. Поначалу клиентов это забавляло, но теперь уже стало надоедать. Русские слишком шумные и вздорные. Сказать по правде, они варвары и не умеют себя вести. Но княжна Ольга не такая. У нее есть принципы. Сразу видно, получила хорошее воспитание. Что-то в ней есть, в этом ей не откажешь.

Тем временем Чарли видел, как официант подошел к одной из девушек, сидящих на скамье, и заговорил с ней. Взгляд Чарли и прежде блуждал по залу, и эту девушку он приметил. Она сидела странно тихая, будто отрешенная от всего вокруг. Теперь она встала, бросила взгляд в их сторону и медленно направилась к ним. Была в ее походке своеобразная небрежность. Подойдя, она чуть улыбнулась Саймону, и они обменялись рукопожатием.

— Я видела, вы только пришли, — сказала она и села. Саймон спросил, налить ли ей шампанского.

— Не откажусь.

— Это мой приятель, он хочет с тобой познакомиться.

— Я польщена. — Она без улыбки обратила взгляд на Чарли. Слишком долгий, как ему показалось, взгляд его смутил, но в ее глазах не было ни привета, ни приглашения; ее полнейшее безразличие даже уязвляло. — Он красивый. — Чарли робко улыбнулся, тогда и ее губы шевельнуло подобие улыбки. — Похоже, он добрый.

Ее кисейные бледно-голубые шальвары и тюрбан были густо усеяны серебряными звездочками. Роста она была не слишком высокого, лицо сильно накрашено — щеки чересчур нарумянены, губы ярко-алые, веки голубые, брови и ресницы начернены тушью. О ней безусловно не скажешь, что она хороша собой, всего лишь миловидна, слишком выдаются скулы, нос небольшой, мясистый, а глаза и не глубоко сидят в глазницах и не нависают, но вровень с лицом, будто окна в стене. Большие глаза, голубые, и голубизна, подчеркнутая и цветом тюрбана и тушью, точно пламя. Фигурка изящная, хрупкая, тоненькая, и кожа тела цвета светлого янтаря, на вид нежная и шелковистая. Грудь маленькая, круглая, девичья, и розовые хорошей формы соски.

— Почему ты не приглашаешь княжну потанцевать? — спросил Саймон.

— Вы позволите? — сказал Чарли.

Она едва заметно пожала плечом и без единого слова поднялась. А мадемуазель Эрнестина, сказав, что ее призывают дела, оставила их. Никогда еще Чарли не танцевал с девушкой, раздетой до пояса, и ощущение было волнующее. Оттого, что его рука покоилась на ее обнаженном теле и он чувствовал прикосновение ее голой груди, у него перехватывало дыхание. Рука, которую он держал в своей, была маленькая и мягкая. Но он был воспитанный молодой человек с хорошими манерами и, полагая, что учтивость требует поддерживать беседу, говорил с нею в точности так, как если бы танцевал с незнакомой девушкой в Лондоне. Она отвечала довольно вежливо, но, казалось, не очень его слушала. Взгляд ее рассеянно блуждал по комнате и, похоже, не находил ничего интересного. Чарли чуть крепче прижал ее к себе, она же ничем не показала, что заметила это более тесное объятие. Приняла его молча. Оркестр перестал играть, и они вернулись к своему столику. Саймон сидел там один.

— Ну как, хорошо она танцует?

— Не очень.

И тут она рассмеялась. Наконец-то она оживилась, и смех был искренний, веселый.

— Прошу прощения, — сказала она по-английски. — Я была невнимательна. Я могу танцевать лучше, вот увидите.

Чарли вспыхнул.

— Я не знал, что вы говорите по-английски. Иначе я бы так не сказал.

— Но это же чистая правда. И вы сами так хорошо танцуете, вы заслуживаете искусной партнерши.

До сих пор они разговаривали по-французски. Чарли говорил не очень правильно, но бегло, и произношение у него было хорошее. Княжна же отлично владела французским, только с протяжной русской интонацией, что придавало ее речи чуждую французам монотонность. Ее английский был совсем недурен.

— Княжна получила образование в Англии, — сказал Саймон.

— Я жила там с двух лет до четырнадцати. С тех пор я редко говорила по-английски и забыла его.

— А где вы жили?

— В Лондоне. На Лэдброук Гроув. На Шарлот-стрит. Где подешевле.

— Ну, я вас оставлю, молодежь, — сказал Саймон. — Увидимся завтра, Чарли.

— На мессу ты не пойдешь?

— Нет.

И, небрежно кивнув, он ушел.

— Вы давно знаете месье Саймона? — спросила княжна.

— Он самый давний мой друг.

— Он вам нравится?

— Конечно.

— Он совсем на вас непохож. Никогда бы не подумала, что он может вас привлечь.

— У него блестящий ум. И он был мне очень хорошим другом.

Она приоткрыла рот, готовая заговорить, но, видно, передумала и промолчала. Опять заиграла музыка.

— Потанцуете со мной еще раз? — спросила она. — Хочу показать вам, что умею танцевать, когда хочу.

Быть может, оттого, что ушел Саймон и она почувствовала себя свободнее, быть может, что-то было в поведении

Чарли, его смущение, когда он понял, что она говорит по-английски, но она наконец-то его заметила, ее обращение с ним переменилось. Появилась в ней доброта, неожиданная и привлекательная. Они танцевали, и она разговаривала почти весело. Вернулась к своему детству, не без мрачного юмора описывала нищету, в которой жила вместе с родителями в дешевых лондонских меблированных комнатах. И сейчас, принаравливаясь к Чарли, она танцевала хорошо. Они снова сели, и Чарли взглянул на часы; дело шло к полуночи. Чарли не знал, как быть. Дома он часто слышал разговоры о церковной музыке в Сент-Эсташ, и нельзя же упустить случай послушать там мессу в канун Рождества. Волнение, связанное с приездом в Париж, разговор с Саймоном, новые ощущения, что пробудили в нем *Sérail* и выпитое шампанское, — все это взбудоражило его, и ему отчаянно хотелось послушать музыку; это желание было ничуть не слабей, чем физическое желание, что вызывала в нем девушка, с которой он танцевал. Казалось, при том, как все складывается, уходить глупо; но его влекло туда, и в конце концов кому какое дело.

— Послушайте, — сказал он с премилкой улыбкой. — У меня свидание. Мне сейчас надо уйти, но через часок я вернусь. Я вас застану, да?

— Я всю ночь тут.

— Но вы не будете с кем-нибудь заняты?

— Почему вам надо уйти?

Он улыбнулся не без робости.

— Боюсь, это прозвучит нелепо, но приятель дал мне два билета на мессу в Сент-Эсташ, и может случиться, у меня никогда больше не будет такой возможности.

— С кем вы идете?

— Ни с кем.

— Можно мне пойти с вами?

— Вам? Но вы разве можете уйти?

— Я договорюсь с мадемуазель. Дайте мне две-три сотни франков, и я все устрою.

Он глянул на нее с сомнением. Наполовину раздетая, в зеленовато-голубом тюрбане и шальварах, сильно накрашенная, не тот у нее вид, чтоб идти с ней в церковь. Она заметила его взгляд и засмеялась.

— Я все на свете готова отдать, только бы пойти. Позвольте мне пойти, пожалуйста. Я за десять минут переоденусь. Это будет для меня такая радость.

— Хорошо.

Он дал ей денег, и, сказав, чтобы он ждал ее в парадном, она поспешила прочь.

Чарли заплатил за вино и через десять минут по часам вышел. Едва он появился в коридоре, к нему подошла какая-то девушка.

— Видите, я не заставила вас ждать. Я объяснила мадемуазель. Да она все равно считает русских помешанными.

Он ее узнал, только когда она заговорила. На ней было коричневое пальто, юбка и фетровая шляпа. Она стерла весь грим, даже помаду с губ, и под тонкой светлой линией подбритых бровей глаза уже не казались ни такими большими, ни такими голубыми. В своем коричневом, изящном, но дешевом костюме она казалась невзрачной. Ее можно было принять за продавщицу, одну из тех, кого видишь в обеденный перерыв, когда они выплескиваются на боковые улочки из черного хода универсального магазина. Ее нельзя было назвать даже хорошенькой, но выглядела она совсем юной, и какое-то было смирение в ее облике, отчего у Чарли сжалось сердце.

— Вы любите музыку, княжна? — спросил он, когда они сели в такси.

Он не понимал, как ее называть. Даже пускай она проститутка, он чувствовал, что было бы грубо при таком недавнем знакомстве и при ее титуле называть ее Ольга, а если волею обстоятельств она оказалась в таком унижительном положении, тем более следует обходиться с ней уважительно.

— Знаете, я не княжна, и зовут меня не Ольга. В *Sérail* меня так называют, потому что клиентам лестно думать, будто они ложатся в постель с княжной, а Ольгой зовут потому, что это единственное, кроме Саши, русское имя, которое им известно. Мой отец был профессором экономики в Ленинградском университете, а мать — дочь таможенного чиновника.

— Как же тогда вас зовут?

— Лидия.

Они приехали как раз к началу. Народу тьма, никакой надежды сесть. Было очень холодно, и Чарли предложил Лидии свое пальто. Она молча покачала головой. Боковые приделы были освещены ничем не затемненными круглыми плафонами, резкий свет бил в своды, в колонны, в темную

толпу молящихся. Ярko освещены были и хоры. Чарли и Лидия нашли место у колонны; укpывшись в ее тени, можно было чувствовать себя отделенными от остальных. На возвышении расположился оркестр. У алтаря — священнослужители в великолепном облачении. Музыка казалась Чарли несколько напыщенной, и он слушал слегка разочарованный. Вопреки ожиданию она его не трогала, и солисты с их металлическими оперными голосами оставляли его равнодушным. Чувство такое, словно присуствуюешь на спектакле, а не на религиозном действе, не ощущаешь ни малейшего благоговения. Но все равно он был рад, что пришел. От темноты, которую электрический свет прорезает, будто блестящий нож, готические линии храма кажутся еще суровей; мягкий блеск алтаря, где горит множество свечей, где священники свершают действия, значение которых ему неизвестно; молчащая толпа, которая, кажется, ни в чем не принимает участия, но тревожно замерла в ожидании, будто на вокзале у барьера, в ожидании, когда откроют проход; тяжелый запах мокрой одежды, сливающийся с благоуханием ладана; жестокий холод, что сковывает, словно чье-то незримое грозное присутствие; совсем не религиозные чувства рождало все это, но ощущение тайны, корнями уходящей в истоки человечества. Нервы молодого человека напряглись, и когда хор вдруг грянул в сопровождении оркестра *Adeste Fidelis*¹, его неизвестно почему охватило ликованье. Потом мальчик запел гимн — высокий чистый голос серебром зазвучал в тишине, и звуки струились, сначала чуть колеблясь, словно певец был не совсем в себе уверен, струились, точно кристально чистая вода по белому каменистому ложу ручья, а потом певец обрел уверенность, огромные темные ладони подхватили мелодию и подняли к замысловатым изгибам арок и еще выше, в ночь под купол свода. Чарли вдруг осознал, что стоящая рядом с ним Лидия всхлипывает. Он огорчился, но, воспитанный и по-английски сдержанный, сделал вид, будто ничего не заметил; он подумал, что в темной церкви, слушая этот чистый мальчишеский голос, она вдруг устыдилась. Чарли был впечатлительный юноша и прочел много романов. Ему казалось, он догадывается, что она чувствует, и стало бесконечно жаль ее. Странно только, что ее так взволновала отнюдь не

¹ Приидите верные (лат.).

лучшая музыка. Но Лидия уже по-настоящему расплакалась, и теперь нельзя было делать вид, будто он ничего не замечает. Он протянул руку, взял ее руку в свою, надеясь таким образом выразить сочувствие и утешить, но она почти грубо вырвала руку. Теперь ему сделалось неловко. Лидия плакала так отчаянно, что стоящим поблизости, конечно, было слышно. В какое нелепое положение она себя поставила, от стыда Чарли бросило в жар.

— Может быть, выйдем? — шепотом спросил он.

Лидия сердито помотала головой. Рыдания сотрясали ее все сильнее и сильнее, и вдруг она опустилась на колени, уткнулась лицом в ладони и неудержимо разрыдалась. Она странно скорчилась, стала похожа на грудку сброшенной одежды, и, не вздрагивая у нее плечи, можно было подумать, что она в глубоком обмороке. Она лежала у основания высокой колонны, и Чарли, безмерно смущенный, стоял подле нее, стараясь заслонить ее от чужих взглядов. Многие с любопытством посматривали на нее, потом на него. Он злился, представляя, что они думают. Музыку приглушили, хор умолк, установилась благоговейная волнующая тишина. Причащающиеся ряд за рядом продвигались к алтарю, поднимались по ступеням, чтобы принять частицу тела Христа, которую давал им священник. Деликатность мешала Чарли посмотреть на Лидию, и он не отрывал глаз от ярко освещенного алтаря. Но когда она чуть приподнялась, тотчас это заметил. Она повернулась к колонне и, опершись о нее рукой, спрятала лицо в изгибе локтя. Безудержные слезы измучили ее, но в том, как она прислонилась, припала к холодному камню, упираясь коленями в каменные плиты, такое было безысходное горе, что видеть ее сейчас было еще невыносимей, чем скорчившуюся на полу, сокрушенную, точно застигнутую неестественной, насильственной смертью.

Служба подошла к концу. Орган присоединился к оркестру, чтобы в заключение исполнить соло, и увеличивающийся поток людей, спешащих сесть в свои автомобили или поймать такси, устремился к выходу. Но вот все кончилось, и огромная толпа хлынула из церкви. Чарли дождался, пока они с Лидией остались одни у колонны и последняя волна уже катилась к дверям. И положил руку на плечо девушки.

— Идемте. Надо уходить.

Он обхватил ее рукой и поставил на ноги. Она покорно подчинилась. Только глаза отвела. Чарли взял ее под руку и повел по проходу между рядами, потом опять чуть задержался, пока в церкви не осталось всего человек десять — двенадцать.

— Хотите немного пройти пешком?

— Нет, я так устала. Лучше сядем в такси.

Но все равно несколько шагов пройти пришлось — такси подвернулось не сразу. Когда они оказались подле уличного фонаря, Лидия остановилась, вынула из сумки зеркало и посмотрелась. Глаза распухли. Она достала пуховку и припудрилась.

— Сейчас ничем не поможешь, — сказал Чарли с доброй улыбкой. — Лучше зайдем куда-нибудь, выпьем. В таком виде вы не можете вернуться в *Sérail*.

— Я, если плачу, глаза всегда распухают. Чтоб все прошло, нужно несколько часов.

В эту минуту показалось такси, и Чарли его подозвал.

— Куда поедем?

— Все равно. В «Селект». Бульвар Монпарнас.

Чарли дал шоферу адрес, и они поехали вдоль реки. Когда подъехали, он заколебался — казалось, выбранный Лидией ресторан переполнен, но она вышла из такси, и он последовал за ней. Несмотря на холод, много народу сидело на террасе. Они нашли столик в помещении.

— Я пройду в дамскую комнату, вымою глаза.

Через несколько минут она вернулась и села рядом. Она пониже надвинула шляпу, чтобы скрыть распухшие веки, и припудрилась, но не нарумянилась, лицо очень бледное. Сейчас она была совсем спокойна. О приступе рыданий, случившемся с ней, не сказала ни слова, и можно было подумать, она считает его вполне естественным и не требующим извинения.

— Я очень голодная, — сказала она. — Вы, наверно, тоже.

Чарли был голоден как волк и, ожидая Лидию, спрашивал себя, не слишком ли будет вульгарно, если он при таких обстоятельствах закажет себе яичницу с беконом. После ее слов он вздохнул с облегчением. Оказалось, она тоже мечтает о яичнице с беконом. Он хотел заказать бутылку шампанского, думал, ей надо подбодриться, но она не позволила.

— Чего ради вам тратиться? Лучше выпьем пива.

Они с аппетитом уплетали нехитрую еду. Немного поговорили. Воспитанный Чарли попытался вести учтивую беседу, но Лидия не поддержала ее, и вскоре они замолчали. Когда покончили с едой и выпили кофе, Чарли спросил ее, что она хочет делать дальше.

— Я бы еще посидела здесь. Мне в «Селекте» очень нравится. Тут уютно и по-домашнему. Мне нравится смотреть на людей, которые сюда приходят.

— Ладно, посидим тут.

Не сказать, чтоб он так предполагал провести первую ночь в Париже. Надо ж было сделать такую глупость — повести ее на рождественскую мессу. У него неоставало мужества обойтись с ней не по-доброму. Но, видно, что-то в его тоне ее насторожило, потому что она полуобернулась, заглянула ему в лицо. И опять улыбнулась той улыбкой, которая уже раза три освещала ее лицо. Странная то была улыбка. Она едва тронула губы, не веселая, но не лишенная доброты, скорее ироническая, чем веселая, она появлялась редко и как бы нехотя, были в ней терпение и разочарование.

— Что вам за удовольствие здесь сидеть. Может быть, оставите меня здесь, а сами вернетесь в *Sérail*?

— Нет, это не годится.

— Знаете, я ведь не прочь посидеть одна. Бывает, прихожу сюда сама и сижу часами. Вы приехали в Париж развлечься. И глупо было бы иначе.

— Если я вам не наскучил, я бы хотел посидеть тут с вами.

— Но почему?

Она бросила на него презрительный взгляд.

— Вы что, считаете нужным разыгрывать благородство и жертвовать собой? Или вам жаль меня? Или просто любопытно?

Чарли не понимал ее — почему она будто сердится на него, почему старается уязвить?

— Отчего же мне жалеть вас? Или любопытничать?

Он хотел дать ей понять, что она не первая проститутка в его жизни и что на него вряд ли произведет впечатление рассказ о ее судьбе, вероятно, грязный и скорее всего далекий от правды. Лидия уставилась на него с откровенным безмерным изумлением.

— Что вам рассказал обо мне ваш друг Саймон?

— Ничего.

— Почему же тогда вы сейчас покраснели?

— Я не знал, что покраснел, — улыбнулся Чарли.

На самом деле Саймон сказал, что с ней можно неплохо позабавиться, она своих денег стоит, но не те это были слова, чтоб повторить ей сейчас. Бледная, с опухшими веками, в дешевом коричневом платье и черной фетровой шляпе, она совсем не походила на обнаженное до пояса существо в голубых шальварах, в котором была какая-то экзотическая, вызывающая любопытство привлекательность. Сейчас перед ним сидела совсем другая женщина, скромная, благопристойная, серьезная, Чарли и помыслить не мог о том, чтобы лечь с ней в постель, все равно как с какой-нибудь из младших учительниц в Пэтсиной школе. Лидия снова умолкла. Кажется, замечталась. А когда наконец заговорила, можно было подумать, она не к Чарли обращается, а продолжает ход своих размышлений:

— Если я сейчас плакала в церкви, то вовсе не из-за того, о чем вы подумали. Из-за того, видит Бог, я уже довольно наплакалась, а теперь совсем из-за другого. Мне так стало одиноко. Все эти люди, они у себя на родине, и у них есть дом, завтра они будут праздновать Рождество со своими родными, с отцом и матерью, с детьми; некоторые, как вы, пришли просто послушать музыку, а некоторые — неверующие, но в те минуты их всех соединяло общее чувство; этот обряд они знали всю жизнь, его смысл у них в крови, каждое слово священника и каждое его движение им знакомо, и даже если умом они не веруют, благоговение, чувство тайны у них в крови, и они веруют в сердце своем; это часть воспоминаний о детстве, о садах, где они играли. о жизни на природе, о городских улицах. Это связывает их друг с другом, они становятся единым целым, и тайное чутье подсказывает им, что они родные друг другу. А я чужая. У меня нет родины, нет дома, нет языка. Я сама по себе. Я отверженная.

У нее вырвался печальный смешок.

— Я русская, а я только то и знаю о России, что читала. Я тоскую по бескрайним полям золотых хлебов, по серебристым березовым рощам, о которых читала в книгах, но, как ни стараюсь, не могу себе их представить. Москву я знаю такой, какой видела ее в кино. Иногда ломаю голову,

пытаюсь вообразить себя в русской деревне, в беспорядочном селении, где дома сложены из бревен, а крыши соломенные, я читала о них у Чехова, и не могу, и знаю, мне видится совсем не то, что на самом деле. Я русская, а на своем родном языке говорю хуже, чем по-английски и по-французски. Толстого и Достоевского мне легче читать в переводе. Для своих соотечественников я такая же чужая, как для англичан и французов. Вы у кого есть дом, и родина, и любящие вас люди, и еще другие, у кого те же обычаи, что и у вас, и вы их понимаете, даже если с ними незнакомы, — разве вы можете сказать, что значит быть одной в целом свете?

— И у вас совсем нет родных?

— Никого. Мой отец был социалист, но он был тихий, мирный человек, поглощенный своими учеными занятиями, и не участвовал в политике. Он приветствовал революцию и думал, что она откроет для России новую эру. Он принял большевиков. Только просил, чтобы ему позволили продолжать работать в университете. Но его уволили, а потом он узнал, что ему грозит арест. Мы бежали через Финляндию, отец, мать и я. Мне было два года. Двенадцать лет мы жили в Англии. Как жили, одному Богу известно. Иногда отцу перепадала кое-какая работа, иногда люди нам помогали, но отец тосковал по родине. Прежде, кроме студенческих лет в Берлине, он никогда не уезжал из России; он не мог привыкнуть к английскому образу жизни и наконец почувствовал, что должен вернуться. Мать умоляла его не ехать. Он ничего не мог с собой поделать, не мог он не поехать, слишком сильно было желание; он связался с людьми из русского посольства в Лондоне, сказал, что готов выполнять любую работу, какую бы ему ни предложили большевики; в России у него было имя, в свое время книги его удостаивались всяческих похвал, в своей области он был признанным авторитетом. Ему чего только не наобещали, и он отправился. Едва пароход пристал, отца схватили агенты Чека. Мы слышали, что его посадили в тюремную камеру на четвертом этаже и потом выбросили из окна. А сказали, что он покончил с собой.

Лидия коротко вздохнула и зажгла очередную сигарету. После ужина она курила без передышки.

— Отец был мягкий, кроткий. В жизни никого не обидел. Мама мне говорила, что за все годы их семейной жизни

он ни разу ей резкого слова не сказал. Оттого что он помирился с большевиками, люди, которые до этого нам помогали, перестали помогать. Мама решила, нам лучше уехать в Париж. У нее здесь были друзья. Они нашли ей работу — она отправляла письма. Я стала ученицей портнихи. Мама умерла, потому что на двоих еды не хватало, и она отказывала себе, чтобы я не ходила голодная. Я нашла работу у одной портнихи, она платила мне половину обычного жалованья, потому что я русская. Если бы те мамыны друзья, Алексей и Евгения, не приютили меня, я бы тоже голодала. Алексей играл на скрипке в оркестре в русском ресторане, а Евгения работала в дамской уборной. У них было трое детей, и мы вшестером жили в двух комнатах. Алексей по профессии адвокат, он был одним из папиных учеников в университете.

— Вы и сейчас не потеряли их из виду?

— Нет, конечно. Теперь они очень бедствуют. Понимаете, всем обрыдли русские, обрыдли русские рестораны и русские оркестры. Алексей уже четыре года без работы. Он ожесточился, стал вздорным, много пьет. Одну их дочь взяла на попечение тетушка, живущая в Ницце, а другая пошла в услужение, сын теперь наемный танцор и промышляет в ночных клубах на Монмартре; он часто бывает здесь, не знаю, почему сегодня его нет, может, с кем-то поладил. Отец, когда пьян, бьет его и проклинает, но сотня франков, которые он приносит в дом, если ему повезет найти пару, помогает сводить концы с концами. Я до сих пор живу у них.

— Вот как? — удивился Чарли.

— Надо же мне где-то жить. В *Sérail* я ухожу только вечером, и если дела там идут вяло, в четыре-пять утра уже возвращаюсь. Но они живут ужасно далеко.

Они немного помолчали.

— Что вы имели в виду, когда сказали, что плакали не из-за того, о чем я подумал? — спросил наконец Чарли.

Она опять глянула на него подозрительно и с любопытством.

— Вы хотите сказать, что и вправду не знаете, кто я? Я думала, ваш друг Саймон потому и послал за мной.

— Ничего он мне не говорил... сказал только, что с вами я не зря потрачу время.

— Я жена Робера Берже. Вот почему меня взяли в *Sérail*, хоть я и русская. Это приятно возбуждает клиентов.

— Боюсь, я совершенный тупица, но, право, я не понимаю, о чем вы толкуете.

У Лидии вырвался короткий, резкий смешок.

— Такова слава. Имя, которое у всех на устах, ничего не значит там, куда можно доехать за один день. Робер Берже убил английского букмекера Тедди Джордана. Его приговорили к пятнадцати годам каторжных работ. Он в Сен-Лоране, во Французской Гвиане.

Сказала она это так буднично, что Чарли ушам своим не поверил. Слова Лидии привели его в ужас, испугали, потрясли.

— Неужели вы правда не знали?

— Даю вам слово. Сейчас, когда вы об этом заговорили, мне вспоминается, я читал об этом в английских газетах. Это произвело изрядную сенсацию, ведь... ведь жертвой был англичанин, вот только я забыл имя... имя... вашего мужа.

— Во Франции это тоже произвело сенсацию. Суд длился три дня. Люди рвались туда. Газеты отвели ему целиком первые полосы. Все только об этом и говорили. Да, была настоящая сенсация. Вот тогда я впервые увидела вашего друга Саймона, во всяком случае он впервые увидел меня, он давал материалы об этом деле в свою газету, а я была в суде. Захватывающий получился процесс, журналистам было на чем показать себя. Попросите Саймона, пускай он вам расскажет. Он гордится статьями, которые тогда написал. Они были до того умные, отрывки из них перевели и напечатали во французских газетах. Саймон очень на этом выдвинулся.

Чарли не знал, что сказать. Он злился; это вполне в духе Саймона, — разыграть такую вот злую шутку и поставить приятеля в дурацкое положение.

— Для вас все это, наверно, было ужасно, — запинаясь, сказал он.

Лидия чуть повернулась, заглянула ему в глаза. Чарли, чья жизнь всегда проходила в приятном окружении, никогда еще ни на одном лице не видел такого чудовищного отчаяния. В лице Лидии сейчас не осталось почти ничего человеческого, оно скорее походило на одну из японских масок, какие художник создает, чтобы выразить то или иное чувство. Чарли бросило в дрожь. До сих пор ради него

Лидия почти все время говорила по-английски, лишь изредка переходя на французский, когда ей трудно было что-то выразить на непривычном языке, но теперь она совсем перешла на французский. Протяжная русская интонация окрашивала ее речь обычной печалью и в то же время придавала словам какую-то нереальность. Будто человек говорит во сне.

— Мы были женаты всего полгода. Я ждала ребенка. Может быть, именно это спасло Роберу жизнь. Это и его молодость. Ему был только двадцать один год. Ребенок родился мертвым. Слишком я перестрадала. Понимаете, я любила мужа. Он был моей первой и единственной любовью. Когда его осудили, хотели, чтоб я с ним развелась, — по французским законам ссылка на каторгу достаточное для этого основание; мне говорили, мол, жены каторжников всегда с ними разводятся, и злились, что я не захотела. Защитник Робера был ко мне очень добр. Он говорил, я сделала все, что было в моих силах, у меня было трудное время, но я до конца поддерживала мужа, а теперь должна подумать о себе, я молода и должна начать новую жизнь, а если я останусь связанной с каторжником, моя жизнь станет еще трудней. Он возмущался, когда я говорила, что люблю Робера, что кроме Робера для меня ничего не существует, что бы он ни сделал, все равно его люблю, и если б было можно и если б он захотел, я с радостью к нему бы поехала. Наконец защитник пожал плечами, сказал, что с русскими ничего нельзя поделать, но если я когда-нибудь передумаю и захочу получить развод, пускай я к нему приду, и он мне поможет. И Евгения и Алексей, бедняга Алексей, никчемный пьяница, оба не давали мне покоя. Говорили, мол, Робер подлец, безнравственный человек, говорили, это позор, что я его люблю. Как будто можно разлюбить, потому что любить его позорно! Назвать человека подлецом проще простого. А что это значит? Он убил и пострадал за свое преступление. Никто из них не знал его, как я. Понимаете, он меня любил. Они не знали, какой он нежный, какой обаятельный, какой веселый, ребячливый. Говорили, он чуть меня не убил, как убил Тедди Джордана. Они не понимают, что от этого я его только больше люблю.

Чарли, который ничего не знал об обстоятельствах дела, по речам Лидии ни в чем не мог толком разобраться. И спросил:

— Почему он должен был вас убить?

— Когда он вернулся домой... после того, как убил Джордана... было очень поздно, и я уже легла, а его мать его дожидалась. Мы жили вместе с ней. Он был в отличном настроении, но мать с первого взгляда поняла, что он совершил что-то ужасное. Понимаете, она уже много недель это предчувствовала и была вне себя от тревоги.

«Ты где так задержался?» — спросила она.

«Я-то? А нигде, — ответил он. — Тут недалеко, с ребятами. — Он усмехнулся и потрепал ее по щеке. — Так легко убить человека, мама, — сказал он. — Так легко, ну прямо смех».

Тут она поняла, что он натворил, и расплакалась.

«Бедная твоя жена, — сказала она. — Какой же несчастной она теперь из-за тебя станет».

Он понурился и вздохнул.

«Может, лучше убить и ее тоже», — сказал он.

«Робер!» — крикнула мать.

Он покачал головой.

«Не бойся, у меня бы не хватило мужества, — сказал он. — А все-таки, если б я убил ее, пока она спит, она бы ничего не узнала».

«Боже мой, ну почему ты это сделал?» — воскликнула мать.

Он вдруг засмеялся. У него был удивительно веселый, заразительный смех. Услышишь, и сразу делается радостно.

«Не дури, мать, я просто шучу, — сказал он. — Ничего я такого не сделал. Иди ложись спать».

Мать понимала, что он врет. Но только это он и сказал. Наконец она ушла к себе. Домик был крохотный, в Нейи, но при нем был садик и в конце его небольшой флигель. Когда мы поженились, она отдала нам дом, а сама переехала во флигель, чтоб быть рядом с сыном, но не стеснять нас. Робер вошел в нашу комнату и разбудил меня поцелуем в губы. Глаза его сияли. У него глаза голубые, не такие голубые, как ваши, скорее серые, но большие и очень блестящие. Они почти всегда улыбались. И были поразительно живые.

Постепенно речь Лидии замедлилась. Словно пришла ей на ум какая-то мысль, и теперь она взвешивала каждое слово. Со странным выражением она посмотрела на Чарли.

— Ваши глаза чем-то напоминают мне о Робере, и овал лица у вас такой же. Он пониже ростом, и не было у него этого типично английского цвета лица. Красивый он был, очень. — Она чуть помолчала. — Какой же злой шут этот ваш Саймон.

— Что вы хотите этим сказать?

— Ничего.

Лидия облокотилась на стол, подалась вперед, уперлась подбородком в ладони и продолжала на одной ноте, будто под гипнозом рассказывала о чем-то, что проходило перед ее отсутствующим взглядом.

— Я проснулась, открыла глаза и улыбнулась.

«Как ты поздно, — говорю. — Скорей ложись».

«Мне сейчас не уснуть, — сказал он. — Я слишком взвинчен. И голодный. В кухне есть яйца?»

К тому времени я уже совсем проснулась. Вы не представляете, как он был хорош, когда сидел на кровати в своем новом сером костюме. Он всегда со вкусом одевался и замечательно умел носить вещи. Волосы у него были очень красивые, темные, вьющиеся и длинные, он зачесывал их назад.

«Я надену халат, и пойдем посмотрим», — сказала я.

Мы прошли в кухню, я достала яйца и лук. Поджарила яичницу с луком. Сделала несколько тостов. Иногда, возвратясь домой после театра или концерта, мы сами что-нибудь себе готовили. Он любил яичницу с луком, и я готовила ее в точности как ему нравилось. Мы любили вот так скромно поужинать вдвоем, в кухне. Робер спустился в погреб и принес бутылку шампанского. Я знала, его мать рассердится, то была последняя бутылка из полудюжины, которую Роберу подарил один его приятель по скачкам, но он сказал, ему сейчас требуется шампанское, и открыл бутылку. Он с жадностью ел яичницу и залпом осушил бокал шампанского. В ту ночь какое-то в нем было неистовство. Когда мы только вошли в кухню, я заметила, что он очень бледен, хотя глаза у него ярко блестели, и не зная я, что это совсем не в его духе, я бы подумала, что он выпил, но скоро бледность прошла. Я решила, он просто устал и проголодался. Конечно же, он весь день носился сломя голову, и возможно, у него маковой росинки во рту не было. Хотя мы расстались всего несколько часов назад, он был вне себя от радости, что мы опять вместе. Он без конца меня

целовал, а когда я жарила яичницу, хотел меня обнять, и пришлось его оттолкнуть, а то вдруг бы я испортила свою стряпню. Но я не могла удержаться от смеха. Мы сели за кухонный столик рядышком, ближе некуда. Какими только ласковыми любовными именами он меня не называл и все не мог оторвать от меня рук, будто мы женаты не полгода, а всего неделю. Мы поужинали, и я хотела вымыть посуду, чтоб утром, когда придет мать, она не застала никакого беспорядка, но он мне не позволил. Ему не терпелось со мной лечь.

Он был будто одержимый. Никогда я не думала, что мужчина может так любить женщину, как он любил меня той ночью. Каким обожанием я была полна, я не знала, что женщина способна на такое. Он был ненасытен. Казалось, его страсть невозможно утолить. Ни у одной женщины никогда не было такого любовника, как у меня в ту ночь. И он был моим мужем. Он был мой! Мой! Я его боготворила. Позволь он мне, я бы целовала ему ноги. Когда, измучась, он наконец уснул, в просвет между занавесями заглянула утренняя заря. Но я уснуть не могла. Светало, и я не сводила с него глаз; на его мальчишеском лице не было ни морщинки. Он спал, заключив меня в объятия, и его губы чуть улыбались счастливой улыбкой. Наконец я тоже уснула.

Когда я проснулась, он еще спал, я тихонько вылезла из постели, чтобы его не потревожить. И пошла в кухню сварить ему кофе. Мы были очень бедны. Раньше Робер служил в одной маклерской конторе, но поссорился с хозяином и ушел от него, и с тех пор постоянной работы у него не было. Он был без ума от скачек, и иногда ему кое-что перепадало, хотя мать терпеть не могла это его занятие, а иной раз он немного подрабатывал, перепродавая подержанные автомобили, но, по сути, мы жили на пенсию его матери, она была вдова военного доктора и еще кое-что сумела отложить. Служанки у нас не было, и всю домашнюю работу мы делали вдвоем со свекровью. Я застала ее на кухне, она чистила к обеду картошку.

«Как Робер?» — спросила она.

«Он еще спит. Видели бы вы, какой он сейчас. Волосы взъерошены, и он будто мальчишка шестнадцати лет».

Кофе стоял на полке в камине, молоко было теплое. Я его вскипятила, выпила чашку, потом на цыпочках поднялась наверх и взяла одежду Робера. Он любил франтить, и я на-

училась гладить его вещи. Мне хотелось все ему приготовить и аккуратно сложить на стуле до того, как он проснется. Я принесла их в кухню, почистила и поставила разогреть уют. Когда я положила на кухонный стол брюки, я увидела на одной штанине пятна.

«Да что ж это такое? — воскликнула я. — Робер чем-то перепачкал брюки».

Мадам Берже так поспешно вскочила со стула, даже опрокинула картошку. Схватила брюки, глянула на них. И ее стала бить дрожь.

«Интересно, чем он их вымазал, — сказала я. — Робер будет вне себя. Его новый костюм».

Я видела, она огорчилась, но, знаете, французы в некоторых отношениях странные. Какое-нибудь пятно на платье для них событие, не то что для русских. Не знаю, сколько сотен франков Робер заплатил за этот костюм, но если костюм погублен, свекровь целую неделю не сможет спать, все будет думать о зря потраченных деньгах.

«Я отчищу», — сказала я.

«Отнеси Роберу кофе, — резко сказала она. — Уже двенадцатый час, пора ему встать. Брюки оставь мне. Я знаю, что с ними сделать».

Я налила ему чашку кофе и собралась идти наверх, но тут мы услышали, что он в тапочках сбегает по лестнице. Он кивнул матери и попросил газету.

«Выпей кофе, пока не остыл», — сказала я.

Он пропустил мои слова мимо ушей. Развернул газету и углубился в последние новости.

«Ничего нет», — сказала мать.

Я не поняла, о чем она. Робер пробежал взглядом по колонкам, потом не спеша отхлебнул кофе. Он был непривычно молчалив. Я взяла его пиджак и стала чистить щеткой.

«Ты вчера вечером сильно запачкал брюки, — сказала я. — Придется тебе сегодня надеть синий костюм».

Мадам Берже прежде повесила испачканные брюки на спинку стула. Теперь она их сняла и показала ему пятна. Он с минуту их разглядывал, а она молча за ним наблюдала. Казалось, он не может отвести от них глаз. Я не понимала их молчание. Странное оно было. Мне казалось, они отнеслись к этому пустяковому случаю до смешного трагически. Но, конечно, у французов бережливость в крови.

«Дома есть немного бензину, — сказала я. — Им можно вывести пятна. Или отдадим брюки в чистку».

Они не ответили. Робер сидел хмурый, не поднимая глаз. Мать перевернула брюки, наверно, хотела посмотреть, есть ли пятна сзади, а потом нащупала что-то в карманах.

«Что у тебя там?»

Робер вскочил.

«Не трогай. Нечего шарить по моим карманам».

Он попытался вырвать у нее брюки, но прежде она успела сунуть руку в задний карман и достала пачку банкнот. Увидев у нее деньги, Робер замер. Она уронила брюки на пол и со стоном прижала руку к груди, словно ее ударили ножом. Тут я заметила, что оба они бледные как смерть. Меня вдруг осенило, Робер часто мне говорил, что у матери наверняка есть кое-какие сбережения и она прячет их где-то в доме. Последнее время мы отчаянно нуждались. Роберу безумно хотелось поехать на Ривьеру; я там никогда не была, и он неделями твердил, что если б только ему раздобыть немного денег, мы бы туда поехали и наконец-то отпраздновали бы медовый месяц. Понимаете, когда мы поженились, он работал у того маклера и не мог уехать. У меня мелькнула мысль, что он нашел сбережения матери. Я подумала, что он украл их, покраснела до корней волос и, однако, не удивилась. Не зря я прожила с ним полгода, я знала, что ему это покажется забавной проделкой. Я видела у нее в руках билеты по тысяче франков. Потом оказалось, их семь. Мать так на него посмотрела, что казалось, глаза у нее выскочат из орбит.

«Где ты их взял, Робер?» — спросила она.

Он ответил смешком, но я видела, он нервничает.

«Я вчера выиграл пари», — ответил он.

«Ох, Робер, — воскликнула я, — ты же обещал маме больше никогда не играть на бегах».

«Тут дело было верное, — сказал он. — Я не мог устоять. Теперь мы сможем поехать на Ривьеру, лапочка. Возьми деньги и сохрани, не то у меня они пролетят между пальцев».

«Нет-нет, не надо ей этих денег! — крикнула мадам Берже. И с таким ужасом посмотрела на Робера, я даже поразилась, потом она повернулась ко мне: — Поди прибеги у вас в комнате. Не годится, чтоб комнаты весь день стояли необустроенные».

Я поняла, что она не хочет говорить при мне, и подумала, что, если они сейчас станут ссориться, лучше мне и вправду уйти. У невестки положение щекотливое. Мать обожала Робера, но он был легкомысленный, и ее это страшно беспокоило. Время от времени она устраивала сцены. Иногда они запирались в ее флигельке в конце сада и яростно спорили, до меня доносились их голоса. Он выходил оттуда мрачный, раздраженный, а по ней было видно, что она плакала. Я пошла наверх. Потом вернулась, и они тотчас замолчали, и мадам Берже велела мне пойти купить яиц. Робер обычно уходил из дому около полудня и возвращался только вечером, обычно очень поздно, но в тот день он остался дома. Читал, играл на фортепьяно. Я спросила, что у него произошло с матерью, но он не стал рассказывать, сказал, что это не мое дело. Мне кажется, за весь день ни он, ни она не обменялись и десятком слов. Я думала, этому не будет конца. Когда мы легли, я притулилась к Роберу, обняла его за шею, я ведь чувствовала, что он тревожится, и мне хотелось его утешить, но он меня оттолкнул.

«Бога ради оставь меня в покое, — сказал он. — Мне сегодня не до занятий любовью. У меня другие заботы».

Я была жестоко уязвлена, но ничего не сказала. Только отодвинулась от него. Он понял, что обидел меня, немного погодя протянул руку и чуть коснулся моего лица.

«Усни, лапочка, — сказал он. — Не огорчайся из-за моего дурного настроения. Слишком много я вчера выпил. Завтра я опять стану самим собой».

«Это деньги твоей матери?» — шепотом спросила я.

Он сперва не ответил. Потом наконец сказал: да.

«Ох, Робер, как ты мог?» — воскликнула я.

Он опять ответил не сразу. Мне так было худо. Думала, заплачу. Он сказал:

«Если кто-нибудь о чем-нибудь тебя спросит, ты у меня денег не видела. Ты понятия не имела, что у меня есть деньги».

«Как ты мог подумать, что я тебя предам?» — воскликнула я.

«И еще брюки. Мама не смогла их отчистить. Она их выбросила».

Я вдруг вспомнила, что днем, когда Робер играл на пианино, а я сидела с ним рядом, запахло горелым. Я встала, хотела пойти посмотреть, что там случилось.

«Не ходи», — сказал Робер.

«Но в кухне что-то горит», — сказала я.

«Наверно, мама жжет старое тряпье. Она сегодня встала с левой ноги, если ты вмешаешься, она тебя отругает».

И тут я поняла, что не старые тряпки она жгла; она сжигала брюки, она их не выбросила. Я страшно перепугалась, но ничего не сказала. Робер взял меня за руку.

«Если тебя станут про них спрашивать, — сказал он, — говори, что я их перемазал, когда мыл машину, вот и пришлось их отдать. Позавчера мать отдала их какому-то бродяге. Клянешься?»

«Да», — ответила я, насилу выговорила.

И тут он сказал ужасные слова:

«Может, от этого зависит моя жизнь».

Я до того перепугалась, так была ошеломлена, просто онемела от страха. И голова разболелась, прямо раскалывалась. Мне кажется, я всю ночь не сомкнула глаз. Робер то засыпал, то просыпался. И даже когда спал, беспокойно ворочался с боку на бок. Мы спустились рано, но моя свекровь была уже в кухне. Обычно она была одета очень прилично, а когда выходила из дому, выглядела даже элегантно. Она была вдовой доктора и дочерью штабного офицера; всегда помнила, кто она такая, и старалась, чтобы никто не понял, как жестоко она экономит ради того, чтобы достойно выглядеть, навещая старых армейских друзей. В этих случаях она подвивала волосы, делала маникюр, румянилась, бывало, никак не дашь ей больше сорока; а тут растрепанная, в халате, без румян она походила на старую отставную сводню, живущую на свои сбережения. Она не поздоровалась с Робером. Без единого слова она протянула ему газету. Я смотрела, как он читает, и увидела, что он переменялся в лице. Он почувствовал на себе мой взгляд и улыбнулся.

«Ну что, малышка, — весело сказал он, — как насчет кофе? Ты что же, собираешься стоять так все утро, не сводя глаз со своего господина и повелителя, или накормишь его?»

Я поняла, в газете что-то есть, и я узнаю то, что непременно должна узнать. Робер позавтракал и пошел наверх одеваться. Когда он спустился, готовый выйти на улицу, я чуть не ахнула, — на нем был тот самый светло-серый костюм, в котором он ходил позавчера, те самые брюки.

Но потом я, конечно, вспомнила, что, когда он заказывал костюм, брюк он заказал две пары. Об этом костюме было много разговоров. Мадам Берже ворчала, мол, слишком дорого, но он настоял на своем, сказал, если он не будет прилично одет, ему нечего и надеяться найти работу, и она наконец уступила, как всегда, только настояла, чтобы он заказал вторую пару брюк, брюки раньше обтрепываются, и экономнее заказать сразу две пары. Робер сказал, что к обеду не вернется, и вышел. Свекровь тоже скоро ушла за покупками, и едва я осталась одна, я схватила газету. И увидела: в своей квартире убит букмекер англичанин по имени Тедди Джордан. Его ударили ножом в спину. Робер часто о нем говорил, я слышала. Я поняла, что убил его Робер. У меня так заболело сердце, я думала, умру. Я была в ужасе. Не знаю, сколько времени я там сидела. Не могла шевельнуться. Наконец услышала — открывают ключом дверь, и поняла, что возвращается мадам Берже. Я положила газету на место и опять принялась хозяйничать.

Лидия тяжело перевела дух. Они приехали в ресторан не раньше часу, пожалуй, даже в начале второго, и кончили ужинать в два. Когда они входили, все столики были заняты и у стойки полно народу. Лидия рассказывала долго, а посетители мало-помалу расходились. Толпа у стойки редела. Теперь там сидели только двое, и кроме столика Чарли с Лидией был занят только еще один. Официанты нетерпеливо переминались с ноги на ногу.

— По-моему, пора уходить, — сказал Чарли. — Они явно уже хотят от нас избавиться.

В эту минуту люди за соседним столиком встали, собираясь уходить. Женщина, которая принесла им с вешалки пальто, принесла и пальто Чарли и положила на соседний столик. Чарли спросил счет.

— Наверно, можно пойти куда-нибудь еще?

— Можно на Монматр. У Граафа открыто всю ночь. Я ужасно устала.

— Что ж, если хотите, я отвезу вас домой.

— К Алексею и Евгении? Туда я сейчас не могу. Он наверняка пьян. Он будет всю ночь поносить Евгению за то, чем стали дети, мол, это она их такими воспитала, будет хныкать из-за своих горестей. В *Sérail* мне не хочется. Лучше пойдемте к Граафу. Там, по крайней мере, тепло.

Казалось, она так удручена и вправду так измучена, что Чарли, не без колебаний, предложил поступить иначе. Он вспомнил слова Саймона, что в эту гостиницу можно привести кого угодно.

— Послушайте, у меня в номере две кровати. Почему бы вам не пойти со мной?

Она бросила на него подозрительный взгляд, но он с улыбкой покачал головой.

— Просто чтоб выспаться, — прибавил он. — Понимаете, я сегодня с дороги, взволнован, то, другое, в общем, я совершенно выдохся.

— Ладно.

Они вышли на улицу, такси поблизости не оказалось, но до гостиницы было недалеко, и они отправились пешком. Сонный ночной привратник открыл им дверь и поднял их на лифте. Лидия сняла шляпу. У нее был высокий белый лоб. Ее волос он прежде не видел. Она оказалась светлой шатенкой, короткие волосы вились у шеи. Она скинула туфли, выскользнула из платья. Когда, облачившись в пижаму, Чарли вышел из ванной, Лидия уже не только лежала в постели, но спала. Чарли лег в свою постель и погасил свет. С тех пор как они вышли из ресторана, они не обменялись ни единым словом.

Так Чарли провел свой первый вечер в Париже.

4

Проснулся Чарли поздно. В первую минуту не мог сообразить, где он. Потом увидел Лидию. Они не задернули занавеси, и сквозь ставни пробивался серый свет. Комната, обставленная грязно-желтой мебелью, выглядела убого. Лидия лежала в двуспальной постели на спине, с открытыми глазами, уставаясь в грязный потолок. Чарли глянул на часы. Он стеснялся этой чужой женщины в соседней кровати.

— Уже около двенадцати, — сказал он.

— Давайте сразу выпьем по чашечке кофе, а потом, если хотите, я поведу вас куда-нибудь завтракать.

Она обратила на него серьезный, но и добрый взгляд.

— Я смотрела на вас спящего. Вы спали так мирно, так глубоко, точно дитя. У вас было такое невинное выражение лица, меня это сокрушило.

— Но я до неприличия небритый, — сказал Чарли.

Он по телефону заказал кофе, и его принесла дородная немолодая горничная; она бросила взгляд на Лидию, но на ее лице решительно ничего не выразилось. Чарли курил трубку, Лидия — сигарету за сигаретой. Они почти не разговаривали. Чарли не знал, как себя вести в этом своеобразном положении, а Лидия, казалось, погружена была в мысли, не имеющие к нему никакого касательства. Потом он прошел в ванную, чтобы помыться и побриться. Когда вернулся, Лидия в его халате сидела в кресле у окна. Окно выходило во двор, там только и видно было, что окна номеров напротив, этаж за этажом. В серое рождественское утро вид был на редкость безрадостный. Она обернулась к Чарли.

— А нельзя нам никуда не ходить, позавтракать здесь?

— То есть тут, внизу? Как вам угодно. Не знаю только, как здесь кормят.

— Это неважно. Нет, прямо здесь, в номере. Так славно на несколько часов отгородиться от всего света. Отдых, покой, тишина, одиночество. Похоже, такую роскошь могут себе позволить только очень богатые, а ведь это ничего не стоит. Странно, что так трудно этого достичь.

— Если хотите, я закажу вам завтрак в номер, а сам уйду.

Долгую минуту она смотрела на Чарли, глаза ее чуть насмешливо улыбались.

— Я ничего не имею против вас. Наверно, вы очень милый и славный. По мне лучше, чтоб вы остались. Какой-то вы уютный, с вами отдыхаешь душой.

Чарли был не из тех молодых людей, которые много мнят о себе, но все-таки сейчас ему стало досадно; право, это уж слишком, она и за мужчину его не считает. Но он был поистине человек воспитанный и ничем не выдал свои чувства. К тому же положение, в котором он оказался, было достаточно необычно, и хотя не ради такого поворота событий ехал он в Париж, ничего не скажешь, получается прелюбопытно. Чарли оглядел комнату. Кровати не застелены; шляпа Лидии, жакет, юбка, туфли, чулки кое-как свалены на стуле.

— Тут ужасный беспорядок, — сказал Чарли. — По-вашему, в этом хаосе будет так уж приятно завтракать?

— Не все ли равно? — ответила Лидия и впервые за все время засмеялась. — Но если это оскорбляет ваше

английское чувство приличия, я застелю постели, или, пока я буду мыться, это может сделать горничная.

Лидия прошла в ванную, а Чарли позвонил, чтобы принесли завтрак. Он заказал яйца, мясо, сыр, фрукты и бутылку вина. Потом вызвал горничную. Хотя комната отапливалась, тут был и камин, и Чарли подумал, если затопить камин, будет веселее. Пока горничная укладывала поленья, он оделся, а потом, когда она приводила комнату в порядок, он сидел и смотрел в окно на мрачный двор. И с тоской думал о том, как весело сейчас у Терри-Мейсонов. В этот час, перед тем, как сесть за праздничный обед, за индейку и рождественский пудинг, они выпьют по стаканчику хереса, и все будут радостные, довольные рождественскими подарками, шумные и веселые. Немного погодя вернулась Лидия. Она не накрашилась, но аккуратно причесалась, веки уже не были опухшими, и она была сейчас молоденькая и хорошенькая; но ее миловидность не вызывала плотских желаний, и Чарли, по природе восприимчивый к женским чарам, увидев Лидию, не взволновался.

— О, вы оделись, — сказала она. — Тогда я останусь в вашем халате, можно? Дайте мне ваши шлепанцы. Я в них потону, но это не важно.

Этот халат из синего расшитого шелка ему подарила на день рожденья мать; Лидии он был слишком длинен, но она так в нем задрапировалась, что выглядела вполне мило. Огонь в камине ее обрадовал, и она села в пододвинутое ей кресло. Закурила сигарету. Чарли странно было, что она принимает все происходящее так, будто это было в порядке вещей. Она держалась так непринужденно, словно знала его всю жизнь; если требовалось что-то еще, чтобы он начисто отказался от намерений, которые у него могли бы быть на ее счет, ничто не подействовало бы на него верней совершенно определенного впечатления, что Лидия отказалась от мысли, будто ему может прийти охота лечь с нею в постель. Его удивило, с каким аппетитом она ест. По ее рассказу накануне вечером ему представлялось, что она слишком угнетена, ей не до еды, и при его романтично-чувствительной натуре он поразился, увидев, что она ест не меньше, чем он, и с явным удовольствием.

Они пили кофе, и тут зазвонил телефон. Звонил Саймон.

— Чарли? Как насчет того, чтобы прийти ко мне поболтать?

— Боюсь, сейчас не смогу.

— Это почему? — резко спросил Саймон.

Так на него похоже — воображать, что каждый готов по первому его зову бросить все свои дела. Как бы мало что-то для него ни значило, если ему этого захотелось, а ему перечат, каприз тотчас приобретает первостепенное значение.

— У меня Лидия.

— Какая такая Лидия?

Чарли на миг замялся.

— Ну, княжна Ольга.

Молчание, потом Саймон разразился недобрым хохотом.

— Поздравляю, дружище. Я знал, что вы придетесь друг другу по вкусу. Что ж, найдется свободная минутка для старого приятеля, звякни.

Он повесил трубку. Чарли опять повернулся к Лидии, она пристально смотрела в огонь. По бесстрастному лицу ее нельзя было понять, слышала ли она разговор. Чарли чуть отодвинул от себя столик, за которым они завтракали, и как мог удобнее расположился в неглубоком кресле. Лидия перегнулась, подложила в камин еще одно полено. Была в этом движении отнюдь не неприятная Чарли интимность. Потом она поворочалась, усаживаясь поуютнее, точно собачонка, что покрутится раза три на подушке вокруг своей оси и лишь тогда свернется калачиком в образовавшемся углублении. Почти до вечера они оставались в номере. Безрадостный свет зимнего дня постепенно истаивал, и они сидели при свете горящих поленьев. В комнатах напротив кое-где зажегся свет, и тускло светящиеся незанавешенные окна казались неестественными, точно на декорациях, изображающих вечернюю улицу. Но Чарли думалось, что положение, в котором очутился он сам, — сидит в убогой комнате перед пылающим камином и слушает душераздирающий рассказ незнакомой женщины о ее жизни, — пожалуй, еще неправдоподобней. Похоже, Лидии и в голову не пришло, что ему, быть может, вовсе не хочется ее слушать. Сколько он мог судить, она не задумалась ни о том, что он, возможно, совсем по-иному собирался провести время, ни о том, что, изливая перед ним душу, делясь своими страданиями, она возлагает на него бремя, которым никто не вправе отягощать чужого человека. Означало ли это, что она ищет его сочувствия? Бог весть. Она ничего о нем не

знает и не хочет знать. Она просто воспользовалась его добротой, и если бы не присущее ему чувство юмора, равнодушие Лидии его бы раздосадовало. Ближе к вечеру она замолчала, и по ее спокойному дыханию Чарли понял, что она уснула. Он встал, ощутив, как от долгой неподвижности заныли ноги; стараясь ее не разбудить, на цыпочках прошел к окну, сел на стул и посмотрел во двор. Время от времени за освещенными окнами кто-то появлялся и исчезал; вот пожилая женщина поливает комнатные цветы; вот мужчина лежит без пиджака на кровати и читает; интересно, что это за люди, кто они. Вероятно, обыкновенные люди среднего достатка, ведь гостиница дешевая и квартал не из лучших; но увиденные вот так, за окном, словно в кинетоскоп, они казались почти призрачными. Кто знает, каков человек на самом деле, какие недобрые страсти, какие преступления таятся за его заурядной внешностью? В иных комнатах занавеси задернуты, и лишь пробивающаяся между ними полоска света говорила, что там кто-то есть. Иные окна темные, но эти комнаты не пустуют, гостиница полным-полна, просто постояльцы ушли. По каким загадочным делам? Чарли, выбитому из колеи, вдруг стало страшно за всех этих незнакомых людей, чья жизнь ему бесконечно чужда и неведома; почудилось, будто спокойная видимость скрывает что-то смутное, темное, уродливое, внушающее страх.

Нахмутив брови, Чарли сосредоточенно размышлял о длинной горестной истории, которую слушал всю вторую половину дня. Лидия перескакивала с одного на другое — то рассказывала о своей борьбе за существование, когда работала у портнихи за жалкие гроши, то о каком-нибудь случае из своего нищего детства в Лондоне; потом новые подробности о мучительных днях после убийства, о том, как боялась ареста Робера, как страдала на суде. Чарли читал детективы, читал газеты, знал, что совершаются преступления, знал, что люди живут в нужде, но знал все это, так сказать, со стороны; и теперь странно и страшно ему было оттого, что жизнь столкнула его с человеком, который сам пережил все эти ужасы. Сам не зная почему, он вдруг вспомнил картину Мане, на которой взвод солдат кого-то расстреливает... Максимилиана? Эта картина всегда производила на него сильное впечатление. Теперь его ошеломило сознание, что на картине изображено действительное собы-

тие. Император и вправду стоял на том месте, и когда солдаты направили на него ружья, ему, должно быть, казалось невероятным, что вот он живой, а через мгновение его не станет.

И теперь, после того как он познакомился с Лидией, как слушал ее прошлой ночью и сегодня днем, как ужинал с ней, и завтракал, и танцевал, после того, как они столько часов провели под одной крышей в такой близости, с трудом верилось, что ей пришлось такое пережить.

Если что и могло показаться чистой случайностью, так это само знакомство Лидии и Робера Берже. Через друзей, у которых она жила и которые работали в русском ресторане, Лидии иногда перепадал билет на концерт, а если таким образом билет получить не удавалось, а исполняли что-то, что ей очень хотелось послушать, она наскребала гроши из своего недельного жалованья и покупала билет на стоячее место. То была единственная роскошь, которую она себе позволяла, а концерт был ее единственным отдыхом. Любила она все больше русскую музыку. Слушая ее, чувствовала, что проникает в душу страны, которую никогда не видела, но по которой обречена была вечно тосковать. Она только и знала о России, что со слов отца и матери, из разговоров Евгении с Алексеем, когда они вспоминали прошлое, да из прочитанных книг. Именно когда она слушала музыку Римского-Корсакова и Глазунова, колоритные и надрывающие душу сочинения Стравинского, полученные ею впечатления обретали форму и содержание. Эти безудержные мелодии, эти спотыкающиеся ритмы, в которых было что-то столь чуждое Европе, уводили ее от самой себя, от убогого существования, наполняли такой страстной любовью, что по щекам катились счастливые слезы облегчения. Но все, что представлялось, она воочию не видела, оттого все она получала из вторых рук или это было плодом ее лихорадочного воображения, а потому все виделось ей странно искаженным; Кремль с золотыми, в звездах, куполами, и Красная площадь, и Китай-город были для нее словно из сказки; чудилось, будто князь Андрей и очаровательная Наташа и сегодня ходят по хлопотливым московским улицам, Дмитрий Карамазов после безумной ночи у цыган встречается на Москворецком мосту милого Алешу, купец Рогожин проносится в санях с Настасьей Филипповной, и, точно опавшие листья под ветром, гонит по жизни

покорных обстоятельствам грустных героев чеховских рассказов; Летний сад и Невский проспект — эти названия для нее по-прежнему звучали как магические заклинания; все едет в своей карете Анна Каренина, элегантнейший Вронский в новом мундире взбегаёт по лестнице в домах знати на Фонтанке, а незаконнорожденный Раскольников бредёт по Литейному. В буре чувств и тоске, вызванными этой музыкой, в глубине ее сознания всплывает Тургенев, и она видит просторные обветшалые усадьбы, где среди благоуханья всю ночь напролет ведутся разговоры; в бледный рассветный час, в безветрии, когда ничто не шелохнется, стреляют на болоте диких уток; потом всплывает Горький — и ей видятся нищие деревни, где отчаянно пьют, и зверски любят, и убивают; и стремится свои воды Волга, и высются уступы Кавказа, и чарует ослепительный Крым. Исполненная тоски, исполненная сожаления о навсегда ушедшей жизни, истосковавшаяся по дому, которого у нее никогда не было, всем чужая во враждебном мире, Лидия в эти минуты ощущала себя неотделимой от этой огромной загадочной страны. Хотя она говорила по-русски запинаясь, она была русская и любила свою родную землю; в такие минуты она ощущала, что именно там ее корни, и понимала, почему отец, несмотря на предостережения, даже на грозящую смерть, не мог туда не вернуться.

Случилось так, что на одном из концертов, где исполнялась только русская музыка, Лидия стояла рядом с молодым человеком, который, как она заметила, порой с любопытством на нее посматривал. А в какую-то минуту она сама поглядела на него и поразились, как страстно он, видимо, захвачен тем, что слушает; руки стиснуты, рот приоткрыт, словно ему не хватает дыхания. Им владел исступленный восторг. У него были приятные черты, и казалось, он человек воспитанный. Лидия лишь мельком глянула на него и опять вернулась к музыке и к пробужденным ею мечтам. Слушая музыку, она тоже позабыла обо всем на свете и едва ли заметила, что негромко всхлипнула. И вдруг с испугом почувствовала, что небольшая мягкая рука слегка пожала ей руку. Она мигом вырвала руку. Эта музыкальная пьеса оказалась последней перед антрактом, и когда она кончилась, молодой человек повернулся к Лидии. У него были чудесные серые глаза под густыми бровями и необыкновенно ласковые.

— Вы плачете, мадемуазель.

Лидии сперва подумалось, что, может быть, он русский, но выговор у него оказался истинно французский. Она поняла, что он пожал ей руку из безотчетного сочувствия, и была тронута.

— Не оттого, что несчастлива, — чуть улыбнувшись, отвечала она.

Он улыбнулся в ответ, улыбка была чарующая.

— Знаю. Эта русская музыка, она невероятно волнует и при этом надрыгает душу.

— Но ведь вы француз. Что она может для вас значить?

— Да, я француз. Не знаю, что она для меня значит. Но только эту музыку я и хочу слушать. В ней сила и страсть, кровь и гибель. У меня от нее каждый нерв трепещет. — Он посмеялся над собой. — Иной раз я ее слушаю и чувствую, все я могу сделать, что только в силах человеческих.

Лидия не отозвалась. Удивительно, какие разные чувства вызывает в разных людях одна и та же музыка. Музыка, которую они только что слушали, говорила ей о трагедии человеческой доли, о бесплодности борьбы с судьбой, о радости и покое смирения и покорности.

— На следующей неделе вы идете на концерт? — спросил он потом. — Там тоже будет сплошь русская музыка.

— Вряд ли.

— Почему же?

Он был очень молод, должно быть, не старше ее, и простодушен, что не позволило Лидии ответить слишком холодно на вопрос, который нескромно было задавать незнакомому человеку. Что-то в его манере убеждало ее, что с его стороны это не попытка завязать знакомство. Она улыбнулась.

— Я не миллионерша. Среди русских они, знаете ли, сейчас редки.

— Я знаю кое-кого из тех, кто устраивает эти концерты. У меня контрамарка на двоих. Если вы пожелаете встретиться со мной у входа в следующее воскресенье, вы тоже сможете пройти.

— Боюсь, для меня это невозможно.

— Вам кажется, вас это скомпрометирует? — улыбнулся он. — Толпа вполне заменит дуэнью.

— Я работаю в швейной мастерской. Меня скомпрометировать трудно. Но я не могу себе позволить оказаться в долгу у совершенно незнакомого человека.

— Вы, конечно, очень хорошо воспитаны, мадемуазель, но к чему такие предрассудки.

Лидии не захотелось спорить.

— Хорошо, там видно будет. Во всяком случае, спасибо за предложение.

Они разговаривали о том о сем, пока дирижер снова не поднял палочку. По окончании концерта молодой человек повернулся к Лидии, чтобы попрощаться.

— Итак, до следующего воскресенья? — сказал он.

— Там видно будет. Не ждите меня.

Они потеряли друг друга в толпе, стремящейся к выходам. На неделе Лидия несколько раз вспоминала красивого молодого человека с большими серыми глазами. Вспоминала с удовольствием. Она дожила до своих лет не без того, чтобы порой противиться ухаживаньям мужчин. Оба — и Алексей и его сын, наемный танцор, пытались к ней приставать, но она без труда их отвадила.

Звонкая пощечина дала понять слезливому пьянице, что он тут ничего не добьется, а мальчишку она поставила на место разумным сочетанием насмешки и беспощадных слов. Довольно часто мужчины пытались заигрывать с ней на улице, но она всегда была слишком усталая и нередко слишком голодная, так что их заигрывания ее не соблазняли; с невеселой усмешкой она думала, что, предложи они ей сытный обед, это соблазнило бы ее куда скорей, чем любящее сердце. Женское чутье подсказывало ей, что ее концертный знакомый на них непохож. Как всякий юнец, он, конечно, не упустит случая позабавиться с девчонкой, но не ради этого пригласил он ее на воскресный концерт. Идти она не собиралась, но ее тронуло, что он ее позвал. Что-то в нем было очень милое, что-то простодушное, искреннее. Она чувствовала, ему можно доверять. Она посмотрела на программу. Давали Патетическую симфонию, которую она не очень-то жаловала, на ее вкус Чайковский был слишком европеец, но в программе и «Весна священная», и Струнный квартет Бородина. Лидия сомневалась, можно ли принять за чистую монету слова этого молодого человека. Вполне возможно, что он пригласил ее под влиянием минуты, а спустя полчаса и думать про это забыл. Настало воскресенье, и она не прочь была пойти посмотреть; послушать концерт очень хотелось, а в кармане ни гроша сверх того, что необходимо на неделю на метро и обед — все остальное

пришлось отдать Евгении, чтоб было чем кормить семью; если того молодого человека там не окажется, не беда, а если он там и у него вправду контрамарка на двоих, что ж, его это не введет в расход, и она не будет у него в долгу.

В конце концов она поддалась внезапному порыву и оказалась у зала Плейель, и вот он стоит там, где сказал, и ждет ее. Глаза его радостно блеснули, и он горячо пожал ей руку, словно они были старыми друзьями.

— Я так рад, что вы пришли, — сказал он. — Я жду уже двадцать минут. Очень боялся вас пропустить.

Она покраснела и улыбнулась. Они вошли в зал, и оказалось, что билеты у него в пятый ряд.

— Это вам дали такие места? — удивилась Лидия.

— Нет, я их купил. Я подумал, что на удобных местах слушать музыку будет так славно.

— Вот безумие! Я вполне привыкла стоять.

Но его щедрость польстила Лидии, и когда он вскоре взял ее за руку, она руки не отняла. Ему, наверно, приятно держать ее руку, а ей от этого никакого вреда, и ведь она его должница. В антракте он сказал ей свое имя, Робер Берже, а она ему — свое. Он прибавил, что живет с матерью в Нейи и служит маклером в конторе. Разговаривал он как человек грамотный, с мальчишеским воодушевлением, которое сместило Лидию, и была в нем живость, которая, хочешь не хочешь, показалась привлекательной. Его сияющие глаза, поминутно меняющееся выражение лица выдавали пылкую натуру. Сидеть с ним рядом было все равно что сидеть у костра — его юность источала жар. После концерта они пошли вместе по Елисейским полям, а потом он спросил, не хочет ли она выпить чаю. Отказа он бы не принял. Лидии впервые выпала роскошь сидеть в шикарном кафе среди хорошо одетых людей; аппетитный запах пирожных, пьянящий аромат женских духов, тепло, удобные стулья, шумный разговор — все это ударило ей в голову. Они просидели там час. Лидия рассказала ему о себе, о том, кем был ее отец и что с ним случилось, как она теперь живет и чем зарабатывает на жизнь; он слушал так же заинтересованно, как говорил. Серые глаза лучились ласковым сочувствием. Когда ей пришло время уходить, он спросил, не пойдет ли она как-нибудь с ним в кино. Лидия покачала головой.

— Почему нет?

— Вы богатый молодой человек, а я...

— Да нет, не богатый я. Ничего похожего. У моей матери совсем немного денег сверх ее пенсии, а у меня только то немногое, что я получаю в конторе.

— Тогда нечего распивать чай в дорогих кафе. Так или иначе, я бедная работница. Благодарю вас за всю вашу доброту, но я не дура. Вы были милы со мной, и я думаю, с моей стороны было бы нехорошо и дальше пользоваться вашей добротой, ведь мне нечем вам отплатить.

— Но мне ничего не нужно. Вы мне нравитесь. Мне нравится быть с вами. В то воскресенье, когда вы плакали, у вас такой был трогательный вид, у меня сердце разрывалось. Вы одиноки на свете, и я... я тоже по-своему одинок. Я надеялся, мы станем друзьями.

Лидия холодно, оценивающе посмотрела на него. Они одних лет, но, по сути, она много старше; на его лице написано такое чистосердечие, она не сомневалась, он верит в то, что говорит, но ей хватало мудрости понять, что он болтает вздор.

— Позвольте быть с вами совершенно откровенной, — сказала она. — Я знаю, я не бог весть какая красавица, но все же я молода, и есть немало людей, которые находят меня хорошенькой, те, кому нравится русский тип; было бы слишком, если бы я поверила, что вы ищете моего общества только ради удовольствия беседовать со мной. Я еще не ложилась в постель с мужчиной. Думаю, было бы не очень честно с моей стороны позволить вам тратить на меня время и деньги при том, что лечь с вами в постель я не собираюсь.

— Что и говорить, откровенно сказано, — улыбнулся он, да какой обаятельной улыбкой. — Но, видите ли, я это понимал. Не зря я всю жизнь прожил в Париже, чему-то и научился. Я мигом чую, готова девушка поразвлечься или не готова. Я сразу понял, что вы девушка добропорядочная. На концерте я взял вас за руку только потому, что вы чувствовали музыку так же глубоко, как я, и прикосновение вашей руки... как бы лучше это объяснить... я ощущал, как ваше волнение передается мне и делает мое восприятие богаче, полней. Так или иначе в моем чувстве вовсе не было и намека на плотское желание.

— И однако, мы ощущали музыку очень по-разному, — задумчиво сказала Лидия. — В какой-то миг я взглянула на

ваше лицо и испугалась. Оно было безжалостное, свирепое. Будто вовсе и не человеческое лицо, но маска торжествующего зла. Мне стало страшно.

Он рассмеялся так весело, смех его был такой молодой, мелодичный, беспечный, взгляд такой мягкий и прямодушный, просто невозможно было поверить, что в какую-то минуту, пока он слушал ту волнующую музыку, лицо его выражало холодную жестокость.

— Ну и фантазия у вас! Уж не думаете ли вы, что я работороговец, прямо как в кино, и хочу вас заграбастать, а потом переправить пароходом в Буэнос-Айрес?

— Нет, — улынулась Лидия, — не думаю.

— Что вам сделается, если вы сходите со мной в кино? Вы очень ясно дали мне понять, каково положение, и я его принимаю.

Теперь рассмеялась она. Это ж нелепо так волноваться из-за пустяка. Не было у нее почти никаких удовольствий в жизни, и если он хочет ее развлечь и ему довольно просто посидеть с ней и поговорить, глупо от этого отказываться. Она ведь, в сущности, никто и никому не обязана давать отчет. Она может сама о себе позаботиться, а его она предупредила всеми словами.

— Что ж, ладно, — сказала она.

Они несколько раз ходили в кино, и после картины Робер провожал Лидию до ближайшей остановки трамвая, идущего к ее дому. По дороге он брал ее под руку, а в кино какое-то время держал ее руку, раз-другой при расставании легко целовал ее в обе щеки, но никаких других вольностей себе не позволял. Его общество было приятно Лидии. Он разговаривал шутливо, иронично, и Лидии это доставляло удовольствие. Он не делал вид, будто очень много читал, не было у него на это времени, сказал он, притом жизнь куда занятнее книг, но он был неглуп и о тех книгах, которые прочел, говорил умно. Лидия с интересом узнала, что он особенно восхищается Андре Жидом. Он увлеченно играл в теннис и говорил ей, что одно время ему советовали заняться теннисом всерьез; вершители судеб в теннисе полагали, что у него задатки чемпиона, и заинтересовались им. Но ничего из этого не вышло.

— Чтобы на этом поприще добиться успеха, мне недовоествовало ни времени, ни денег, — сказал он.

Лидии казалось, что он влюблен в нее, но уверенности она себе не позволяла, боялась, что собственные чувства мешают ей беспристрастно судить. Он все больше и больше занимал ее мысли. Впервые у нее появился друг ее лет. Ему она была обязана счастливыми часами на концертах, куда он водил ее по воскресеньям днем, и счастливыми вечерами в кино. Благодаря ему в ее жизни появился интерес, радостное волнение, чего никогда прежде не было. Ради него она всячески старалась принарядиться. Она не имела обыкновения пользоваться косметикой, но, собираясь на четвертую или пятую встречу с ним, слегка нарумянилась и чуть подвела глаза.

— Что это вы с собой сделали? — спросил он, когда они оказались на свету. — Зачем накрашились?

Лидия засмеялась и от смущения густо покраснела.

— Мне хотелось бы, чтоб вы могли мной гордиться. Неприятно, если люди подумают, будто с вами судомоечка, которая только что приехала в Париж из родной провинции.

— Но чуть ли не первое, что мне в вас понравилось, это ваша естественность. Мне надоели размалеванные физиономии. Не знаю почему, но меня тронуло, что на ваших бледных щеках, на губах, на бровях нет никакой краски. Это освежает, будто рощица, в которую попал после слепящего жара дороги. Без косметики от вас веет чистосердечием, и чувствуешь, что это и есть истинное выражение вашей честной натуры.

У Лидии заколотилось сердце, чуть ли не до боли, но то была та удивительная боль, что блаженней наслаждения.

— Что ж, если вам не нравится, я больше не стану краситься. В общем-то я накрашилась только ради вас.

Лидия рассеянно смотрела фильм, на который он ее привел. Все это время она не доверяла нежности в его мелодичном голосе, улыбчивой ласке взгляда, но после таких слов невозможно не поверить, что он ее любит. Она призвала на помощь все свое самообладание, чтобы удержаться и не влюбиться в него. Она продолжала твердить себе, что с его стороны это лишь мимолетный каприз, и было бы безумием дать волю своим чувствам. Она решила ни в коем случае не становиться его любовницей. Слишком много она видела подобных историй среди русских, дочерей эмигрантов, которым с таким трудом хоть как-то удавалось заработать на

жизнь; нередко от скуки или намаявшись из-за отчаянной бедности, они вступали в связь, но всегда она оказывалась недолгой; похоже, они неспособны удержать мужчину, по крайней мере француза, в кого они обычно влюблялись; они наскучивали своему любовнику или начинали его раздражать, и он их бросал; тогда они оказывались уж вовсе в бедственном положении, и часто им только и оставалось, что идти в публичный дом. Но на что еще могла она надеяться? Она прекрасно понимала, о женитьбе Робер не помышляет. У него и мысли такой не было. Она знала, как смотрят на брак французы. Его мать нипочем не согласится, чтоб он женился на русской портнихе, а она только портниха и есть, да к тому же без гроша за душой. Во Франции к браку относятся серьезно; жених и невеста должны быть людьми одного круга, и у невесты должно быть приданое, соответствующее положению жениха. Правда, ее отец был не вовсе безвестный профессор в университете, но это было в России, до революции, а с тех пор Париж наводнили князья, и графы, и гвардейцы — и либо стали таксистами, либо занялись физическим трудом. В русских все видели людей ленивых и ненадежных. Всем они надоели. Мать Лидии, чей отец был крепостной, и сама недалеко ушла от крестьянки, и профессор женился на ней, следуя своим либеральным воззрениям; но она была благочестива и воспитала дочь в строгих правилах. Напрасно Лидия пыталась себя переубедить — да, мир стал другим, и надо меняться вместе с ним, — но она ничего не могла с собой поделать: стать любовницей — от этой мысли она поневоле приходила в ужас. И все же. Все же. На что еще ей рассчитывать? Не глупо ли упускать такой случай? Ведь ее миловидность всего лишь миловидность юности, и уже через несколько лет она подурнеет и станет невзрачной; вполне вероятно, что другая возможность ей уже не представится. Почему не дать себе волю? Стоит только чуть изменить привычной сдержанности, и она бы безумно в него влюбилась; какое было бы облегчение не держать в узде свои чувства, и ведь он ее любит, да, конечно, любит, от пламени его страсти у нее перехватывает дыхание, в его пылком взгляде, в живом лице — неистовое желание обладать ею; как чудесно быть любимой тем, кого любишь до безумия, и если бы он ее разлюбил, а он наверняка разлюбит, ей бы остался исступленный восторг, остались бы воспоминания, и разве они

не стоят боли, мучительной боли, которую она испытает, когда он ее покинет? А когда все будет сказано, все кончено, если боль окажется нестерпимой, к ее услугам всегда будет Сена или газовая плита.

Но самое удивительное, непостижимое, что он вовсе не хотел, чтобы она стала его любовницей. Он обходился с ней с величайшим уважением. Вел себя так, словно она девушка из круга знакомых его семьи, чье положение в обществе и состояние позволяют предположить, что их дружба кончится браком, желательным для обеих сторон. Лидия не могла этого понять. Как ни нелепо было так думать, но тайное чутье подсказывало ей, что Робер хотел бы на ней жениться. Она была тронута и польщена. Если она права, он такой один на тысячу, но она почти надеялась, что ошибается, было бы невыносимо, если б ему пришлось страдать, а при таком желании это неизбежно; какие бы сумасбродные планы он ни строил, у него есть мать, рассудительная, практичная француженка, которая ни за что не позволит ему ставить под угрозу его будущее и которой он предан, как может быть предан матери только француз.

Но однажды вечером, после кино, когда они шли к станции метро, Робер сказал:

— В следующее воскресенье концерта нет. Не придете ли вы к нам на чай? Я столько рассказывал о вас матери, она хотела бы с вами познакомиться.

Сердце у Лидии замерло. Она тут же поняла, что означает это приглашение. Мадам Берже встревожена странной дружбой сына и хочет ее видеть, чтобы положить конец этой дружбе.

— Бедный мой Робер, я думаю, я вовсе не понравлюсь вашей матери. По-моему, нам с ней лучше не встречаться.

— Вы сильно ошибаетесь. Мама вам очень симпатизирует. Понимаете, она, бедняжка, любит меня, кроме меня у нее никого нет в целом свете, и она рада, что я подружился с воспитанной и достойной молоденькой девушкой.

Лидия улыбнулась. Как плохо он знает женщин, он воображает, будто любящая мать может питать добрые чувства к девушке, с которой ее сын случайно познакомился на концерте! Но он настойчиво уговаривал ее принять приглашение, которое, по его словам, исходило от матери, и она в конце концов согласилась. Подумалось, если она откажется

прийти, это лишь усилит недоверие к ней мадам Берже. Они условились, что Робер встретит ее в воскресенье в четыре у ворот Сен-Дени. Он приехал на автомобиле.

— Какая роскошь! — сказала Лидия, садясь в машину.

— Видите ли, автомобиль не мой. Я взял его у приятеля.

Лидия нервничала из-за предстоящего ей испытания, и даже ласковое дружелюбие Робера не могло придать ей уверенности.

Они поехали в Нейи.

— Автомобиль оставим здесь, — сказал Робер, остановившись у тротуара на тихой улочке. — Не хочу ставить его у нашего дома. Соседям незачем думать, будто у меня есть свой автомобиль, не объяснять же им, что я взял его у приятеля.

Они немного прошли пешком.

— Вот мы и дома.

Стоящий поодаль от других давно не крашенный домик оказался непригляднее, чем Лидии представлялось по рассказам Робера. Он ввел ее в гостиную. Комната была загромождена мебелью, везде безделушки, на стенах картины, написанные маслом, в золоченых рамах, и через арку вход в столовую, где накрыт стол. Мадам Берже отложила роман, который читала, и подошла поздороваться с гостьей. Лидия представляла ее довольно полной, невысокой, в трауре, как положено вдове, с кротким лицом, скромной, почтенной женщиной, по которой сразу видно, что она отрешилась от суетных желаний; она же оказалась совсем другой: худенькая и на высоких каблуках, ростом с Робера; элегантное черное в цветах шелковое платье, на шее нитка поддельного жемчуга; она темная шатенка, волосы подвиты, и хотя ей под пятьдесят, ни одного седого волоса. Бледное лицо сильно напудрено. Красивые глаза. Такой же, как у Робера, изящный, прямой нос, те же тонкие губы, только годы придали им некоторую суровость. Для своих лет и на свой лад она хороша собой и явно очень заботится о своей наружности, но нет в ней того обаяния, что так привлекает в Робере. В ее глазах, таких ярких и темных, холодность и настороженность. Лидия ощутила, каким острым испытующим взглядом окинула ее с ног до головы мадам Берже, когда она вошла, но тотчас настороженность сменилась радушной, приветливой улыбкой. Она рассыпалась в благодарностях за то, что Лидия проделала такой длинный путь ради того, чтобы повидаться с ней.

— Вы, разумеется, понимаете, как мне хотелось увидеть девушку, о которой сын столько мне рассказывал. Я была готова к неприятному сюрпризу. Сказать по правде, я не очень доверяю суждениям сына. И для меня истинное облегчение увидеть, что вы и вправду так милы, как он говорил.

Все это говорилось весьма оживленно, с улыбками, кивками, с желанием польстить, так говорит обычно хозяйка, привыкшая к приемам, стараясь, чтобы гостя почувствовала себя непринужденно. Лидия, тоже настороженная, отвечала с красящей ее застенчивостью. Мадам Берже выразительно, чуть принужденно засмеялась и даже всплеснула руками.

— Но вы очаровательны. Не удивительно, что мой сын забросил из-за вас старую мать.

Чай внесла девица с тупым лицом, и, продолжая жестикулировать и осыпать гостью любезностями, мадам Берже следила за служанкой тревожным взглядом; Лидия поняла, что здесь не привыкли приглашать гостей на чай и хозяйка не уверена в умении служанки подать на стол как полагается. Они пошли в столовую и сели за стол. Тут же стоял кабинетный рояль.

— Рояль занимает место, — сказала мадам Берже, — но мой сын страстно увлечен музыкой. Бывает, он часами сидит за роялем. Он говорит, вы превосходная музыкантша.

— Он преувеличивает. Я очень люблю музыку, но совсем несведуща в ней.

— Вы слишком скромны, мадемуазель.

На столе стояли печенья из кондитерской и пирожные. Под каждой тарелочкой был узорчатый кружок, а на ней небольшая салфетка. Мадам Берже явно постаралась соблюсти все правила хорошего тона. С улыбкой в холодных глазах она спросила Лидию, с чем та предпочитает чай.

— Вы, русские, всегда пьете чай с лимоном, и я нарочно для вас поставила лимон. Может быть, начнете с пирожного?

Чай отдавал соломой.

— Я знаю, русские всегда курят за едой. Пожалуйста, не церемоньтесь со мной. Робер, где сигареты?

Мадам Берже усиленно угощала Лидию пирожными, печеньем; она оказалась из тех хозяек, для которых гостеприимство заключается в том, чтобы даже вопреки желанию гостя непременно его накормить. Болтала она без умолку,

а голос у нее был резкий, пронзительный, с лица ее не сходила улыбка, и любезности ее не было предела. Она задавала Лидии множество вопросов, как бы случайных, будто светская дама из сочувствия вежливо расспрашивает одинокую девушку, но Лидия понимала, они хорошо продуманы, чтобы узнать о ней все, что только возможно. Сердце у Лидии упало: не такая это женщина, чтобы из любви к сыну позволить ему поступить безрассудно; но эта мысль вернула ей уверенность в себе. Ведь ясно же, ей нечего терять; и скрывать нечего; и на вопросы мадам Берже Лидия отвечала с полной откровенностью. Рассказала ей, как уже рассказывала Роберу, о своих родителях, и как она жила в Лондоне, и как жила после смерти матери. За горячим сочувствием мадам Берже, за ее потрясенно-согратательными репликами Лидии даже забавно было подмечать проницательность, с какой она взвешивает каждое услышанное слово и делает свои заключения. После двух или трех безуспешных попыток уйти, о чем мадам Берже и слышать не хотела, Лидия наконец ухитрилась вырваться из этой чересчур дружелюбной атмосферы. Робер собрался ее проводить. Когда она прощалась с мадам Берже, та схватила ее за руки, и ее красивые темные глаза лучились нежностью.

— Вы прелесть, — сказала она. — Дорогу вы теперь знаете. Приходите ко мне, приходите почаще. Вы всегда будете желанной гостьей.

Когда они шли к автомобилю, Робер ласково взял Лидию под руку, и было похоже, он хочет не защитить ее, а скорее найти у нее защиту, и этот жест совсем ее покори́л.

— Ну, дорогая, все прошло хорошо. Матери вы понравились. Вы ее сразу очаровали. Она вас будет обожать.

Лидия засмеялась.

— Какие глупости. Она меня возненавидела.

— Нет, нет, вы ошибаетесь. Вот увидите. Я ее знаю, я сразу увидел, что вы пришли ей по душе.

Лидия пожала плечами и ничего не сказала. Расставаясь, они условились пойти во вторник в кино. Лидия согласилась, хотя почти не сомневалась, что мать постарается положить конец их знакомству. Теперь Робер знал ее адрес.

— Если что-нибудь вам помешает, вы мне пошлите *petit bleu*¹.

¹ Записку по пневматической почте (*фр.*).

— Ничто не может мне помешать, — нежно возразил Робер.

Грустно ей было в этот вечер. Окажись она в одиночестве, она бы непременно поплакала. Но, наверно, и лучше, что не было у нее такой возможности; нечего расстраиваться. Напрасно она размышлялась. Она справится со своим разочарованием, в конце концов не впервой. Было бы куда хуже, если б он стал ее любовником, а потом ее бросил.

Прошел понедельник. Наступил вторник, но *petit bleu* не пришла. Ничего, уж наверняка она найдет ее, когда вернется с работы. Нет, опять ничего. Остается еще час, когда можно не думать, что пора собираться, и Лидия провела его в мучительном, тревожном ожидании звонка у двери; она одевалась, а сама чувствовала, что глупо это, ведь почтальон придет еще раньше, чем она будет готова. Неужели Робер заставит ее прийти в кино, а сам не явится? Это было бы бессердечно, жестоко, но ведь он под каблуком у матери, и, пожалуй, слабый он, и, должно быть, ему кажется, что, если она придет на свидание, а он ее не встретит, как это ни грубо, это лучше всего, ведь тогда ей станет совершенно ясно, что он с ней порвал. Не успела у нее мелькнуть эта мысль, как Лидия уже не сомневалась, что так оно и есть, и уже почти решила не ходить. И однако пошла. В сущности, если он способен на такую низость, это лишь докажет, что она легко от него отделалась.

Но нет, он ее ждал и, увидев, что она идет, нетерпеливо, с живостью пошел ей навстречу своим пружинистым шагом. Лицо его озаряла всегдашняя милая улыбка. Настроение у него было, кажется, еще лучше обычного.

— Мне сегодня не хочется в кино, — сказал он. — Зайдем к Фуке выпьем, а потом покатаемся. Автомобиль здесь, за углом.

— Как хотите.

Вечер был чудесный, сухой, хотя и холодный, и звезды в морозной выси будто добродушно потешались над слишком яркими огнями Елисейских полей. Лидия с Робером выпили пива, он все говорил, говорил без умолку, потом прошли на авеню Георга Пятого, где он оставил автомобиль. Лидия была озадачена. Разговаривал Робер вполне естественно, но, может быть, он умеет так хорошо притворяться, и невольно спрашивала себя, не для того ли он предложил покататься, чтобы сразить ее горькой вестью. Она уже знала,

что порой он вдруг возбуждается, даже слегка актерствует, но ее это скорее забавляло, чем обижало, возможно, он хочет получше обставить трогательную сцену отказа от нее.

— Это не тот автомобиль, что был у вас в воскресенье, — сказала Лидия, когда они подошли к машине.

— Да. Это моего приятеля, он хочет его продать. Я обещаю подыскать покупателя.

Они поехали к Триумфальной арке, потом по авеню Фош до Буа. Было темно, кроме мгновений, когда светили фары встречного автомобиля, и пустынно, кроме редких машин, что стояли у обочин, и там, по-видимому, парочки вели любовный разговор. Скоро Робер тоже остановился у тротуара.

— Давайте посидим и выкурим по сигаретке, — предложил он. — Вам не холодно?

— Нет.

Тут было безлюдно, и при других обстоятельствах Лидии стало бы не по себе. Но ей казалось, она достаточно знает Робера, он не злоупотребит ее доверием. Он ведь такой славный. Больше того, чутье подсказывало ей, он что-то задумал, и ей не терпелось узнать, что же это. Он поднес ей огонь, закурил сам и сидел молча. Видно было, что он смущен и не знает, как начать. У нее тревожно заколотилось сердце.

— Милая, я хочу вам кое-что сказать, — наконец заговорил он.

— Да?

— Ну даже не знаю, как начать. Я редко нервничаю, просто удивительно, совсем я к этому не привык.

Сердце у Лидии упало, но она не желала показать, что страдает.

— Если что-то трудно сказать, по-моему, лучше сказать прямо, — беспечно отозвалась она. — Что толку ходить вокруг да около.

— Люблю вас на слове. Будьте моей женой.

— Я?

Лидия ждала чего угодно, только не этого.

— Я безумно тебя люблю. Мне кажется, я влюбился с первого взгляда, когда мы стояли рядом на концерте и у тебя текли по щекам слезы.

— А как же твоя мать?

— Мама в восторге. Она нас ждет. Я сказал, что если ты согласишься, я тебя привезу. Она хочет тебя обнять. Она рада, что я выбрал девушку, которая не вызывает у нее никаких возражений, и план у нас такой: все вместе поплачем, а потом разопьем бутылку шампанского.

— В прошлое воскресенье, когда ты меня пригласил познакомиться с матерью, ты ей сказал, что хочешь на мне жениться?

— Ну конечно. Мама отнюдь не глупая, она сразу все решила.

— Мне казалось, я ей не понравилась.

— Ты ошиблась.

Они улыбались друг другу, Лидия подняла к нему лицо. Впервые он поцеловал ее в губы.

— А ведь при правостороннем движении куда удобнее целовать девушку, чем при левостороннем.

— Глупый, — засмеялась Лидия.

— Значит, я тебе все-таки не безразличен?

— Я с первой минуты тебя обожаю.

— Но была сдержанна, как и полагается хорошо воспитанной особе, она не дает воли своим чувствам, пока не уверится, что это не противоречит благоразумию? — ласково поддразнил Робер.

Но Лидия ответила серьезно:

— За свою недолгую жизнь я так настрадалась, я не хотела новых страданий, которые, может быть, не перенесу.

— Я без ума от тебя.

Никогда еще Лидия не была так счастлива; право же, ей с трудом в это верилось; благодарность к жизни переполняла ее сердце. Она была бы рада так и остаться здесь, в его объятиях, навеки; в такую минуту и смерть не страшна. И все-таки она заставила себя оторваться от него.

— Едем к твоей маме, — сказала она.

Ее вдруг охватила нежность к этой женщине, ведь та едва ее знает и, однако, против ожиданий, понимая, что ее сын полюбил ее, Лидию, и проницательным взглядом увидев, что и Лидия его всерьез любит, согласилась, даже с радостью, на их брак. Лидии казалось, во всей Франции не найдется другой женщины, способной на такую жертву.

Они поехали. Робер оставил автомобиль на улице, параллельно той, где жил. А когда подошли к дому, открыл дверь своим ключом и, порывисто опередив Лидию, поспешил в гостиную.

— Все хорошо, мама.

Лидия вошла тотчас следом, и мадам Берже, в том же черном в цветах шелковом платье, что и в воскресенье, шагнула ей навстречу и обняла.

— Милое мое дитя, — воскликнула она. — Я так счастлива!

Лидия расплакалась. Мадам Берже нежно ее целовала.

— Ну, ну, успокойтесь! Не надо плакать. Я от всей души отдаю вам сына. Я знаю, вы будете ему хорошей женой. Идите сюда, садитесь. Робер откроет бутылку шампанского.

Лидия овладела собой и утерла глаза.

— Вы слишком добры ко мне, мадам. Не знаю, чем я заслужила такое сердечное расположение.

Мадам Берже взяла ее за руку и ласково погладила.

— Вы полюбили моего сына, а он — вас.

Робер вышел из комнаты. Лидия чувствовала, что должна сказать его матери все как есть.

— Но, боюсь, вы не знаете моих обстоятельств, мадам. Те небольшие деньги, что отец смог вывезти из России, давным-давно кончились. У меня нет ничего, кроме моего заработка. Ничего, совсем ничего. И кроме вот этого платья, еще только два.

— Но, милое мое дитя, какое это имеет значение? Не скрою, я была бы рада, если бы вы принесли Роберу и недурное приданое, но деньги еще не все. Любовь важнее. А в наше время чего вообще стоят деньги? Лышу себя надеждой, что умею разбираться в людях, и я сразу поняла, что у вас милая и честная натура. Я увидела, что вы хорошо воспитаны и несомненно человек твердых правил. А это и требуется от жены, и, знаете, мой Робер никогда не был бы счастлив с девушкой из среды мелких французских буржуа. Он романтик, и ему по душе, что вы русская. И ведь не кто-нибудь, а дочь профессора, это что-то да значит.

Вошел Робер с бокалами и с бутылкой шампанского. За разговором засиделись допоздна. У мадам Берже все уже было продумано, и им оставалось только согласиться; Лидия с Робером будут жить в доме, а она уютно устроится во флигельке в глубине сада. Есть они будут вместе, а остальное время она будет проводить у себя. Молодых надо предоставить самим себе и не навязывать им свое общество, решила она.

— Я не хочу, чтобы вы считали меня свекровью, — сказала она Лидии. — Я хочу быть вам матерью, ведь родной матери вы лишились, но хочу стать и вашим другом.

Ей очень хотелось, чтобы свадьба состоялась как можно скорее. У Лидии был паспорт, выданный Лигой наций, и Carte de Séjour¹, все бумаги в порядке, так что надо только подать заявление в мэрию и выждать положенный срок. Так как Робер был католик, а Лидия православная, они, к огорчению мадам Берже, отказались от церковного бракосочетания, оба не придавали этому значения. В ту ночь Лидии не спалось, слишком она была взволнована и растеряна.

Свадьбу сыграли более чем скромно. Присутствовали только мадам Берже и старый друг их семьи полковник Легран, военный врач, который служил вместе с отцом Робера, да еще Евгения с Алексеем и их детьми. Происходило это в пятницу, а так как в понедельник утром Роберу предстояло идти на службу, их медовый месяц был совсем короткий. На автомобиле, который Роберу дали взаймы, он повез Лидию в Дьепп, а в воскресенье вечером привез ее назад.

Лидия не знала, что, как и прежние автомобили, тот, в котором он ее вез, был не взят взаймы, а украден, вот почему Робер всегда оставлял их не у дома, а на какой-нибудь ближайшей улице; не знала, что несколько месяцев назад его приговорили к двум годам тюрьмы, но условно, поскольку это было его первое преступление; не знала, что затем его привлекали к судебной ответственности по обвинению в контрабанде наркотиков, и он чудом избежал обвинительного приговора; не знала, что мадам Берже так радовалась их браку в надежде, что теперь Робер остепенится, да это и вправду было для него единственной возможностью зажить жизнью честного человека.

5

Чарли понятия не имел, сколько времени он просидел так у окна, рассеянно глядя в темный двор, пока в его смятенные, сумбурные мысли не ворвался голос Лидии.

— Я, кажется, спала, — сказала она.

— Еще как спали.

¹ Вид на жительство (*фр.*).

Чарли зажег свет, чего не делал прежде, боясь ее разбудить. В камине огонь догорал, и он положил еще одно полено.

— Я так хорошо отдохнула. Спала безо всяких снов.

— Вам снятся дурные сны?

— Ужасные.

— Если вы оденетесь, можно пойти пообедать.

Лидия глянула на него с чуть насмешливой, но и доброй улыбкой.

— Вы, наверно, совсем не так привыкли проводить Рождество.

— Признаться, вы правы, — ответил он, весело усмехнувшись.

Она ушла в ванную, и Чарли услышал, как она купалась. Вернулась она по-прежнему в его халате.

— Теперь, если вы пойдете мыться, я оденусь.

Чарли оставил ее в комнате. Ему казалось вполне естественным, что, хоть она и проспала всю ночь в соседней постели, ей неловко при нем переодеваться.

Лидия повела его в знакомый ей ресторан на авеню дю Мэн, где, по ее словам, хорошо кормили. Хотя чуть застенчиво старомодный, ресторанчик оказался очень славный — стены обшиты панелями, на окнах ситцевые занавески, кушанья подают на оловянных тарелках, — в нем было почти безлюдно: только две женщины средних лет в высоких воротничках и галстуках да трое молодых индийцев, которые ели в хмуром молчании. Казалось, все они одиноки, у них нет друзей, и они обедают здесь в этот вечер, оттого что им некуда пойти.

Лидия и Чарли сели в уголке, где никто не услышит их разговор. Лидия ела с большим аппетитом. Когда Чарли предложил ей добавки одного из заказанных блюд, она с готовностью протянула тарелку.

— Свекровь всегда жаловалась, что у меня слишком хороший аппетит. Она, бывало, говорила, что я так ем, будто никогда не наедалась досыта. Да ведь так оно и было.

Ее слова потрясли Чарли. Странное чувство — обедаешь с человеком, который из года в год недоедал. И еще: оказывается, можно пройти через всевозможные несчастья и все-таки есть с отличным аппетитом. Это поколебало его прежние представления и вносило в ее трагедию что-то балаганное; Лидия — фигура отнюдь не романтическая,

она самая обыкновенная молодая женщина, и почему-то все случившееся с ней казалось от этого еще ужасней.

— А с вашей свекровью вы ладили? — спросил Чарли.

— Да, более или менее. Она была неплохая женщина. Просто суховатая, расчетливая, практичная и скупая. Хорошая хозяйка, любила идеальный порядок в доме. Моя русская неряшливость ее возмущала, но она умела держать себя в руках и ни разу мне резкого слова не сказала. После Робера главной ее страстью была респектабельность. Она гордилась, что ее отец был штабной офицер, а муж — полковник медицинской службы. Оба они были кавалерами ордена Почетного легиона. Муж во время войны лишился ноги. Она очень гордилась их безупречной репутацией и весьма высоко ставила то положение в обществе, которое занимала благодаря им. Вы, наверно, скажете, она сноб, но в таких пустяках, что это не обижает, а только смешит. Ее представления о морали иностранец счел бы удивительными во француженке. Например, она не прощала женщин, которые изменяют мужьям, но ей казалось вполне естественным, что мужчины обманывают жен. Она нипочем не примет приглашения, если не может пригласить этих людей к себе. Если она о чем-то условилась, то уж непременно сдержит слово, даже если это окажется для нее невыгодно. Она считала каждый грош, но была безупречно честна, честна и из принципа и из уважения к своей семье. Ей было присуще глубокое чувство справедливости. Она понимала, что поступила со мной непорядочно, когда согласилась на наш с Робером брак, ведь я ничего про него не знала, и не следовало оставлять меня в неведении, тогда я хотя бы могла не вслепую решать, выходить за него или нет; я, конечно, ни минуты бы не колебалась, но она-то этого не знала и, когда мне все стало известно, считала, что у меня есть все основания ее винить, а оправдаться она могла бы лишь тем, что ради Робера готова была кого угодно принести в жертву; вот почему она заставляла себя терпеть многое, что ей не нравилось во мне. Со всей решительностью, со всем своим самообладанием и тактом она старалась, чтобы наш брак был удачным. Она чувствовала, только счастливый брак и может исправить Робера, и так велика была ее любовь к сыну, что она готова была отдать его мне. Даже готова была утратить свое влияние на него, а этим женщина, по-моему, дорожит даже больше, чем любовью к ней, независимо от

того, идет ли речь о сыне, о муже, о любовнике или о ком-то еще. Она сказала, что не станет вмешиваться в нашу жизнь, и не вмешивалась. Мы почти и не видели ее, только в кухне, когда какое-то время спустя отказались от служанки, да за столом. Все время, когда она бывала дома, она проводила во флигельке в глубине сада, а если нам казалось, что ей одиноко, и мы звали ее посидеть с нами, она отказывалась под каким-нибудь предлогом: то у нее работа, то надо написать письма, то хочется дочитать книжку. Ее трудно было любить, но невозможно не уважать.

— Что с ней теперь? — спросил Чарли.

— Суд над сыном ее разорил. Большая часть ее скромных сбережений пошла на то, чтобы уберечь Робера от тюрьмы, а остальное — на адвокатов. Ей пришлось продать дом, на который опиралась гордость офицерской вдовы, и заложить свою пенсию. Она всегда прекрасно стряпала, вот и пошла служанкой за все к одному американцу, у которого студия в Отейле.

— Вы с ней когда-нибудь видитеесь?

— Нет. Чего ради? У нас с ней нет ничего общего. Раз я не смогла удержать Робера на пути праведном, я ей стала ни к чему.

Лидия продолжала рассказывать Чарли о своем замужестве. Ей приятно было обрести дом, а какое блаженство не ходить каждое утро на работу. Она скоро увидела, что на всякие транжирства денег нет, но по сравнению с тем, к чему она привыкла, они жили богато. И во всяком случае, у нее появилась уверенность в завтрашнем дне. Робер был нежен, жить с ним было легко, ему нравилось, когда она ему прислуживала, но она так его любила, что и прислуживать было радостью. Ее смешил его веселый, дерзкий, бесшабашный цинизм, и жизнь была в нем ключом. При их довольно скудных средствах он был чрезмерно щедр. Подарил ей золотые ручные часы и сумочку для косметики, которые уж наверно стоили не одну тысячу франков, и сумку крокодиловой кожи. Лидия с удивлением обнаружила в одном из ее отделений трамвайный билет, и когда спросила Робера, как он туда попал, тот в ответ засмеялся. Сказал, что купил сумку у девушки, которая проигралась на бегах. Девушка только что получила ее в подарок от любовника и продавала так дешево, что он просто не мог ее не купить. Иногда Робер водил Лидию в кино, а потом они

шли на Монмартр танцевать. Ей хотелось знать, откуда у него деньги на такое мотовство, и Робер весело отвечал, что мир полон дураков и умному человеку нелепо было бы порой этим не воспользоваться. Но свои походы они скрывали от мадам Берже. Лидии казалось, что невозможно любить Робера больше, чем когда она выходила за него замуж, но с каждым днем чувство ее крепло. Он был не только чудесный любовник, но и восхитительный спутник жизни.

Месяца через четыре после женитьбы Робер лишился работы. Дома это вызвало бурю, Лидии непонятную, ведь жалованье Робер получал мизерное; но он надолго заперся с матерью во флигеле, и когда Лидия потом увидела свекровь, стало ясно, что та плакала. Лицо у нее было измученное, и она так мрачно и зло глянула на Лидию, будто винила ее. Лидия не могла взять этого в толк. Потом пришел старый доктор, друг семьи полковник Легран, и они втроем опять заперлись у мадам Берже. Дня три Робер был молчалив и впервые за все время их знакомства даже раздражен; на вопрос Лидии, что с ним происходит, резко ответил, чтобы не приставала. Потом, должно быть, подумав, что надо все-таки что-то ей объяснить, сказал, что сыр-бор разгорелся из-за материной скупости. Лидия знала, что, хотя свекровь не бросает деньги на ветер, она никогда не экономит на сыне, ничего для него не жалеет; но Робер был сильно на взводе, и она предпочла промолчать. Дня три мадам Берже была вне себя от тревоги, но потом, что бы там ни было причиной, тревога улеглась; правда, она уволила служанку, а держать служанку было для нее делом принципа, ведь, пока у тебя есть прислуга, можно смотреть на себя как на истинную даму. Но теперь мадам Берже сказала Лидии, что это пустая трата денег, они вдвоем вполне справятся с таким скромным хозяйством, а покупая сама провизию, она будет уверена, что ее не обкрадывают; и ведь дел у нее особых нет, и она с удовольствием станет стряпать. Ну а Лидия охотно взяла на себя уборку дома.

И жизнь потекла почти совсем как прежде. К Роберу скоро вернулось хорошее настроение, и он опять стал веселым, любящим и очаровательным. Он вставал поздно и отправлялся на поиски работы и часто возвращался только поздним вечером. У мадам Берже всегда было припасено для него что-нибудь повкуснее, но без него трапеза двух

женщин бывала скудной: чашка некрепкого бульона, салат и немного сыру. Все это время мадам Берже явно была встревожена. Не раз, заходя в кухню, Лидия заставляла ее стоящей без дела, на лице смятение, словно ею владела нестерпимая тревога, но стоило Лидии войти, выражение ее менялось и она принималась за прерванную работу. Она по-прежнему следила за собой и в «приемные дни» своих старых друзей одевалась во все лучшее, слегка румянила щеки и, высоко подняв голову — воплощенная респектабельность среднего сословия, — отправлялась с визитом. Хотя Робер был все еще без работы, денег на карманные расходы у него вскоре стало не меньше, чем прежде. Он сказал Лидии, что сумел в качестве посредника продать два-три подержанных автомобиля; а еще завязал знакомства на скачках, ему подсказали, на какую лошадь ставить, и он кое-что выиграл. Сама не зная почему, Лидия невольно заподозрила, что тут не все чисто. Был даже случай, когда она по-настоящему встревожилась. Однажды в воскресенье Робер сказал матери, что человек, который, как он надеется, возьмет его на службу, пригласил его с Лидией на обед у себя дома, неподалеку от Шартра, и он повезет ее туда на автомобиле; но когда они сели в автомобиль, что стоял за две улицы от их дома, и поехали, Робер сказал, что все это выдумка. В прошлый четверг ему повезло на скачках, и они едут обедать к Жуи. А матери он солгал, не то она сочла бы, что тратить деньги на ресторан непростительное транжирство. День был великолепный, теплый. Обед подавали в саду, и народу было полным-полно. Они отыскивали два места за столиком, где уже сидели четыре человека. Вся эта компания отобедала и ушла, когда Робер и Лидия едва добрались до середины трапезы.

— Ой, смотри, — сказал Робер, — одна дама забыла свою сумочку.

Он взял сумочку и, к удивлению Лидии, открыл. Она увидела там деньги. Робер кинул быстрый взгляд налево, направо, быстро, хитро и недобро глянул на жену. У Лидии упало сердце. Сейчас он вынет деньги и сунет в карман. От ужаса перехватило дыхание. И в этот миг вернулся один из сидевших за столиком мужчин и увидел сумочку в руках Робера.

— Что вы делаете с этой сумкой? — спросил он.

Робер улыбнулся своей открытой обаятельной улыбкой.

— Ее забыли. Хотел посмотреть, не узнаю ли, чья она.

Мужчина посмотрел на него сурово, подозрительно.

— Надо было просто отдать ее хозяину ресторана.

— И вы думаете, вам бы ее вернули? — учтиво ответил Робер, возвращая сумочку.

Тот молча ее взял и пошел прочь.

— Женщины преступно беспечно обращаются со своими сумочками, — сказал Робер.

У Лидии вырвался вздох облегчения. Какое нелепое подозрение. Вокруг люди, ну у кого бы хватило наглости украсть деньги из забытой сумки, слишком велик был риск. Но она знала все выражения лица Робера, и как это ни невероятно, не сомневалась, что он намерен был взять деньги. И счел бы это преотличной шуткой.

Она решительно вычеркнула из памяти этот случай. Но он вспомнился ей в то страшное утро, когда она прочла в газете, что убит англичанин — букмекер Тедди Джордан. В памяти всплыл тогдашний взгляд Робера. В страшный миг озарения она поняла, он способен на все. Теперь она поняла, что за пятна оказались на его брюках. Кровь! И поняла, откуда брались тысячи франков. Поняла также, почему так мрачен был Робер, когда лишился работы, почему была в таком отчаянии его мать и почему мать и сын заперлись с полковником Леграном и долгие часы там шел взволнованный разговор. Потому что Робер украл деньги. И мадам Берже уволила служанку и с тех пор во всем себе отказывала и откладывала каждый грош, чтобы выплатить непосильную для нее сумму и уберечь сына от тюрьмы. Лидия перечитала сообщение об убийстве. Тедди Джордан жил один в квартире на первом этаже, убирала у него консьержка. Ел он не дома, но каждое утро в девять консьержка приносила ему кофе. Так она его и обнаружила. Увидела его на полу, без пиджака, в спине ножевая рана, лежал он у патефона, на разбитой пластинке, похоже, нож всадили, когда он менял пластинку. На полке над камином — пустой бумажник. Рядом с креслом, на столике, недопитый стакан виски с содовой и второй стакан, непочатый, на подносе, там же бутылка виски, сифон для сельтерской воды и ненарезанный кекс. Он явно ждал гостя, но гость не захотел выпить. Смерть наступила за несколько часов до прихода консьержки. Репортер, очевидно, сам провел небольшое расследование, но сколько в этом отчете было правды, а сколько выдумки,

сказать трудно. Он расспросил консьержку и узнал, что, насколько ей известно, женщины у покойника не бывали, лишь несколько мужчин, больше все молодые, из чего она сделала свои выводы. Тедди Джордан был хороший жилец, не доставлял никаких хлопот, а когда бывал при деньгах, не скупился. Нож всадили в спину с огромной силой, и, по словам репортера, полиция убеждена, что убийца, должно быть, человек очень крепкий. В комнате никаких следов беспорядка, значит, нападение было внезапным и Джордан не мог защищаться. Ножа не нашли, но, судя по пятнам на гардинах, нож о них вытерли. Далее репортер сообщал, что, хотя полиция все тщательно осмотрела, отпечатков пальцев не обнаружено; а значит, убийца либо их стер, либо был в перчатках. В первом случае можно говорить о величайшем хладнокровии, во втором — о преднамеренности.

Потом репортер отправился в бар Жожо. Это был небольшой бар на глухой улице за бульваром Мадлен, который облюбовали жокеи, букмекеры и те, кто играл на скачках. Здесь подавали простую пищу — яичницу с беконом, сосиски, отбивные котлеты, тут-то обычно и ел Джордан. Здесь по большей части и заключал сделки. Репортер узнал, что здешние завсегдатаи считали его славным малым. Бывали у него хорошие времена, бывали и плохие, но в удачные дни он денег не жалел. Всегда был готов любому поставить выпивку, все у него были приятели. И однако, знали, с ним надо держать ухо востро. Случалось, у него бывали полосы невезения, и тогда счет его рос и рос, но в конце концов он расплачивался. Репортер поделился с Жожо, владельцем бара, подозрениями консьержки, но тот его заверил, что нет для этого никаких оснований. Красочный газетный отчет закончен был словами, что полиция усердно ведет расследование и надеется на протяжении суток арестовать убийцу.

Лидия была в ужасе. Она ни минуты не сомневалась, что преступление совершил Робер; так была в этом уверена, будто все произошло у нее на глазах.

— Как он мог? Как он мог? — воскликнула она.

И тут же испугалась собственного голоса. Пусть даже в кухне никого и нет, нельзя высказывать вслух свои мысли. Надо непременно спасти Робера от грозящей ему опасности, это была ее первая, ее единственная мысль. Что он ни

натворил, она его любит; пускай бы он сделал что угодно, она все равно любила бы его не меньше. Она вдруг представила, что его могут у нее отнять, и чуть не закричала от боли. Даже в такую минуту ее пьянило воспоминание о его нежных губах, она ощущала его стройное, все еще мальчишеское тело в своих объятиях. Было сказано, что нож всадили с огромной силой, и полиция ищет крупного, могучего человека. Робер крепкий, жилистый, но не крупный и не могучий. А потом, еще эти подозрения консьержки. Полиция будет рыскать по ночным клубам и кафе на Монмартре и на улице де Лапп, где постоянно бывают гомосексуалисты. Робер никогда не ходил в подобные заведения, и уж она-то лучше всех знала, как он далек от противостественных наклонностей. Правда, он частенько захаживал в бар Жожо, но туда многие ходили; там он получал нужные ему сведения от жокеев и заключал пари с букмекерами повыгодней, чем в тотализаторе. Это было вполне законно. Нет никаких причин, чтобы подозрение пало на него. Брюки уничтожены, и кому придет в голову, что мадам Берже, при ее бережливости, уговорила Робера заказать вторую пару таких же брюк? Если полиция узнает, что Робер был знаком с Джорданом (а Джордан был знаком со множеством народу), и произведет в доме обыск (это маловероятно, но, возможно, станут допрашивать всех, с кем, как известно, букмекер поддерживал приятельские отношения), ничего они не найдут. Кроме той небольшой пачки билетов по тысяче франков. При мысли об этих деньгах Лидию охватила паника. Проще простого узнать, что их семья находится в стесненных обстоятельствах. Робер и она всегда считали, что где-то во флигеле у матери припрятаны кое-какие деньжата, но когда Робер лишился работы, им наверняка пришел конец; если на него падет подозрение, полиция неизбежно узнает, что его уволили со службы; как же тогда объяснить, что у матери сохранилось несколько тысяч франков? Лидия не знала, сколько билетов в той пачке. Наверно, восемь или десять. Для бедняков сумма изрядная. Даже зная, как Робер ее добыл, мадам Берже никогда не отважится с ней расстаться. Решит, что у нее хватит хитрости запрятать деньги в такое место, куда никому и в голову не придет заглянуть. Лидия понимала, разговаривать с ней бесполезно. Никакие доводы на нее не действуют. Только одно и остается: найти их и сжечь. До тех пор не будет у нее ни

минуты покоя. А уж когда она это сделает, пускай полиция приходит, никаких улик не найдут. В безумной тревоге гадала она, куда бы могла спрятать деньги мадам Берже. Во флигеле Лидия бывала редко, мадам Берже сама прибирала у себя, но Лидии отчетливо запомнилось, где там что, и теперь мысленно она старательно обшаривала каждую вещь, каждое местечко, которые могут служить тайником. При первом же удобном случае Лидия решила отправиться туда на поиски.

Случай представился раньше, чем она могла предвидеть. В тот же самый день, после скудного обеда, за которым обе женщины не проронили ни слова, Лидия сидела в гостиной и шила. Читать она была не в силах, а что-то надо было делать, чтобы успокоить снедающую ее ужасную тревогу. Она услышала, как в дом вошла мадам Берже, и решила, что та, наверно, идет в кухню, но свекровь заглянула в гостиную.

— Если вернется Робер, скажи ему, что я буду в начале шестого.

С изумлением Лидия увидела, что свекровь нарядилась во все самое лучшее. На ней было черное в цветах шелковое платье, черный атласный ток, а вокруг шеи черно-бурая лиса.

— Вы идете в гости? — воскликнула Лидия.

— Да, сегодня у генеральши последний приемный день. Если я не покажусь, она оскорбится. И она и генерал были очень расположены к моему бедному мужу.

Лидия поняла. В предвидении того, что может случиться, мадам Берже решила, что уж в этот-то день она должна вести себя как ни в чем не бывало. Пренебречь светскими обязанностями — значило бы выказать страх, что ее сын замешан в убийстве букмекера. А вот исполнить долг приличия — значит доказать, что такая возможность ей и в голову не приходила. Мадам Берже была женщиной неукротимого мужества. Рядом с ней Лидия чувствовала себя слабой, истинно по-женски беспомощной.

Как только свекровь ушла, Лидия заперла парадную дверь так, чтоб без звонка никто не мог войти, и поспешила в глубину сада. Она окинула его беглым взглядом: неухоженный газон, заросший тощей травкой, сбоку вьется песчаная дорожка, а посредине клумба, и на ней высажены хризантемы, что расцветут осенью. Свекровь, конечно,

прятала деньги скорее не здесь, а у себя в жилище. Весь-то флигель — одна довольно просторная комната да смежный с ней чулан, который мадам Берже превратила в гардеробную. Обстановку комнаты составляют резной спальник гарнитур красного дерева, диван, кресло и письменный столик. На стенах увеличенные фотографии хозяйки и ее покойного мужа, фотография его могилы, под ней — его медали и орден Почетного легиона, а еще немало фотографий Робера, начиная с детских лет. Лидия задумалась, где такая женщина, как мадам Берже, станет что-нибудь прятать. Несомненно у нее есть какой-то тайничок, ведь ей годами приходилось скрывать деньги от Робера. Слишком она сообразительна, чтобы пользоваться обычными для таких случаев местами — кроватью, потайным ящичком в письменном столе, углублениями у боковин кресла или у спинки дивана. Камина в комнате нет, но есть газовая плита с железной трубой. Лидия глянула в ту сторону. Нет, там ничего не спрячешь; к тому же зимой плиту зажигают, а свекровь из тех, кто, раз присмотрев тайничок, его и станет держаться. Лидия растеряннo озиралась. Ничего другого ей не приходило в голову, и она раскрыла постель, вынула подушку из наволочки. Внимательно осмотрела, ошупала. Матрац был покрыт очень плотной материей, мадам Берже уж наверно было бы не под силу распороть и снова зашить один из швов. Раз она пользуется тайником долгое время, он должен быть легко доступен, чтобы можно было быстро достать деньги и сразу же все привести в порядок. Для проформы Лидия пересмотрела ящики комода и письменного стола. Ни один ящик не заперт, и все в них аккуратно уложено. Заглянула в платяной шкаф. И все время мысль лихорадочно работала. Лидия наслушалась всяких рассказов про то, как русские прятали свое добро, деньги и драгоценности, чтобы уберечь их от большевиков. Рассказывали, как не помогала и самая невероятная изобретательность и, напротив, как чудом ничего не находили. Ей вспомнилось, как одну женщину обыскивали в поезде между Ленинградом и Москвой. Ее раздели донага, но бриллиантовое ожерелье упрятано было в шов мехового манти, и хотя его старательно осмотрели, бриллиантов не нашли. У мадам Берже тоже было меховое манти, старое каракулевое, купленное давным-давно, оно висело в шкафу. Лидия его достала, старательно осмотрела и прощупала, но тщетно. Никаких следов

недавнего шва. Лидия повесила шубу на место и одно за другим вынула три-четыре платья, небогатый гардероб мадам Берже. Нет, ни в одно из них невозможно было зашить пачку банкнот. Сердце у Лидии упало. Она испугалась, что свекровь слишком хорошо спрятала деньги, ей их не найти. И вдруг ее осенило. Говорят, лучший тайник — самое заметное место, где никто не подумает искать. Например, в рабочей корзинке, вроде той, что стоит у мадам Берже на столике подле кресла. Лидия глянула на часы, время шло, нельзя здесь слишком задерживаться; приуныв, она стала рыться в корзинке. Вот чулок, который штопает мадам Берже, ножницы, иголки, всякие обрезки, катушки бумажных и шелковых ниток. А вот наполовину связанный черный шерстяной шарф, мадам Берже вязала его, чтобы накидывать на плечи, когда идет из флигеля в дом. Среди катушек белых и черных ниток Лидия с удивлением увидела одну с желтыми. Интересно, зачем они свекрови? А потом она случайно глянула на гардины, и сердце у нее екнуло. Свет в комнату проникал только через стеклянную дверь, и одна пара гардин висела на этой двери, а другой завешена была дверь в гардеробную. Мадам Берже очень гордилась этими гардинами, они принадлежали ее отцу, полковнику, и она помнила их с детства. Роскошные, тяжелые, с ламбрекеном, отделанным бахромой и фестонами, были они из желтой камчатной ткани. Лидия сперва подошла к тем, что висели на стеклянной двери, отвернула подпушку. Они предназначались для более высокой комнаты, но у мадам Берже не хватило мужества их обрезать, и она внизу их подогнула. Лидия тщательно просмотрела шов; строчила профессиональная портниха, и нитка уже выцвела. Потом она посмотрела на гардины по обе стороны двери в гардеробную. И у нее вырвался глубокий вздох. В углу, у стены фасада, а значит, в самом темном, кусочек дюйма в четыре зашит был свежей ниткой, стало быть, недавно. Лидия взяла из корзинки ножницы и быстро подпорол шов; сунула руку в отверстие и вытащила банкноты. Спрятала деньги за пазуху, и ей потребовалось всего несколько минут, чтобы взять иголку, желтую нитку и все снова зашить. Теперь никто не догадался бы, что в этом месте шов сделан заново. Она осмотрела комнату — не осталось ли здесь следов ее пребывания. Вернулась в дом, поднялась в ванную, разорвала деньги на мелкие кусочки, кинула в унитаз и спустила воду.

Потом сошла вниз, отодвинула засов на парадной двери и снова села за шитье... Сердце у нее готово было выскочить из груди, но насколько же легче стало на душе. Пускай теперь приходит полиция, ничего они не найдут.

Вскоре вернулась мадам Берже. Вошла в гостиную и опустилась на диван. Усилие, которое она над собой сделала, измотало ее, и она совсем выдохлась. Она осунулась и сейчас казалась старухой. Лидия глянула на нее, но ничего не сказала. Через несколько минут мадам Берже с усталым вздохом поднялась и пошла к себе. Она сняла свой элегантный наряд и вернулась в войлочных шлепанцах и поношенном черном платье. Несмотря на завитые волосы, помаду и румяна, она была сейчас похожа на старую поденщицу.

— Я займусь обедом, — сказала она.

— Помочь вам? — спросила Лидия.

— Нет, я предпочитаю побыть одна.

Лидия продолжала шить. В домике стояла зловещая тишина. Такая она была напряженная, что, когда немного спустя Робер стал открывать замок своим ключом, звук этот показался Лидии грозным шумом. Она стиснула руки, чтобы не расплакаться. Войдя в дом, Робер, по обыкновению, негромко свистнул, и Лидия, овладев собой, вышла в коридор. В руках у него было несколько газет.

— Я принес тебе вечерние газеты, — весело крикнул он. — Они полны этим убийством.

Он прошел в кухню, где, он знал, найдет мать, и кинул газеты на стол. Лидия прошла за ним. Без единого слова мадам Берже взяла одну газету и стала читать. Заголовки набраны крупно. Этой новости отвели первые полосы.

— Я заходил в бар Жожо. Там только и разговору, что об этом убийстве. Джордан был постоянным клиентом бара, его там все знают. Я и сам с ним разговаривал в вечер убийства. У него был неплохой день на скачках, и он всем ставил выпивку.

Робер болтал так непринужденно, естественно, будто ничто на свете его не тревожило. Глаза его блестели, а всегда довольно бледные щеки слегка разругались. Он был возбужден, но не выказывал ни малейшего волнения. Стараясь, чтобы и ее голос звучал так же беззаботно, как его, Лидия спросила:

— Они уже кого-то подозревают в убийстве?

— Думают, это матрос. Консьержка сказала, что она неделю назад видела, как Джордан возвратился домой с каким-то матросом. Но, конечно, кто-то мог просто вырядиться матросом. Полиция устраивает облавы на всех посетителей сомнительных баров на Монмартре. Судя по виду кожи вокруг раны, ударили, похоже, с огромной силой. Ищут рослого человека могучего сложения. Известны, конечно, два-три боксера, о которых идет дурная слава.

Мадам Берже, ни слова не сказав, отложила газету.

— Обед будет готов через несколько минут, — сказала она. — Лидия, ты скатерть постелила?

— Пойду постелю.

В дни, когда Робер бывал дома, обедали и ужинали в столовой, хотя это и хлопотней. Но мадам Берже сказала:

— Нельзя жить как дикари. Робер получил хорошее воспитание и привык, чтобы все делалось, как положено.

Робер пошел наверх переменить пиджак и надеть шлепанцы. Мадам Берже не позволяла ему носить дома выходной костюм. Лидия стала накрывать на стол. И вдруг содрогнулась от ужаса, пораженная нежданной мыслью, и ухватилась за спинку стула, чтобы не упасть. Ведь две ночи назад, как раз когда был убит Тедди Джордан, Робер разбудил ее среди ночи, попросил накормить его ужином и поспешил лечь с ней в постель. Он кинулся к ней в объятия сразу после того, как совершил это чудовищное преступление; и источником его страсти, его ненасытного желания, его безумных ласк была пролитая им кровь. «А если я той ночью зачала?»

Вниз по лестнице прошлепал Робер.

— Я готов, ма, — крикнул он.

— Иду.

Он вошел в столовую и сел на свое обычное место. Вынул салфетку из кольца, разложил и взял ломоть хлеба с тарелки, на которую Лидия его положила.

— Ну как, наша старушка сегодня хорошо нас покормит? Я нагулял отличный аппетит. У Жожо я в обед только и съел, что сандвич.

Мадам Берже внесла супницу, села во главе стола и разлила всем троим бульон. Робер был превосходно настроен. Он весело болтал. Но женщины едва отвечали. С первым покончили.

— Что дальше? — спросил Робер.

— Мясная запеканка с картофелем.
— Не самое мое любимое блюдо.
— Скажи спасибо, что у тебя есть хоть какая-то еда, — резко отозвалась мать.

Робер пожал плечами и весело подмигнул Лидии. Мадам Берже пошла в кухню за запеканкой.

— Похоже, наша старушка не в настроении. Чем она сегодня занималась?

— Сегодня у генеральши последний приемный день сезона. Она туда ходила.

— Эта старая зануда кого хочешь выведет из себя.

Мадам Берже внесла запеканку и разложила по тарелкам. Робер выпил вина с водой. Как всегда иронично и довольно забавно он продолжал болтать о том о сем, но в конце концов вынужден был заметить, как неразговорчивы женщины.

— Да что с вами нынче? — сердито прервал он себя. — Сидите надутые, будто двое немых на похоронах.

Мать все время ела через силу, уставясь в тарелку, но теперь подняла глаза и молча, в упор посмотрела на сына.

— Ну, что еще? — дерзко воскликнул он.

Она не ответила, но все смотрела на него. Лидия глянула на свекровь. В ее темных, выразительных, как у Робера, глазах она прочла упрек, страх, гнев, но и горе, безмерное горе, видеть это было нестерпимо. Робер не выдержал силы этого страдальческого взгляда и опустил глаза. Обед закончили в молчании. Робер закурил и дал сигарету Лидии. Она пошла в кухню и принесла кофе. Выпили его в молчании. В дверь позвонили. Мадам Берже вскрикнула. Все трое не шевельнулись, словно парализованные. Еще звонок.

— Кто это? — прошептала мадам Берже.

— Пойду посмотрю, — сказал Робер. Потом прибавил, посуровев: — Возьми себя в руки, мать. Не из-за чего тебе расстраиваться.

Он пошел к парадной двери. Послышались незнакомые голоса, но Робер закрыл за собой дверь гостиной, и нельзя было разобрать, о чем там разговор. Через минуту-другую он вернулся. За ним следовали двое мужчин.

— Вы обе пройдите, пожалуйста, в кухню, — сказал Робер. — Эти господа хотят со мной побеседовать.

— Что им нужно?

— Как раз это они и собираются мне сказать, — спокойно ответил Робер.

Женщины встали и вышли. Лидия украдкой глянула на мужа. Казалось, он ничуть не волнуется. Нельзя было не догадаться, что эти незваные гости — сыщики. Мадам Берже оставила дверь кухни открытой, надеялась услышать, какой пойдет разговор, но через коридор и из-за закрытой двери слов было не разобрать. Чуть не час длилась беседа, потом дверь отворили.

— Лидия, поди принеси мне пиджак и ботинки, — крикнул Робер. — Эти господа хотят, чтоб я пошел с ними.

Он сказал это беспечно, весело, словно по-прежнему был в себе уверен, но у Лидии упало сердце. Она пошла наверх за его вещами. Мадам Берже не произнесла ни слова. Робер переменял пиджак, переобулся.

— Я вернусь через час-другой, — сказал он. — Но вы ложитесь, не ждите меня.

— Куда ты? — спросила мать.

— Они хотят, чтоб я прошел в комиссариат. Полицейский комиссар думает, я могу пролить кое-какой свет на убийство бедняги Тедди Джордана.

— Какое это имеет отношение к тебе?

— Просто я, как и многие другие, его знал.

Робер ушел с двумя сыщиками.

— Собери-ка со стола и помоги мне вымыть посуду, — сказала мадам Берже.

Они все вымыли и убрали. Потом сели по обе стороны кухонного стола и принялись ждать. Не разговаривали. Избегали смотреть друг другу в глаза. Бесконечно долго они так сидели. Зловещую тишину нарушал лишь бой часов-кукушки в коридоре. Когда пробило три, мадам Берже поднялась.

— Сегодня он не вернется. Давай ляжем.

— Я не усну. Лучше посижу здесь.

— Что толку? Только зря жечь электричество. У тебя ведь найдется какое-нибудь снотворное? Возьми парочку таблеток.

Лидия со вздохом поднялась. Мадам Берже хмуро на нее посмотрела и сердито выпалила:

— Нечего вешать нос, будто настал конец света. Нет у тебя причин киснуть. Ничего такого Робер не сделал, ему ничто не грозит. Уж и не знаю, что ты подозреваешь.

Лидия не ответила, но во взгляде, которым она посмотрела на мадам Берже, такая была боль, что та опустила глаза.

— Иди ложись, иди ложись! — сердито крикнула она.

Лидия вышла, поднялась в спальню. Всю ночь не смыкала она глаз, ждала Робера, но он не вернулся. Когда утром она сошла вниз, оказалось, мадам Берже уже выходила купить газеты. Убийство Джордана все еще занимало первые полосы, но сообщений об аресте там не было; полицейский комиссар продолжал расследование. Едва выпив кофе, мадам Берже ушла из дому. И вернулась уже только в одиннадцать. При виде мрачного лица свекрови у Лидии упало сердце.

— Ну что?

— Ничего не хотят говорить. Я связалась с адвокатом, и он пошел в полицию.

Они заканчивали свой жалкий обед, и тут в дверь позвонили. Лидия открыла, на пороге стоял полковник Легран и с ним человек, которого она видела впервые. За ними оказались еще двое мужчин — она сразу узнала в них тех полицейских, что приходили накануне вечером, — и женщина с суровым лицом. Полковник Легран спросил, нельзя ли видеть мадам Берже. Она в тревоге уже подошла к дверям кухни, и, увидев ее, человек, что пришел с полковником, протиснулся мимо Лидии.

— Это вы мадам Леонтин Берже?

— Я.

— Я Лукас, полицейский комиссар. У меня ордер на обыск вашего дома. — Он протянул бумажку. — Ваш сын, Робер Берже, уполномочил полковника Леграна представлять его интересы во время обыска.

— Почему вам понадобился обыск в моем доме?

— Надеюсь, вы не станете препятствовать мне исполнить мой долг?

Она бросила на комиссара гневный, презрительный взгляд.

— Раз у вас есть ордер, я не вправе вам препятствовать.

Комиссар в сопровождении полковника и обоих сыщиков поднялся по лестнице, а их спутница осталась в кухне с мадам Берже и Лидией. Наверху были две комнаты, одна, довольно большая, служила спальней Роберу с женой, другая поменьше, там он спал холостяком. Еще там была ванная

с газовой колонкой. Незванные гости провели там чуть не два часа, и когда комиссар сошел вниз, он держал в руках сумочку Лидии.

— Откуда она у вас? — спросил он.

— Муж подарил.

— Откуда она у него?

— Он купил у женщины, которая осталась без денег.

Комиссар испытующе на нее посмотрел. Заметил часы у нее на руке, показал на них и спросил:

— Это тоже подарок мужа?

— Да.

Больше он ничего не сказал. Положил сумочку и присоединился к остальным, прошедшим в сдвоенную комнату, часть которой служила столовой, а часть — гостиной. Но через минуту-другую хлопнула входная дверь. Лидия выглянула из окна и увидела, что один из полицейских направился к воротам, сел в стоящий у обочины автомобиль и уехал. С внезапным дурным предчувствием она посмотрела на красивую сумочку. Вскоре, чтобы произвести обыск в кухне, Лидию и мадам Берже пригласили перейти в гостиную. Там все было вверх дном. Обыск явно был тщательным. Снятые гардины валялись на полу. Взгляд мадам Берже упал на них, она вздрогнула, хотела было что-то сказать, однако заставила себя промолчать. Но когда немного погодя, выйдя из кухни, мужчины прошли через садик к флигелю, она не удержалась, подошла к окну, посмотрела им вслед. Лидия заметила, что она дрожит, и испугалась, вдруг оставшаяся с ними женщина тоже это заметит. Но та лениво листала газету автолюбителя. Лидия подошла к окну, взяла свекровь за руку. Но не решилась шепнуть, что опасности нет. Когда мадам Берже увидела, как во флигеле содрали с окна желтые камчатные гардины, она судорожно стиснула руку Лидии. И Лидия только могла попытаться ответным пожатием показать, что бояться нечего. Мужчины пробыли во флигеле почти так же долго, как наверху.

Тем временем вернулся полицейский, который уезжал. Скоро он опять прошел к автомобилю и достал оттуда две лопаты. Двое младших чинов, под присмотром полковника Леграна, стали вскапывать цветочную клумбу. Комиссар вошел в гостиную.

— Вы не возражаете, если эта женщина вас обыщет?

— Не возражаю.

— Не возражаю.

Он повернулся к Лидии.

— Тогда, может быть, мадам пройдет с ней в свою комнату.

Наверху Лидия поняла, почему они оставались здесь так долго. Казалось, в комнате рылись грабители. На кровати валялась одежда Робера, и Лидия догадалась, что каждую вещь подвергли весьма тщательному осмотру. Наконец тяжкое испытание окончено, комиссар принялся задавать Лидии вопросы, касающиеся гардероба мужа. Отвечать было не трудно, весь-то гардероб Робера — две пары теннисных брюк, два костюма, кроме того, что на нем, смокинг да брюки гольф, и не было причины говорить неправду. Когда обыск наконец завершился, шел уже восьмой час. Но у комиссара оказалось и еще дело. Он взял со стола сумочку Лидии, которую она принесла из кухни.

— Я беру ее с собой и ваши часы тоже, будьте добры, снимите их, мадам.

— Почему?

— У меня есть основания полагать, что они краденые.

Лидия растерянна на него уставилась. Но тут вмешался полковник Легран:

— Вы не имеете права их забирать. Ваш ордер на обыск в доме не дает вам разрешения уносить отсюда ни единой вещи.

Комиссар любезно улыбнулся.

— Совершенно верно, месье, но я распорядился, и мой коллега привез соответствующее разрешение.

Комиссар протянул руку полицейскому, который уезжал в автомобиле, — теперь стало ясно, по какому делу, — и тот достал из кармана бумагу и подал комиссару. А комиссар передал ее полковнику Леграну. Полковник прочел ее и повернулся к Лидии.

— Придется вам выполнить требование комиссара.

Лидия сняла с руки часы. Комиссар сунул их вместе с сумочкой к себе в карман.

— Если мои подозрения окажутся безосновательными, вам, конечно, все вернут.

Наконец все ушли, Лидия заперла за ними дверь на засов, и мадам Берже поспешила во флигель. Лидия пошла за ней. Увидев, что творится в комнате, мадам Берже вскрикнула:

— Скоты!

Она кинулась к гардинам. Они лежали на полу. Она увидела, что швы распороты, и у нее вырвался пронзительный вопль. Она обратила к Лидии перекошенное от страха лицо.

— Не бойтесь, — сказала Лидия. — Деньги они не нашли. Я нашла их раньше и уничтожила. Я знала, вы на это не решитесь.

Она протянула свекрови руку и помогла подняться. Мадам Берже смотрела на Лидию во все глаза. Они ни разу не заговаривали друг с другом о том, о чем каждая неотступно и мучительно думала эти двое суток. Но теперь молчанию пришел конец. Мадам Берже сильно, до боли стиснула руку Лидии и резко, напористо произнесла:

— Клянусь тебе всей силой моей любви к Роберу, не убивал он англичанина.

— Зачем так говорить, ведь вы, как и я, уверены, что он убил?

— Ты пойдешь против него?

— С чего вы взяли? Зачем, по-вашему, я уничтожила деньги? Вы, видно, совсем потеряли голову, вообразили, что полиция их не найдет. Да разве опытный сыщик упустит такое подходящее для тайничка место?

Пальцы мадам Берже, впившиеся в руку Лидии, разжались. Выражение лица ее изменилось, она громко всхлипнула. Потом вдруг обняла Лидию, прижала к груди.

— Бедное мое дитя, какую беду, какое несчастье я навлекла на тебя.

Впервые мадам Берже дала волю чувствам при Лидии. Впервые обнаружила, что способна любить нерасчетливо, бескорыстно. Тяжкие, мучительные рыдания сотрясали ее, она отчаянно припала к Лидии. Лидия была глубоко тронута. Страшно было видеть, как эта сдержанная, гордая женщина с железной волей потеряла самообладание.

— Ни за что нельзя было позволить ему жениться на тебе, — рыдая, говорила она. — Это было преступно. Нечестно по отношению к тебе. Но мне казалось, только это может его спасти. Ни за что, ни за что, ни за что не должна была я это допустить.

— Но я его любила.

— Знаю. Но простишь ли ты его когда-нибудь? Простишь ли меня? Я его мать, я люблю его несмотря ни на что, а твоя любовь разве может выдержать такое?

Лидия вырвалась из объятий свекрови, схватила ее за плечи. Встряхнула.

— Послушайте меня. Я полюбила не на месяц и не на год. Я полюбила навсегда. Его единственного я полюбила. И никого другого уже не полюблю. Что бы он ни сделал, что бы ни ждало нас в будущем, я его люблю. Ничто не заставит меня любить его меньше. Я его обожаю.

Назавтра вечерние газеты сообщили, что за убийство Тедди Джордана арестован Робер Берже.

Несколько недель спустя Лидия узнала, что ждет ребенка, и с ужасом поняла, что зачала в ту самую ночь, ночь зверского убийства.

За столиком, где сидели Лидия и Чарли, воцарилось молчание. Они давно уже отужинали, все остальные посетители ушли. Чарли, который слушал Лидию без единого слова, поглощенный ее рассказом как никогда и ничем в жизни, все-таки сознавал, что ресторан опустел, а официанты жаждут от них избавиться, и раза два чуть не сказал Лидии, что им пора уходить. Но нелегко это было, она говорила, словно в трансе, и хотя их взгляды временами встречались, у него было жутковатое ощущение, что она его не видит. А потом вошла компания американцев, трое мужчин и три девицы, и спросили, не слишком ли поздно, накормят ли их. Предвидя выгодный заказ, так как компания была очень веселая, *patronne*¹ заверила американцев, что повар здесь ее супруг, и если они не прочь обождать, он состряпает все, что они пожелают. Они заказали коктейли с шампанским. Они заявили сюда, чтобы приятно провести время, и ресторанчик наполнился их беззаботным смехом. Но трагический рассказ Лидии, казалось, окружил столик, за которым она сидела с Чарли, таинственной и зловещей дымкой, и приподнятое настроение веселой компании не проникало сквозь нее; Лидия и Чарли сидели в уголке одни, словно огражденные невидимой стеной.

— И вы все еще его любите? — спросил наконец Чарли.

— Всем сердцем.

С такой страстной искренностью она ответила, что не поверить он не мог. Удивительно это было, Чарли даже растерянно поежился. Казалось, Лидия — существо совсем

¹ Хозяйка, владелица (фр.).

иной человеческой породы. Это неистовство чувств пугало Чарли, и неудобно ему стало с нею. Ощущение возникло такое, словно он проболтал с кем-то час-другой и вдруг понял, что разговаривает с привидением. Но одно не давало Чарли покоя. Мысль эта не шла у него из головы последние двадцать четыре часа, однако ему не хотелось, чтобы Лидия сочла его блюстителем нравов, и до сих пор он молчал.

— Не могу взять в толк, как же при этом вы можете быть в таком месте, как *Sérail*. Разве нельзя было найти какой-то иной способ зарабатывать на жизнь?

— С легкостью.

— Тогда я не понимаю.

— После суда все были очень добры ко мне. Я могла стать продавщицей в одном большом магазине. Я хорошая швея, была в учении у портнихи, могла бы получить работу по этой части. Нашелся даже человек, который хотел на мне жениться, если я разведусь с Робером.

Казалось, что тут еще скажешь, и Чарли молчал. Лидия поставила локти на стол, покрытый скатертью в красную и белую клетку, уперлась подбородком в ладони. Чарли сидел напротив нее; долгим, задумчивым взглядом, который, казалось, проникал в самые глубины его существа, Лидия смотрела ему в глаза.

— Я искала искупления.

Чарли уставился на нее, ничего не понимая. Чуть слышно произнесенные слова эти его потрясли. Никогда еще он ничего подобного не испытывал — будто вдруг разодрали пелену, которая придавала миру знакомые приятные краски, и он заглянул в сотрясаемую корчами тьму.

— Бога ради, что вы хотите этим сказать?

— Хотя я люблю Робера всем сердцем, всей душой, я знаю, он согрешил. Я чувствовала, только тем я и могу ему послужить, что подвергну себя унижению, самому чудовищному из всех, какие могла себе представить. Сперва я решила пойти в какой-нибудь публичный дом, где бывают солдаты, рабочие и всякие отбросы большого города, но побоялась, что стану жалеть этих несчастных, ведь поспешные и редкие посещения этих мест — единственное удовольствие в их ужасной жизни. А посетители *Sérail* — богатые, праздные развратники. К тем скотам, которые покупают там мое тело, я не могу испытывать ничего, кроме ненависти и презрения. Там мое унижение, точно гноящаяся

незаживающая рана. Из-за грубой непристойности одежд, которые я вынуждена носить, меня жжет стыд, к нему не привыкаешь. Я радуюсь страданию. Радуюсь презрению, с каким мужчины относятся к тому, что служит их похоти. Радуюсь их скотству. Я в аду, как и Робер, мои страдания соединяются с его страданиями, и, быть может, мои страдания помогают ему переносить те, что выпали на его долю.

— Но он-то страдает, потому что совершил преступление. А вы и так пострадали, хотя ни в чем не виноваты. Чего же подвергать себя излишнему страданию?

— За грех надо платить страданием. Где вам с вашей холодной английской натурой понять, что такое любовь, которая и есть моя жизнь? Я принадлежу Роберу, а он — мне. Если бы я не решилась разделить его страдания, я была бы так же отвратительна, как его преступление. Я знаю, чтобы искупить его грех, мне так же необходимо страдать, как ему.

Чарли засомневался. Он не был глубоко верующим человеком. Его воспитали в вере в Бога, но не в мыслях о нем. Думать о Боге — ну, это не то, что дурной тон, но некая крайность. Ему трудно сейчас было разобраться в своих мыслях, но казалось чуть ли не естественным высказывать самые неестественные суждения.

— Ваш муж совершил преступление и за это наказан. Смею сказать, это справедливо. Но нельзя же думать, что... что всемилостивый Бог требует, чтобы вы расплачивались за чьи-то злодеяния.

— Бог? При чем тут Бог? По-вашему, я могу видеть, в каких мучениях живет огромное большинство людей, и верить в Бога? По-вашему, я верю в Бога, который допустил, чтобы большевики убили моего несчастного простодушного отца? Знаете, что я думаю? Я думаю, Бог мертв уже миллионы миллионов лет. Я думаю, он умер, когда объял бесконечность и положил начало образованию Вселенной, он умер, а люди из века в век продолжают взывать к нему, который перестал существовать, когда сотворил то, что сделало возможным их существование.

— Но если вы не верите в Бога, я не вижу смысла в том, что вы делаете. Я мог бы это понять, если бы вы верили в жестокого Бога, который требует око за око и зуб за зуб. Если Бога нет, такое искупление, на какое вы решились, теряет всякий смысл.

— Вам так кажется, да? Нет в моем поведении логики. Нет смысла. И однако, в самой глубине моего сердца; нет, больше того, всеми фибрами своей души я знаю, что должна искупить грех Робера. Знаю, только через это он освободится от владеющего им зла. Я не прошу вас считать меня разумной. Прошу лишь понять, что ничего не могу с собой поделать. Я верю, что как-то — сама не знаю как — мое унижение, поругание, жестокая, непрестанная боль омоет, очистит его душу, и даже если мы никогда больше не увидимся, он будет мне возвращен.

Чарли вздохнул. Все это было ему странно, странно, и чуждо, и приводило в замешательство. Не понимал он, как с этим быть. Сейчас ему было особенно не по себе с этой чужой женщиной, одержимой безумными фантазиями; а ведь на вид она такая заурядная, смазливенькая, неважно одетая; ее можно принять за машинистку или работницу почты. А у Терри-Мейсонов сейчас как раз, наверно, начинаются танцы; все в бумажных колпаках, которые им достались за праздничным столом. Кое-кто из молодых людей слегка под мухой, но, черт возьми, на Рождество это не зазорно. А сколько будет поцелуев под омелой, сколько шуток, розыгрышей, смеха; все веселятся в свое удовольствие. Казалось, это так далеко, но, слава Богу, оно есть, оно существует, нормальное, достойное, разумное поведение, а не этот кошмар. Кошмар? А может быть, все-таки эта женщина с ее трагической историей, с ее ужасной жизнью была не так уж неправа, когда сказала, что Господь, сотворив наш мир, умер; может быть, он покоится мертвый где-то на горном хребте какой-нибудь погасшей звезды или его поглотила Вселенная, им созданная? Забавно это, если подумать о леди Терри-Мейсон, которая рождественским утром собирает всех гостей и ведет в церковь. И его, Чарли, отец ее поддерживает. «Не стану уверять, будто я очень уж часто хожу в церковь, но на Рождество это, по-моему, необходимо. Я хочу сказать, мы тем самым подаем хороший пример». Так, наверно, он бы сказал.

— Не будьте так серьезны, — сказала Лидия. — Идемте.

Они прошли по мрачной, грязной улице, что ведет от авеню дю Мэн к Плас де Ренн, и Лидия предложила пойти на часок в кинохронику. Это был последний сеанс. Потом они выпили по кружке пива и вернулись в гостиницу. Лидия сняла шляпу и мех. И задумчиво посмотрела на Чарли.

— Если вы хотите со мной лечь, я не против, — сказала она совершенно тем же тоном, как если бы спрашивала, предпочитает он пойти в Ротонду или в Дом Инвалидов.

У Чарли перехватило дыхание. Все в нем взбунтовалось. После всего, что она ему рассказала, он и помыслить не мог ее коснуться. На миг он гневно сжал губы; не хватало еще и ему унижать ее плоть. Но врожденная вежливость помешала ему произнести слова, что готовы были сорваться с языка.

— Нет-нет, не думаю, благодарю вас.

— Почему же? Я там именно для этого, и за этим вы и приехали в Париж, разве не так? Разве не за этим вы, англичане, приезжаете в Париж?

— Не знаю. Во всяком случае, я не за этим.

— Тогда чего ради?

— Ну, отчасти чтобы посмотреть некоторые картины. Лидия пожала плечами.

— Что ж, как хотите.

Лидия пошла в ванную. Чарли был несколько уязвлен тем, как равнодушно она восприняла его отказ. Ему казалось, что она, по крайней мере, могла бы отдать ему должное за такую деликатность. Ведь кое-чем она, пожалуй, ему обязана, хотя бы за стол и кров в эти сутки, и потому он мог бы счесть себя вправе воспользоваться ее предложением; так что ей бы в самый раз поблагодарить его за бескорыстие. Он готов был разобидеться. Он разделся и, когда Лидия вышла из ванной в его халате, пошел почистить зубы. Возвратясь, он застал ее уже в постели.

— Вам не помешает, если я перед сном немного почи-
таю? — спросил он.

— Нет. Я повернусь спиной к свету.

Чарли привез с собой томик Блейка. И принялся читать. Вскоре по спокойному дыханию Лидии в соседней постели он понял, что она уснула. Он еще немного почитал и выключил свет. Так Чарли Мейсон провел Рождество в Париже.

6

Наутро они проснулись так поздно, что к тому времени, когда выпили кофе, прочли газеты (будто супруги, женатые уже не один год), вымылись и оделись, было уже около часу.

— Можно пойти выпить коктейль в Доме Инвалидов, а потом пообедать, — сказал Чарли. — Куда бы вы хотели пойти?

— На бульварах, по другую сторону от кафе «Купель», есть очень хороший ресторан. Только он довольно дорогой.

— Ну, это не важно.

— Вы уверены? — Лидия с сомнением на него посмотрела. — Мне не хочется, чтобы вы тратили больше, чем можете себе позволить. Вы были ко мне так предупредительны. Боюсь, я злоупотребила вашей добротой.

— Чепуха, — вспыхнув, отозвался Чарли.

— Вы не знаете, что значили для меня эти два дня. Такой отдых. Прошлую ночь я впервые за много месяцев спала, не просыпаясь и без снов. Я прямо ожила. Совсем по-другому себя чувствую.

В это утро она и вправду выглядела много лучше. Кожа не такая тусклая, глаза ясные. И голову она держала выше.

— Вы устроили мне замечательные каникулы. Они так мне помогли. Но не годится быть вам в тягость.

— А вы и не были мне в тягость.

Она улыбнулась чуть насмешливо.

— Вы очень хорошо воспитаны, мой дорогой. Это очень мило, что вы так говорите, я совсем не привыкла, чтобы со мной мило разговаривали, мне даже плакать хочется. Но ведь вы приехали в Париж поразвлечься, а со мной не развлечетесь, вы уже знаете. Вы молоды и должны наслаждаться своей молодостью. Молодость так недолговечна. Накормите меня сегодня обедом, если хотите, а потом я вернусь к Алексею.

— А вечером в *Sérail*?

— Надо думать.

У Лидии вырвался было вздох, но она сдержалась, беспечно пожала плечами и весело ему улыбнулась. В нерешительности хмурясь, Чарли с грустью смотрел на Лидию. Большим и нескладным чувствовал он себя, и его цветущее здоровье, сознание своего благополучия, неизменная радость жизни странным образом казались ему сейчас оскорбительными. Он был точно богач, который грубо похваляется своим богатством перед бедным родственником. В этом поношенном коричневом платье хрупкая тоненькая Лидия словно помолодела после хорошего ночного сна и казалась сейчас совсем девчонкой. Ну как было ее не пожалеть?

А когда подумаешь о ее трагической судьбе, — против воли подумаешь, потому что думать об этом и страшно и бессмысленно, а все равно тревожишься, и мысль эта не отпускает, — о ее безумной идее втоптать себя в грязь, чтобы искупить преступление мужа, больно сжимается сердце. И чувствуешь, что сам ты ничего не значишь, и если каникулы в Париже, которые предвкушал с таким волнением, не удались, что ж, ничего не поделаешь. Казалось, слова, что с запинкой срывались у него с языка, произносит не он, а какая-то сила в нем, не зависевшая от его воли. Слушая их, он даже в те минуты не понимал, почему говорит такое.

— Мне надо вернуться в контору только в понедельник утром, и я пробуду в Париже до воскресенья. Если вы не против, до тех пор оставайтесь здесь.

Лидия вся просияла, будто случайный луч зимнего солнца проник в комнату.

— Вы это серьезно?

— Не всерьез я бы не предложил.

У нее вдруг будто подкосились ноги, и она упала в кресло.

— Ох, это было бы такое блаженство. Я бы так отдохнула. Набралась мужества. Но не могу я, не могу.

— Почему же? Из-за *Sérail*?

— Нет, нет, тут другое. Им я бы могла послать телеграмму, мол, у меня грипп. Но это нехорошо по отношению к вам.

— А это уже моя забота.

Не слишком приятно было ему уговаривать Лидию поступить так, как ей, конечно же, очень хотелось поступить, ведь он предпочел бы, чтобы она отказалась. Но не мог он вести себя иначе. Лидия испытующе на него посмотрела.

— Чего ради вы это делаете? Вы ведь не желаете меня, нет?

Чарли покачал головой.

— Не все ли вам равно, живу я или умру, счастлива я или нет? Вы еще и двух суток со мной не знакомы. Из дружеских чувств? Но я вам чужая. Из жалости? Да разве в ваши годы умеют жалеть?

— Не надо задавать мне вопросов, которые меня смущают, — усмехнулся Чарли.

— Наверно, вы просто по природе великодушны. Недаром говорят, англичане добры к животным. Помню, одна

из наших квартирных хозяек, которая вечно крала у нас чай, подобрала бездомную шелудивую дворнягу.

— Не будь вы такая крошечная, не миновать бы вам пощечины, — весело отозвался Чарли. — Ну, договорились?

— Идемте пообедаем. Я голодна.

За столом они болтали о том о сем, но когда отобедали и Чарли, заплатив по счету, ждал сдачу, Лидия спросила:

— Так вы всерьез предлагаете мне остаться с вами до вашего отъезда?

— Безусловно.

— Вы не представляете, какое это было бы для меня благо. Не могу сказать, как бы я рада поймать вас на слове.

— Что же вам мешает?

— Вам будет мало радости от меня.

— Что ж, согласен, — честно, но с обаятельной улыбкой признался Чарли. — Зато будет интересно.

Лидия рассмеялась.

— Тогда я найду к Алексею и кое-что возьму. Хотя бы зубную щетку и чистые чулки.

Они расстались у станции метро, и Лидия уехала. А Чарли решил повидать Саймона, если его застанет. Он раза три спрашивал дорогу и наконец оказался на улице Кампань Премьер. Саймон жил в высоком закопченном доме, на ставнях кое-где облупилась краска и виднелось серое дерево. Чарли сунул голову в каморку консьержки, и в носшибануло таким затхлым, густым запахом еды и пота, что он едва устоял на ногах. Старушонка в необъятных юбках, голова укутана грязным красным шарфом, скрипучим голосом сердито сказала ему, где живет Саймон, а на вопрос, дома ли он, предложила Чарли пройти да посмотреть самому. Следуя старухиным объяснениям, он прошел через грязный двор и поднялся по узкой лестнице, где пахло застоялой мочой. Саймон жил на третьем этаже и в ответ на звонок Чарли открыл дверь.

— Гм. А я все думал, куда ты подевался.

— Я помешал?

— Нет. Входи. Пальто лучше не снимай. Здесь не очень-то тепло.

Что правда, то правда. В комнате холодина. Это была студия с большим, выходящим на север окном, с печкой, но Саймон, который, видимо, работал, так как стоящий

посередине стол был завален исписанными листами, забыл поддержать огонь, и он едва тлел. Саймон пододвинул к печке обшарпанное кресло и пригласил Чарли сесть.

— Я подкину угля. Скоро станет теплей. Сам я не чувствую холода.

Кресло со сломанной пружиной оказалось не слишком удобным. Стены были грязно-серого цвета, похоже, их не красили годами. Единственным украшением служили большие карты, прикрепленные к стене канцелярскими кнопками. Узкая железная кровать была не застелена.

— Консьержка еще сегодня не приходила, — сказал Саймон, заметив взгляд Чарли.

В комнате только и было, что большой подержанный обеденный стол, за которым Саймон писал, несколько полок с книгами, у стола стул, какими пользуются в конторах, две или три табуретки и груды книг на них да еще кусок потертого ковра у кровати. Безрадостный холодный зимний свет, проникавший сквозь северное окошко, делал убогое жилище еще безотрадней. Таким неприветливым не показался бы даже зал ожидания третьего класса на захолустной станции.

Саймон пододвинул к печке стул и закурил трубку. Далеко не дурак, он легко догадался, какое впечатление произвело на Чарли его жилище, и хмуро улыбнулся.

— Не больно роскошно? А к чему она мне, роскошь? — Чарли промолчал, и Саймон глянул на него холодно и презрительно. — Здесь даже и неудобно, но удобство мне ни к чему. Нельзя зависеть от удобств. Это ловушка, в нее попались многие, кто мог бы быть поумнее.

Чарли иной раз вполне способен был разозлиться и сейчас не пожелал спустить Саймону эти бредни.

— Судя по твоему виду, ты устал, замерз и проголодался, старина. Как насчет того, чтобы взять такси, махнуть в бар Ритц и, сидя в тепле, в удобных креслах, съесть яичницу с беконом?

— Иди к черту. А куда ты дел Ольгу?

— Ее зовут Лидия. Она пошла домой за зубной щеткой. Она пробудет со мной в гостинице до моего отъезда.

— Ох, и чертовка она. Малость зацепило, а? — Молодые люди впились друг в друга глазами. Потом Саймон подался вперед. — Ты, часом, не влюбился?

— Ты зачем нас свел?

— Я думал, это будет забавно. Думал, тебе будет в новинку переспать с женой известного убийцы. И сказать по правде, мне казалось, ты можешь прийти к ней по вкусу. Вот бы я тогда посмеялся. У тебя ведь тот же тип, что у Берже, только ты куда красивей.

Чарли вдруг вспомнились слова Лидии, когда они ужинали вдвоем после полуночной мессы. Теперь он понял, что она тогда имела в виду.

— Представь, она об этом догадалась. Так что, боюсь, не придется тебе злорадствовать.

— С кануна Рождества, когда я вас оставил, ты все время был с ней?

— Да.

— Похоже, тебе это на пользу. Ты отлично выглядишь. Разве что малость побледнел.

Чарли пытался скрыть смущение. Ему отнюдь не хотелось, чтобы Саймон узнал, что их отношения с Лидией были сугубо платонические. У того это только вызвало бы язвительный смех. Поведение Чарли Саймон счел бы чувствительностью, достойной одного лишь презрения.

— По-моему, это вовсе не забавно отправить меня с ней, не сказав, во что ты меня втравил, — сказал Чарли.

Лицо Саймона исказила кривая улыбка.

— Это отвечало моему чувству юмора. Будет что рассказать родителям, когда вернешься. Во всяком случае, тебе ворчать нет причины. Все удалось как нельзя лучше. Ольга знает свое дело и уж в этом смысле тебя ублажит на славу, вдобавок она не дура; много читала и разговаривает куда умней большинства женщин. Она кое-чему тебя научит, мой милый. Как, по-твоему, она все так же влюблена в своего мужа?

— По-моему, да.

— Чудно устроен человек, ты не находишь? Этот Берже жуткая дрянь. Ты, наверно, уже знаешь, почему она в *Sérail*? Она хочет накопить денег, чтобы заплатить за его погреб, и тогда поедет к нему в Бразилию.

Чарли огорчился. Он поверил Лидии, будто она пошла в *Sérail*, чтобы искупить грех Робера; идея эта, хоть и казалась нелепой, как ни странно, его тронула. Мысль, что Лидия ему солгала, потрясла его. Если Саймон говорит правду, Лидия его попросту дурачила.

— Знаешь, я писал об этом процессе в нашей газете, — продолжал Саймон. — В Англии статья произвела сенсацию, ведь этот малый, которого убил Берже, был англичанин, и газета не пожалела места. Мне повезло; во Франции я прежде не бывал на процессах об убийстве, а очень хотел на такое поглядеть. В Олд-Бейли¹ я был, и мне любопытно было сравнить, как ведут такие дела французы и мы. Я написал о процессе очень подробный отчет, у меня он есть, если хочешь, дам почитать.

— Да, я прочел бы.

— Во Франции это убийство наделало шуму. Понимаешь, Робер Берже не бандит, ничего похожего. Он не из простых. Родители его порядочные люди. Он образован, вполне прилично говорит по-английски. Одна газета назвала его джентльменом-гангстером, и прозвище привилось; история захватила воображение публики, и он стал знаменитостью. К тому же он на свой лад красив, молод, ему всего двадцать два, как же им не заинтересоваться. Женщины прямо с ума посходили. Господи, в суд было не протолкаться! Когда он вошел в зал, всех прямо затрясло. Два стража ввели его еще до появления судей, чтобы фотографии успели его запечатлеть. В жизни я не видал, чтобы человек был так спокоен. Одет он был вполне элегантно и вещи носить явно умеет. Свежевыбритый, аккуратно причесанный. Волосы темные, красивые. Он улыбался фотографам, по их просьбе поворачивался и так и эдак, чтобы лучше им позировать. Он ходил на любого из молодых людей с большими деньгами, которых встречаешь в баре Ритц за стаканом вина и с девушкой. Меня даже забавляло, что он такой негодяй. Прирожденный преступник. Его родители, конечно, не были богаты, но они не голодали, и я думаю, уж сотня-то франков для него всегда находилась. Я написал о нем недурную статью для одного еженедельника, и французская пресса перепечатала из нее отрывки. Здесь это пошло мне на пользу. Я утверждал, что преступление для него своего рода спорт. Улавливаешь? Даже забавно, как я попал в точку. Он был, можно сказать, первоклассный теннисист, подумывали даже готовить его к состязаниям, но, странное дело, он отлично играл в обыкновенных матчах, у него была

¹ Центральный уголовный суд в Лондоне, в здании Олд-Бейли (по названию улицы, где он находится).

хорошая подача, и он отлично отбивал мяч, а вот когда доходило до турниров, он неизменно терпел неудачу. Что-то было не так. Ему недоставало силы сопротивления, решительности или чего-то еще, без чего теннисисту не стать чемпионом. Я подумал, есть тут какой-то занятный психологический сдвиг. Да и все равно его спортивной карьере пришел конец, так как каждый раз, как он появлялся в раздевалке теннисистов, у них стали пропадать деньги, и хотя улики против него не было, но все пострадавшие не сомневались, что виновник он.

Саймон снова зажег трубку.

— Одно меня особенно поразило в Робере Берже, это сочетание хладнокровия, самообладания и обаяния. Обаяние, конечно, бесценное свойство, но оно не часто встречается вместе с хладнокровием и самообладанием. Обаятельные люди обычно бесхарактерны и нерешительны, обаяние — оружие, которым природа возмещает их слабости. Такому человеку я никогда бы всерьез не доверился.

Чарли чуть насмешливо глянул на друга; тот всегда преуменьшал достоинства, которыми сам не обладал, ему необходимо было уверить себя, что эти чужие достоинства ничто по сравнению с теми, которыми обладает он. Но прерывать его Чарли не стал.

— Робер Берже оказался и не бесхарактерным и не нерешительным. Он чуть не вышел сухим из воды. Надо отдать справедливость полиции, они отлично потрудились, чтобы его уличить. Не было в их работе ничего сенсационного, захватывающего, просто они вели расследование до тошноты и терпеливо. Возможно, им помог случай, но у них хватило ума не упустить его. Человек должен всегда быть к этому готов, только, знаешь ли, мало кому это дано.

Взгляд Саймона стал отсутствующий, и Чарли лишний раз убедился, что тот думает о себе.

— Вот чего Лидия мне не рассказала, это как полиция впервые его заподозрила, — сказал Чарли.

— Когда они впервые его допрашивали, у них и в мыслях не было, что он имеет какое-то отношение к убийству. Они искали человека куда более рослого и крепкого.

— А что из себя представлял этот Джордан?

— Я ни разу его не встречал. Негодяй он был, но по-своему славный малый. Все его любили. Всегда готов был любому поставить выпивку, а если кто оказался на мели,

охотно открывал кошелек. Он был невелик ростом, в прошлом жокей, но в Англии ему предложили убраться по-доброму-поздорову, а потом выяснилось, что он отсидел девять месяцев в Уормуд Скрабз¹ за подлог. Ему было тридцать шесть лет. В Париже он прожил десять лет. Полиция подозревала, что он замешан в торговле наркотиками, но уличить его не удалось ни разу.

— Но почему полиция вообще стала допрашивать Берже?

— Он был одним из завсегдатаев бара Жожо. Того, где Джордан обычно ел. Место это довольно подозрительное, его посещают жокеи, букмекеры, «жучки», контрабандисты и прочий люд сомнительной репутации, как это называем мы, журналисты, и полиция, понятно, беседовала с каждым из этой публики, кого ей удалось заполучить. Понимаешь, кого-то Джордан в тот вечер ждал, это ясно по тому, что на подносе стояли два стакана и кекс, и они думали, может, он кому-нибудь обмолвился, кого именно ждет. Не без оснований подозревали, что он гомосексуалист, и кто-нибудь из посетителей бара вполне мог видеть его поблизости в чьем-то обществе. Берже вроде водил с ним дружбу, и Жожо, владелец бара, сказал полицейским, что видел, как Берже несколько раз брал у того деньги. Берже однажды обвиняли в том, что он контрабандой провез из Бельгии во Францию героин, и двое парней, которые проходили по этому же делу, попали за решетку, он же как-то вывернулся. Полиция не сомневалась, что он виновен, и если Джордан имел отношение к наркотикам и из-за этого и погиб, Берже мог знать, чьих это рук дело. Берже темная личность. Его судили и еще за одно преступление — за кражу автомобиля, и он получил два года условно.

— Это я знаю, — сказал Чарли.

— Прodelывал он это и очень просто, и на редкость хитроумно. Ждет, бывало, у какого-нибудь большого магазина, «Прентан» или «Бон Марше», видит, кто-то подъехал в «ситроене» и пошел за покупками, автомобиль оставил у обочины. Тогда он нахально шагает к автомобилю, будто только что вышел из магазина, вскакивает в него и отъезжает.

— А разве хозяева не запирают автомобили?

¹ Лондонская тюрьма для совершивших преступление впервые.

— Редко. А у него было несколько ключей к «ситроену». Он всегда держался одной марки. Попользуется автомобилем дня два-три, потом оставит его где-нибудь, а пожелав другой автомобиль, проделывает все сначала. Он украл их десятки. Никогда не пытался их продавать, просто брал займы, когда ему для чего-нибудь бывал нужен автомобиль. Это и натолкнуло меня на идею моей статьи. Он их воровал просто для забавы, ради удовольствия применить свою дерзкую смекалку. Была у него и еще одна хитроумная проделка, которая всплыла на суде. Он околачивался на автомобиле у автобусных остановок в часы, когда закрывались магазины, заметит женщину, которая ждет автобуса, остановится и предложит подвезти ее. Я думаю, он неплохо разбирался в людях и знал, какого рода женщина скорее всего согласится проехаться с красивым молодым человеком. Итак, женщина садилась в автомобиль, он вез ее в ту сторону, куда она скажет, а на какой-нибудь сравнительно безлюдной улице останавливался. Делал вид, будто не может запустить мотор, просил женщину выйти, поднять капот и подкачать карбюратор, а он тем временем будет нажимать на автоматический стартер. Женщина исполняла его просьбу, оставив сумочку и свертки в автомобиле, вот уже мотор заработал, она собирается вновь сесть в автомобиль, и тут-то Берже включает скорость и, не давая ей опомниться, уносится прочь, только его и видели. Многие женщины, конечно, обращались в полицию, но видели они его в темноте и только и могли сказать, что за рулем «ситроена» был красивый, приличный на вид молодой человек с приятным голосом, а полиция только и могла, что объяснять им, как неразумно женщине соглашаться на предложение красивого, приличного на вид молодого человека ее подвезти. Берже ни разу не поймали. На суде обнаружилось, что он, должно быть, зачастую неплохо зарабатывал на этих проделках.

В общем, парочка полицейских явилась к нему домой. Он не отрицал, что в тот вечер был в баре Жожо и посидел там с Джорданом, но ушел около десяти и после его не видел. Немного поговорив с Берже, полицейские предложили ему поехать с ними в комиссариат. Причем заметить, у полицейского комиссара, который занимался расследованием убийства, и в мыслях не было, что Берже убийца. Он полагал, что Джордана с одинаковым успехом

мог убить и какой-нибудь бандит, которого он привел к себе домой, и кто-то, связанный с торговлей наркотиками, кого он надул. В последнем случае комиссар надеялся уговорами, запугиванием, угрозами, не мытьем, так катаньем вынудить Берже сообщить полиции что-то, что поможет поймать человека, за которым она охотится. Мне удалось взять у комиссара интервью. Этого малого зовут Лукас. Он нисколько не похож на хорошо нам известный тип полицейского комиссара. Рослый здоровяк, краснощекий, густые усищи, большие блестящие черные глаза. Весельчак и, пари держу, превеликий любитель хорошо пообедать и выпить бутылочку вина. Он родом с Юга, и его южный выговор вовек не выкорчует. Смеется он этаким дурацким смехом. По всем признакам, он добродушный весельчак, из тех, что хлопают тебя по спине и внушают полное доверие. Надо сказать, он на диво успешно добивался признания у подозреваемых. На редкость физически выносливый, он мог вести допрос шестнадцать часов подряд. Во Франции не существует допросов с пристрастием на американский лад, я хочу сказать, никаких побоев, зуботычин и прочего, лишь бы вырвать признание; тут просто вводят человека в комнату и заставляют стоять, не позволяют курить и не дают сесть и знай задают вопросы; спрашивают, спрашивают, спрашивают, сами курят, а если проголодаются, велят принести им еду; так продолжается всю ночь, они ведь знают, что ночью человеку всего трудней сопротивляться; и если он виновен, у него должна быть ох какая выдержка, чтобы ради чашки кофе и сигареты к утру не признаться. Но от Берже комиссар ничего не добился. Тот признал, что одно время был в приятельских отношениях с контрабандистами, перевозившими героин, но когда его обвинили, доказал свою невиновность и был оправдан. Сказал, что в юности наделал глупостей, за что получил урок, который пошел ему на пользу, в конце концов он всего лишь брал автомобиль в займы на два-три дня, чтобы прокатиться с девушкой, не слишком это серьезное преступление, а теперь, когда он женился, он ведет добропорядочную жизнь. А что до торговцев наркотиками, он после того давнего суда начисто с ними порвал и понятия не имел, что Тедди Джордан с ними связан. Он был очень откровенен. Сказал комиссару, что страстно влюблен в жену и больше всего боится, как бы она не узнала о его прошлом. Ради нее, а

также и ради себя самого и своей матери он твердо намерен впредь вести достойную жизнь порядочного человека. Веселый толстяк все задавал вопрос за вопросом, но дружелюбно, сочувственно, и в мысль не придет, будто он желает тебе зла. Он приветствовал добрые намерения Берже, поздравил его с женитьбой по любви на бедной девушке, понадеялся, что у них будут дети, а это не только украшение дома, но и утешение родителей. Но он читал досье Берже; он знал, что в той истории с героинном Берже несомненно был виновен, хотя суд и не пожелал его осудить, в тот день он знал также, что из посреднической фирмы Берже уволили и судебного преследования он избежал только благодаря матери, она возместила убытки, вернула присвоенные им деньги. И, уверяя, будто после женитьбы он ведет честную жизнь, он солгал. Комиссар поинтересовался, как у него с деньгами. Берже признался, что он в стесненных обстоятельствах, но кое-что есть у матери, а сам он скоро наверняка получит работу, и тогда все будет в порядке. А деньги на карманные расходы? Время от времени он по мелочам играет на скачках и подыскивает клиентов букмекерам, так он и с Джорданом подружился, и получает коммиссионные. А случается, и ходит с пустым кошельком.

«En effet¹, — сказал комиссар, — вы говорили, что накануне того дня, когда был убит Джордан, вы оказались без гроша и заняли у него пятьдесят франков».

«Он был хорош со мной. Бедняга. Мне будет его не доставать».

Комиссар смотрел на Берже своими дружелюбными блестящими глазами, и ему подумалось, что совсем он не гнусен. Возможно ли это? Да нет, чепуха. Врет он, говоря, что порвал отношения с торговцами наркотиками. Ведь ему нужны деньги, а там можно хорошо заработать; Берже вращался среди той самой публики, которая употребляет наркотики. Комиссару казалось, хотя он и сам не знал, откуда у него такая мысль, что если Берже и не знает наверняка, кто убийца, то кого-то подозревает; конечно, он ничего не скажет, но если у него дома, в Нейи, найти героин, его можно будет и принудить. Комиссар превосходно разбирался в людях и не сомневался, что ради спасения собственной шкуры Берже выдаст дружка. Он решил задержать Берже

¹ В самом деле, действительно (*фр.*).

в участке, и пускай в доме произведут обыск раньше, чем тот сумеет избавиться от всего, что там может храниться. С этой же мыслью он спросил, где и в какое время был Берже в вечер убийства. Тот сказал, что приехал из Нейи довольно поздно и пошел в бар Жожо; там было полно народу после скачек. Его угостили стаканчиком-другим, а Джордан, у которого выдался удачный день, сказал, что заплатит за его ужин. Он поел, поклонялся по бару, но там было очень накурено, у него заболела голова, и он пошел пройтись по бульвару. Потом около одиннадцати вернулся к Жожо и оставался там до последнего поезда метро в Нейи.

«Сказать по правде, вы отсутствовали достаточно долго, чтобы успеть убить англичанина», — шутливо заметил комиссар.

Берже расхохотался.

«Уж не собираетесь ли вы обвинить меня в этом?» — сказал он.

«Нет, в этом нет», — со смехом ответил комиссар Лукас.

«Поверьте, смерть Джордана для меня потеря. Пятьдесят франков он мне одолжил за день до того, как его убили, но это не первые деньги, которые я у него занимал. Может, оно и не очень по совести, но стоило ему выпить стаканчик-другой, и у него с легкостью можно было получить денежки».

«А все-таки в тот день он сорвал изрядный куш, и хотя уходил из бара не захмелевший, настроение у него было отличное. И вы могли подумать, а не лучше ли разом получить несколько тысяч франков, чем изредка получать по полсотни».

Комиссар сказал это скорее из желания подразнить Берже, на самом деле он вовсе так не думал. Но ему казалось, будет очень неплохо, если Берже испугается, что его подозревают в убийстве. В этом случае он охотнее назовет виновника, если у него есть на этот счет свои соображения. Берже вынул из кармана деньги и положил на стол. Там не было и десяти франков.

«Вам не кажется, что, ограбь я беднягу Джордана, у меня в кармане было бы побольше денег?»

«Ничего мне не кажется, мой дорогой. Я только отметил, что у вас было время убить Джордана и что деньги были бы вам очень кстати».

Берже ответил ему открытой обезоруживающей улыбкой.

«Не отрицаю ни того, ни другого», — сказал он.

«Буду с вами совершенно откровенен, — сказал комиссар. — Я не думаю, будто Джордана убили вы, но уверен, что если вы и не знаете, кто убийца, то хотя бы кого-то подозреваете».

Берже это отрицал и, как комиссар ни настаивал, стоял на своем. Было уже поздно, и комиссар решил, что лучше возобновить беседу на другой день, да притом ночь в камере заставит Берже поразмыслить о своем положении. Берже, который уже дважды попадал за решетку, знал, что протестовать бесполезно.

Торговцы наркотиками, знаешь ли, на какие только хитрости не пускаются, чтобы скрыть свой товар. Прячут его в полых тростях, в каблуках, в подкладке старой одежды, в матрацах и подушках, в кроватном остоле и еще невесть где, но полиции известны все их фокусы, и даю голову на отсечение, если бы в доме Берже в Нейи что-нибудь было бы, они непременно бы нашли. Не нашли ничего. Но когда комиссар обыскивал спальню Лидии, он наткнулся на сумочку и удивился, очень уж дорогая вещь у женщины такого скромного достатка. Были у нее и часы, которые явно стоили больших денег. Она сказала, что это подарки мужа, и комиссар подумал, что любопытно бы узнать, откуда у него взялись деньги на это. Вернувшись в участок, он велел навести кое-какие справки и очень быстро узнал, что несколько женщин обращались в полицию, так как у них украл сумочки молодой человек, который предлагал подвезти их в «ситроене». Одна женщина оставила описание похищенной таким образом сумочки, и оно совпадало с той сумочкой, которую комиссар нашел у Лидии; другая женщина заявила, что в ее сумочке лежали золотые часы работы такого-то мастера. Имя того же мастера стояло и на часах Лидии. Стало ясно, что таинственный молодой человек, которого полиции никак не удавалось изловить, и есть Робер Берже. Это никак не давало ключа к разгадке убийства Джордана, но комиссар обрел еще одну возможность вынудить Берже проговориться. Он велел ввести Берже и попросил того объяснить, как к нему попали сумочка и часы. Берже сказал, что сумочку купил у девки, которой нужны были деньги, а часы у мужчины, которого встретил в баре. Имени ни той, ни другого он назвать не мог. То были случайные люди, он с ними поговорил, но больше их не встречал. Тогда

комиссар на законном основании его арестовал и, обвинив в воровстве и посулив наутро очную ставку с женщинами, которым явно принадлежали эти вещи, попытался уговорить его признаться и тем избежать неприятностей. Но Берже настаивал на своих показаниях и отказался отвечать, пока не пригласят адвоката; по французским законам арестованный имеет право требовать присутствия адвоката при допросе. Пришлось комиссару согласиться и на ночь прервать разбирательство.

Наутро обеих женщин, о которых шла речь, пригласили в комиссариат, и обе с первого взгляда признали свои вещи. Берже ввели в кабинет, и одна из них тотчас узнала в нем того любезного молодого человека, который ее подвез. Другая сомневалась: она приняла предложение подвезти ее поздно вечером и не разглядела его лица, но думала, что узнает его голос. Берже велели прочесть вслух несколько фраз из газеты, и не прочел он и десятка слов, как женщина воскликнула, что уверена, это он и есть. Должен сказать, голос у Берже необычно мягкий, ласкающий. Женщин отпустили, а Берже отвели обратно в камеру. Сумочка и часы лежали перед комиссаром на столе, и его взгляд лениво скользил по ним. Вдруг выражение его лица стало напряженно-внимательным.

Чарли его перебил:

— Саймон, ну откуда тебе это известно? Ты фантазируешь.

Саймон рассмеялся.

— Я немного драматизирую. Я тебе пересказываю свою первую статью. Ты ведь понимаешь, мне надо было расписать все это как можно красочнее.

— Тогда продолжай.

— Так вот, он послал за одним из своих людей и спросил, были ли на руке у Берже часы при аресте, и если были, велел их принести. Помни, все это всплыло потом, на суде. Полицейский принес часы Берже. Это была подделка под золото, они были из металла, который называется, кажется, ауреум, с круглым циферблатом. В газетах сообщалось множество подробностей, связанных с убийством Джордана; писали, например, что нож, которым был нанесен удар, найти не удалось, кстати, его так и не нашли; писали и что полиция не обнаружила отпечатков пальцев. А ведь они должны были остаться либо на кожаном

бумажнике, в котором Джордан держал деньги, либо на ручке двери, — значит, заключила полиция, убийца был в перчатках. Но вот об одном газеты не сообщали, потому что об этом умолчала полиция: комнату Джордана обыскивали тщательнейшим образом и обнаружили осколки часового стекла. Осколки явно не были от часов Джордана, и вовсе не обязательно они были от часов убийцы, ну, а вдруг, так или иначе, в волнении и спешке убийца случайно стукнулся о мебель и разбил стекло своих часов. В такую минуту он вряд ли бы это заметил. Осколки нашлись не все, но их хватило, чтобы стало ясно, что часы были небольшие и прямоугольные. Комиссар спрятал осколки в конверт, аккуратно завернув их в папиросную бумагу, а теперь разложил перед собой. Они как раз подходили к часам Лидии. Это могло оказаться просто совпадением; существуют тысячи часов такого же размера и формы. У часов Лидии стекло в целости. Но комиссар размышлял. Прокручивал в уме разные возможности. Похоже было, все они притянуты за уши, и он только плечами пожал. Разумеется, за те по меньшей мере три четверти часа, когда, как заявлял Берже, он прогуливался по бульвару, у него вполне хватило бы времени дойти до квартиры Джордана — всего десять минут ходу от бара Жожо, — совершить убийство, вымыть руки, привести себя в порядок и вернуться в бар; но с чего б ему носить часы жены? У него же есть свои. Свои, разумеется, могли испортиться. Комиссар задумчиво кивнул.

Чарли приснул.

— Ну знаешь, Саймон!

— Помолчи. Он распорядился, чтобы сыщики обошли часовых дел мастеров в радиусе двух километров вокруг дома Берже в Нейи. Им ведено было спрашивать, не приносили ли им в починку за последнюю неделю часы из поддельного золота или не вставляли ли они стекло в дамские часики с прямоугольным циферблатом. Неделю спустя один из сыщиков вернулся и сообщил, что в часовой мастерской, примерно в четверти мили от дома Берже, мастер сказал, что чинил подходящие по описанию часы, и когда клиентка их забирала, она попросила вставить стекло в другие часы. Он тотчас это сделал, и она через полчаса за ними зашла. Он не помнит ее лица, но говорила она вроде с русским акцентом. Обе пары часов показали часовщику, и он заявил, что это те самые часы и есть. Комиссар так

расплылся, словно сидел в марсельском ресторане «Старый порт» и перед ним поставили большую тарелку bouillabaisse¹. Теперь он знал, преступник у него в руках.

— Каково же объяснение?

— Просто, как дважды два. У Берже испортились часы, и он взял часы Лидии. Она редко выходила из дому и могла обойтись без них. Не забудь, в ту пору она была тихая, скромная, довольно робкая, без друзей, я бы сказал, какая-то вялая. На суде двое мужчин заявили под присягой, что видели эти часы на руке у Берже. Жожо, который был осведомителем, знал, что Берже мошенник, и заинтересовался, откуда у него такие часы. Как бы случайно он заметил Берже, что у него новые часы, и Берже сказал, что это часы жены. Лидия пошла за часами мужа наутро после убийства и заодно попросила вставить новое стекло в свои часы. Ей не пришлось в голову сказать Берже, что он разбил стекло, и он так и не узнал об этом.

— Неужели, по-твоему, на этом основании его обвинили?

— Нет. Но это уже давало комиссару право предъявить ему обвинение в убийстве. Он решил и, как показалось дальнейшее, не ошибся, что не заставит себя ждать и другая улика. Во время допросов Берже вел себя с поразительной находчивостью и самообладанием. Он признал все, что могло быть доказано, и больше не пытался отрицать, что украл сумочки у всех тех женщин; он признался, что даже после того, как был обвинен, продолжал угонять автомобили всякий раз, как приходила охота; уж слишком это было легко, и он не мог устоять — чересчур сильна в нем тяга к риску; но он начисто отрицал свою причастность к убийству. Что осколки стекла подходят к часам Лидии, ровно ничего не доказывает, утверждал он, а она клялась самыми страшными клятвами, что часы разбила сама. Судебный следователь, к которому, как и полагалось, под конец поступило дело, был озадачен тем, что никаких следов денег, по всей вероятности украденных Берже, найти не удалось. Еще одна странность — на одежде, в которой Берже был в тот вечер, не нашли никаких следов крови. Не нашелся и нож. Было доказано, что нож у Берже имелся, в его среде это не редкость, но он утверждал, что потерял его за месяц до убийства.

¹ Род ухи с чесноком и пряностями (*фр.*).

Я уже тебе говорил, что сыщики очень неплохо поработали. Отпечатков пальцев обнаружить не удавалось ни на украденных автомобилях, ни на украденных сумочках, — опустошив их, Берже попросту выбрасывал их на улице, и некоторые потом попадали в руки полиции; тем самым стало очевидно, что он надевал перчатки. Среди вещей Берже полиция нашла пару кожаных перчаток, но вряд ли он пошел в них к Джордану, а по тому, где обнаружено было тело, ясно, что удар был нанесен, когда Джордан менял пластинку, и, значит, Берже убил его не тогда, когда Джордан впустил его в комнату. К тому же перчатки слишком большие, в карман не положишь, а будь он в них в баре, кто-нибудь бы их да заметил. Фотографию Берже, разумеется, напечатали все газеты, — зайдя в тупик, полиция обратилась за помощью к прессе. Просили объявиться любого, кто помнит, что примерно такого-то числа продал пару перчаток, вероятно, серых, молодому человеку в сером костюме. Газеты лихо разыграли эту карту, опять опубликовали фотографию, на сей раз под заголовком: «Не вы ли продали перчатки, в которых он убил Тедди Джордана?»

Знаешь, меня всегда поражает, с каким злобным рвением люди стремятся выдать кого угодно. Они притворяются, будто ими движет общественный дух, но нет, не верю я этому; не верю даже, что это жажда известности, во всяком случае, как правило; по-моему, причина в человеческой низости, в удовольствии, которое получает человек, кому-нибудь навредив. Как ты, конечно, знаешь, считается, что министерство финансов и высокий суд по делам о разводах создали замечательную систему шпионажа, чтобы обнаруживать тех, кто уклоняется от уплаты налогов, а также тех истцов и ответчиков, кто ради развода вступает в тайный сговор. Так вот, это все неправда. Они опираются на анонимные письма. Счету нет людям, которые всегда рады случаю дать подножку тому, кто пытается избежать наказания.

— Мрачный вывод, — сказал Чарли, но прибавил бодро: — Надеюсь только, что ты преувеличиваешь.

— Ну, короче говоря, отозвалась женщина из отдела перчаток в магазине «Труа Картье», она сказала, что помнит, как в день убийства продала молодому человеку серые замшевые перчатки. Женщине этой, лет сорока, покупатель приглянулся. Он был очень озабочен тем, чтобы перчатки

подошли к его серому костюму, и хотел, чтобы они были не слишком маленькие и легко надевались. Берже провели перед ней вместе с дюжиной других молодых людей, и она тотчас на него указала, но его адвокат заявил, что сделать это ей было проще простого, ведь она только что видела его фотографию в газете. Потом полиции подвернулась одна темная личность, приятель Берже, и он сказал, что в вечер убийства видел, как тот шел не к бульвару, а в другую сторону, как раз в ту, где находилась квартира Джордана. Они пожали друг другу руки, и он заметил, что Берже в перчатках. Но свидетель этот был отъявленный негодяй. Репутация у него была прескверная, и на суде защитник Берже яростно обрушился на него. Берже отрицал, что в тот самый вечер они виделись, и адвокат старался убедить суд, что это сфабриковано, тот все придумал, чтобы подольститься к полиции. Роковой уликой оказались брюки. В газетах чего только не писали об элегантности Берже, о гангстере-франте и прочее; читая все это, можно было подумать, будто он покупал костюмы на Савил-Роу¹, а галантерейные мелочи у Шарве. Обвинение жаждало доказать, что он отчаянно нуждался в деньгах, и они обошли все лавки, где делались покупки для самого Берже и для хозяйства, хотели узнать, не требовали ли от него срочно оплатить счета. Но оказалось, для дома все покупалось за наличные и никаких долгов за семьей не числится. Что же до одежды, выяснилось, что с тех пор, как Берже уволили со службы, он купил себе только один серый костюм. Сыщик, который расспрашивал портного, поинтересовался, когда за костюм было заплачено, и портной справился с записями в книге. То был портной, рекламирующий свои изделия, дело у него было поставлено на широкую ногу, и он шил костюмы на заказ по сходной цене. И тогда оказалось, что Берже заказал к костюму запасную пару брюк. У полиции был список всего принадлежащего ему гардероба, и эта пара брюк в нем не значилась. Они тотчас поняли, как важна эта подробность, и решили до суда хранить открытие в тайне.

Можешь мне поверить, захватывающая была минута, когда обвинение сказало об этом вслух. Нет сомнений, у Берже были две пары брюк к новому серому костюму, и одна пара исчезла. Его спросили об этом, но он даже не

¹ Улица в Лондоне, где расположены ателье дорогих мужских портных.

пытался дать объяснения. Казалось, он ничуть не смутился. Сказал, он и не знал, что они исчезли. Прибавил, что последние месяцы, сидя в тюрьме в ожидании суда, не имел случая разбираться в своем гардеробе, а на вопрос, как все-таки он может объяснить их исчезновение, дерзко предположил, что кому-нибудь из полицейских, которые производили в доме обыск, понадобились новые брюки, и он их присвоил. Зато у мадам Берже было наготове объяснение, и, должен сказать, мне оно показалось весьма хитрым. Она сказала, что Лидия гладила брюки, она всегда их гладила после того, как Робер в них выходил, уют был чересчур горячий, и она их сожгла. Робер крайне привередлив в одежде, а деньги на костюм он собрал не без труда, и дома знали, что он рассердится на жену; поэтому, желая избавить ее от упреков и видя, как она испугана, мадам Берже предложила ничего ему не говорить; она избавится от этих брюк, а Робер, возможно, никогда и не узнает, что они исчезли. На вопрос, куда же она их подевала, мадам Берже ответила, что в дверь как раз позвонил какой-то бродяга, просил денег, а она вместо денег отдала ему брюки. Заинтересовались размерами прожженной дыры. Она клялась, что брюки стали никуда не годны, а когда обвинитель заметил, что можно было отдать их в художественную штопку, она ответила, что это стоило бы дороже самих брюк. Далее обвинитель предположил, что при стесненных обстоятельствах семьи Берже вполне мог бы носить их дома; уж лучше бы стерпеть его неудовольствие, чем выбрасывать вещь, которая еще могла послужить. Мадам Берже сказала, ей это не пришло в голову, она отдала их бродяге, поддавшись желанию поскорей от них отделаться. А не потому ли она спешила от них отделаться, что на них оказались пятна крови, заметил прокурор, и, пожалуй, она не отдала их так кстати подвернувшемуся бродяге, а своими руками их уничтожила. Она горячо это отрицала. Ну, а где ж тогда бродяга? Он должен был бы узнать об убийстве из газет и, зная, что на карту поставлена человеческая жизнь, должен был бы объявиться. Мадам Берже повернулась к корреспондентам, в волнении вскинула руки и воскликнула:

«Пусть эти господа повсюду об этом напишут, пускай заклинаят его объявиться и спасти моего сына!» В роли свидетеля она была великолепна. Прокурор подверг ее

беспощадному допросу, она яростно отбивалась. Он провел ее по жизни сына, и она признала все его провинности от истории в теннисном клубе до краж в посреднической конторе, хозяин которой после того, как Берже сознался, из сострадания простил его. Вину за все она полностью взяла на себя. Во Франции свидетелю дана гораздо большая свобода высказываться, чем в английском уголовном суде, и, горько упрекая себя, мадам Берже признала, что во всех ошибках сына виновато полученное им воспитание — слишком она ему потакала. Он единственный ребенок, и она его избаловала. Ее муж лишился ноги на войне, когда под огнем оперировал раненых, и его плохое здоровье требовало от нее неослабного внимания и заботы, даже в ущерб материнским обязанностям. Безвременная кончина мужа оставила несчастного мальчика без наставника. Она взывала к чувствам судей, многословно рассказывая, какое горе обрушилось на нее и сына, когда смерть лишила главы их маленькую семью. После смерти мужа сын остался единственным ее утешением. Он всегда был горяч, своеволен, легко поддавался дурным влияниям, говорила она, но он такой любящий, и, в чем бы он ни был виноват, он никак не способен убить человека, от которого не видел ничего, кроме добра.

Однако ей не удалось произвести на суд хорошее впечатление. Она так расписывала свою безукоризненную добродетельность, что это резало слух. Защищая обожаемого сына, она не упустила случая напомнить суду, что она дочь штабного офицера. Она была вся в черном, но одета элегантно, пожалуй, чересчур элегантно, и производила впечатление женщины, которая пытается жить выше своих возможностей; а лицо жесткое, решительное, и видно, что она очень себе на уме; невозможно было поверить, что она подаст нищему корку хлеба, не то что брюки, пусть даже и негодные.

— А Лидия?

— Лидия выглядела довольно трогательно. Было уже очень заметно, что она ждет ребенка. Лицо распухло от слез, и говорила она чуть не шепотом, едва можно было слышать. Никто не поверил ее рассказу, будто она сама разбила стекло в часах, но прокурор обходился с ней не так сурово, как с ее свекровью; слишком ясно было, что она невинная жертва жестокой судьбы. Мадам Берже и Робер немилосердно использовали ее в своих целях. Суд понимал,

вполне естественно, что она всеми силами старается спасти мужа. Когда она рассказывала, какой он был с нею добрый и нежный, это звучало даже трогательно. Ясно было, что она безумно его любит. Взгляд, каким она на него посмотрела, когда шла давать показания, не мог никого оставить равнодушным. Из всей толпы свидетелей, полицейских и сыщиков, тюремщиков, завсегдатаев бара, осведомителей, проходимцев, психиатров-экспертов (суд пригласил и экспертов, они обследовали Берже, и уж такой представили его психологический портрет, не обрадуешься), из всей этой толпы, скажу тебе, казалось, одной ею и владело человеческое чувство.

Берже защищал один из лучших адвокатов по уголовным делам, мэтр Лемуан, очень высокий, худой, с длинным бледным лицом, огромными черными глазами и гривой угольно-черных волос. Таких красноречивых рук, как у него, я в жизни не видал. В адвокатской черной мантии с двумя белыми полосами, спускающимися из-под подбородка, он был весьма внушителен. У него был глубокий сильный голос. Не очень понимаю почему, но он напоминал одну из загадочных фигур на картине Лонги. Был он не только оратор, но и актер. По виду человека он мог определить его характер, а по тому, как он молчал, — понять, что показания не заслуживают доверия. Видел бы ты, как ловко он обходился с враждебными свидетелями, как вкрадчиво вынуждал их противоречить самим себе, с каким презрением выставлял напоказ их низость, как высмеивал их притворство. Он умел быть обезоруживающе убедителен и отвратительно груб. Когда эксперты-психологи, повторно освидетельствовав Берже в тюрьме, дали заключение, что он самовлюбленный, самонадеянный, лживый, жестокий, не способен различать добро и зло, неразборчив в средствах, не знает угрызений совести, мэтр Лемуан спорил с ними так убедительно, словно был ученым-психологом. Наблюдать за работой его изощренного мозга было сущее наслаждение. Обычно он говорил непринужденно, словно просто беседуя, но беседу эту украшал приятный голос и великолепное владение словом; все, что он говорил, могло безо всяких изменений стать страницей книги; а уж в своей заключительной речи он пустил в ход все свои таланты и просто ошеломил слушателей. Он утверждал, что улики не убедительны; он облил презрением показания имеющих дурную репутацию

свидетелей; он сбивал суд с толку; он заявлял, что прокурор не сумел доказать справедливость обвинения, на основании которого можно было бы осудить его подзащитного. Он то вдруг обращался к судьям запросто, как человек к человеку, то взволнованно зывал к их милосердию, и голос его становился все громче, громче, и скоро уже его речь гремела в зале заседаний, как раскаты грома. Потом вдруг замолкал, да так выразительно, что у тебя мурашки шли по коже. Резюме его было великолепно. Он сказал присяжным, что они должны исполнить свой долг и судить по совести, но при этом умолял их отказаться от предубеждения, вызванного преступлениями, в которых обвиняемый сознался, а потом негромко, дрожащим от волнения голосом — Господи, как же это впечатляло! — напомнил им, что человек, которому прокурор требовал вынести смертный приговор, сын вдовы, дочери солдата, у которого есть заслуги перед Францией, и офицера, отдавшего за нее жизнь; он напомнил, что подсудимый недавно женился, женился по любви, и его молодая жена носит под сердцем плод их союза. Неужели они позволят этому невинному агнцу войти в мир с клеймом позора, ибо родитель осужден за убийство? Трескучие фразы? Ну, конечно, но если бы ты был там и слышал эти душераздирающие речи, ты бы так не подумал. Черт возьми! Как публика плакала. Я сам чуть не расплакался, да увидел, как по щекам Берже текут слезы и он утирает глаза платком, и так мне это показалось смешно, что я овладел собой. Но это было нелегко, и никакие судебные исполнители не смогли бы остановить аплодисменты, которые разразились в зале, когда мэтр Лемуан сел.

Прокурор был плотный румяный малый лет тридцати пяти — сорока, по виду фермер с севера Англии. Он источал самодовольство. Так и чувствовалось, что для него это замечательный случай произвести сенсацию и сделать карьеру. Он был многословен и разглагольствовал так путано, что, если бы председательствующий время от времени не приходил ему на помощь, присяжные едва ли поняли бы, к чему он клонит. Он не чурался дешевого мелодраматизма. В какую-то минуту он повернулся к Берже, который как раз что-то говорил одному из стражей, сидящему рядом на скамейке, и сказал:

«Улыбайтесь, улыбайтесь, но вот когда со связанными за спиной руками вас выведут и при сером холодном свете

занимающегося дня вы увидите гильотину во всем ее ужасе, вам будет не до улыбок. Тогда уж вы не улыбнетесь, вас затрясет от страха, и раскаянье стиснет вам сердце».

Берже с усмешкой глянул на стражника, с таким явным презрением он слушал прокурора, что, не будь тот одержим тщеславием, он бы поневоле смешался. И одно удовольствие было видеть, как с прокурором обходится Лемуан. Он осыпал его комплиментами, но таким язвительным тоном, что при всем своем тщеславии тот не мог не понять, что его выставляют на посмеище. Лемуан был беспощаден, но безупречно вежлив и снисходительно любезен, и во взгляде председателя суда можно было подметить искорку восхищения. Сильно сомневаюсь, что поведение прокурора на этом процессе помогло ему продвинуться по службе.

Трое судей сидели в ряд на скамье. В своих алых мантиях и черных квадратных шапочках они выглядели весьма внушительно. Двое, мужчины средних лет, ни разу не раскрыли рта. А председательствовал старичок с морщинистым обезьяньим лицом и усталым глухим голосом, но зоркий и проницательный; слушал он внимательно, говорил не сурово, но с бесстрастным спокойствием, которое даже пугало. В нем чувствовалась редкостная рассудительность человека, чуждого иллюзий касательно человеческой природы. Без сомнения, он давно понял, что человек способен на любую гнусность, и принял это как нечто вполне естественное, как то, что у него две руки и две ноги. Когда суд удалился на совещание, мы, журналисты, вышли поболтать, выпить по чашке кофе. Все мы надеялись, что приговор вынесут быстро, ведь было уже поздно, а нам хотелось успеть дать материал в номер. Мы не сомневались, что Берже признают виновным. Бывая на процессах об убийствах, я заметил одну особенность — как непохоже впечатление, которое получаешь, сидя в суде, на то, которое выносишь из газетных отчетов. Когда читаешь те или иные показания обвиняемого, они кажутся не слишком убедительными, а когда присутствуешь при слушании дела, начинаешь сомневаться в его вине. За рамками отчета остается атмосфера, царящая в суде, чувство, владеющее всеми присутствующими, и оттого показания предстают в ином свете. Прошел час, и вот нам сказали, что суд вынес приговор, все опять потянулись в зал заседаний. Из камеры привели Берже, мы все встали, один за другим показались

судьи. В переполненном помещении вспыхнул свет, что-то было в этом зловещее. Пробрала дрожь дурного предчувствия. Ты бывал когда-нибудь в Олд-Бейли?

— Нет, по правде говоря, не был, — сказал Чарли.

— Я, когда в Лондоне, часто туда хожу. Самое место, чтобы изучать человеческую натуру. В Олд-Бейли возникает иное чувство, чем во французском суде, который произвел на меня совсем особое впечатление. Сам не знаю почему. В Олд-Бейли арестанту противостоит его величество закон. Он имеет дело с чем-то безликим, с отвлеченным Правосудием. В сущности, с отвлеченным понятием. И само по себе это чудовищно. Но во французском суде за те два дня, что я там провел, меня одолело другое чувство, мне не казалось, будто там все пронизано какой-то возвышенной идеей, я чувствовал, что закон — это механизм, помогающий буржуазному обществу защитить себя, свое имущество, свои привилегии от преступника, который на них покушается. Я не хочу сказать, будто суд несправедлив или приговор несправедлив, но чувствуется, будто там правит не столько принцип, которым не следует поступаться, сколько общество, которое испугалось и оттого пришло в негодование. Заключение противостоит людям, которые хотят себя оберечь, а не как у нас, некоей свято чтимой идее. Это было не столько чудовищно, сколько страшно. Приговор гласил: виновен в убийстве со смягчающими вину обстоятельствами.

— Какие же это были обстоятельства?

— Да никаких не было, но французские судьи не любят приговаривать человека к смерти, а по французскому закону, когда есть смягчающие обстоятельства, смертный приговор вынести нельзя. Берже отделался пятнадцатью годами каторжных работ.

Саймон взглянул на часы и поднялся.

— Мне надо идти. Я дам тебе свои материалы о процессе, можешь почитать на досуге. И вот посмотри, это моя статья о преступлении как одном из видов спорта. Я показывал ее твоей подружке, но, по-моему, ей не больно понравилось. Во всяком случае, она вернула статью без единого слова. Как опыт язвительного юмора это недурно.

7

Чарли не хотелось читать статью Саймона при Лидии, и потому, когда он расстался с другом, он пошел в Дом

Инвалидов, заказал чашку кофе и, усевшись поудобней, погрузился в чтение. Он рад был прочесть связный отчет об убийстве и процессе, так как отрывочные рассказы Лидии его несколько сбили с толку. Она рассказывала ему то об одном, то о другом, не по ходу событий, а как диктовало ей чувство. В трех больших статьях Саймона все изложено было связно, последовательно, некоторые подробности Чарли уже знал от Лидии, другие ему были внове, но Саймону удалось восстановить четкую канву, по которой было легко следовать. Он писал почти как говорил, в беглом журналистском стиле, но сумел весьма наглядно представить фон, на котором разворачивались описываемые события. Гнетущее впечатление оставлял гнусный, полный превратностей мир, в котором живут темной, опасной жизнью все эти гангстеры, торговцы наркотиками, букмекеры и ипподромные жучки. Отбросы большого города, они существуют на сомнительные доходы, не доверяют друг другу, готовы ради выгоды продать лучшего друга и притом щедры, общительны, весело циничны, даже добродушны и, похоже, наслаждаются таким существованием со всеми его опасностями и злоключениями, которые поддерживают их в хорошей форме и дают почувствовать, что они живут полной жизнью. В этом мире все против всех, но неизбежная при этом настороженность пьянит и возбуждает. Там стреляют друг в друга из-за сущего пустяка, но с такой же готовностью несут угодившему в больницу приятелю цветы и фрукты, выложив за них последние деньги. Атмосфера эта, довольно искусно воссозданная Саймоном в его отчете, вселила в Чарли странную тревогу. Мир, который знал он, знал только его спокойную, счастливую внешнюю сторону, был точно красивое озеро, в котором отражаются рассеянные облака и ветлы, растущие по берегам, где катаются в байдарках беспечные юнцы, а их подружки опускают пальцы в теплую воду. Страшно подумать, что чуть глубже под зеркальной гладью зловеющие водоросли протягивают щупальца, чтобы ухватить тебя и опутать, и всевозможные диковинные чудовища, ядовитые змеи, рыбы со смертоносными челюстями беспрестанно тайно воюют меж собой. По иным словечкам в этих статьях у Чарли создалось впечатление, что Саймон завороченно всматривается в таинственные глубины, и он спрашивал себя, только ли любопытство или какое-то пугающее влечение побуждало Саймона

равнодушно и снисходительно наблюдать за проходимцами и негодяями.

В этом мире Робер Берже чувствовал себя в своей стихии. Принадлежа к более привилегированному сословию и более образованный, чем почти все здесь, он пользовался известным авторитетом. Его обаяние, непринужденность и положение в обществе привлекали к нему его сотоварищей, но и заставляли держаться на чеку. Они знали, что ему нельзя доверять, но, как ни странно, у них было превратное представление, что раз он *garçon de bonne famille*¹, сын почтенных родителей, значит, таким он и должен быть. Действовал он по большей части один, без сообщников, и о своих делах помалкивал. Вся эта публика догадывалась, что он их презирает, но они невольно восхищались, что он ходит на концерты и рассказывает об услышанном пылко и, похоже, со знанием дела. Они не понимали, что в их компании он чувствовал себя на редкость легко и свободно. В доме матери, среди ее друзей ему было одиноко и не по себе; его раздражала бездеятельность добропорядочного существования. После того как его судили за кражу автомобиля, он как-то сказал Жожо в редкую минуту откровенности:

«Теперь мне незачем больше притворяться. Вот был бы жив мой отец, он бы выгнал меня из дому, и тогда я волен был бы жить как хочу. Ну а бросить мать я ведь не могу. Кроме меня у нее ничего и никого».

«Преступление — штука невыгодная», — сказал Жожо.

«Похоже, ты на нем неплохо наживаешься, — со смехом возразил Робер. — Но суть не в деньгах. Суть в другом — это встряска, испытываешь свою силу. Все равно как нырять с большой высоты. Кажется, вода страшно далеко, но ты прыгаешь, а когда выныриваешь, черт возьми, чувствуешь себя молодцом».

Чарли сунул в карман газетные вырезки и, чуть нахмурясь от усилия собрать воедино все, что узнал о Робере Берже, попытался окончательно представить, что же это за человек. Проще всего сказать, это ничтожество, дрянь, и слава Богу, что общество от него избавилось; справедливо, конечно, но слишком простое, слишком огульное суждение, на нем не успокоишься; Чарли пришло на ум, что

¹ Юноша из хорошей семьи (*фр.*).

люди, должно быть, сложнее, чем он воображал, и если просто сказать, что человек такой или сякой, этого еще совсем недостаточно. Вот страсть Робера к музыке, особенно к русской музыке, что, на беду для Лидии, свела этих двоих. Чарли и сам очень любил музыку. Музыка дарила ему радость, наслаждение, отчасти чувственное, отчасти интеллектуальное, захлестывала и опьяняла красотой звуков, но это не мешало ему трезво оценивать мастерство, с каким композитор воплощал свою идею. Быть может, впервые в жизни он заглядывал в себя, пытаясь понять, что же действительно он ощущает, когда слушает какую-нибудь прекрасную симфонию, и ему казалось, его охватывает множество чувств — волнение и в то же время покой, любовь к людям, готовность что-то для них сделать, желание быть хорошим, восхищение добром, приятная истома и странная отрешенность, словно он парит над миром, и что бы там ни происходило, не так уж это и важно; и, быть может, если бы собрать воедино все эти чувства и назвать целое по имени, имя ему будет счастье. Ну, а Робер Берже, что испытывает он, когда слушает музыку? Явно ничего похожего. Или это несправедливо — думать, что в таком вот Берже музыка будит только чувства низкие и никчемные? А разве не может быть, что музыка его освобождает от власти дьявола, от дьявола, который много сильнее его самого, так что он не может ни избавиться, ни даже захотеть избавиться от жажды, влекущей его к преступлению, ибо в преступлении проявляет себя его извращенная натура, и, противоборствуя силам закона и порядка, он утверждает свою личность, — разве не может быть, что в музыке он обретает покой от этой движущей им силы, недолго отдыхает в чудесном согласии с миром, и в просвете между тучами ему видятся любовь и добро?

Чарли знал, что значит быть влюбленным. Знал, что, когда влюблен, люди становятся тебе милы, ради любимой ты готов на все, даже и помыслить не можешь причинить ей боль и не устаешь удивляться, что же она в тебе нашла, ведь она, конечно, чудо, а ты, если честен с собою, должен признать, что не стоишь ее мизинца. И если он сам так чувствовал, думалось Чарли, значит, и все остальные чувствуют так, не исключая и Робера Берже. Нет сомнений, он страстно любил Лидию, но если любовь наполняла его... тут Чарли споткнулся о слово, которое пришло ему на ум,

едва не покраснел от смущения... ну да ладно, наполняла его святостью, тогда как же он мог совершать омерзительные, ужасные преступления. Значит, в нем два человека. Чарли был озадачен, да это и не удивительно в его двадцать три года, ведь люди и старше и мудрее не в состоянии понять, как негодяй, подобно святому, может любить чистой, бескорыстной любовью. И возможно ли, чтобы даже теперь Лидия любила его преданной, всепрощающей любовью? Зная, какое ее муж ничтожество.

— Человеческую натуру не так-то легко понять, — пробормотал Чарли.

Сам того не ведая, он сказал золотые слова.

Но когда он подумал, какой силы любовь владеет Лидией, какой любовью вызван каждый ее поступок, рождена каждая мысль, ему пришло на ум, что любовь подобна симфоническому сопровождению, что сообщает глубину и значимость мелодии — ее повседневной жизни, он невольно отпрянул в благоговейном ужасе, как испуганный и зачарованный отпрянул бы при виде лесного пожара или буйно разлившейся реки. Не укладывалось это в его жизненный опыт. Рядом с такой любовью его влюбленность всего лишь легкий флирт, и чувство, что время от времени придавало очарование и веселье его довольно однообразной жизни, не более чем мальчишеская сентиментальность. Просто непостижимо, как умещается в этой заурядной, невзрачной маленькой женщине страсть такого накала. Ощущаешь ее не только в том, что Лидия говорила, но и, так сказать, чутьем в ее отчужденности, в том, что, несмотря на все доверие, с каким она к тебе отнеслась, она держит тебя на расстоянии; читаешь эту страсть в глубине прозрачных глаз Лидии, в пренебрежительной складке губ, когда она не знает, что на нее смотрят, слышишь в ее звучном певучем голосе. Любовь Лидии совсем не походила на знакомые Чарли цивилизованные чувства, было в ней что-то жуткое, отталкивающее, и, несмотря на высокие каблучки и шелковые чулки, жакет и юбку, Лидия казалась не современной женщиной, а дикаркой с первобытными инстинктами, в темных глубинах ее души затаилось обезьяноподобное существо, прашур человека.

— Господи! Во что же это я ввязался? — вырвалось у Чарли.

Он обратился к статье Саймона. Саймон явно поработал над ней, стиль статьи был куда отточенной, чем в его отчетах о суде. Она была пронизана иронией, написана без предубеждения, но за этой непредубежденностью чувствовалось тревожное любопытство, с каким он рассматривал характер человека, которого не обуздывали ни сомнения, ни страх перед последствиями его поступков. То было небольшое талантливое эссе, но такое бесчувственное, что даже становилось не по себе. Стараясь выжать все, что только можно, из оригинальной темы, Саймон забыл, что речь-то о живых людях и их чувствах; и если, читая, ты улыбался, — а эссе не лишено было горького остроумия, то улыбка выходила болезненная. Оказалось, Саймон каким-то образом ухитрился посетить домик в Нейи, и чтобы дать представление об обстановке, в которой жил Берже, с едким юмором описал безвкусную, душную и претенциозную комнату, куда его ввели. В обстановке гостиной смешались предметы двух разных гарнитуров, одни — в стиле Людовика Пятнадцатого, другие — в стиле ампира. Одни резного дерева с позолотой и обиты голубым шелком в розовых цветочках; другие — желтым атласом. Посреди комнаты стол искусной резьбы с мраморной столешницей. Оба гарнитура, должно быть, сработаны в какой-нибудь из мастерских стильной мебели, расположенных на бульваре Сент-Антуан, и куплены на аукционе, когда первоначальные владельцы захотели от них избавиться. При двух диванах и множестве стульев там приходилось двигаться с осторожностью, и куда бы ни сел, сидеть было неудобно. На стенах большие, писанные маслом картины в тяжелых золоченых рамах, вероятно, купленные на аукционе, благо по дешевке.

Прокурор весьма правдоподобно воссоздал историю преступления. Джордан явно был равнодушен к Роберу Берже. Тому доказательство обеда, которыми Джордан его угощал, победители на скачках, которых он ему загодя называл, и деньги, которыми его ссужал. Наконец Берже согласился прийти к нему домой, и чтобы их совместный уход из бара не привлек внимания, они уговорились выйти врозь, сперва один, а через несколько минут другой. Потом, как и было условлено, они встретились, и в квартиру Джордана несомненно вошли вместе — ведь консьержка показывала, что в тот вечер она не впускала никого, кто бы спрашивал Джордана. Жил он на первом этаже. Берже, не снимая

новых элегантных перчаток, сел и закурил, а Джордан достал виски, содовую, принес из кухоньки кекс. Пиджак он снял, такие, как он, дома обычно не ходят при полном параде. Поставил пластинку. Патефон был старомодный, дешевый, без автоматической смены пластинок, и в ту самую минуту, когда он ставил другую пластинку, Берже подошел сзади, словно желая посмотреть, что это за пластинка, и вонзил ему в спину нож. Заявление защитника, будто Берже не мог нанести удар той силы, какую показало вскрытие трупа, сущая нелепость. Берже очень крепкий, жилистый. Люди, знавшие его в те времена, когда он играл в теннис, свидетельствуют, что он славился силой удара справа. Классным теннисистом он не стал не из-за его физических данных, а из-за некоей психологической уязвимости, ослабляющей волю к победе.

Саймон был согласен с точкой зрения прокурора. Считал, что обвинение изложило факты вполне точно и причина, по которой Джордан пригласил к себе молодого человека, указана правильно, но был убежден, что неверно полагать, будто Берже убил Джордана из-за денег, которыми он разжился в тот день. Прежде всего покупка перчаток показывает, что он задумал убить Джордана, еще не зная, что у того к вечеру окажется необычно крупная сумма. Хотя этих денег так и не нашли, Саймон все равно не сомневался, что Берже их взял, но просто заодно; как было не взять, когда они оказались под рукой, однако не ради них он убил Джордана. Полиция заявляла, что Берже украл от пятидесяти до шестидесяти автомобилей; и ни один даже не попытался продать; через несколько часов, самое большее через несколько дней просто бросал их на улице. Он похищал машину, когда она бывала ему нужна, но еще того больше из желания испытать свою смелость и находчивость. Обкрадывая женщин с помощью своей нехитрой уловки, он не очень мог с этого разжиться; скорее то были розыгрыши, которые потрафляли его чувству юмора. Тут требовалось обаяние, и ему нравилось пускать его в ход. Он посмеивался, представляя онемевших, ошарашенных женщин, когда бросал их посреди безлюдных улиц, а сам уносился прочь. Короче говоря, то был своего рода спорт, и при каждой удаче Берже исполнялся самодовольства, словно, играя в теннис, благодаря ловкой свече или укороченному удару выиграл у противника очко. Успех придавал ему уверенность. Риск,

необходимость хладнокровия, умение мигом принимать решения, когда уже кажется, тебя вот-вот разоблачат, привлекали его куда сильнее больших денег, ради которых он связался с контрабандой наркотиков. Эти его забавы были сродни скалолазанию: требовалась уверенность в каждом шаге, присутствие духа; жизнь зависела от твоего мужества, силы, от врожденного чутья; но когда преодолены все трудности и цель достигнута, как замечательно после безмерного напряжения почувствовать, что все уже позади, и как пьянит ощущение победы. Для Берже, при его скромном достатке, комиссионные, получаемые от букмекера, на которого он работал, были, разумеется, далеко не мелочью, но платил тот понемножку, а Берже все растратил, когда возил Лидию по ночным клубам да на экскурсии и загородные прогулки или прокутил с приятелями в баре Жожо. К тому времени, как его уличили, у него не осталось ни гроша; уличили же его по чистой случайности; он придумал такой хитрый способ обжуливать того букмекера, что это могло сходить ему с рук бесконечно. И опять получалось, что преступление он совершил не столько ради денег, сколько для забавы. Он вполне откровенно признался адвокату, что не мог устоять перед соблазном одурачить своего нанимателя, слишком уж большим умником тот себя воображал.

Но к тому времени, осуществляя свой план, Робер Берже почувствовал, что ему уже не доставляют удовольствия мелкие беззакония, продолжал Саймон. Когда-то, за одно из них попав в тюрьму, в ожидании суда, он свел там дружбу со старым каторжником и восторженно заслушивался его рассказами. То был вор-домушник, охотник за драгоценностями, и иные его подвиги на этом поприще составили увлекательнейшую повесть. Прежде всего он избирал жертву, потом терпеливо наблюдал за ней, прослеживал ее привычки, тщательно изучал дом и все вокруг; надо было разведать не только где хранятся драгоценности и как войти в дом, но и как в случае чего мигом оттуда улизнуть; а уж когда тебе все известно, подолгу ждешь удобного случая. Задумаешь присвоить драгоценности, а покуда улечишь минуту цапнуть добычу, проходят месяцы. Неизбежность долгого ожидания отталкивала Берже; ему хватало отваги, и ловкости, и присутствия духа, но нипочем

не хватило бы терпенья, которое требовалось для сложной подготовки к ограблению.

Саймон уподоблял Робера Берже охотнику на куропаток и фазанов, которому за много лет наскучило искусство стрелять мелкую дичь, вот он и возжаждал заняться охотой, которая сопряжена с опасностью, и занялся крупной дичью. Никому не ведомо, когда Робером Берже завладела мысль об убийстве, но можно предположить, что она крепла у него постепенно. Точно художник, обремененный замыслом, что зреет в его душе и ищет выхода, который не будет знать покоя до тех пор, пока не освободится от своего бремени, Берже чувствовал, что, совершив убийство, он наконец состоится. До предела выразив таким образом свою личность, он успокоится и тогда сможет зажить с Лидией размеренной и благопристойной жизнью. Его инстинкты будут удовлетворены. Он понимал, преступление это чудовищное, понимал, что рискует головой, но как раз чудовищность и соблазняла его, а риск делал преступление таким привлекательным.

Дочитав до этого места, Чарли отложил статью. И подумал, что, право же, Саймон уж слишком расфантазировался. Можно представить, что человек убивает в минуту неукротимой ярости, но, как ни старайся, не выразишь того, кто совершает убийство — причем даже не ради денег, но, по версии Саймона, из чисто спортивного интереса — потому что жаждет, кого-то убив, утвердить самого себя. Неужели Саймон и вправду верил в эту свою теорию или просто думал, что так статья произведет большее впечатление. Чарли принялся читать дальше, хотя его красивое лицо оставалось хмурым.

Если бы обстоятельства не предназначили Джордана в жертву, писал далее Саймон, вероятно, Робер Берже просто потешил бы себя таким замыслом да и успокоился. Наверно, не раз, выпивая с кем-нибудь из приятелей, он подумывал, не прикончить ли собутыльника, и отбрасывал эту мысль — слишком трудно было ее осуществить или слишком велика опасность разоблачения. Но когда случай свел его с Тедди Джорданом, он, должно быть, почувствовал: вот подходящая жертва! Джордан иностранец, у него тьма знакомых, но близких друзей нет, и живет он один в глухом закоулке. Он мошенник, связан с торговлей наркотиками, и если однажды его найдут мертвым, полиция скорее всего

предположит, что он убит в какой-нибудь сваре между гангстерами. Если полиция и не знает о его сексуальных вкусах, то наверняка узнает после его смерти и, вполне вероятно, предположит, что его убил какой-нибудь бандюга, который захотел получить с него больше денег, чем Джордан намерен был дать. Бандитов, вымогателей, торговцев наркотиками и прочих темных личностей, которые могли разделаться с убитым, великое множество, и полиция не будет знать, куда кидаться, и во всяком случае он нежелательная личность, иностранец, и совсем неплохо, что он больше не будет путаться под ногами. Поведут расследование, и если вскорости ничего не выяснят, преспокойно поставят на нем крест. Берже понял, что Джордан положил на него глаз, и стал играть с ним, как удильщик с форелью. Начал свидания и не приходил. Вроде бы давал обещания и не исполнял их. Если Джордан, заподозрив, что Берже водит его за нос, грозил с ним порвать, тот пускал в ход свое обаяние, чтобы вынудить Джордана набраться терпения. Джордан думал, это он преследует Берже, а тот убегает. А Берже втихомолку над ним потешался. Он выслеживал Джордана, как охотник изо дня в день выслеживает в джунглях пугливого и осторожного зверя и поджидает своего часа, зная, что несмотря на все свое чутье и опаску, животное в конце концов попадет к нему в руки. Берже вовсе не чувствовал к Джордану враждебности, не питал к нему ни приязни, ни неприязни и потому без помех наслаждался охотой. Когда, наконец, дело было сделано и маленький букмекер мертвый лежал у его ног, не испытал он ни страха, ни угрызений совести, но лишь самозабвенный восторг.

Чарли дочитал эссе. И дрожь его пробрала. Он не знал, что больше его ужасало — бездушие и жестокое вероломство Берже или то, как невозмутимо, со вкусом описывал Саймон работу извращенного и порочного ума убийцы. Правда, описанное — плод его воображения, но как же страшны его собственные инстинкты, если он со вкусом заглядывает в эти мерзкие тайники! Саймон наклонился, вглядываясь в душу Берже, как можно наклониться над краем устрашающей бездны, и, похоже, увиденное вызвало в нем зависть. Чарли не понимал, откуда у него сложилось впечатление, что когда Саймон писал, он спрашивал себя, а достало ли бы ему, Саймону Фенимору, бесстрашия и дерзости для такого ужасного, жестокого и бессмысленного

шага — ведь ни в тщательно отделанных фразах, ни в отдающей легкомыслием иронии это никак не ощущалось. Чарли вздохнул.

«Я знаю Саймона почти пятнадцать лет. Мне казалось, я его знаю как облупленного. А теперь мне кажется, я совсем его не знаю».

И тут он радостно улыбнулся. Есть у него отец, мать, Пэтси. Завтра, усталые от заполненных весельем и смехом дней, они, должно быть, уедут от Терри-Мейсонов и с радостью вернутся в свой красивый, артистичный и уютный дом.

«Они, слава Богу, обыкновенные порядочные люди. С ними знаешь, на каком ты свете».

Его вдруг захлестнуло волной любви к ним.

Но уже поздно; вот-вот вернется Лидия. Чарли не хотел, чтобы она ждала одна в этой убогой комнате, ей будет одиноко, бедняжке; он сунул эссе в карман вместе с другими вырезками и зашагал к гостинице. Он зря беспокоился. Лидия еще не пришла. Чарли взял «Мэнсфилд-парк», который вместе с томиком стихов Блейка только и прихватил с собой, и принялся читать. Чудесно оказаться в обществе воспитанных людей, и хотя их отделяло от него более сотни лет, они казались живыми, как любой, кого встречаешь сегодня. Была в их упорядоченной жизни изящная непринужденность, и горести, от которых они страдали, были не столь серьезны, чтобы из-за них расстраиваться. Правда, Золушка — ужасная маленькая резонерка, а Сказочный принц — несносный педант; правда, поневоле захочешь, чтобы она не отдавала свое добродетельное сердечко этому чопорному глупцу, а приняла предложение обаятельного и остроумного негодяя; и все же снисходительно миришься с намерением Джейн Остин вознаградить здравый смысл и наказать легкомыслие. Ничто не может притупить остроту наслаждения, которое испытываешь от ее мягкой иронии и язвительного юмора. Книга отвлекла мысли Чарли от истории порока и преступления, в которую он оказался так странно вовлечен. Из запущенной, унылой комнаты он мысленно перенесся на зеленую лужайку и приятным летним вечером сидел там под огромным кедром; а с лугов за парком доносился аромат скошенной травы. Но Чарли почувствовал, что проголодался, и взглянул на часы. Половина девятого. Лидия еще не вернулась. Быть может, она и

не намерена возвращаться? Не очень-то мило было бы вот так его оставить, ничего не объяснив, не сказав ни словечка на прощанье, при мысли об этом он даже рассердился, но потом пожал плечами.

«Не хочет возвращаться, ну и пусть ее».

Чего ради ее ждать? И он отправился ужинать, предупредив портье, где он будет, чтобы Лидия могла присоединиться к нему, если придет. Он сам не знал, льстило ли ему, забавляло или раздражало, что персонал гостиницы обходился с ним с некоей доверительной фамильярностью, словно его интрижка — а что у него интрижка, они, конечно, не сомневались, — им тоже доставляла удовольствие. Портье благосклонно улыбался, а молоденькая кассирша была исполнена взволнованного любопытства. Чарли усмехнулся при мысли, как бы они изумились, узнай они, сколь невинны его отношения с Лидией. Он поужинал в одиночестве и вернулся, а она все еще не пришла. Он поднялся к себе в номер и опять раскрыл книгу, но теперь плохо удавалось сосредоточиться. Если к двенадцати она не вернется, решил он, он махнет на нее рукой и пустится в загул. Это же нелепо, провести в Париже чуть не неделю и не развлечься. Но в самом начале двенадцатого Лидия отворила дверь и вошла, при ней был изрядно потертый чемоданчик.

— Ох, устала, — сказала Лидия. — Я прихватила с собой кое-что из вещей. Сейчас вымоюсь, и пойдем ужинать.

— Вы не ужинали? А я уже.

— Уже?

Она, похоже, удивилась.

— Сейчас половина двенадцатого.

Лидия рассмеялась.

— До чего же вы англичанин! Вам необходимо ужинать всегда в одно и то же время?

— Я проголодался, — сухоvalo ответил Чарли.

Ему казалось, не худо бы ей извиниться, что она заставила его так долго ждать. Но ей, конечно же, это и в голову не пришло.

— Ну, да ладно, не важно. Не нужен мне никакой ужин. Ну и денек у меня выдался! Алексей был пьян, поругался с Полем, потому что Поль не ночевал дома, и Поль сбил его с ног. Евгения плакала и все повторяла: «Господь нас наказывает за наши грехи. До чего я дожила — мой сын ударил своего отца. Что с нами со всеми будет?» Алексей

тоже плакал. «Всему конец, — сказал он. — Дети больше не уважают родителей. Ох, Россия, Россия!»

Чарли подмывало засмеяться, но он видел, что для Лидии все это очень серьезно.

— И вы тоже плакали?

— А как же, — с холодком в голосе ответила она.

Она переделалась, была сейчас в черном шелковом платье, довольно простом, но хорошо сшитом. Платье ей шло. В этом платье ее светлая кожа казалась еще нежнее и глаза еще голубее. А черная, довольно кокетливая шляпка с пером была ей куда больше к лицу, чем старая фетровая. Изящный наряд наложил на нее отпечаток — она выглядела элегантней и держалась с изящной уверенностью. Теперь она походила уже не на продавщицу, но на молодую женщину из более почтенной среды, и такой хорошенькой Чарли ее еще не видел, однако сейчас еще ясней было, что с ней, так сказать, кашу не сваришь, если раньше она выглядела добропорядочной работницей, которая умеет за себя постоять, теперь, казалось, эта модная молодая женщина вполне способна поставить на место не в меру предприимчивого молодого человека.

— На вас другое платье, — сказал Чарли, он уже почти справился со своим дурным настроением.

— Да, единственное мое нарядное платье. Я подумала, что вам, должно быть, совестно появляться на людях с такой замухрышкой. Уж если красивый, хорошо одетый молодой человек идет в ресторан, он по меньшей мере должен быть уверен, что люди не станут недоумевать, с чего это он расхаживает с неряхой в обносках прислуги? Надо же мне постараться хоть выглядеть так, чтобы вас не осрамить.

Чарли рассмеялся. Право же, есть в ней что-то очень милое.

— Ну, пойдемте-ка я вас покормлю. И посижу с вами. Если я не ошибаюсь насчет вашего аппетита, вы сейчас готовы съесть быка.

И в отличном настроении они вышли из номера. Пока Лидия поглощала дюжину устриц, бифштекс и жареный картофель, Чарли пил виски с содовой и курил. Она подробнее рассказала ему о том, что увидела у своих русских друзей. Их положение ее очень тревожило. Денег нет, кроме той малости, что зарабатывают дети. Рано или поздно Полю

надоест отдавать деньги родителям, и он исчезнет, окунется в подозрительную ночную жизнь Парижа, а когда потеряет молодость и красоту, кончит слугой в какой-нибудь гостинице с дурной славой, да и то, если повезет. Алексей все больше спивается, и даже если ему случайно подвернется работа, он на ней не удержится. У Евгении больше не хватает мужества справляться с бесконечными трудностями, она отчаялась. Им всем не на что надеяться.

— Понимаете, они покинули Россию двадцать лет назад. Долгое время они думали, что там все переменится и они вернуться, но теперь понимают, что на это рассчитывать нечего. Революция тяжело ударила по таким людям; теперь им и всему их поколению только и остается умереть.

Но тут Лидия догадалась, что вряд ли ее слушателю так уж интересны люди, которых он в глаза не видал. Откуда ей было знать, что пока она рассказывала ему о своих друзьях, он внутренне поживался от мысли, что если он правильно понимает Саймона, как раз такую судьбу тот и готовит ему, его родителям, сестре и их друзьям. Лидия заговорила о другом.

— Чем же вы занимались сегодня? Пошли посмотрели какие-нибудь картины?

— Нет. Я ходил к Саймону.

Лидия смотрела на него со снисходительным интересом, но, услышав его ответ, нахмурилась.

— Не нравится мне ваш приятель Саймон, — сказала она. — Что вы в нем находите?

— Я его знаю с детства. Мы вместе учились в школе, и в Кембридже тоже. Он всегда был моим другом. Чем он вам не нравится?

— Холодный он, расчетливый, бесчеловечный.

— Думаю, вы неправы. Я как никто знаю, что он способен горячо любить. Он очень одинок. Думаю, он тоскует по любви, но ни в ком ее не встречает.

В глазах Лидии сверкнул насмешливый огонек, но, как обычно, не лишенный печали.

— Вы чересчур сентиментальны. Как можно надеяться вызвать в ком-нибудь любовь, если не готов отдать себя? Хотя вы и знаете его столько лет, вряд ли вы знаете его так же хорошо, как я. Он много времени проводит в *Sérail*; девушку он выбирает редко, да и то не от желания, а из любопытства. Мадам его привлекает отчасти потому, что он

журналист, а она хочет ладить с прессой, и еще потому, что иногда он приводит иностранцев, а они пьют много шампанского. Ему нравится с нами разговаривать, и ему не приходит в голову, что он нам мерзок.

— Имейте в виду, знай он об этом, он бы не обиделся. Просто любопытствовал бы, почему. Он не самолюбив.

Лидия продолжала, будто и не слышала Чарли:

— Он едва ли считает нас за людей, он нас презирает и все же ищет нашего общества. С нами он не стесняется. По-моему, он считает, мы пали так низко, что он может быть самым собой, а перед всем прочим миром надо всегда появляться в маске. Он на удивление нечуткий. Думает, с нами можно позволить себе что угодно, задает нам вопросы, от которых нам стыдно, и совершенно не понимает, как больно он нас ранит.

Чарли молчал. Он отлично знал, что Саймон, при его ненасытном любопытстве, мог отчаянно смутить человека, а когда его вопросы возмущали людей, он лишь удивлялся и презирал их. Он-то был не прочь обнажить душу, и ему было невдомек, что сдержанность других людей вызвана не тупостью, как он воображал, а скромностью.

— И однако, он способен на такое, чего от него никак не ждешь, — продолжала Лидия. — Одна наша девушка вдруг заболела. Доктор сказал, что нужна немедленная операция, и Саймон сам отвез ее в частную лечебницу, чтобы ей не пришлось ложиться в больницу для бедных, и заплатил за операцию, а потом устроил ее еще и в санаторий и тоже за это заплатил. А ведь он даже никогда с ней не спал.

— Меня это не удивляет. Деньги для него ничто. Так или иначе это показывает, что он может быть бескорыстным.

— А вам не кажется, что он хотел проверить на себе, что же это за чувство такое — доброта?

Чарли засмеялся.

— Я вижу, вы не больно жалуете беднягу Саймона.

— Он много со мной разговаривал. Хотел, чтобы я рассказала все, что знаю про русскую революцию, и свела бы его к Алексею и Евгении, хотел и их расспросить. Он ведь писал отчеты о суде над Робером. Пытался выудить из меня побольше подробностей. Он и спал-то со мной, потому что думал побольше от меня узнать. Он написал об этом статью. Вся та боль, весь ужас и позор были для него только поводом выстроить в ряд громкие, ничего не значащие слова.

И он дал мне прочесть, ему любопытно было, как я отнесусь к его писанине. Никогда ему не прощу. Никогда.

Чарли вздохнул. Он понимал, что Саймон, с его поразительным безразличием к чувствам других людей, показал Лидии свое безжалостное эссе вовсе не из желания ее ранить, он вполне искренне хотел посмотреть, как она к нему отнесется, и узнать, насколько ее сокровенное знание подтвердит его измышления.

— Саймон странное существо, — сказал Чарли. — Сказать по правде, у него немало таких свойств, которые мне не по душе, но есть у него и замечательные качества. Одно о нем, во всяком случае, можно сказать: он не щадит не только других, но и себя. Мы не виделись два года, он сильно изменился за это время, но, должен признаться, он личность незаурядная.

— Страшноватая, я бы сказала.

Чарли смущенно заерзал на плюшевом диване — к его огорчению, Саймон и ему казался страшноватым.

— Знаете, живет он удивительной жизнью. Работает по шестнадцать часов в сутки. Жилье у него неопишимо убогое и неудобное. Он приучил себя есть только один раз в день.

— А чего ради все это?

— Хочет выработать в себе более сильный и глубокий характер. Хочет научиться не зависеть от обстоятельств. Хочет подготовиться к роли, которую, как он рассчитывает, рано или поздно будет призван сыграть.

— А что за роль, он вам не говорил?

— Только примерно.

— Вы о Дзержинском когда-нибудь слышали?

— Нет.

— Саймон мне много о нем рассказывал. Алексей в прежние времена был адвокатом, талантливым адвокатом с либеральными принципами, и на одном процессе он защищал Дзержинского. Это не помешало Дзержинскому распорядиться, чтобы Алексея арестовали как контрреволюционера и сослали на три года в Александровск. Вот одна из причин, почему Саймон так хотел, чтобы я познакомила его с Алексеем. Я отказалась, мне было бы невыносимо, если бы он увидел, как опустил этот несчастный сломленный человек, и тогда Саймон поручил мне задать Алексею разные вопросы.

— А кто такой Дзержинский? — спросил Чарли.

— Он был главой Чека. Истинный хозяин России. У него была неограниченная власть над жизнью и смертью всего населения. Он был чудовищно жесток, он посадил в тюрьму, пытал и убил тысячи и тысячи людей. Поначалу мне странно было, что Саймона интересует такая страшная личность, казалось, тот его околдовал, а потом я догадалась, в чем дело. Вот такую роль он себе и предназначил, когда произойдет революция, ради которой он старается. Он понимает, что хозяин полиции — хозяин государства.

Глаза Чарли насмешливо блеснули.

— У меня от ваших разговоров мороз по коже, дорогая. Но, знаете ли, Англия не Россия. Саймону, я думаю, придется ждать целую вечность, прежде чем он станет диктатором Англии.

Но в этом Лидия не могла стерпеть никакого легкомыслия. Она мрачно посмотрела на Чарли.

— Он готов ждать. А Ленин разве не ждал? Вы все еще думаете, будто англичане сделаны не из того же теста, что все прочие люди? Неужели вы думаете, что пролетариат, который все больше сознает свою силу, позволит классу, к которому вы принадлежите, вечно обладать всеми вашими привилегиями? Неужели вы думаете, что война, чем бы она ни кончилась, вашей победой или вашим поражением, может привести к чему-то еще, кроме величайшего социального переворота?

Политикой Чарли не интересовался. Правда, как и его отец, он придерживался либеральных взглядов, с некоторой склонностью к социалистическим идеям, при условии, что они не переходят пределов благоразумия, а под этим подразумевал, сам того не сознавая, что они не касаются его удобств и его доходов, но предпочитал, чтобы делами государства занимались те, кому положено по штату; однако не мог же он оставить без ответа вызывающие, дерзкие вопросы Лидии.

— Вы так говорите, будто мы ничего не делали для рабочих. Похоже, вам неизвестно, что за последние пятьдесят лет условия неузнаваемо изменились. Люди работают меньше часов, чем прежде, зарабатывают больше. У них теперь лучше дома. Да вот хотя бы в наших владениях, мы стараемся побыстрее избавиться от трущоб, насколько это возможно экономически. Мы дали им пенсии по старости и обеспечиваем их, когда они без работы. Они бесплатно

учатся в школе, бесплатно лечатся в больницах, а теперь мы начинаем оплачивать им отпуск. Право же, я не думаю, что британскому трудящемуся есть на что особенно жаловаться.

— Не забывайте, что благодетель и тот, кому благодетельствуют, не могут оценивать благодеяние одинаково. Неужели вы ждете, что трудящийся человек будет вам благодарен за возможности, которые он у вас вырвал под дулом пистолета? Неужели, по-вашему, он не понимает, что вы пошли ему навстречу не из великодушия, а из страха?

Чарли предпочел бы не ввязываться в политический спор, но не мог удержаться от еще одного замечания:

— Казалось бы, положение, в котором оказались вы и ваши русские друзья, не очень-то помогает верить, что власть черни великое благо.

— Это горчайшая сторона нашей трагедии. Сколько бы мы это ни отрицали, но в глубине души мы знаем: все, что с нами случилось, мы заслужили.

В словах Лидии прозвучала такая трагическая сила, что Чарли даже как-то растерялся. Трудный она человек, ни к чему не может отнестись легко. Она из тех женщин, кто за столом попросит вас передать соль, и то вам покажется, будто дело это нешуточное. Чарли вздохнул: не надо забывать, каково ей пришлось, бедняге, но неужели будущее и вправду так беспросветно?

— Расскажите мне о Дзержинском, — попросил Чарли, с заминкой произнеся трудное имя.

— Я могу только пересказать, что слышала от Алексея. Он говорит, самое поразительное в Дзержинском — сила взгляда; какой-то особый дар, бесконечно долго он мог смотреть на человека, не отводя глаз, и эти остекленевшие глаза с расширенными зрачками вселяли ужас. Он был невероятно худой — в тюрьме он заболел туберкулезом — и высокий, совсем не урод, правильные черты лица. Человек предельно целеустремленный, в этом и крылся секрет его силы, да еще холоден и сух. Не думаю, чтобы он хоть раз в жизни всей душой отдался какой-нибудь мимолетной радости. Только одно для него существовало — работа, и работал он день и ночь. В самый разгар своей карьеры он жил в крохотной комнатке, в которой только и было, что письменный стол, старая ширма, за ширмой железная койка. Говорят, в голодный год, когда вместо конины ему

приносили нормальную еду, он ее отсылал и требовал, чтобы принесли то же, что давали всем остальным сотрудникам Чека. Чека — вот чему он отдал всю свою жизнь. Не было в нем ничего человеческого, ни жалости, ни любви, только фанатизм да ненависть. Ужасен он был и неумолим.

Чарли пробрала дрожь. Нельзя было не понять, почему Лидия заговорила об этом якобинце, и, по правде сказать, страшно было подумать, как велико сходство между зловещей личностью, которую она описала, и человеком, каким, к его немалому удивлению, предстал перед ним Саймон. Тот же аскетизм, то же равнодушие к радостям жизни, та же одержимость работой и, похоже, та же безжалостность. Чарли улыбнулся своей добродушной улыбкой.

— Я думаю, у Саймона, как у всех нас, есть недостатки. К нему надо относиться терпимо, ведь жизнь у него была и не очень счастливая, и не очень легкая. Ему отчаянно не хватает человеческой привязанности, но что-то в его натуре отталкивает людей, вот его и не любят. Он невероятно уязвим, и то, на что обыкновенный человек не обратит ни малейшего внимания, его больно ранит. Но, по-моему, в душе он добр и великодушен.

— Вы в нем обманываетесь. Приписываете ему вашу доброту и бескорыстное внимание к людям. Говорю вам, он опасен. Дзержинский был узколобый идеалист и ради своего идеала мог без колебаний обречь свою страну на погибель. Саймон еще хуже. У него нет сердца, нет совести, нет чести, и при случае он без сожаления пожертвует вами, своим лучшим другом.

8

Наутро они проснулись раньше обычного. Позавтракали в постели, каждый со своим подносом, а после завтрака, пока Чарли, покуривая трубку, читал «Мэйл», Лидия с сигаретой в зубах делала маникюр. Глядя на них, занятых каждый своим, можно было принять их за молодых супругов, чья первоначальная страсть перешла в спокойную дружбу. Лидия наредила ногти и растопырила пальцы на простыне, чтобы высох лак. И бросила на Чарли лукавый взгляд.

— Вам не хочется пойти сегодня утром в Лувр? Вы ведь приехали в Париж посмотреть картины, так?

— Наверно, так.

— Тогда давайте встанем и пойдем.

Когда горничная, которая принесла кофе, раздвинула занавеси, дневной свет, проникший в комнату со двора, показался им серым и унылым, как и в предыдущие утра; а выйдя на улицу, они поразились — погода вдруг переменялась. Было еще холодно, но ярко светило солнце, и высоко в небе плыли сияющие облака. Воздух морозно пощипывал, и это бодрило.

— Пойдемте пешком, — предложила Лидия.

В веселом живительном свете улица де Ренн уже не казалась такой запущенной, а серые ветхие дома не выглядели привычно неряшливыми и мрачными, но источали мягкое дружелюбие, будто сейчас, когда неожиданное солнышко одарило их своим вниманием столь же приветливо, как и величественные новые дома на другом берегу реки, они, словно старушки в стесненных обстоятельствах, почувствовали себя не такими заброшенными. Когда Чарли и Лидия переходили через площадь Сен-Жермен-де-Пре, по которой во все стороны спешили автобусы, трамваи, неистово мчались такси, грузовики и частные автомобили, Лидия взяла Чарли под руку; и точно влюбленные или бакалейщик с супругой, вышедшие прогуляться воскресным днем, они не спеша пошли по узкой улице де Сен, то и дело останавливаясь перед витриной какого-нибудь торговца картинами. Потом вышли на набережную. Тут парижский день открылся им во всей своей зимней красе, и Чарли даже ахнул от восторга.

— Вам нравится? — улыбнулась Лидия.

— Это будто картина Рафаэля. — Ему вспомнилась строчка стихотворения, что он прочел в Туре: «*Le vierge, la vivace et le bel aujour'hui*»¹.

Самый воздух искрился, хоть лови в горсть и пропускай между пальцев, словно струю фонтана. Чарли, привыкшему к туманным далям и мягкой лондонской дымке, он казался поразительно прозрачным. С изящной четкостью вырисовывались в нем здания, мост, парапет набережной, но, словно прорисованные чуткой рукой, линии были ласковые, смягченные. Ласков и цвет — неба, и облака, и камня, — цвет пастелей, какими работали художники восемнадцатого века; а обнаженные деревья, тонкие, розовато-лиловые ветви на голубом с изысканным разнообразием повторяли нежное плетение узора. Чарли не раз видел картины, на которых было изображено это самое место, и потому увиденное

¹ Как этот день прекрасен, свеж и чист (*фр.*).

сейчас принял без удивления, но с любовью и пониманием узнавал; красота эта не потрясла его — она не была ему неведома, не озадачила неожиданностью, но исполнила знакомой радости, так может радоваться сельский житель, когда после долгих лет отсутствия вновь видит милую сердцу беспорядочно раскинувшуюся родную деревню.

— Ну не чудесно ли жить на свете? — воскликнул он.

— Чудесно быть молодым и таким восторженным, как вы, — сказала Лидия, слегка сжав ему руку, а если она едва сдержала слезы, Чарли этого не заметил.

Чарли хорошо знал Лувр, ведь каждый раз, когда его семья приезжала на несколько дней в Париж (чтобы Винития могла одеться у скромной портнихи, которая ничуть не уступала дорогостоящим мастерским на улицах Руаяль и Камбон), родители считали своим долгом повести туда детей. Лесли Мейсон не скрывал, что предпочитает новых художников старым.

— Но так или иначе знакомство с крупнейшими картинными галереями Европы — составная часть образования джентльмена, и если не можешь вставить словечко в разговоре о Рембрандте, Тициане и прочих, оказываешься в довольно глупом положении. И я не боюсь сказать, что лучшего гида, чем мама, вам не найти. У нее такая художественная натура, и она понимает что к чему и не будет тратить ваше время на всякую ерунду.

— Не стану утверждать, что ваш дед был великий художник, но он знал толк в живописи, — говорила миссис Мейсон не без самоуверенности человека, который безо всякого тщеславия сознает, что разбирается в своем предмете. — Это он меня научил всему, что я знаю об искусстве.

— У тебя, конечно, и у самой было на это чутье, — сказал муж.

Миссис Мейсон с минуту подумала.

— Да, пожалуй, ты прав, Лесли. У меня было чутье.

В ту пору было легче познакомиться с Лувром за недолгое время и с пользой для души, так как его еще не перестроили и большая часть картин, которые, по мнению миссис Мейсон, были достойны внимания ее детей, находились еще в Salon Carré¹. Войдя в этот зал, они сразу же направлялись к леонардовской «Джоконде».

¹ Квадратном зале (фр.).

— Мне всегда кажется, прежде всего надо смотреть на это полотно, — говорила миссис Мейсон. — Оно создает настроение, с которым и следует ходить по Лувру.

Все четверо стояли перед картиной и почтительно взирали на безжизненную улыбку чопорной молодой женщины, изголодавшейся по плотской любви. После требуемых для созерцания мгновений тишины миссис Мейсон обернулась к мужу и детям. На глаза ее навернулись слезы.

— Нет у меня слов, не могу передать, что я всегда чувствую перед этим полотном, — со вздохом сказала она. — Леонардо был воистину Великий Художник. Я думаю, с этим все должны согласиться.

— Признаться, когда дело касается старых мастеров, я сужу отчасти как филистер, — сказал Лесли, — но в ней есть *je ne sais quoi*¹, что задевает вас за живое, это да. Как там у Патера², Винития? Он попал в самую точку, с этим не поспоришь.

С легкой загадочной улыбкой на губах миссис Мейсон негромко, трепетно повторила знаменитые строки, которые за два поколения до нее посеяли такую смуту среди молодых эстетов.

— «Все тернии мира на ее челе, и полуопущены слегка усталые веки. Это сама красота во плоти, извлеченная из души, сотворенная толика за толикой сокровищница неведомых дум, причудливых мечтаний, утонченных страстей».

В благоговейном молчании слушали они ее. А она, договорив, весело сказала обычным голосом:

— А теперь идемте смотреть Рафаэля.

Но невозможно было пройти мимо двух больших полотен Паоло Веронезе, повешенных друг против друга на противоположных стенах.

— Стоит и на них глянуть, — сказала миссис Мейсон. — Ваш дед ставил их очень высоко. Веронезе, конечно, не отличается ни тонкостью, ни глубиной. Нет в нем души. Но у него, бесспорно, был дар композиции, и запомните, он лучше всех умеет гармонично и естественно расположить на полотне такое множество фигур. Тут следует восхищаться если ни чем иным, то, во всяком случае, поистине могучей силой, которой он должен был обладать, чтобы писать такие огромные полотна. Но, по-моему, в них есть и нечто большее. Они дают ясное представление об изобильной, многокрасочной

¹ Нечто неизъяснимое — букв.: сам не знаю что (*фр.*).

² Патер Уолтер Горацио (1839—1894) — английский эссеист и критик.

жизни того времени, о языческом, пронизанном любовью к земным уладам духе патрицианской Венеции в зените славы.

— Я часто пытался сосчитать, сколько фигур на картине «Брак в Кане», но всякий раз получалось другое число, — сказал Лесли Мейсон.

Все четверо принялись считать, но в счете так и не сошлись. Потом они направились в Большую галерею.

— А вот «L'Homme au Gant¹», — сказала миссис Мейсон. — Это неплохо, что вы сперва посмотрели Веронезе, после его картин особенно видны достоинства Тициана. Помните, я говорила, у Веронезе нет души. Так вот, стоит взглянуть на «L'Homme au Gant» и станет ясно, что у Тициана душа-то есть.

— Удивительный старый хрыч был этот Тициан, — сказал Лесли Мейсон. — Дожил до девяноста девяти лет, да и то понадобилась чума, чтобы его убить.

Миссис Мейсон чуть улыбнулась.

— Могу вас уверить, никто никогда не написал портрета лучше этого, — сказала она. — Никогда с ним не сравняться портретам Сезанна или даже Мане.

— Надо не забыть показать им Мане, Винития.

— Да нет, не забудем. Сейчас туда и пойдем. Но я что хочу сказать, надо принимать манеру выражения, которая существовала в живописи в ту пору, и если помнить об этом, я думаю, каждый согласится, что это шедевр. Разумеется, картина и сама по себе выше всяких похвал, но есть в ней еще и редкостное своеобразие и выразительность. Правда, Лесли?

— Несомненно.

— В юности я стояла перед ней часами. Эта картина погружает вас в мечты. На мой взгляд, этот портрет изысканней «Папы» Веласкеса, помнишь, того, который в Риме, он больше наводит на размышления. Конечно же, Веласкес великий художник, и он оказал огромное влияние на Мане, но мне не хватает в нем как раз того, что есть у Тициана, — души.

Лесли Мейсон посмотрел на часы.

— Не следует тратить здесь столько времени, Винития, — сказал он. — Как бы нам не опоздать к обеду.

— Хорошо. Только пойдем посмотрим Энгра и Мане.

¹ Молодой человек с перчаткой (*фр.*).

Они пошли, поглядывая по сторонам, на картины, висевшие на стенах, но тут не было ни одной, у которой, по мнению миссис Мейсон, стоило бы задержаться.

— Не следует загружать ум детей излишком впечатлений, это лишь собьет их с толку, — сказала она мужу. — Куда лучше, если они сосредоточатся на том, что по-настоящему важно.

— Несомненно, — ответил он.

Они вошли в зал, но на пороге миссис Мейсон остановилась.

— Работами Пуссена сегодня заниматься не станем, — сказала она. — Они стоят того, чтобы ради них прийти в Лувр, он, конечно же, великий художник. Но чтобы его понять, надо быть знатоком живописи, а не дилетантом, и вы слишком молоды, вы еще не доросли до него. Когда вы оба немного подрастете, мы как-нибудь придем сюда и как следует его посмотрим. Понимаете, надо быть довольно искушенным человеком, чтобы оценить его по заслугам. Зал, в который мы входим, это девятнадцатый век. Но я думаю, Делакруа нам тоже не стоит смотреть. Он тоже для искушенного глаза, и навряд ли вы увидите в нем то же, что и я; просто поверьте мне на слово, он очень значительный художник. Он недурной колорист, и в нем сильна романтическая жилка. И вам, конечно же, ни к чему засорять мозги барбизонцами. В дни моей молодости ими очень восхищались, но это было еще до того, как мы стали понимать импрессионистов, а о Сезанне и Матиссе мы даже не слыхали; ничего они не значат, и можно спокойно ими пренебречь. Мне хочется, чтобы вы сперва посмотрели на «Одалиску» Энгра, а потом на «Олимпию» Мане. Их замечательно разместили — друг против друга, так что вы можете смотреть на обеих одновременно, сравнить их и вынести собственное суждение.

Теперь миссис Мейсон прошла в зал, муж — рядом с нею, а Чарли и Пэтси вместе следовали за ними шага на два позади. Но ее взгляд упал на «Собирающий колосьев» Милле, и она остановилась.

— Взгляните-ка на минутку на эту картину. Не для того, чтобы ею восхищаться, но просто посмотрите, одно время ее ставили очень высоко. Стыдно признаться, но в юности она вызывала у меня слезы. Она мне казалась очень красивой и трогательной. А теперь смотрю и просто не понимаю, чем она меня прельщала. Это лишь показывает, как меняются оценки, когда становишься старше.

— Это еще показывает, как может ошибаться даже самый молодой из нас, — сказал Лесли с хитрой улыбкой, будто только что сам придумал эти слова.

Они отошли от Милле, и наконец Винития остановилась на том самом месте, откуда, как она полагала, ее отпрыски всего лучше смогут рассмотреть те две картины, которыми она привела их любоваться. С ликующим видом фокусника, который вынимает из шляпы кролика, она остановилась и воскликнула:

— Вот!

Несколько минут они стояли все в ряд, и миссис Мейсон в восторге созерцала двух обнаженных. Потом сказала детям:

— Теперь подойдемте ближе и как следует их разглядим.

Они остановились перед «Одалиской».

— Это бесполезно, Винития, — сказал Лесли. — Ты сочтешь меня филистером, но мне не по вкусу цвет. Тело такое же розовое, как твой крем, которым ты мазалась на ночь, пока я не положил этому конец.

— Не годится раскрывать этим невинным созданиям альковные тайны, — сказала Винития с улыбкой, и чопорной, и в то же время лукавой. — Но у меня и в мыслях не было утверждать, будто Энгр замечательный колорист, и все же, по-моему, голубой у него очень нежный, и я часто думала, что не отказалась бы от такого вечернего платья. Как ты думаешь, Пэтси, мне это было бы уже не по возрасту?

— Ну что ты, мамочка. Ничего подобного.

— Да это я так, между прочим. Но такого замечательного рисовальщика, как Энгр, пожалуй, еще не бывало. Когда смотришь на эти уверенные прелестные линии, нельзя не почувствовать, что перед тобой великолепное проявление человеческого духа. Помню, отец мне рассказывал, как однажды он пришел сюда с приятелем студентом, тот оказался в галерее впервые и, когда увидел «Одалиску», в такой пришел восторг от красоты линии, что буквально лишился чувств.

— По-моему, больше похоже на правду, что давно миновал час, когда разумные люди обедают, и он лишился чувств от голода.

— Ну разве не ужасный человек ваш отец? — улыбнулась миссис Мейсон. — Хорошо, Лесли, давайте еще пять минут постоим перед «Олимпией», и тогда я готова уйти.

Они направились к огромному полотну Мане.

— Когда оказываешься перед таким шедевром, только и остается молча им восхищаться, — объявила миссис Мейсон. — А дальше тишина, как сказал Гамлет. Никто, даже Ренуар, даже Эль Греко ни разу так не написали тело. Посмотрите на ее правую грудь. Это же чудо красоты. Просто дух захватывает. Даже мой бедный отец, который терпеть не мог современных художников, был вынужден признать, что грудь написана очень неплохо. Очень неплохо? Как вам это нравится? Теперь посмотрите, вы, должно быть, видите черную линию — она обрамляет фигуру. Ты ведь видишь, Чарли?

Да, он видит, отозвался Чарли.

— А ты, Пэтси?

— Вижу.

— А я не вижу! — с торжеством воскликнула она. — Раньше видела, знаю, она существует, но даю вам слово, теперь уже не вижу.

И они отправились обедать в один из тех ресторанчиков, где, как прежде обнаружили супруги Мейсон, никогда не бывают англичане. Он был ничуть не хуже тех модных ресторанов, куда ходят иностранцы, но вдвое дешевле. Теперь народу было полно, и как ни странно, за столиком справа от них оказались англичане, а слева — американцы. Напротив сидели два рослых белокурых шведа, а чуть в стороне несколько японцев. Сказать по правде, тут на каких только языках не говорили, а вот французской речи было не слышно. Лесли окинул всю эту публику неодобрительным взглядом.

— Похоже, ресторан начинает портиться, Винития.

Всем четверым вручили огромные, написанные фиолетовыми чернилами меню, вызвавшие у них некоторую растерянность. Лесли весело потер руки.

— Ну-с, с чего начнем? Я думаю, во Франции лучше следовать примеру французов, поэтому что вы скажете, если сперва примемся за улиток, а потом за лягушек?

— Не говори гадости, папа, — сказала Пэтси.

— Вот и видно твое невежество, детка. Это же величайшие деликатесы. Но я не вижу их в меню. — Лесли вечно забывал, французское *grenouille* — это лягушка, а *crapaud* — жаба или наоборот. Он посмотрел на стоящего подле него официанта и произнес с резким английским выговором: — *Garçon, est-ce-quer vous avez des crapauds?*¹

¹ Официант, есть у вас жабы? (фр.).

Метрдотелю не очень-то нравилось, когда его называли просто официант, но он с важным видом ответил, что сейчас не сезон.

— Вот незадача, — воскликнул Лесли. — Ну, а как насчет улиток? Escargots?

— Папа, если ты станешь есть улиток, меня затошнит.

— Он тебя просто дразнит, милочка, — сказала миссис Мейсон. — По-моему, нам лучше заказать хороший омлет. Во Франции, заказывая омлет, не прогадаешь.

— Верно, — подтвердил Лесли. — Во Франции, куда ни зайди, всюду подадут отличный омлет. Прекрасно. Garçon, une omelette pour quatre¹.

Потом, ради детей, заказали rosbif à l'anglaise². После ростбифа молодежь ела ванильное мороженое, а родители сыр камамбер. В Англии он у них часто бывал, но оба согласились, что почему-то во Франции у него совсем иной вкус. Под конец пили кофе, изрядно разбавленный цикорием, и, с удовольствием потягивая его, миссис Мейсон сказала:

— Поистине, чтобы отведать настоящего кофе, надо приехать во Францию.

Благодаря давнему знакомству со знаменитой галереей, а также полезным сведениям, почерпнутым от матери, Чарли вместе с Лидией вошел в квадратный зал, ощущая что-то вроде той уверенности, с какой ступает на корт хороший теннисист. Ему не терпелось показать Лидии свои любимые картины и объяснить, чем они его восхищают. Однако он не без удивления обнаружил, что в зале сейчас все по-другому и нет здесь «Джоконды», к которой он, конечно же, хотел подвести спутницу прежде всего. Они не пробыли здесь и десяти минут. Бывая тут с родителями, они проводили в этом зале добрый час и то, по словам матери, не успевали насладиться всеми его сокровищами. Но «L'Homme au Gant» был на прежнем месте, и Чарли осторожно подвел к нему Лидию. Некоторое время они смотрели на портрет.

— Потрясающе, да? — сказал наконец Чарли, ласково сжав ее локоть.

— Да, ничего. Но вам-то что до него?

Чарли круто повернулся к ней. Никогда еще никто не спрашивал его так о картине.

¹ Официант, омлет на четверых (фр.).

² Ростбиф по-английски (фр.).

— Бога ради, что вы хотите этим сказать? Это же один из лучших портретов на свете. Тициан, не кто-нибудь.

— Еще бы. Но вам-то что до него?

Чарли даже растерялся — как на это ответишь?

— Ну, это прекрасная картина, и написана великолепно. Конечно, она ни о чем не повествует, если вы это имеете в виду.

— Нет, не это, — улыбнулась Лидия.

— Она и вправду меня по-настоящему не задевает.

— Тогда на что он вам?

Лидия пошла прочь, Чарли последовал за ней. Равнодушным взглядом она скользнула по другим картинам. Слова ее смущили Чарли, он ломал голову, пытаясь понять, что она имела в виду. Она посмотрела на него с усмешкой. И сказала:

— Пойдемте, я вам покажу кое-какие картины.

Она взяла его под руку, и они пошли дальше. И вдруг он увидел «Джоконду».

— Вот она! — воскликнул Чарли. — Я должен остановиться и как следует на нее посмотреть. В Лувре я прежде всего хотел увидеть ее.

— Почему?

— Черт возьми, да это же самая знаменитая картина Леонардо. Это одна из самых значительных картин на свете.

— Она что-то значит для вас?

Чарли почувствовал, что Лидия начинает его раздражать; не понимал он, к чему она клонит, но по доброте душевной он не собирался давать волю досаде.

— Картина может быть значительной, даже если для меня она ничего не значит.

— Но тут важны только вы сами. Когда вы смотрите на картину, она что-то значит, только если она чем-то вас задевает.

— Какой-то уж очень самоуверенный подход.

— Эта картина и вправду вам что-то говорит?

— Конечно, говорит. И очень много всего, но мне вряд ли удастся высказать это лучше Патера. К сожалению, я не обладаю памятью моей матери. Она может повторить его высказывание наизусть.

Но еще не договорив, Чарли почувствовал, что его ответ неубедителен. Он начинал смутно подозревать, что имела в виду Лидия, и растерянно подумал, что, похоже, есть в искусстве что-то, о чем ему никогда не говорили. Но, к счастью, он вспомнил слова матери об «Олимпии» Мане.

— В сущности, не понимаю я, почему вообще стоит что-то говорить о картине. Она либо нравится, либо нет.

— И «Джоконда» вам действительно нравится? — спросила Лидия таким тоном, будто учиняла ему легкий допрос.

— Очень.

— Почему?

Чарли на минуту задумался.

— Видите ли, я знаю ее практически всю жизнь.

— По той же причине вам нравится ваш друг Саймон, да? — улыбнулась Лидия.

Он чувствовал, что слова ее несправедливы.

— Ну ладно. Теперь ведите меня к картинам, которые нравятся вам.

Все вышло наоборот. Не он, как предполагал Чарли, просвещает ее, рассказывает о картинах так, что привлекает ее интерес к великим полотнам, которые всегда любил, но она его ведет. Прекрасно. Он вполне готов отдаться на ее волю и посмотреть, что из этого получится.

«Ну конечно, она же русская, — сказал он себе. — Надо с этим считаться».

Они шли и шли мимо множества полотен, из залы в залу — Лидия не без труда отыскивала дорогу, но наконец она остановила Чарли перед небольшим полотном, которое легко можно было бы не заметить, если не ищешь именно его.

— Шарден, — сказал Чарли. — Да, я его видел.

— Но вы когда-нибудь присматривались к нему?

— А как же. Шарден в своем роде совсем не плохой художник. Мама очень его ценит. Мне и самому в общем-то нравятся его натюрморты.

— И ничего другого вы в этом не видите? Я просто в отчаянии.

— В отчаянии? — удивленно воскликнул Чарли. — Из-за каравай хлеба с бутылкой вина? Хотя, конечно, прекрасно написано.

— Да, вы правы, написано прекрасно; написано с любовью и состраданием. Это не просто каравай хлеба и бутылка вина, это хлеб жизни и кровь Христова, но не укрытые от тех, кто томится голодом и жаждой, и скупой раздаваемые священниками по торжественным случаям. Это ежедневная пища страждущих. Эта картина такая скромная, безыскусственная, человеческая, исполненная сочувствия. Это вино и хлеб бедняков, которым только и нужно, чтобы их оставили в покое, позволили свободно трудиться и есть свою

простую пищу. Это крик презираемых и отверженных. Она говорит вам, что, как бы ни были грешны люди, в душе они добры. Этот хлеб и вино — символы радостей и горестей смиренных и кротких. Они не просят милости и любви вашей; они вам говорят, что они из той же плоти и крови, что и вы. Они говорят вам, что жизнь коротка и трудна, а в могиле холодно и одиноко. Это не просто хлеб и вино. Это тайна жребия человека по земле, его тоски по толике дружбы, толике любви, тайна его безропотной покорности, когда он видит, что даже и в этом ему отказано.

Голос Лидии дрожал, и вот по щекам покатились слезы. Она нетерпеливо смахнула их.

— И разве не чудо, что благодаря таким простым предметам, благодаря беспредельной чуткости истинного художника этот странный и милый старик, движимый своим отзывчивым сердцем, сотворил красоту, что надрывает душу? Словно почти невольно, сам того не сознавая, он старался показать, что из боли, отчаяния, жестокости, из всего рассеянного в мире зла человек может сотворить красоту — было бы только у него довольно любви, довольно сочувствия.

Лидия умолкла и долго стояла, глядя на маленькое полотно. Смотрел и Чарли, но с недоумением. Да, натюрморт очень хорош; прежде Чарли устаивал его лишь мимолетного взгляда и порадовался, что Лидия привлекла к картине его внимание, она и вправду на свой лад довольно трогательна, но прежде он, разумеется, не видел в ней всего того, что видит Лидия. Странная она, неуравновешенная! И как неловко, что она плачет прямо здесь в галерее, у всех на виду; с этими русскими и правда попадаешь в преглупое положение; но кто бы мог подумать, что картина способна на кого-то так подействовать? Ему вспомнился рассказ матери о друге ее отца, студенте, который, впервые увидев «Одалиску» Энгра, потерял сознание, но то было давным-давно, в девятнадцатом веке, тогда люди были так романтичны, так чувствительны. Лидия повернулась к нему, на губах ее сияла улыбка. Поразительно, как внезапны у нее переходы от слез к смеху.

— Теперь пойдем? — предложила она.

— А другие картины вы смотреть не хотите?

— Зачем? Одну картину я посмотрела. Мне спокойно и отрадно. Чего ради смотреть что-то еще?

— Ну хорошо.

Престранно таким вот образом посещать картинную галерею. Ведь они даже не взглянули ни на Ватто, ни на Фраго-

нара. Мама непременно спросит, видел ли он «Паломничество на остров Киферу». Ей кто-то сказал, что картину отреставрировали, и она захочет знать, как теперь смотрятся краски.

Они кое-что купили, а потом обедали в ресторане на набережной на другой стороне Сены, и Лидия, как обычно, ела с отменным аппетитом. Ей нравилось, что вокруг много народу, нравился шум, оживленное уличное движение. Она была отлично настроена. Словно недавняя буря чувств омыла ей душу, и теперь она с милой веселостью болтала о пустяках. Но Чарли был задумчив. Он не так-то легко преодолевал охватившее его беспокойство. Обычно Лидия не замечала его настроения, но сейчас слишком ясно было по его лицу, что у него сердце не на месте, и это наконец дошло до нее.

— Вы почему такой молчаливый? — с доброй, сочувственной улыбкой спросила она.

— Все думаю. Понимаете, я всю жизнь интересуюсь искусством. Мои родители натуры артистические, кое-кто может даже счесть их истинными интеллектуалами, и они всегда старались привить нам с сестрой вкус к искусству; и по-моему, им это удалось. Но как подумаю, сколько я затратил труда, сколько возможностей мне предоставлялось, а понимаю я, похоже, куда меньше вас, и мне становится не по себе.

— Но я ничего не смыслю в искусстве, — рассмеялась Лидия.

— Но мне кажется, вы превосходно его чувствуете, а в искусстве все определяет чувство. Нельзя сказать, что картины меня не радуют. Они доставляют мне удовольствие, и еще какое.

— Напрасно вы тревожитесь. Вполне естественно, что вы смотрите на картины не так, как я. Вы молоды, здоровы, счастливы, состоятельны. Вам не откажешь в уме. Для вас картины — еще одно удовольствие среди множества других удовольствий. Они согревают вас, приносят удовлетворение. Пройтись по картинной галерее для вас — способ приятно провести часок. Что еще вы можете от себя требовать? Но, понимаете, я всегда была бедна, часто голодна и порой ужасно одинока. Еда, питье, человеческое общение — все это было для меня роскошью. Когда я работала и хозяйка своими придирками доводила меня до отчаяния, я в обед, бывало, сбегаю в Лувр, и хозяйкина брань забывается. И когда умерла мама и я осталась одна на свете, Лувр был мне утешением. В те долгие месяцы перед судом, когда Робер

сидел в тюрьме, а я ждала ребенка, если бы не возможность ходить в Лувр, где никто меня не знал, никто не пялил на меня глаза и где я оставалась наедине со своими друзьями, я бы, наверно, сошла с ума и покончила с собой. Там я отдыхала и успокаивалась. И набиралась мужества. Мне помогали не столько огромные прославленные шедевры, но картины поменьше, поскромнее, на которые никто не обращает внимания, и я чувствовала, им приятно, что я на них смотрю. Я чувствовала, ничто, в сущности, не имеет значения, ведь все проходит. Терпение! Терпение! Вот чему я там научилась. И я чувствовала, несмотря на все несчастья, ужас, жестокость мира, существует нечто такое, что помогает все вынести, нечто куда значительнее и важнее всех бед и тягот — дух человеческий и творимая им красота. Что же удивительного, если небольшое полотно, которое я показала вам утром, так много для меня значит?

Чтобы полнее насладиться хорошей погодой, они пошли пешком по бульвару Сен-Мишель, а дойдя до конца, направились в Люксембургский сад. Там они сели и, лишь изредка перекидываясь словечком-другим, рассеянно поглядывали на кативших коляски нянюшек, которые, увы, уже не носили чепцы с длинными шелковыми лентами, как в предыдущем поколении, на старушек в черном, которые неспешно вели детишек, и на пожилых джентльменов, чьи лица, наполовину скрытые плотными шарфами, изборождены были глубокими морщинами, — погруженные в свои мысли, они прогуливались взад-вперед; с добрым чувством смотрели на длинноногих мальчишек и девчонок, которые резвились на дорожках, а когда мимо прошли двое юных студентов, им стало любопытно, о чем эти двое так серьезно рассуждают. Казалось, тут не городской парк, а частное владение, открытое для жителей левого берега Сены, и во всем чувствовалась трогательная интимность. Но прохладные лучи угасающего солнца придавали всему еще и печаль — в парке, отделенном от суеты большого города железной решеткой, царил особый дух некоей нереальности, и казалось, будто и старики, прогуливающиеся по песчаным дорожкам, и детвора, чьи крики сливались в веселый гул, это лишь тени, что совершают призрачные прогулки или играют в призрачные игры, а в сумерки все они растают, как дым сигареты в надвигающейся тьме. Становилось уже очень холодно, и Чарли с Лидией, точно старые друзья, молча отправились в гостиницу.

Когда они оказались в номере, Лидия достала из чемоданчика тонкую пачку нот.

— Я принесла несколько пьес, их обычно исполнял Робер. Сама я играю совсем скверно, да в квартире у Алексея и пианино нет. Как вы думаете, вы сумели бы их сыграть?

Чарли посмотрел на ноты. Музыка русская. Некоторые пьесы ему знакомы.

— Пожалуй, сумею, — ответил он. — Внизу есть пианино, и сейчас в гостиной никого не будет. Пойдемте туда.

Инструмент оказался изрядно расстроенным. Клавиатура пожелтела от времени, а оттого, что на нем редко играли, иные клавиши туго поддавались. Перед ним стоял не обычный табурет, а особая скамья на двоих, и Лидия села рядом с Чарли. Он раскрыл на подставке знакомую пьесу Скрябина, взял несколько громких аккордов, пробуя инструмент, и начал играть. Лидия следила за партитурой и перелистывала ноты. Чарли когда-то брал уроки музыки у лучших лондонских учителей, да и занимался на совесть. И в школе, и в Кембридже он выступал на концертах, так что обрел уверенность в себе. У него было легкое приятное туше. Играл он с удовольствием.

— Ну вот, — сказал он, закончив пьесу.

Не сказать, чтобы он был недоволен собой. Он знал, что в своем исполнении следовал намерению композитора и сыграл пьесу с той ясностью и изящной простотой, которую любил у профессиональных пианистов.

— Сыграйте что-нибудь еще, — попросила Лидия.

Она выбрала пьесу. То было переложение для фортепьяно народных песен и танцев, сделанное композитором, о котором Чарли никогда не слышал. Он испугался, увидев на обложке имя Робера Берже, выведенное твердым четким почерком. Лидия молча уставилась на надпись, потом развернула ноты. Чарли смотрел на музыку, которую ему предстояло исполнить, а сам пытался понять, о чем же сейчас думает Лидия. Должно быть, вот так же, как она сейчас сидит с ним, она сидела прежде подле Робера. Зачем ей мучить себя, слушая, как он играет пьесы, которые уж конечно будят в ней горькие воспоминания об ее недолгом счастье и ужасе, что за ним последовал?

— Ну, начинайте.

Чарли хорошо играл с листа, а музыка была нетрудная. Ему казалось, он неплохо справился со своей задачей. Взяв последний аккорд, он ждал от Лидии похвалы.

— Вы играли очень мило, — сказала Лидия. — Но куда же подевалась Россия?

— Что вы хотите этим сказать? — спросил он несколько обиженный.

— Вы так играли, словно эта музыка о воскресенье в Лондоне, — принаряженный люд гуляет по огромным площадям и паркам и ждет не дождется часа, когда придет пора пить чай. Но эта музыка совсем про другое. Это старая, старая песня, в ней крестьяне жалуются на свою скудную и тяжкую жизнь, это бескрайние поля золотой пшеницы и труд жатвы, это березовые рощи и тоска рабочих по времени, когда на земле воцарится мир и изобилие, и это буйный танец, в котором они ненадолго забывают о своей участи.

— Что ж, сыграйте лучше.

— Не умею я играть, — сказала Лидия, однако потеснила его и заняла его место.

Чарли слушал. Играла она плохо, и все же было в ее исполнении что-то, чего он не увидел в этой музыке. Хотя и дорогой ценой, но она ухитрялась передать таящееся в мелодии смятение чувств и горечь печали, придала танцевальным ритмам первобытную жизненную силу, что волновала кровь. Но Чарли был сбит с толку.

— Признаться, я не понимаю, почему вам кажется, будто с помощью фальшивых нот и без конца нажимая на педаль вы лучше воссоздаете русский дух этого сочинения, — едко сказал он, когда Лидия кончила.

Лидия рассмеялась и, обхватив его обеими руками за шею, поцеловала в обе щеки.

— Вы прелесть! — воскликнула она.

— Очень мило, что вы так говорите, — холодно отозвался Чарли, высвобождаясь из ее объятий.

— Я вас обидела?

— Ничуть.

Лидия покачала головой, посмотрела на него с мягкой, ласковой улыбкой.

— Вы играете прекрасно, и техника у вас превосходная, но не воображайте, будто вы можете исполнять русскую музыку, ничего подобного. Сыграйте мне что-нибудь Шумана, вот это вы наверняка можете.

— Нет, я больше не собираюсь играть.

— Если вы на меня сердитесь, почему бы вам меня не ударить?

Чарли не удержался и фыркнул.

— Что за дурь. Мне такое и в голову не приходило. Да и не сержусь я.

— Вы такой большой, сильный, красивый, я совсем забыла, что вы еще мальчишка, — со вздохом сказала Лидия. — И вы так не подготовлены к жизни. В иные минуты поглажу на вас, и меня как ножом по сердцу.

— Ну, не становитесь совсем уж русской и чувствительной.

— Пожалуйста, сделайте милость, сыграйте Шумана.

Лидия, когда ей чего-то хотелось, умела уговорить.

С застенчивой улыбкой Чарли вновь занял свое место. По правде говоря, Шуман был его любимый композитор, и он многое знал наизусть. Он играл для Лидии добрый час, и всякий раз, как хотел перестать, она просила его продолжать. Молодой кассирше любопытно стало, кто же это играет, и она заглянула в гостиную. Возвратясь за стойку, она с многозначительной лукавой улыбкой шепнула портье:

— Наши голубки развлекаются.

Наконец Чарли остановился, и Лидия удовлетворенно вздохнула.

— Я так и знала, что Шуман вам подходит. Эта музыка вроде вас — она исполнена здоровья, довольства и здравого мысля. В ней свежий воздух, и солнце, и восхитительный запах сосен. Она принесла мне облегчение, и эти дни с вами тоже. Ваша мама, наверно, очень вас любит.

— Ну, перестаньте.

— Почему вы так добры ко мне? Я надоедная, скучная, несная. Я вам даже и не очень-то нравлюсь, правда?

Чарли ненадолго задумался.

— Что ж, сказать по правде, не очень.

Лидия рассмеялась.

— Тогда почему вы со мной нянчитесь? Почему не выгоните меня на улицу?

— Понятия не имею.

— Сказать вам? Это все доброта. Просто-напросто самая обыкновенная дурацкая доброта.

— Идите к черту.

Они ужинали в Латинском квартале. От Чарли не ускользнуло, что как личность он Лидии не интересен. Она приняла его, как приняла бы случайного попутчика, с которым столкнешься на пароходе, поневоле как-то сблизисься, но при этом вовсе неважно, откуда он взялся, что он за человек; он возник из небытия, когда ступил на борт, и канет в небытие, когда, достигнув порта назначения, с ним

расстанешься. Чарли был достаточно скромн и не обижался, не мог же он не понимать, что слишком серьезные несчастья и заботы Лидии, они поглощают все ее внимание; поэтому он удивился, когда она навела его на разговор о нем самом. Он рассказал ей о своих художественных наклонностях и о долго лелеемой мечте стать художником, и она одобрила его здравый смысл, благодаря которому он в конце концов предпочел обеспеченную жизнь делового человека. Впервые он видел ее такой веселой и непосредственной. Жизнь англичан она знала только по книгам Диккенса, Теккерея и Герберта Уэллса, и ей любопытно было услышать, как протекает жизнь в богатых благополучных домах на Бейсуоттер-Роуд, которые она видела только снаружи. Она расспрашивала Чарли о его доме и о семье. А об этом он всегда рад был поговорить. Об отце и матери он рассказывал с мягкой насмешкой, но Лидия отлично понимала, что ироническим тоном он просто прикрывает любовное восхищение родителями. Сам того не ведая, он нарисовал премилую картину счастливого любящего семейства, что живет скромно и в достатке, не тревожимое страхом за будущее, в мире с собой и со всем светом. В жизни, которую он описал, не было недостатка ни в милосердии, ни в достоинстве; была она здоровая, нормальная и благодаря интеллектуальным интересам членов семейства не вовсе заземленная; то были люди простые, честные, не тщеславные и не завистливые, готовые исполнять свой долг, как они его понимали, перед государством и перед ближними; чуждые злобы и коварства. Если Лидия и понимала, в какой мере их доброжелательство, доброта, не лишенное приятности самодовольство покоятся на давнем и упорядоченном процветании страны, где им довелось родиться, если и заподозрила хотя бы смутно, что как детей, которые строят замки на песке, их в любую минуту может смыть приливом, она и виду не подавала.

— Счастливый вы народ, англичане, — сказала она.

Но Чарли был слегка удивлен тем, как отозвались в нем его собственные слова. Он рассказывал, а сам впервые в жизни видел себя со стороны, глазами слушателя. Подобно актеру, который произносит свой текст, но никогда не видит пьесу из зала и потому лишь смутно представляет, какое все это производит впечатление, Чарли играл свою роль, не задаваясь вопросом, есть ли в ней какой-то смысл. Не то чтобы ему стало неловко, но он был слегка озадачен, когда осознал, что все они — отец, мать, сестра, он сам,

хоть и заняты с утра до ночи, даже не хватает дня на все, что хотелось бы сделать, однако, если посмотреть на жизнь, которую они ведут из года в год, появляется неприятное ощущение, будто никто из них вовсе ничего не делает. Словно какой-то спектакль, где и декорации хороши, и костюмы красивы, и диалоги умны, актеры опытные, искусные — приятно проводишь вечер, а уже через неделю ничего не можешь вспомнить. .

После ужина Чарли и Лидия сели в такси и поехали в кино на другом берегу Сены. То был фильм братьев Маркс, и они покатывались со смеху над немыслимыми выходками изумительных комиков; но они хохотали не только над остротами Граучо и презабавными переплетами, в которые попадал Харпо, хохотали и над тем, как хохотал другой. Фильм кончился в полночь, но Чарли, слишком взбудораженный, просто не мог сейчас спокойно улечься спать и спросил Лидию, не пойдет ли она с ним куда-нибудь потанцевать.

— Куда бы вам хотелось пойти? — спросила Лидия. — На Монмартр?

— Куда хотите, только чтоб было весело. — А потом, вспомнив вечное, но редко осуществимое желание родителей, когда они бывают в Париже, прибавил: — Где поменьше англичан.

Лидия глянула на него с лукавой улыбкой, которую он раза два уже видел. Ему и удивительно это было, и мило. Удивительно, потому что в его представлении совсем не вязалось с ее натурой, а мило, потому что несмотря на трагическую судьбу Лидии как бы подсказывало, что есть в ней и веселость, и славное задиристое озорство.

— Поведу вас в одно местечко. Там, может, и не весело, зато, должно быть, интересно. Там поет одна русская.

Путь был долгий, и когда автомобиль остановился, Чарли увидел, что они на набережной. На фоне морозной звездной ночи четко вырисовывались башни-близнецы собора Парижской Богоматери. Чарли с Лидией сделали несколько шагов по темной улице, потом прошли в узкую дверь, спустились на один пролет по лестнице и, к удивлению Чарли, оказались в просторном подвале с каменными стенами; от стен отходили довольно большие деревянные столы, за каждым могли поместиться человек двенадцать, а по обе стороны стояли деревянные скамьи. Было жарко, душно, воздух — серый от дыма. Посередине меж столов теснились пары, танцевали под какую-то заунывную мело-

дию. Неряшливого вида официант без пиджака нашел им два места и принял заказ. Сидящие за столами с любопытством поглядывали на них и перешептывались; и конечно же, Чарли в английском костюме синей саржи и Лидия в черном шелковом платье и в элегантной шляпке с пером резко отличались от всех присутствующих. Мужчины, без воротничков и галстуков, танцевали в кепках, зажав в зубах сигарету. Женщины были без шляп и вызывающе накрашены.

— Вид у них прямо бандитский, — сказал Чарли.

— Они такие и есть. Большинство уже побывало за решеткой, а остальным этого не миновать. Если начнется ссора и они станут швырять стаканы или повинимают ножи, просто прислонитесь спиной к стене и не шевелитесь.

— Похоже, мы им не очень-то по вкусу, — сказал Чарли. — Мне кажется, мы слишком привлекаем внимание.

— Они думают, мы любопытствующие туристы, а подобную публику они не выносят. Но все обойдется. Я знакома с patron¹.

Когда официант принес заказанные два пива, Лидия попросила его позвать хозяина. Тот мигом явился, крупный толстяк, по виду точь-в-точь священник, и сразу узнал Лидию. Он проникательно и недоверчиво глянул на Чарли, но Лидия представила его как своего друга, и хозяин сердечно пожал ему руку и сказал, мол, рад познакомиться. Он подсел к их столу и несколько минут вполголоса о чем-то разговаривал с Лидией. Чарли заметил, что соседи наблюдают за этой сценой, и увидел, как один из них подмигнул другому. Они явно поняли, что все в порядке. Танец кончился, и те, кто прежде сидел за этим столом, вернулись. Они враждебно оглядели незнакомую парочку, но хозяин объяснил, что это свои, и тогда один из компании — темная личность со шрамом на физиономии, видно, когда-то полоснули бритвой — настоял, чтобы они выпили с ним по стаканчику. Скоро все уже весело болтали. Им явно хотелось, чтобы молодой англичанин чувствовал себя как дома, и парень, сидящий с ним рядом, толковал ему, что хотя на вид компания грубоватая, неотесанная, но все они ребята что надо и сердце у них на месте. Был он изрядно под хмельком. Чарли справился с охватившим его поначалу беспокойством.

¹ Хозяин, владелец заведения (*фр.*).

Вскоре встал саксофонист и выдвинул вперед стул. С гитарой в руках вышла русская певица, о которой говорила Лидия, и села. Раздался взрыв рукоплесканий.

— C'est La Marishka¹, — сообщил Чарли его хмельной приятель. — Другой такой на свете нету. Она была любовницей одного комиссара, но Сталин велел его расстрелять, и если бы она не сумела сбежать из России, он бы и ее велел расстрелять.

Женщина, сидящая по другую сторону стола, услышала его слова.

— Что за вздор ты несешь, Лулу, — крикнула она. — La Marishka до революции была любовницей великого князя, это все знают, и у ней на миллионы было бриллиантов, а большевики все у ней отобрали. Она переделалась крестьянкой и сбежала.

Маришка была женщиной лет сорока, худая, мрачная, черты лица суровые, мужские, смуглая кожа и огромные горящие глаза под черными, густыми, круто изогнутыми бровями. Хриплым голосом во всю мощь легких она спела раздольную печальную песню, и хотя Чарли не понял ни единого русского слова, его пробрала дрожь. Певице громко хлопали. Потом она спела по-французски сентиментальную балладу — плач девушки по возлюбленному, которого наутро ждет казнь, чем привела слушателей в неистовый восторг. Напоследок она спела еще одну русскую песню, на сей раз веселую, и облик ее уже не казался трагическим; теперь лицо ее дышало грубым, необузданным весельем и в голосе сильным, резком звучало удалство; слушаешь, и кровь играет в жилах, и радуешься, но и сердце шемит оттого, что за бесшабашным ликованием таится отчаяние напрасных слез. Чарли посмотрел на Лидию и поймал ее усмешливый взгляд. Он добродушно улыбнулся. Эта суровая женщина извлекала из музыки что-то, что, как он теперь понимал, было ему недоступно. Песня кончилась, опять раздался взрыв рукоплесканий, но Маришка будто и не слышала, встала и направилась к Лидии. Они заговорили по-русски. Лидия повернулась к Чарли.

— Она выпьет шампанского, если вы ее угостите.

— Ну конечно.

Чарли подозвал официанта и заказал бутылку шампанского, но тут же, поглядев на шестерых соседей по столу, распорядился по-другому:

¹ Это Маришка (фр.).

— Две бутылки и стаканы. Может быть, дамы и господа не откажутся выпить с нами.

Публика с благодарностью приняла предложение. Принесли шампанское, Чарли наполнил стаканы, передал по кругу. Все чокались, не скупилась на заздравные тосты.

— *Vive l'Entente Cordiale*¹.

— *A nos allies*².

Все развеселились, исполнились дружелюбия. Чарли блаженствовал. Но он ведь пришел танцевать, и когда вновь заиграл оркестр, он поднял Лидию из-за стола. Скоро танцевало уже много пар, и он заметил, сколько любопытных взглядов обращено на Лидию; должно быть, всей честной компании стало известно, кто она такая; для этих молодчиков и их подружек она представляла особый интерес, отчего Чарли почувствовал себя не в своей тарелке, Лидия же, казалось, даже не замечала их взглядов.

Вскоре хозяин тронул ее за плечо.

— Мне надо сказать вам словечко, — шепнул он.

Лидия высвободилась из рук Чарли и, отойдя с толстяком в сторону, стала его слушать. Чарли видел, что она испугана. Тот, похоже, кого-то хотел ей показать — Чарли видел, она повернула голову, но за теснящимися танцующими парами ей ничего не удалось увидеть, и она прошла за хозяином в другую конец подвала. Казалось, она совсем забыла про Чарли. Слегка раздосадованный, он вернулся к столу. Там удобно расположившиеся две пары попивали его шампанское, они сердечно его приветствовали. Все уже держались без церемонии и спросили, куда он подевал свою подружку. Он рассказал, что произошло. Один из мужчин был невысокий крепыш с красной физиономией и роскошными усами. Ворот распахнут, видна густо заросшая волосами грудь, да еще из-за удушающей жары он снял пиджак, закатал рукава рубашки, и оказалось, выше локтя руки сплошь в татуировке. С ним сидела девица, должно быть, лет на двадцать его моложе. Ее гладко прилизанные черные волосы были разделены посередине пробором и собраны на затылке в узел, лицо — точно белая маска — густо напудрено, губы ярко накрашены, щедро подведены глаза. Крепыш подтолкнул ее локтем:

— Слышь, а чего б тебе не станцевать с англичанином? Ты ж пила его игристое, верно я говорю?

¹ Да здравствуют страны согласия (*фр.*).

² За наших союзников (*фр.*).

— Я не против, — сказала она.

Танцуя, она так и льнула к Чарли. Она была сильно надушена, но не настолько, чтобы не чувствовалось, что за ужином она ела что-то изрядно сдобренное чесноком. Она зазывно улыбалась Чарли.

— До чего ж, видать, погряз в пороке наш красавчик-англичанин, — ворковала девица, извиваясь всем своим гибким телом, в черном, но пыльном бархатном платье.

— Почему вы так думаете? — улыбался Чарли.

— Быть с женой Берже — это разве не порок?

— Она моя сестра, — весело отозвался Чарли.

Девица сочла это верхом остроумия и, когда оркестр умолк и они вернулись к столу, повторила его слова всей компании. Такой ответ всех позабавил, и волосатый крепыш шлепнул Чарли по спине.

— Farceur, va!¹

Чарли вполне устраивало, что его принимают за шутника. Успех был приятен. Он понимал, что как любовник жены знаменитого убийцы он тут и сам вроде важной персоны. Они подбивали его прийти еще разок.

— Только приходите один, — сказала девица, с которой он перед тем танцевал.

— Мы подберем вам девчонку. На кой вам якшаться с этими русскими? Французское вино — вот что вам надо.

Чарли заказал еще бутылку шампанского. Он ничуть не пьянел, но был весел. Он вовсю наслаждался жизнью. Когда вернулась Лидия, он болтал и смеялся со своими новыми приятелями, будто был знаком с ними целую вечность. Следующий танец он танцевал с ней. Он заметил, что мысли ее далеко, и слегка встряхнул ее.

— Вы где-то витеаете.

Она засмеялась.

— Извините. Я устала. Давайте уйдем.

— Вы расстроены, что-нибудь случилось?

— Нет, но уже поздно, и жара невыносимая.

Обменявшись дружескими рукопожатиями с новыми знакомыми, они вышли и сели в такси. Лидия в изнеможении откинулась на спинку сиденья. Чарли, убогаторенный, разнеженный, взял Лидию за руку. Ехали в молчании. Они легли, и уже через несколько минут по ровному дыханию Лидии Чарли понял, что она уснула. А ему не спалось, слишком он был взбудоражен. Он так славно провел

¹ Ну и шутник (фр.).

вечер, и приятное оживление не проходило. Какое-то время он перебирал все в уме и усмехался, представляя, как распишет этот вечер своим домашним. Он зажег свет, собираясь почитать. Но стихи Блейка не шли ему сейчас на ум. Беспорядочные воспоминания проносились в голове. Он погасил свет и задремал, но скоро проснулся. Его снедало желание. Он слышал спокойное дыхание спящей в соседней постели женщины, и странное чувство шевельнулось у него в душе. Если не считать тот первый вечер в *Sérail*, Лидия не вызывала в нем ничего, кроме жалости и доброты. Как женщина она несколько его не привлекала. Он видел ее несколько дней подряд с утра до ночи, и теперь она не казалась ему даже просто хорошенькой; ему не нравилось ее широкое скуластое лицо и то, как неглубоко сидели в орбитах ее неяркие глаза; иногда он находил ее просто дурнушкой. Несмотря на жизнь, которую она сама для себя избрала (по мотивам нелепым и противоестественным), от нее веяло немислимой благопристойностью, убивающей всякие фривольные мысли. Да и ее равнодушие к плотской близости замораживало. Мужчины, которые за деньги пользовались ею ради удовольствия, вызывали в ней презренье и гадливость. Страстно любя Робера, она отрешилась от каких-либо иных привязанностей, и это убивало желание. Но кроме всего прочего, она и сама по себе не слишком нравилась Чарли; иногда она бывала угрюма, почти всегда равнодушна; все его знаки внимания принимала как должное; да, конечно, она ничего не просит, однако было бы приятно дожидаться от нее пусть не благодарности, но хоть намек на то, что она замечает, как он ради нее старается. И уж не водит ли она его за нос, как последнего дурня? Если Саймон сказал правду и она зарабатывает в публичном доме, чтобы помочь Роберу бежать с каторги, значит, она попросту отъявленная лгунья; от мысли, что у него за спиной она потешается над его простодушием, его бросило в жар. Нет, несколько он ею не восхищался и чем больше о ней думал, тем меньше она ему нравилась. И однако сейчас его охватило такое неодолимое желание, что казалось, он вот-вот задохнется. Она вдруг представилась ему не такой, какой он видел ее каждый день, бесцветной, будто учительница в воскресной школе, но той, какую увидел впервые, в широких турецких шальварах и голубом тюрбане, осыпанном звездочками, накрученную, с накрашенными ресницами; ему виделась ее тонкая талия, чистая, нежная медового цвета кожа и маленькие упругие груди с розовыми

сосками. Он беспокойно ворочался в постели. Не мог он совладать с желанием. Что за пытка. В конце концов, это несправедливо, он молодой, сильный, нормальный мужчина, отчего ж ему не развлечься, когда подвернулся случай? Ведь для того она тут и есть, она сама так сказала. Пускай сочтет его грязной свиньей, что из того? Он обошелся с ней как нельзя лучше, заслужил же он хоть что-то. Ее спокойное, едва слышное дыхание странно возбуждало, и сам он задышал чаще. Ему уже чудилось, как он прильнул губами к ее нежным губам, ощущает в ладонях ее маленькие груди, в объятиях — ее гибкое тело, прижимается длинными ногами к ее ногам. Он зажег свет в надежде, что она проснется, и встал с постели. Склонился над Лидией. Она лежала на спине, скрестив руки на груди, словно каменное изваяние на саркофаге; из-под сомкнутых век струились слезы, рот искривлен скорбью. Она плакала во сне. Сейчас она совсем как ребенок, и на лице по-детски безысходное отчаяние, ведь ребенок не знает, что горе пройдет, как проходит все остальное. У Чарли перехватило дыхание. Было нестерпимо видеть спящую такой несчастной, и его захлестнула жалость, напрочь смывая и страсть, и желание. Весь день Лидия была весела, приветлива, охотно поддерживала разговор, и ему казалось, ее хотя бы ненадолго отпустила боль, которая, он сознавал, затаилась в глубине ее души; но во сне боль вернулась, и как же хорошо он понимал, что за горькие сны ее мучат. Он глубоко вздохнул.

Но спать уже совсем не хотелось, о том, чтобы опять лечь в постель, и думать было тошно. Чарли повернул абажур так, чтобы свет не беспокоил Лидию, и, подойдя к столу, набил и разжег трубку. Потом отодвинул тяжелую занавесь на окне, сел и посмотрел во двор. Двор был темный, светило лишь одно окно, и это выглядело зловеще. Быть может, там кто-то болен или просто вот так же не может уснуть и невесело размышляет над запутанностью жизни. А может, мужчина привел к себе женщину, и, утолив страсть, они довольные лежат в объятиях друг друга. Чарли закурил. Он был угнетен и подавлен. Ни о чем не думалось. И наконец он опять лег и уснул.

9

Проснулся он оттого, что горничная внесла утренний кофе. В первую минуту он забыл все, что было ночью.

— До чего же крепко я спал, — сказал он, протирая глаза.

— Прошу прощения, но уже половина одиннадцатого, а в половине двенадцатого у меня деловая встреча, — отозвалась Лидия.

— Ну что вы. Сегодня мой последний день в Париже, глупо было бы его проспать.

Горничная принесла два завтрака на одном подносе, и Лидия велела отдать его Чарли. А сама надела халат, села в изножье его кровати и прислонилась к спинке. Налила кофе, разрешила пополам булочку и намазала его половинку маслом.

— Я смотрела на вас спящего, — сказала она. — Вы так славно спите, будто зверек или ребенок, так глубоко, покойно, отдыхаешь, даже просто глядя на вас.

И тут он вспомнил.

— Боюсь, вы не очень хорошо провели ночь.

— Еще как хорошо. Спала как убитая. Понимаете, я отчаянно устала. Вот за что я вам особенно благодарна, — мне чудесно спалось все эти ночи. Меня ужасно мучают сны. А здесь мне ни разу ничего не снилось, я спала совсем спокойно. А ведь я думала, мне уже никогда так не спать.

Чарли знал, прошлая ночь не обошлась без снов, и знал, что за сны ей снились. Она их не помнила. Он избегал на нее смотреть. И неприятно, и страшно, и жутко было думать, что, когда человек погружается в бессознательное состояние, его живая, мучительная жизнь может продолжаться, жизнь настолько реальная, что слезы текут ручьями и гримаса горя искажает рот, и, однако, проснувшись, он ничего не помнит. Чарли поежился от внезапно мелькнувшей мысли. Он не сумел бы точно ее выразить, а если бы это удалось, пожалуй, спросил бы себя:

— Кто же мы в сущности такие? Что мы знаем о себе? А бессознательная наша жизнь, она что, не такая подлинная, как та, которой мы живем наяву?

Очень странно и сложно все это. Похоже, жизнь совсем не так проста, как казалось прежде, похоже, у людей, которых, как мы полагали, мы хорошо знаем, есть тайны, о существовании которых они и сами не ведают. Чарли внезапно подумалось, что люди беспредельно загадочны. Одно несомненно, ты ни о ком ничего не знаешь.

— Что у вас за встреча? — спросил он скорее не из любопытства, а просто чтобы что-то сказать.

Прежде чем ответить, Лидия закурила сигарету.

— Марсель, тот толстяк, хозяин рестораника, где мы были вчера вечером, познакомил меня с двумя людьми, и я договорилась встретиться с ними сегодня утром в Палетт. Вчера в этой толчее нам не удалось поговорить.

— Вот как!

Сдержанность не позволила ему спросить, что это за люди.

— Марсель поддерживает связь с Кайенной и Сен-Лораном. Он часто получает оттуда вести. Поэтому мне и хотелось туда пойти. Они на прошлой неделе бросили якорь в Сен-Назере.

— Кто? Эти двое? Они беглые каторжники?

— Нет. Они отбыли свой срок. За их проезд заплатила Армия спасения. Они знают Робера. — Она на миг запнулась. — Если хотите, можете пойти со мной. У них нет денег. Они будут благодарны, если вы им немножко дадите.

— Хорошо. Я бы пошел.

— Они, кажется, вполне приличные ребята. Одному, должно быть, не больше тридцати. Марсель говорит, он был осужден за то, что убил человека прямо в кухне ресторана, где он работал поваром. А за что судили другого, не знаю. Подите-ка примите ванну. — Она прошла к туалетному столику и посмотрелась в зеркало. — Странно, отчего у меня опухли веки. Вид такой, будто я плакала, а ведь ничего такого не было, вы же знаете.

— Верно уж очень накурено было в ресторане. Господи, там же так надыхали — не продыхнешь.

— Я позвоню, чтобы принесли лед. А потом минут пять побудем на свежем воздухе, и все пройдет.

Когда они вошли в Палетт, там было пусто. Те, кто поздно завтракал, уже выпили кофе и ушли, а время предобеденного аперитива еще не настало. Лидия и Чарли сели в уголке у окна, чтобы можно было смотреть на улицу. Прождали несколько минут.

— Вот они, — сказала Лидия.

Чарли глянул из окна, увидел идущих мимо двух мужчин. Они заглянули в окно, чуть помешкали и прошли дальше, потом вернулись; Лидия улыбнулась им, но они не обратили на нее внимания; постояли, посмотрели вдоль улицы в одну сторону, в другую, потом неуверенно — на кафе. Похоже, они не решались войти. Оба держались робко, словно старались быть понезаметней. Они перекинулись несколькими словами, и тот, что помоложе, торопливо и тревожно

оглянулся. Второй вдруг решился и пошел к дверям. Его приятель поспешил следом. Они вошли, и Лидия помахала им рукой и улыбнулась. Они по-прежнему словно не замечали ее. Украдкой огляделись, будто проверяя, не грозит ли какая опасность, потом подошли, один глядя в пол, другой в сторону. Лидия пожала им руки, представила Чарли. Они, видно, ждали, что она будет одна, и присутствие спутника их смутило. Они посмотрели на Чарли подозрительно. Лидия объяснила, что он англичанин, ее приятель, на несколько дней приехал в Париж. Чарли, стараясь улыбнуться возможно приветливее, протянул руку; один за другим они вяло ее пожали. Казалось, им вовсе нечего сказать. Лидия пригласила их присаживаться и спросила, что им заказать.

— Чашку кофе.

— А есть что-нибудь будете?

Старший смущенно улыбнулся приятелю.

— Пирожное, если можно. Парнишка сластена, а там, откуда мы приехали, этим не баловали.

Говоривший был чуть ниже среднего роста. Лет, должно быть, сорока. Второй — дюйма на три выше и лет, наверно, на десять моложе. Оба очень тощие. Оба при воротничках и при галстуках, в грубошерстных костюмах, один в серо-белую клетку, другой в темно-зеленом, но костюмы плохо сшиты и сидели мешковато. Обоим было явно не по себе в этом одеянии. Старший, хоть и невысок ростом, был крепок и ладно скроен; изжелта-бледная физиономия изрезана морщинами. Вид решительный. Лицо второго такое же бледное, бескровное, но туго натянутая кожа гладкая, без морщин, он выглядел совсем больным. Было у них и еще одно общее свойство: глаза у обоих казались неестественно большими, и когда они обращали на вас взгляд, они будто смотрели не на вас, а, уставясь как сумасшедшие куда-то вдаль, вглядывались во что-то, что внушало им ужас. Мучительно это было. Поначалу они робели, а поскольку Чарли тоже робел, хотя, желая проявить дружелюбие, угощал их сигаретами, а Лидия, казалось, не видела нужды в словах и довольствовалась тем, что не сводила с них глаз, все сидели молча. Но она смотрела на этих двоих с таким ласковым участием, что молчание никого не смущало. Официант принес кофе и тарелку с пирожными. Старший повертел пирожное в руках, а второй ел с жадностью, то и дело украдкой бросая на приятеля трогательные удивленно-восхищенные взгляды.

— Мы как очутились одни в Париже, мы первым делом махнули в кондитерскую, и парнишка уплел подряд шесть шоколадных эклеров. Но это ему не прошло даром.

— Ага, — серьезно сказал второй. — Мы только вышли на улицу, и меня стошнило. Живот мой к этому не приучен, вот какое дело. Но эклеры того стоили.

— Вас там очень плохо кормили?

Старший пожал плечами.

— Триста шестьдесят пять дней в году мясо. Скоро перестаешь это замечать. Да еще, если ведешь себя по правилам — а правила лучше не нарушать, — дают сыр и немного вина. Конечно, когда отбарабанил срок и тебя освободили, тут дело хуже. В тюрьме и харч, и крыша над головой, а на свободе крутись как знаешь.

— Мой друг не понимает, — сказала Лидия. — Объясните ему. У них в Англии по-другому.

— А оно вот как. Приговорили тебя на срок восемь, десять, пятнадцать, двадцать лет отсидки, а свое отрубил — ты *libéré*¹. И должен оставаться в колонии еще столько лет, на сколько был осужден. Работу найти трудно. У *libérés* дурная слава, и никому неохота их нанимать. Правда, могут дать участок земли, и, пожалуйста, обрабатывай, да ведь не всякий сумеет. Столько лет просидел в тюрьме, да выполнял приказы охранников, да половину времени вовсе ничего не делал, вот и отвыкаешь мозгами шевелить; а еще малярия, глисты, никаких сил не остается. Большинство получают работу, только когда приходит пароход, малость подрабатывают на разгрузке. *Libéré* спит на базаре, пьет рафию, если подвернулся случай, да голодает, ничего другого ему не остается. Мне повезло. Понимаете, я по профессии электрик, хороший электрик, свое дело знаю лучше некуда, стало быть, человек нужный. Вот и жилось мне неплохо.

— На сколько вас осудили? — спросила Лидия.

— Всего на восемь лет.

— А за что?

Он слегка пожал плечами, с неодобрительной улыбкой глянул на Лидию.

— Дурь, мальчишество. Бывает, по молодости попадешь в скверную компанию, слишком много пьешь, а там, глядишь, что-то случается и потом всю жизнь за это распла-

¹ Освобожденный (*фр.*).

чиваешься. Мне тогда было двадцать четыре, а теперь сорок. Лучшие свои годы провел в этом аду.

— Он мог бы выбраться раньше, да не захотел, — сказал младший.

— Вы хотите сказать, мог сбежать? — спросила Лидия.

Чарли быстро испытующе взглянул на нее, но ничего не прочел по ее лицу.

— Сбежать? Нет, это дурацкая затея. Сбежать всегда можно, а вот выбраться на свободу мало кому удалось. Куда денешься? В заросли? Лихорадка, дикие звери, голод, а еще туземцы, схватят тебя, за поимку ведь заплатят. Многие пробовали бежать. Понимаете, бывает, человек сыт по горло, все опостылело, еда, приказы, физиономии всех каторжников, ну и подумает, все будет лучше, чем такая жизнь, а выдержать не сможет: такие, если не помрут от голода или от болезни, попадаются туземцам или сами сдаются; и тогда два года одиночки, а то и больше, и надо быть здоровенным парнем, не то сломаешься. Раньше, когда голландцы строили железную дорогу, было проще, перебрался через реку, и тебя берут на работу, а теперь дорога построена и рабочие уже им без надобности. Они тебя схватят и отправят обратно. Но даже и тут приходилось рисковать. Был там один таможенник, он обещал переправить тебя через реку за деньги, был у него свой тариф. Договоришься встретиться с ним ночью где-нибудь в джунглях, а придешь, он возьмет да и застрелит тебя и опустошит карманы. Говорят, покуда его не поймали, он человек тридцать погубил. Кое-кто ушел морем. Человек шесть сговорятся и подобыют какого-нибудь *libéré* купить жалкое суденышко. Трудное это плавание, без компаса, безо всего, и ведь не знаешь, когда налетит шторм; если куда приплывут, это скорей везенье, а не уменье. И опять же, куда деваться? Венесуэла их больше не принимает, а высадутся они там, их — в тюрьму и отправляют обратно. Высадутся в Тринидаде, власти поддержат их неделю, снабдят продуктами, даже лодку дадут, если ихняя не годится для морского плавания, и отправляют в море, а плыть-то некуда. Нет, бежать и пробовать глупо.

— Но ведь, бывает, удается людям. — сказала Лидия. — Этот вот доктор, как же его имя? Говорят, он практикует где-то в Южной Америке и живет неплохо.

— Да, с деньгами иной раз и удается бежать, только если не на островах, а в Кайенне или в Сен-Лоране. Можно сговориться со шкипером бразильской шхуны, он подберет

тебя в море и если он честный парень, посадит где-нибудь на берегу, где ты будешь в полной безопасности. А жулик возьмет у тебя деньги да вышвырнет тебя за борт. Но он теперь требует двенадцать тыщ франков, а значит, денег надо вдвое больше, — libéré, который передаст их шкиперу, за посредничество берет половину. А потом ведь не высадишься в Бразилии без гроша в кармане. Надо иметь по крайности тридцать тыщ франков, а у кого они есть?

Лидия задала еще один вопрос, и опять Чарли бросил на нее пытливый взгляд.

— Но как можно быть уверенным, что libéré передаст деньги?

— А никак. Бывает, и не передает, но тогда ему рано или поздно всадят нож в спину, и он хорошо знает, начальство не станет особо беспокоиться, если однажды утром какого-то там libéré найдут мертвым.

— Ваш приятель сказал, вы могли уехать раньше, но не уехали. Что это значит?

Коротышка неодобрительно пожал плечами.

— Я сумел стать полезным человеком. Комендант был порядочный малый, и он видел, я хороший работник и честный. Они скоро поняли, меня можно оставлять в доме одного, если надо что-то там сделать, и я ничего не трону. Он выхлопотал для меня разрешение вернуться во Францию, когда мне оставалось еще жить там два года как libéré. — Он трогательно улыбнулся другу. — Но не хотел я оставлять этого негодника. Знал, без меня он попадет в переplet.

— Верно, — сказал младший. — Я всем ему обязан.

— Он, когда вышел, совсем был сосунок. Его койка стояла рядом с моей. Днем держался совсем неплохо, а по ночам плакал и звал мамашу. Мне жалко его было. Сам не знаю, как это вышло, а только привязался я к нему. Парнишка совсем растерялся среди тамошней братии, и пришлось мне за ним приглядывать. Кое-кто стал было его донимать, один алжирец не давал ему проходу, но я его проучил, и тогда все оставили парнишку в покое.

— А как вы его проучили?

На лице коротышки появилась такая веселая, озорная ухмылка, что он вдруг сразу помолодел на десять лет.

— Ну, понимаете, там можно заставить себя уважать, только если умеешь владеть ножом. Я вспорол ему брюхо.

У Чарли перехватило дыхание. Это было сказано так просто, он с трудом поверил своим ушам.

— Понимаете, с девяти до пяти мы заперты в общей спальне, и надзиратели туда не заходят. Сказать по правде, им это может стоить жизни. Если утром кого-нибудь находят с дыркой в животе, начальство не задает вопросов, знает, правды ему все равно не скажут. Так что, понимаете, я вроде чувствовал себя в ответе за парнишку. Надо было всему его научить. У меня голова на плечах, и я скоро сообразил, хочешь жить легко, от тебя только одно требуется: делай, как тебе велят, и будь тише воды ниже травы. Не справедливость на свете правит, а сила, а сила у него, у начальства; в один прекрасный день власть, может, будет у нас, у рабочего люда, тогда мы этим буржуйам покажем, почем фунт лиха, а до тех пор надо подчиняться. Этому я его и учил, а еще своему делу, и теперь он почти такой же классный электрик, как я.

— Теперь нам только надо найти работу, — сказал младший. — Чтоб работать вместе.

— Мы через такое вместе прошли, нам теперь расставаться нельзя. Понимаете, у меня кроме него никого. Ни матери, ни жены, ни ребятишек. Была мать, да померла, а жену и ребятишек потерял, когда попал в эту историю. Женщины суки. А если никого не любишь, трудно на свете.

— А я, кто у меня? Мы вдвоем, это уж навсегда.

Было что-то очень трогательное в дружбе этих двух бедолаг. Чарли пришел в волнение и даже сам смутился; сказать бы им, что их дружба прекрасна, замечательна, но никогда ему не произнести такие непривычные слова. Зато Лидия ничуть не смущалась.

— Не знаю, много ли найдется людей, кто ради друга остался бы в этом аду на два долгих года, если мог уехать.

Коротышка фыркнул.

— Знаете, там время — прямая противоположность деньгам: там каждый грош — событие, а прорва времени считай ничто. Шесть су хранишь, будто целое богатство, а два года — про них и говорить-то не стоит.

Лидия тяжело вздохнула. Ясно было, о чем она думает.

— Берже там не очень надолго?

— Пятнадцать лет.

Все помолчали. Видно было, с каким трудом Лидия пытается справиться с волнением, но когда она заговорила, голос ее дрогнул.

— Вы его видели?

— Да. Я с ним разговаривал. Вместе в больнице лежали.

Я лег, чтоб мне вырезали аппендикс, думал, вернусь во Францию, и не ровен час придется вырезать, на что это мне. А Берже работал на строительстве дороги из Сен-Лорана в Кайенну, и его приступ малярии свалил.

— Я этого не знала. Получила от него одно письмо, но про это ни слова.

— Там у всех малярия, рано или поздно не минует. Чего тут расписывать. Ему повезло, что его так скоро схватило. Он приглянулся военному доктору, Берже-то он грамотный, а такие там наперечет. Они там будут хлопотать, чтоб он, когда оклемается, остался при больнице. Теперь ему будет неплохо.

— Марсель мне сказал, вы мне что-то от него передадите.

— Да, он дал мне адресок. — Коротышка вынул из кармана пачку бумаг и протянул Лидии листок, на котором было что-то написано. — Если сможете послать денег, шлите по этому адресу. Но помните, он-то получит только половину.

Лидия взяла клочок бумаги, посмотрела на него и спрятала в сумочку.

— Что-нибудь еще?

— Да. Сказал, пускай, мол, не убивается. Сказал, ему не так уж плохо, могло быть и похуже, он освоился и вполне справится. И знаете, это верно. Берже не дурак. Много ошибок не наделает. Он такой, не ударит в грязь лицом. Вот увидите, будет жить не тужить.

— Как это не тужить?

— А вот даже не поверишь, к чему только человек не привыкает. Ваш-то малость шутник, верно? Бывало, такое сказанет, мы покатываемся. Он в чем хочешь смешное увидит, это редкий человек может, а уж он может, это точно.

Лидия побледнела. Сидела молча, опустив глаза. Старший из тех двух обернулся к приятелю:

— Не помнишь, я тебе рассказывал, чего-то он сказал про того малого в больнице, который по глотке себя полоснул, обхохочешься.

— Ага, помню. Чего ж это он говорил? Начисто забыл, а только помню, хохотал до упаду.

Все надолго замолчали. Казалось, говорить больше не о чем. Лидия задумалась, а два приятеля обмякли на стульях, безучастным взглядом уставились в пространство, будто куклы, которых продают на бульваре Монпарнас, те, что,

покачиваясь, идут и идут по кругу и вдруг застывают. Лидия вздохнула.

— Наверно, мы обо всем переговорили, — сказала она. — Спасибо, что пришли. Надеюсь, вы найдете работу, такую, какую ищете.

— Армия спасения для нас старается. Я так думаю, что-нибудь да получится.

Чарли вынул из кармана бумажник.

— Вы, вероятно, не слишком богаты. Я хотел бы немного помочь вам продержаться, пока не найдете работу.

— Вот это пригодится, — просияв, сказал старший. — Армия спасения кормит и койку дает, а больше она ничего не может.

Чарли протянул им пятьсот франков.

— Отдайте парнишке, пускай хранит. Он мастер зажать монету, что твой крестьянин, страх не любит выкладывать деньги, он какие-нибудь пять франков надолго растянет, почище любой старухи.

Все вместе они вышли из кафе и обменялись рукопожатиями. За тот час, что они провели в кафе, два приятеля стали раскованней, но на улице опять оробели. Казалось, они съезились, словно хотели стать как можно незаметней, и украдкой поглядывали по сторонам, будто боялись, что кто-нибудь сейчас на них набросится. Плечом к плечу, с опущенными головами, они пошли прочь и наконец, быстро оглянувшись, скрылись за углом.

— Вероятно, я просто предубежден, но, должен признаться, мне было не по себе в их обществе, — сказал Чарли.

Лидия не отозвалась. В молчании шли они по бульвару, в молчании обедали. Лидия была погружена в свои мысли, Чарли догадывался, о чем они, и чувствовал, что разговор о пустяках она поддерживать не станет. Да ему и самому было о чем подумать. Недавняя беседа с двумя каторжниками, вопросы, которые им задавала Лидия, воскресили подозрения, которые посеял у него в душе Саймон, и хотя он пытался их отместить, они затаились в глубине сознания, точно затхлый запах давно запертой комнаты, который не в силах развеять никакой сквозняк. Ему было неприятно, скорее не потому, что он не желал, чтоб его дурачили, а потому, что не хотелось думать, будто Лидия лгунья и лицемерка.

— Я хочу пойти повидать Саймона, — сказал он, когда они кончили с обедом. — Я приехал в Париж главным образом, чтобы побыть с ним, а мы толком и не виделись. Надо хотя бы пойти попрощаться с ним.

— Да, конечно, надо.

Чарли собирался еще и вернуть Саймону статью и газетные вырезки, которые тот давал ему читать. Все это лежало у него в кармане.

— Если вы хотите провести вечер со своими русскими друзьями, я сперва завезу вас к ним.

— Нет, я вернусь в гостиницу.

— Боюсь, я приду поздно. Вы ведь знаете, какой Саймон, когда разговорится. Вам одной не будет скучно?

— Я не привыкла к такому вниманию, — улыбнулась Лидия. — Нет, мне скучно не будет. Мне не часто удастся побыть одной. Посидеть в одиночестве и знать, что никто не войдет... да большей роскоши и представить нельзя.

Они расстались, и Чарли направился к Саймону. Он знал, в такое время он скорее всего застанет приятеля дома. Он позвонил, и Саймон открыл дверь. Он был в пижаме, в халате.

— Привет! Я так и думал, тебя может занести. Мне утром не надо было выходить, и я не одевался!

Он не брился и, похоже, не мылся тоже. Длинные прямые волосы встрепаны. В тусклом свете, что просачивался в комнату через глядящее на север окно, его беспокойные сердитые глаза на бледном худом лице казались угольно-черными, под глазами залегли густые тени.

— Садись, — продолжал он. — У меня сегодня в камине огонь вовсю и здесь тепло.

И вправду было тепло, но комната оставалась все такая же заброшенная, безрадостная, неприбранная.

— Твой роман по-прежнему в разгаре?

— Я прямо от Лидии.

— Завтра возвращаешься в Лондон? Смотри, чтоб она не слишком много с тебя содрала. Чего ради тебе помогать ей вытащить из тюрьмы ее отвратного супруга.

Чарли вынул из кармана газетные вырезки.

— По твоей статье я понял, что он тебе в какой-то мере симпатичен.

— Симпатичен? Нет. Он был мне интересен — уж слишком явный подлец, без стыда и совести. Я восхищался его самообладанием. При других обстоятельствах он мог бы стать очень полезным орудием. Во время революции смельчаку

вроде него, который не знает сомнений и ни перед чем не остановится, — такому цены нет.

— По-моему, не очень надежное было бы оружие.

— Кажется, это Дантон говорил, что в революции на поверхность поднимается пена общества, негодяи и преступники? Вполне естественно. От них требуется определенная работа, а когда они сослужат службу, от них можно избавиться.

— Я вижу, у тебя все продумано, дружище, — с веселой усмешкой сказал Чарли.

Саймон нетерпеливо передернул костлявыми плечами.

— Я изучал французскую революцию и коммуны. Русские тоже их изучали и многому научились, но у нас теперь есть преимущество — мы можем воспользоваться уроками, которые извлекли из последующих событий. В Венгрии наломали дров, зато в России уроки не прошли даром, и Италия и Германия тоже не сплеховали. Были бы мы не дураки, мы бы смогли повторить их успехи и избежать их ошибок. Революция Белы Куна не удалась, потому что народ голодал. Когда поднялся пролетариат, совершить революцию оказалось сравнительно легко, но пролетариат надо кормить. Нужно все так организовать, чтобы транспорт работал бесперебойно и провизии было вдоволь. Вот, кстати, почему власть, ради захвата которой пролетариат совершал революцию, не должна ему достаться, она должна попасть в руки небольшой кучки разумных вождей. Народ не способен собой управлять. Пролетарии — рабы, а рабам нужны хозяева.

— Как я понимаю, ты теперь вряд ли станешь называть себя подлинным демократом, — сказал Чарли с насмешливым огоньком в глазах.

Саймон нетерпеливо отмахнулся ироническим замечанием.

— Демократия — пустая выдумка. Неосуществимый идеал, которым пропагандист размахивает перед массами, как машут морковкой перед мордой осла. Эти знаменитые девизы девятнадцатого века — свобода, равенство, братство — просто чушь. Свобода? Массы не нуждаются в свободе, а получив ее, не знают, что с ней делать. Их обязанность и их удовольствие — служить; только таким образом они обретают уверенность в завтрашнем дне, а это и есть их сокровенное желание. Уже давным-давно решено, что единственная стоящая свобода — это свобода поступать по справедливости, а что справедливо, решает тот, у кого сила. Справедливость — это идея, рожденная общественным мнением и предписанная законом, но общественное мнение

создают те, у кого власть, они и навязывают свою точку зрения, а могущество закона опирается на силу. Братство? Что ты подразумеваешь под братством?

Чарли на минуту задумался.

— Ну, не знаю. Наверно, это ощущение, что все мы члены одной огромной семьи и здесь на земле нам отпущен такой краткий срок, что надо жить в согласии друг с другом.

— И больше ничего?

— Ну, только что жизнь трудная штука, и, должно быть, каждому будет легче, если относишься ко всем по-доброму, порядочно. У людей множество недостатков, но и много хорошего. Чем лучше знаешь человека, тем милей он оказывается. Значит, наверно, если отнестись к нему с доверием, он пойдет тебе навстречу.

— Чепуха, мой дорогой, чепуха. Ты сентиментальный дурак. Во-первых, неправда, что при ближайшем знакомстве человек оказывается лучше, ничего подобного. Вот почему следует обзаводиться только знакомыми и ни в коем случае не друзьями. Знакомый оборачивается к тебе только своими лучшими сторонами, он внимателен, учтив, он скрывает свои дурные свойства за маской общепринятой благопристойности. Но сойдишь с ним поближе, и он отбросит маску, не даст себе труда притворяться, и перед тобой предстанет существо такое низкое, натура такая заурядная, слабая, продажная, что ты ужаснешься, если еще не понял, — таков человек по природе своей и осуждать его так же глупо, как осуждать волка за волчий аппетит или кобру за смертельный укус. Суть человеческой природы — эгоизм. В эгоизме и сила его и слабость. За два года, что я работаю в газете, мне довелось ох как хорошо узнать людей. Тщеславные, ограниченные, бессовестные, корыстолюбивые, двуличные и малодушные, они готовы предать друг друга даже не ради собственной выгоды, а из одной только злобы. Они пускаются во все тяжкие, лишь бы подложить сопернику свинью. Пойдут на любое унижение ради титула или ордена. И не только политики. Адвокаты, врачи, коммерсанты, художники, литераторы. А как они жаждут славы. Готовы кланяться и льстить дрянному журналистишке, только бы он превознес их в печати. Богач пойдет на любую гнусность, лишь бы заполучить побольше денег, а ему и так их девать некуда. Честность, что в политике, что в коммерции, существует лишь постольку, поскольку позволяет им провернуть какое-нибудь дельце. Сдерживает их только страх. Потому что они трусы. И все их торжественные за-

верения — это лишь высокопарная болтовня, бесстыдная ложь, самообман. Поверь мне, не очень-то много сохранишь иллюзий насчет человеческой натуры, занимаясь делом, которым я занят с тех пор, как бросил Кембридж. Люди мерзки. Они трусы и лицемеры. Я их терпеть не могу.

Чарли опустил глаза. Неловко ему было сказать то, что хотелось. Это звучало глуповато.

— И ты их совсем не жалеешь?

— Жалеть? Жалость — это по бабьей части. Жалость вызывает нищий, ведь нет у него ни силы воли, ни трудолюбия, ни мозгов, чтоб заработать на сносную жизнь. Жалость — это лесть, которой жаждет неудачник, чтоб сохранить самоуважение. Жалость — это ничтожная подачка потерпевшим крушение, которая позволяет преуспевающей публике с чистой совестью наслаждаться своим преуспеванием.

Саймон сердито запахнул халат. Чарли узнал свой старый халат, он когда-то собрался его выкинуть, а Саймон попросил отдать ему, Чарли засмеялся, сказал, что лучше подарит ему новый, но Саймон стоял на своем, говорил, ему и этот вполне подойдет. Чарли тогда смущенно подумал, уж не обиделся ли на него Саймон за такой пустячный подарок.

— Равенство? — продолжал Саймон. — Равенство — отъявленная чепуха, самая нелепая из всех, какие когда-либо смущали человечество. словно люди равны или могут быть равны! Говорят о равных возможностях. На что людям равенство, ведь им от него нет никакого толка. Люди рождаются неравными, они разные по характеру, жизнеспособности, по складу ума; и никакие равные возможности этого не возместят. В большинстве люди беспросветно тупы. Легковерные, поверхностные, беспомощные, откуда им получить равные возможности с теми, у кого есть характер, ум, трудолюбие, сила? И именно это естественное неравенство людей вышибает почву из-под ног демократии. Что за дурацкий фарс — править государством, считаясь с миллионными безмозглых! Во-первых, они сами не знают, что для них благо, и во-вторых, они неспособны воспользоваться благами, которых хотят. К чему же сводится демократия? К тому, насколько убедительны лозунги, измышленные хитрыми, корыстными политиками. При демократии господствуют слова, причем у оратора редко голова на плечах, а если он и башковитый, ему не хватает времени все обмоз-

говать, его силы уходят на то, чтобы умаслить дурачье, от чьих голосов он зависит. Демократия испытывалась сто лет: теоретически это всегда была нелепость, а теперь мы знаем, что и на практике она провалилась.

— И несмотря на это ты намерен, если удастся, пройти в парламент. Бесчестный ты малый, друг мой Саймон.

— В Англии, в стране, приверженной традициям, где чтут искони установленные институты, только внутри этих институтов возможно обрести достаточное могущество, чтобы осуществить свои планы. Думаю, получить поддержку в стране и собрать вокруг себя необходимое число сторонников для *coup d'état*¹ может лишь видный член одной из ведущих партий в палате общин. А так как переворот может совершить только народ, это должна быть лейбористская партия. Даже когда созрели условия для революции, имущие классы все еще сохраняют достаточно привилегий, чтобы наилучшим для себя образом использовать неблагоприятные обстоятельства.

— Какие условия ты имеешь в виду? Поражение в войне и экономическую катастрофу?

— Именно. Даже и тогда страдания имущих классов весьма относительно. Ну станут они пореже раскатывать в своих автомобилях или закроют свои загородные дома, от чего прибавится безработных, а их собственная жизнь не так уж и осложнится. Но народ голодает. И когда ты станешь говорить, что ему нечего терять, кроме своих цепей, он будет тебя слушать, и когда ты станешь махать у него перед носом наживкой из чужой собственности, он даст волю своей жадности и зависти, которые он вынужден был подавлять, пока не мог дать им волю. С такими девизами, как свобода и равенство, его можно будет повести в атаку. История последней четверти века показывает, что он непременно победит. Собственность расслабила имущие классы, они гуманны и сентиментальны, нет у них ни воли, ни мужества, чтобы себя защитить; их мнения не совпадают, и в решающую минуту, когда надо действовать немедленно и безжалостно, они теряют время во взаимных упреках. Но толпой, этим орудием вождей революции, движет не разум, а инстинкт, она поддается гипнозу, и лозунгами ее можно довести до неистовства; она единый организм и потому равнодушна к смерти в своих рядах; она не ведает ни

¹ Государственный переворот (*фр.*).

жалости, ни милосердия. Она с радостью разрушает, потому что разрушая, осознает свою силу.

— Ты, вероятно, не станешь отрицать, что это ведет к убийству тысяч ни в чем не повинных людей и к разрушению институтов, на создание которых потребовались сотни лет.

— Революция не может обойтись без разрушения и убийства. Еще Энгельс много лет назад сказал, что надо быть готовым к тому, что имущие классы будут всеми способами отстаивать свою власть. Это борьба не на жизнь, а на смерть. Демократия приписала человеческой жизни до нелепости большое значение. В нравственном отношении человек равным счетом ничего не стоит, и подавить его можно безо всякого ущерба. Биологически он вообще ничего из себя не представляет; с какой стати приходить в ужас, убив человека, если ничего не стоит прихлопнуть муху.

— Я начинаю понимать, почему тебя заинтересовал Робер Берже.

— Он меня заинтересовал, потому что он убил не из каких-то низких побуждений, не ради денег или из ревности, но ради самоутверждения, в доказательство своей силы.

— Теперь, разумеется, остается доказать, что коммунизм осуществим.

— Коммунизм? Кто говорит о коммунизме? Теперь уже все знают — коммунизм вздор. То была мечта оторванных от жизни идеалистов, которые понятия не имели о подлинной действительности. Коммунизм — соблазн, которым прельщают трудящихся, чтобы они взбунтовались, так же как крик о свободе и равенстве воодушевляет их на риск. В мире всегда были эксплуататоры и эксплуатируемые. И всегда будут. И так и должно быть, потому что огромная масса людей по самой своей природе рабы, они не способны собой управлять, и для их же блага им нужны хозяева.

— Я бы сказал, потрясающее заявление.

— Это не моя мысль, дорогой, — усмехнулся Саймон. — Это Платон, но с тех пор, как он это сказал, история вполне подтвердила его правоту. Каков результат революций, которые совершились на нашем веку? Народ не лишился хозяев, только сменил их, и никогда власть не правила такой железной рукой, как при коммунизме.

— Значит, народ обманули?

— Конечно. А почему бы и нет? Дурачье и получило по заслугам. Какое это имеет значение? Они выиграли весьма

существенно. От них больше не требуется думать о себе, им говорят что надо делать, и покуда они послушны, им дается уверенность в завтрашнем дне, которой они всегда так жаждали. Диктаторы нашего времени наделали ошибок, и мы можем учиться на их промахах. Они забыли изречение Макиавелли: народ можно лишить политической свободы, если предоставить ему свободу в частной жизни. Я предоставил бы народу вообразить себя свободным, дав ему ту меру личной свободы, которая не угрожает безопасности государства. Я национализировал бы промышленность в той степени, которая была бы приемлема для человеческой особи, и тем самым у людей появилась бы иллюзия равенства. И поскольку все они окажутся под одним и тем же ярмом, у них даже появится иллюзия братства. Не забудь, диктатор может сделать для блага народа очень много такого, что демократии не дано, ведь ей приходится считаться с законными интересами, завистью и личными амбициями, и потому у диктатора есть беспримерная возможность облегчить участь масс. Вчера я был на большом коммунистическом митинге, и чуть не на каждом знамени я читал слова: Мир, Работа, Благополучие. Что может быть естественней этих требований? И однако, после ста лет демократического правления люди все еще этого требуют. Диктатор может их удовлетворить одним росчерком пера.

— Но ты же сам признался, что народ только сменил хозяина. Его по-прежнему эксплуатируют. Почему ты думаешь, что он будет с этим мириться?

— А потому, что волей-неволей он вынужден будет мириться. В современных условиях, при самолетах, которые бомбят, и броневиках, вооруженных станковыми пулеметами, диктатор может подавить любое восстание. То же могли бы сделать и имущие классы, но опыт показал, что им не хватает стойкости. Они убивают сотню людей, тысячу, а потом пугаются, ищут компромисса, готовы идти на уступки, но они спохватываются слишком поздно, время для компромиссов и уступок упущено, и их уничтожают. А хозяина народ примет, народ понимает, что хозяин и лучше его и умней.

— А почему это он лучше и умней?

— Потому что сильнее. Раз на его стороне сила, значит, то, что, по его мнению, правильно, вправду правильно, и то, что хорошо, хорошо.

— Это просто как дважды два четыре, но еще менее убедительно, — довольно дерзко отозвался Чарли.

Саймон зло на него посмотрел.

— Тебе это показалось бы достаточно убедительным, если б от этого зависело не только твое благосостояние, но сама жизнь.

— А кому, скажи на милость, предназначено выбирать хозяина?

— Никому. Его неизбежно выдвигают сами обстоятельства.

— А не слишком ли громко сказано?

— Он добирается до вершины, потому что в нем заложен инстинкт главаря. У него есть воля к власти. У него есть отвага и вдохновение, способности, ловкость и энергия. Он ничего не боится, потому что в опасности видит смысл жизни.

— Да, всякий скажет, сомнения тебе не занимать, Саймон, — улыбнулся Чарли.

— С чего ты взял?

— Ну, я думаю, тебе кажется, что ты обладаешь всеми этими свойствами.

— Почему ты так думаешь? Я знаю себя как мало кто. Знаю свои способности, но и пределы своих возможностей. У диктатора должна быть некая мистическая притягательная сила, благодаря которой его последователи впадают в своего рода религиозный восторг. Он должен обладать неким магнетизмом, чтобы они считали за честь отдать за него жизнь. Они должны чувствовать, что в служении ему их жизнь обретает величие. Во мне же ничего такого нет. Я скорее отталкиваю людей, а не привлекаю. Я способен устрашить людей, но вызвать любовь не способен. Помнишь, что сказал Линкольн: «Некоторых людей можно дурачить все время, всех можно дурачить некоторое время, но все время дурачить всех невозможно». Но как раз это и должен делать диктатор: он должен дурачить всех все время, а это возможно только в одном случае — он должен дурачить и самого себя. Ни один диктатор не обладает ясным логичным умом. У диктатора есть внутренний импульс, сила, магнетизм, обаяние, но если повнимательней разобраться в его словах, увидишь, ум у него заурядный. Он может действовать, потому что им движет инстинкт, но стоит ему задуматься, и он сразу запутается. У меня слишком хорошая голова и слишком мало обаяния, какой из меня диктатор. Притом лучше, если диктатор, которого привел к власти пролетариат, будет сам пролетарий. Трудящимся классам будет легче признать его своим, и тем охотней они станут ему подчиняться и служить

верой и правдой. Техника революционного переворота была усовершенствована. При определенных условиях группе решительных людей захватить власть нетрудно, а вот удержать ее трудно. Русская революция ясней ясного показала, что есть для этого только один путь, итальянская и германская революции это подтвердили, хоть и не так убедительно. И путь этот — террор. Рабочий, оказавшийся во главе государства, подвергается соблазнам, против которых может устоять только очень сильная натура. Чтобы лезть не вскружила голову, а непривычная роскошь не подорвала решимость, надо быть поистине сверхчеловеком. Рабочий по своей природе сентиментален, сердце у него доброе, и потом, он жалостлив; получив все, чего хотел, он бездельничает и пускает все на самотек; он прощает врагов и изумляется, когда, едва отвернувшись, получает нож в спину. У него под боком должен быть кто-то, кто по своей натуре, по рождению, образованию, воспитанию равнодушен к искушениям властью и не восприимчив к расслабляющему влиянию успеха.

Все это время Саймон ходил взад-вперед по кабинету, а сейчас, на полпути к другу, остановился. Бледный, небритый, с взлохмаченными волосами, в халате, который кое-как прикрывал его тощие руки и ноги, он выглядел нелепо. Но в прошлом, не таком уж далеком прошлом, другие молодые люди, такие же бледные, тощие, неухоженные, в поношенных костюмах или студенческих тулупах ходили по своим убогим жилищам и высказывали столь же, казалось бы, несбыточные мечты; и однако, как ни странно, время и благоприятный случай помогли их мечтам осуществиться, и, сквозь кровь прорываясь к власти, они держали в своих руках жизнь миллионов.

— Ты о Дзержинском когда-нибудь слышал?

Чарли бросил на Саймона испуганный взгляд. Имя это упоминала Лидия.

— Да, как ни странно, слышал.

— Он был из благородного сословия. Его предки с семнадцатого века были польскими землевладельцами. Он был культурный, начитанный человек. Ленин и старая гвардия — большевики — совершили революцию, но без Дзержинского ее задавили бы в первый же год. Дзержинский понимал, спасти революцию может только террор. Он обратился с просьбой поставить его во главе полиции и организовал Чека. Он сделал ее орудием подавления, и она действовала с точностью отлично отлаженного механизма. При испол-

нении своих обязанностей он не давал воли ни любви, ни ненависти. Он был невероятно работоспособен. Он ночь напролет сам допрашивал подозреваемых, и говорят, научился так мастерски читать в сердцах людей, что от него невозможно было ничего утаить. Он изобрел систему заложников, ни одна революция не создала системы, которая так успешно поддерживала бы порядок. Собственной рукой он подписал сотни, нет, тысячи смертных приговоров. Жил он по-спартански. Сила его заключалась в том, что для себя ему не нужно было ничего. Единственная его цель была — служить революции. И он сделался одним из самых могущественных людей России. Народ боготворил и бурно приветствовал Ленина, но правил народом Дзержинский.

— Так вот какую роль ты хотел бы играть, случись в Англии революция?

— Я бы отлично к ней подошел.

Чарли улыбнулся ему своей мальчишеской, добродушной улыбкой.

— Пожалуй, я сослужил бы Англии хорошую службу, задуши я тебя прямо сейчас. А ведь, знаешь, я могу.

— Представляю. Но ты побоишься последствий.

— Не думаю, чтоб меня уличили. Никто не видел, что я пришел. Только Лидия знает, что я собирался зайти к тебе, но она меня не выдаст.

— Я не об этих последствиях думал. Я о совести твоей думал. Тебе для этого недостает твердости, друг мой Чарли. Ты слабак.

— Пожалуй, ты прав.

Чарли помолчал.

— Ты говоришь, Дзержинскому ничего не нужно было для себя, — сказал он, — а тебе ведь нужна власть.

— Только как средство.

— Для какой цели?

Саймон посмотрел на него в упор, Чарли показалось, что глаза его зажглись чуть ли не безумным светом.

— Чтобы состояться. Удовлетворить свой творческий инстинкт. Употребить способности, которыми меня одарила природа.

Чарли не нашелся что ответить. Поглядел на часы и встал.

— Мне пора.

— Я больше не хочу с тобой видаться, Чарли.

— А тебе и не придется. Я завтра уезжаю.

— Я никогда больше не хочу тебя видеть.

Чарли растерялся. Посмотрел Саймону в глаза. Глаза смотрели мрачно, безжалостно.

— Вот как? Почему?

— У меня с тобой все кончено.

— Навсегда?

— Окончательно.

— И не жаль тебе? Я ведь был тебе неплохим другом, Саймон.

Саймон молчал не долее чем требуется, чтобы упал с дерева на землю перезрелый плод.

— Ты мой единственный друг, другого у меня не было.

Голос его срывался, и так ясно было его отчаяние, что Чарли, взволнованный, порывисто протянул руки, шагнул к нему.

— Саймон, милый, зачем ты так терзаешь себя?

В измученных глазах Саймона вспыхнула ярость, и, сжав кулак, он изо всех сил ударил Чарли в челюсть. Удар был так неожидан, что Чарли покачнулся, поскользнулся на не покрытом ковром полу и упал ничком; мигом вскочил и, вне себя от гнева, кинулся к Саймону, чтобы дать ему по заслугам, так бывало прежде не раз, когда тот доводил его до белого каления. Саймон не шевельнулся, стоял, заложив руки за спину, даже не пытался защищаться, словно готов был охотно принять наказание, и такая мука, такой ужас были на его лице, что Чарли сразу остыл. Замер на месте. Челюсть болела, но он добродушно усмехнулся.

— Дурак ты, Саймон, — сказал он. — Ты же мог меня искалечить.

— Убирайся, бога ради. Беги к своей треклятой шлюхе. Я по горло сыт тобой. Пошел вон, вон!

— Ну, что ж, дружище, я ухожу. Но сперва вот небольшой подарок, я привез тебе ко дню рожденья, к седьмому.

Он вынул из кармана часы в кожаном футляре, из тех, что открываются, когда раздвигаешь футляр, и при этом сами заводятся.

— На них кольцо, так что можешь повесить их на цепочку для ключей.

Он положил часы на стол. Саймон и не посмотрел на них. Чарли бросил взгляд на Саймона, глаза его весело поблескивали. Он ждал, не скажет ли тот хоть слово, да так и не дождался. Прошел к двери, растворил ее и вышел вон.

Несмотря на поздний час, бульвар Монпарнас был ярко освещен. Приближался Новый год, и все дышало предчувствием праздника. На улицах толпы, кафе набиты битком.

Все в отличном расположении духа. А Чарли был угнетен. его мучил стыд, как бывает, когда придешь в гости, надеясь развлечься, но ведешь себя нелепо, бестактно, и уходишь с сознанием, что произвел прескверное впечатление. Ему полегчало, когда он вновь оказался в убогом номере гостиницы. Лидия сидела у зажженного камина и шила, и не продохнуть было от табачного дыма, видно, она курила сигарету за сигаретой. А в общем милая, домашняя картина. Будто какой-нибудь интерьер Вилара, с его задушевым уютным очарованием, но написанный Утрилло, так что есть в нем еще и трогательная скудость. Лидия встретила Чарли своей тихой, дружелюбной улыбкой.

— Как ваш друг Саймон?

— Совсем спятил.

Чарли закурил трубку, сел на пол перед камином, прислонясь к сиденью стула, на котором сидела Лидия. Эта близость успокаивала. Он рад был, что она молчит. Он был взбудоражен чудовищными разговорами Саймона. Из головы не шла тощая фигура, бледное лицо с двухдневной щетиной, со следами недоедания и переутомления, вот он ходит взад-вперед по комнате в старом халате и с хладнокровной, безжалостной враждебностью выкладывает бредовые свои мысли. Но за этой картиной виделась другая, незабытая — мальчик с большими темными глазами, который, казалось, жаждет любви и, однако, отталкивает ее, мальчик, с кем он, Чарли, в дни рождественских каникул ходил в цирк и который так бурно радовался непривычному удовольствию, с кем катался на велосипеде или отправлялся в другие загородные прогулки, кто порою бывал весел и забавен, с кем было радостно болтать, и смеяться, и озорничать, и валять дурака. Невероятно, что тот мальчик мог превратиться в этого молодого человека, это надрывало душу, Чарли готов был заплакать.

— Хотел бы я знать, что в конце концов станет с Саймоном, — пробормотал он.

Он сам не заметил, как произнес эти слова вслух, и удивился, когда Лидия ответила ему, чуть не подумал, что она прочла его мысли.

— Англичан я не знаю, — сказала она. — Но будь он русский, я бы сказала, что он либо станет опасным агитатором, либо покончит с собой.

Чарли фыркнул.

— Видите ли, мы, англичане, обладаем замечательной способностью обращать заблуждения молодости в доброт-

ную пищу. С таким же успехом он может в конце концов стать редактором «Таймс».

Чарли поднялся и сел в кресло, единственное место в комнате, где можно было посидеть с удобством. Задумчиво посмотрел на Лидию, усердно работающую иглой. Хотелось кое-что ей сказать, но от мысли об этом он разволновался, и, однако, завтра он уезжает и другого случая сказать, возможно, уже не будет. Чарли терзало подозрение, посеянное Саймоном в его бесхитростной душе. Если Лидия все время его дурачила, надо бы это узнать, и тогда при расставании он просто пожмет плечами и с чистой совестью забудет и думать о ней. Он решил немедленно узнать правду, но стеснялся напрямик сделать ей некое предложение и потому начал издалека:

— Я вам не рассказывал про свою двоюродную бабушку Марту?

— Нет.

— Она была старшим ребенком моего прадеда. Старая дева, лицо мрачное, землистое и все в морщинах, столько морщин я больше ни у кого не видел. Маленького росточка, тонюсенькая, губы поджаты, и вечно кислая мина, осуждающий взгляд. В детстве я ее до смерти боялся. Она безмерно восхищалась королевой Александрой и до конца своих дней носила такую же прическу, как королева, только у нее это был парик. Одевалась всегда в черное, длинные, широчайшие юбки, талия в рюмочку и высокие, до самых ушей воротники. На шее она носила тяжелую золотую цепь, с которой свешивался большой золотой крест, а на запястьях золотые браслеты. Потрясающе благовоспитанная женщина. Всю жизнь она так и прожила в огромном доме, который построил для себя старик Сайберт Мейсон, когда стал преуспевать, и решительно ничего там не меняла. Входишь в этот дом и оказываешься в семидесятих годах восемнадцатого века. Умерла она всего несколько лет назад в очень солидном возрасте и оставила мне пятьсот фунтов.

— Очень мило.

— Я хотел пустить их на ветер, но отец уговорил меня отложить их. Сказал, когда мне придет время жениться и я захочу обставить квартиру, я еще как буду рад, что у меня кое-что отложено. Только похоже, я не женюсь в ближайшие годы, и эти деньги мне не так уж нужны. Хотите, я дам вам из них двести фунтов.

Лидия продолжала шить и приветливо, без особого интереса, больше из вежливости, слушала рассказ, который

мало значил для нее, но при этих словах ткнула иголку в материю и подняла на Чарли глаза.

— С какой стати?

— Я подумал, они могут вам пригодиться.

— Не понимаю. Что я такое сделала, что вам захотелось подарить мне двести фунтов?

Чарли замялся. Лидия смотрела на него своими голубыми, большими, но неяркими глазами, смотрела так внимательно, словно пыталась заглянуть ему в душу. Чарли отвернулся.

— Вы могли бы очень помочь Роберу.

На ее губах появилась слабая улыбка. Она поняла.

— Ваш друг Саймон сказал вам, что я пошла в *Sérail*, чтобы заработать на побег Роберу?

— С чего вы взяли?

У нее вырвался презрительный смешок.

— Вы очень наивны, бедняжка. Это все их домыслы. Неужели вы думаете, я стану кого-то разубеждать, неужели думаете, меня бы поняли, скажи я правду? Не нужны мне ваши деньги, мне не на что их употребить. — И продолжала мягче: — Так славно, что вы это предложили. Милое вы существо, но такой еще ребенок. Неужели вам не понятно, ведь то, что вы предлагаете, преступление, и оно запросто может привести вас в тюрьму.

— Ладно, оставим это.

— Вы не поверили тому, что я вам рассказывала третьего дня?

— Мне начинает казаться, что в этом мире очень трудно понять, чему можно верить. В конце концов я вам никто, чего ради вы стали бы говорить мне правду, если вам не хотелось. И еще эти парни сегодня утром, и они вам дали адрес, по которому можно послать деньги. Вот я и сопоставил то и другое, что ж удивительного.

— Я буду рада, если смогу послать Роберу немного денег, пусть купит себе сигарет и кое-какую еду. Но все, что я вам говорила, правда. Я не хочу, чтобы он сбежал оттуда. Он согрешил и должен пострадать.

— Я просто думать не могу, что вы опять вернетесь в это ужасное заведение. Теперь я немного вас знаю, и мне невыносимо думать, что вы, именно вы, живете такой жизнью.

— Но я же вам сказала, я должна искупить грех, должна сделать то, чего сам он сделать не в силах.

— Но это безумие. Что-то болезненное. Бессмыслица какая-то. Если бы вы верили в сурового Бога, который требует возмездия и готов принять ваши страдания, ну, как частичную плату за зло, которое содеял Робер, я бы еще понял вас, хотя все равно считал бы это чудовищным заблуждением, но вы говорили, вы в Бога не верите.

— С чувством спорить невозможно. Конечно же, это неразумно, но разум тут ни при чем. Я не верю в Бога христиан, который пожертвовал сыном ради спасения человечества. Это миф. Но откуда бы взяться мифу, если он не выражал бы некую глубинную тягу, присущую людям? Я сама не знаю, во что я верю, ведь это чутье, а как описать чутье словами? Чутье подсказывает мне, что сила, которая правит нами, — людьми, животными, всем на свете, это сила непонятная и жестокая, и за все надо платить. Сила эта требует око за око и зуб за зуб, и как бы мы ни увиливали и ни изворачивались, мы вынуждены подчиниться, потому что эта сила есть мы сами.

Чарли безнадежно махнул рукой. Чувство у него было такое, словно он пытался разговаривать с кем-то, чей язык ему непонятен.

— Сколько еще времени вы останетесь в *Sérail*?

— Не знаю. Пока не сделаю то, что мне предназначено. Пока не придет час, когда почувствую всем своим существом, что Робер освобожден, не из тюрьмы, но от своего греха. Одно время я надписывала адреса на конвертах. Конвертов многие сотни, и кажется, им не будет конца, пишешь, пишешь, и долгое время кажется, сколько их было, столько и есть, и вдруг, когда меньше всего этого ждешь, оказывается, надписала последний конверт. Очень странное ощущение.

— И тогда вы уйдете и присоединитесь к Роберу?

— Если он захочет.

— Ну конечно захочет, — сказал Чарли.

С бесконечной печалью Лидия посмотрела на него.

— Не знаю.

— Как вы можете сомневаться? Он вас любит. В конце концов, подумайте, что должна значить для него ваша любовь.

— Вы слышали, что сказали сегодня эти двое. Он весел, ему повезло, он вполне освоился. Так и должно было быть. Так уж он устроен. Он любил меня, да, знаю, но я знаю также, что любить долго он не способен. Даже если бы ничего не случилось, он не навсегда остался бы со мной. Я с первых дней это знала. И когда настанет час и я смогу уйти,

как я могу надеяться, что к тому времени он меня не разлюбит?

— Но если вы так думаете, мыслимо ли и дальше вести такую жизнь?

— Глупо, да? Он жестокий, себялюбивый, бессовестный и безнравственный. Мне все равно. Я не уважаю его, не доверяю ему, но люблю. Люблю всем телом, всеми помыслами, чувствами, всем своим существом. — Она заговорила другим тоном, шутливым. — Теперь, когда я вам это сказала, вам ясно, я презренная женщина, не достойная ни интереса вашего, ни сочувствия.

Чарли с минуту подумал.

— Что ж, не стыжусь сказать, все это выше моего понимания. Но хоть ему и тяжело приходится, я, пожалуй, предпочел бы оказаться на его месте, а не на вашем.

— Почему?

— Что ж, скажу вам откровенно, по-моему, нет ничего мучительней, чем всем сердцем любить человека и знать, что ему грош цена.

Лидия взглянула на него задумчиво, не без удивления, но ничего не сказала.

10

Поезд отходил в полдень. Чарли несколько удивился, когда Лидия сказала, что хочет его проводить. Они поздно завтракали, уложили чемоданы. Перед тем как пойти вниз заплатить по счету, Чарли сосчитал деньги. Их осталось очень много.

— Сделайте мне одолжение, — попросил он.

— Какое?

— Позвольте оставить вам немного, вдруг понадобятся.

— Не нужны мне ваши деньги, — улыбнулась Лидия. — Если хотите, можете мне дать тысячу франков для Евгении. Для нее это будет неожиданное счастье.

— Хорошо.

Они сперва заехали на улицу Шато д'О, где жила Лидия, и она оставила у консьержки свой чемоданчик. Потом поехали на вокзал. Лидия шла с Чарли по перрону, и он купил несколько английских газет. Отыскал свое место в пульмановском вагоне. Лидия вошла вместе с ним, огляделась.

— Знаете, я еще никогда не была в вагоне первого класса, — сказала она.

Чарли внутренне содрогнулся. Вдруг представилась жизнь, начисто лишенная не только роскоши, доступной богатым, но даже удобств, которыми пользуются состоятельные люди. Острая печаль пронзила его при мысли о том убогом существовании, которое всегда было и всегда будет уделом этой женщины.

— Ну, в Англии я обычно езжу третьим классом, — словно оправдываясь, промолвил Чарли. — Но отец сказал, в Европе надо ездить как подобает джентльмену.

— Это производит хорошее впечатление на туземцев.

Чарли засмеялся, покраснел.

— У вас особый дар сказать такое, что я чувствую себя дурак дураком.

Они ходили взад-вперед по перрону и, как всегда бывает в таких случаях, подыскивали, что бы еще сказать, и ничего путного не приходило на ум. Чарли спрашивал себя, мелькнула ли у нее мысль, что, по всей вероятности, они никогда в жизни больше не увидятся. Как странно, пять дней они были почти неразлучны, а уже через час будет казаться, словно они никогда и не встречались. Но поезд с минуты на минуту отойдет. Чарли протянул на прощанье руку. Лидия стояла, как-то особенно скрестив руки на груди, это всегда странно его трогало, так она лежала, скрестив руки, когда плакала во сне; и вот она подняла голову. С удивлением Чарли увидел, что она плачет. Он обнял ее и впервые поцеловал в губы. Лидия высвободилась из его объятий, отвернулась и поспешно пошла прочь. Чарли зашел в купе. Он был непривычно, до глубины взволнован. Но сытный обед с полубутылкой посредственного «Шабли» вернул утраченное спокойствие; а пообедав, он закурил трубку и принялся читать «Таймс». И утешился. В самом ощущении плотных газетных листов он находил некую истинно великолепную основательность. Посмотрел он иллюстрированные газеты. По натуре он не склонен был предаваться грусти. К тому времени, как они достигли Кале, он был уже в наилучшем настроении. Оказавшись на корабле, он выпил немного шотландского виски и принялся шагать по палубе, с удовольствием созерцая волны, которыми, как известно, правит Британия. Было замечательно увидеть белые утесы Дувра. Он с облегчением вздохнул, когда ступил на неподатливую английскую землю. Словно пробыл в разлуке с нею тысячу лет. Приятно было услышать голоса английских носильщиков, и он засмеялся в ответ на устрашающую грубость английских таможенников, которые обходятся с тобой точно с преступ-

ником. Еще два часа, и он снова дома. Вот и отец всегда повторял: «До чего ж приятно уехать из Англии, но и того приятней возвратиться».

Все пережитое в Париже уже затянулось легкой дымкой. Будто после ночного кошмара, когда просыпаешься весь дрожа, но день течет своим чередом, и память о нем бледнеет, и немного погода уже только и помнишь, что тебе привиделся дурной сон. Хотелось знать, встретит ли его кто-нибудь, как славно было бы увидеть на перроне родное лицо. На вокзале Виктории он вышел из вагона и сразу же увидел мать. Она обвила руками его шею и так расцеловала, словно они не виделись долгие месяцы.

— Я сказала твоему отцу, что, раз он тебя провожал, встречать буду я. Пэтси тоже хотела поехать, но я не позволила. Я хотела на несколько минут заполучить тебя для себя одной.

До чего же приятно, когда тебя окутывает эта надежная любовь.

— Глупышка ты, мама. Это же нелепо, такой ненастный вечер, на перроне продувает насквозь, ты же рискуешь простудиться насмерть.

Под руку, счастливые, они прошли к автомобилю. И поехали на Порчестер Клоуз. Лесли Мейсон услышал, как отворилась парадная дверь, и вышел в прихожую, сбежала по лестнице Пэтси и кинулась в объятия брату.

— Идем ко мне в кабинет, глотни спиртного. У меня там виски. Ты, должно быть, отчаянно промерз.

Чарли достал из кармана пальто два флакона духов, которые привез матери и Пэтси. Их выбрала Лидия.

— Я привез их контрабандой, — с торжеством объявил он.

— Теперь эти две женщины будут благоухать, точно публичный дом, — расплывшись в улыбке, сказал Лесли Мейсон.

— Я привез тебе галстук от Шарве, па.

— Яркий?

— Очень.

— Отлично.

Все расхохотались, очень довольные друг другом. Лесли Мейсон налил немного виски и настоял, чтобы жена выпила, а то еще захворает.

— Были у тебя какие-нибудь приключения, Чарли? — спросила Пэтси.

— Ни единого.

— Лгунишка.

— Ну, ты нам все про все расскажешь потом, — сказала миссис Мейсон. — А сейчас пойді прими хорошую горячую ванну и переоденься к ужину.

— Для тебя все готово, — сказала Пэтси. — Тебе остается только развести в ванне ароматическую соль.

С ним обращались так, словно он только что вернулся с Северного полюса после неимоверно трудного путешествия. И сердце его ликовало.

— Хорошо вернуться домой? — спросила мать, глаза ее светились любовью.

— Замечательно.

Но когда Лесли, еще не окончательно одевшись, зашел к жене поболтать, пока она приводит в порядок лицо, она встревоженно обернулась к нему.

— Он ужасно бледный, Лесли, — сказала она.

— Немного утомлен. Я и сам заметил.

— Он так осунулся. Мне это сразу бросилось в глаза, когда он вышел из вагона, но только дома я его как следует разглядела. Он белый как полотно.

— Через день-другой отойдет. Должно быть, гульнул. По его виду я полагаю, он не одной красоте помог отложить денег на почтенную старость.

Миссис Мейсон сидела у туалетного столика в китайском жакете, отороченном белым мехом, и старательно подводила карандашом брови, но при этих словах мужа резко обернулась.

— Ты что хочешь этим сказать, Лесли? Не хочешь же ты сказать, что он развлекался с этими мерзкими французенками?

— Ну оставь, Винития. Для чего, по-твоему, он поехал в Париж?

— Посмотреть картины, повидать Саймона, ну, и просто съездить во Францию. Он же еще мальчишка.

— Не говори глупости, Винития. Ему двадцать три года. Надеюсь, ты не думаешь, что он девственник?

— Все мужчины омерзительны, вот что я думаю.

Голос ее сорвался, и, видя, что она не на шутку огорчилась, Лесли с нежностью потрепал ее по плечу.

— Милая, ты же не хочешь, чтобы твой единственный сын был евнухом, правда?

Миссис Мейсон и сама не знала, смеяться ей или плакать.

— Да нет, наверно, не хочу, — хихикнула она.

Полчаса спустя Чарли, не в самом парадном смокинге, с особым удовольствием сел за стол в стиле чиппендейл с

отцом в бархатном пиджаке, с матерью в свободного покроя розовато-лиловом шелковом платье и с Пэтси, как положено девице, в розовом шифоне. Георгианское серебро, затененные свечи, кружевные салфеточки, купленные Винитией Мейсон во Флоренции, хрусталь — все было красиво, но главное, так знакомо. Картины на стенах, каждая со своей подсветкой, были вполне хорошие; и две горничные в аккуратной коричневой форме прибавляли еще один милый штрих. Все рождало ощущение защищенности, приятную уверенность, что внешний мир отсюда далек. Простая добротная пища рассчитана на здоровый аппетит, но от нее не потолстеешь. В камине электрический костер с успехом изображает горящие поленья. Лесли Мейсон взглянул на меню.

— Вижу, ради возвращения блудного сына мы закололи жирного тельца, — сказал он, лукаво посмотрев на жену.

— Ты хорошо ел в Париже, Чарли? — спросила миссис Мейсон.

— Вполне. Я, знаете ли, не ходил по шикарным ресторанам. Мы обычно ели в ресторанчиках и в кафе Латинского квартала.

— А кто же это «мы»?

Чарли на миг замялся, покраснел.

— Да я обедал с Саймоном.

Был такой случай. Своим ответом он скрыл правду, но и не соврал. Миссис Мейсон перехватила многозначительный взгляд мужа, но не обратила на него внимания; с нежной любовью она все смотрела на сына, а тот, слишком бесхитростный, и не подозревал, что родители пытаются проникнуть ему в душу, разгадать тайны, которые он, быть может, там хранит.

— А картины какие-нибудь ты видел? — ласково поинтересовалась мать.

— Я был в Лувре. Мне очень понравился Шарден.

— Да что ты? — отозвался Лесли Мейсон. — По правде сказать, на меня он не производил особого впечатления. Мне он всегда казался скучным. — Глаза весело блеснули, и он сострил: — Между нами говоря, Шардену я предпочитаю Шарве. Он, по крайней мере, современен.

— Твой отец просто невозможен, — снисходительно улыбнулась миссис Мейсон. — Шарден очень добросовестный художник, один из мастеров восемнадцатого столетия, но, разумеется, не из великих.

Однако им, в сущности, куда больше хотелось рассказать, как провели время они сами, чем слушать рассказы Чарли. Праздник у кузена Уилфрида удался на славу, и они вернулись домой такие усталые, даже не успели поужинать, сразу легли. По этому видно, как они веселились.

— Пэтси сделали предложение, — сказал Лесли Мейсон.

— Интересно, правда? — воскликнула Пэтси. — К сожалению, бедняжке всего шестнадцать лет, ну я ему и сказала, что хоть я и дурная женщина, но еще не пала так низко, чтобы похищать младенцев из колыбели, и целомудренно поцеловала его в лоб и пообещала быть ему сестрой.

Пэтси продолжала болтать, Чарли с улыбкой ее слушал, а миссис Мейсон воспользовалась случаем повнимательней к нему присмотреться. Он и вправду очень хорош собой, а бледность ему к лицу. Со странным чувством думала она о том, как он, должно быть, нравился этим ужасным парижанкам; наверно, побывал в каком-нибудь их мерзком заведении; как он, должно быть, всех очаровал, такой молодой, чистый, обаятельный, рядом с толстыми, лысыми, гадкими стариками, к которым там привыкли! Интересно, что за девушка его привлекла, была бы хоть молоденькая и хорошенькая, говорят, мужчин привлекают женщины, похожие на их матерей. Уж наверно Чарли восхитительный любовник; она невольно гордилась им; как же иначе, ведь он ее сын, она носила его под сердцем. Милый. До чего он бледный и усталый. Странные мысли бродили в голове миссис Мейсон, этими мыслями она не поделилась бы ни с кем на свете: она грустила и слегка ревновала, да, ревновала к девушкам, с которыми он спал, но ощущала и гордость, да еще какую, ведь он сильный, красивый, настоящий мужчина.

Лесли прервал пустую болтовню Пэтси и мысли жены:

— Откроем ему наш замечательный секрет, Винития?

— Конечно.

— Только смотри, Чарли, никому ни слова. Это придумал кузен Уилфрид. Партии необходимо подыскать теплое местечко для одного из бывших губернаторов Индии, и Уилфрид решил уступить ему свое место, а в знак признательности его сделают пэром. Что ты на это скажешь?

— Великолепно.

— Он, конечно, притворяется, что его это мало трогает, а сам рад-радешенек. И знаешь, это и всем нам приятно. Ведь когда в семье есть пэр, это поднимает ее в глазах общества. Занимаешь более высокое положение. А только подумать, с чего мы начинали...

— Довольно, Лесли, — миссис Мейсон показала глазами на служанок, — незачем нам в это углубляться. — И когда после ее слов девушки вышли из столовой, прибавила: — У твоего отца была страсть рассказывать всем и каждому о своем происхождении. По-моему, пришло время понять: что было, то прошло. Не беда помянуть об этом среди людей нашего круга, на их взгляд, есть особый шик в том, что дед был садовником, а бабка кухаркой, но слугам об этом говорить незачем. Они только станут думать, будто мы им равня.

— Я своего происхождения не стыжусь. В конце концов, самые прославленные английские роды начинали так же скромно, как мы. А мы разбогатели меньше, чем за сто лет.

Миссис Мейсон и Пэтси встали из-за стола, а Чарли остался с отцом выпить бокал портвейна. Лесли Мейсон рассказал ему, какой разгорелся спор в связи с тем, что кузен Уилфрид получит титул. Не так-то легко найти подходящее имя, какого нет больше ни у кого, так или иначе связанное с именем Уилфрида, и притом благозвучное.

— Я думаю, пора присоединиться к дамам, — сказал он, когда тема была исчерпана. — Перед сном мама, наверно, захочет сыграть роббер.

Но, уже выходя из столовой, приостановился, положил руку на плечо сыну.

— У тебя утомленный вид, дружок. Ты, я полагаю, кутнул в Париже. Что ж, дело молодое, этого следовало ожидать. — Он вдруг сконфузился. — Ну, да это не мое дело, есть вещи, в которые отцу с сыном вдаваться незачем. Но и в самых добропорядочных семьях случается всякое, и я что хочу сказать, если почувствуешь неладное, не смущайся, а сразу же обратись к доктору. Старик Синнери принимал роды, когда ты появился на свет, так что можешь его не стесняться. Он сама скромность и в два счета приведет тебя в порядок; счет будет оплачен, и никаких вопросов он тебе задавать не станет. Вот все, что я хотел тебе сказать, а теперь пойдем, мама заждалась.

Поняв, о чем толкует отец, Чарли покраснел как рак. Чувствовал, надо что-то сказать, но так и не нашелся.

Когда они вошли в гостиную, Пэтси играла вальс Шопена, а потом мать попросила и Чарли что-нибудь сыграть.

— Ты, наверно, ни разу не играл с тех пор, как уехал?

— Раз вечером играл на пианино в гостинице, но пианино было никудышное.

Он сел и опять заиграл ту пьесу Скрябина, которую он, по мнению Лидии, исполнил из рук вон плохо, и, едва начав, вдруг вспомнил тот душный прокуренный подвал, куда она его привела, и головорезов, с которыми он так подружился, и русскую певицу, изможденную, смуглую, точно цыганка, с огромными глазами, ту, что так трагически, самозабвенно пела буйные дикие песни. Сквозь ноты, которые он брал на клавиатуре, ему слышался ее пронзительный, резкий и, однако, глубоко волнующий голос.

У Лесли Мейсона было чуткое ухо.

— Ты играешь эту пьесу не так, как раньше, — сказал он, когда Чарли поднялся с табурета.

— Не думаю. Разве?

— Да, с совсем иным чувством. Какая-то дрожь через нее проходит, и это очень впечатляет.

— А мне больше нравится прежняя манера, Чарли. Сейчас ты в нее внес что-то болезненное, — сказала миссис Мейсон.

Сели за бридж.

— Ну вот, все опять по-старому, — сказал Лесли. — С тех пор, как ты уехал, нам не доставало нашего семейного бриджа.

У Лесли Мейсона была теория, что по тому, как человек играет в бридж, можно судить о его характере, а поскольку сам себе он казался удальцом, человеком щедрым и непосредственным, он объявлял больше взяток и беспечно удваивал ставки. Соблюдать правила ему казалось не по-английски. А миссис Мейсон, наоборот, играла строго по правилам Калбертсона и тщательно пересчитывала очки прежде, чем отваживалась объявить козырную масть. Она никогда не рисковала. Из всей семьи только Пэтси по какой-то прихоти судьбы смыслила в картах. Она играла смело, умно и, казалось, чуяла карточный расклад. И не скрывала презрения к родительской манере игры. За карточным столом она смотрела на обоих свысока. Игра шла в точности так же, как в многие и многие прежние вечера. Лесли на-объявлял взятки, дочь его перехитрила, он удвоил усилия и с торжеством проиграл тысячу четыреста; у миссис Мейсон было полно фигурных карт, но она не пожелала слушаться партнера и объявила шлем; Чарли играл небрежно.

— Ты, дурной, ты мне почему не вернул бубны? — крикнула Пэтси.

— А почему я должен возвращать бубны?

— Ты что, не видел, я играла девяткой, потом шестеркой?

— Нет, не видел.

— Господи, всю жизнь мне приходится играть с людьми, которые не умеют отличить туз пик от коровьего хвоста.

— Та ли взятка, эта ли, разница невелика.

— Взятка? Взятка? Взятка может изменить все на свете.

Никто не обращал внимания на досаду Пэтси. Все только смеялись, и она махнула на них рукой и тоже засмеялась. Лесли старательно вел счет и заносил в записную книжку. Они играли по пенни за сотню, но делали вид, будто играют по фунту стерлингов, так это выглядело лучше и было увлекательней. Иногда против своего имени Лесли вписывал суммы вроде полутора тысяч фунтов и пресерьезно изрекал, что, если так пойдет и дальше, он вынужден будет расстаться с автомобилем и ездить в контору автобусом.

Часы пробили двенадцать, и они пожелали друг другу спокойной ночи. Чарли ушел в свою теплую, уютную комнату и начал раздеваться, но вдруг почувствовал, что очень устал, и опустил в кресло. И решил перед сном выкурить еще трубку. Нынешний вечер был совсем такой же, как и все прежние несчетные вечера, проведенные дома, но показался покойным и задушевым как никогда; все мило, знакомо, все до мелочей именно так, как хотелось; где еще найдешь такую прочность и устойчивость; а меж тем, невесть почему, донимала въедливая мысль, что все это одно притворство. Будто этакий домашний спектакль, который разыгрывают взрослые на радость детям. А ночной кошмар, от которого, как воображал Чарли, он счастливо очнулся, — Лидия с подведенными веками и накрашенными сосками, в голубых турецких шальварах и голубом тюрбане, в этот час танцует или лежит обнаженная, униженная и мучительно торжествующая в своем унижении в объятиях какого-нибудь отвратительного ей мужчины; Саймон, закончив работу в редакции, ходит в этот час по пустеющим улицам на левом берегу Сены, и в его болезненном извращенном уме зреют чудовищные планы; в этот час Алексей и Евгения, — Чарли никогда их не видел, но, казалось, так хорошо их знает по рассказам Лидии, что непременно узнал бы, встретить их на улице, — в этот час пьяный Алексей слезливо возмущается развращенностью сына, а Евгения шьет, шьет не покладая рук и тихонько плачет, оттого что жизнь такая горькая; два отпущенных на волю каторжника с оцепенелым взглядом, словно прикованным к ужасам,

которые довелось увидеть, сидят в этот час каждый со стаканом пива в прокуренном полутемном подвале и там, зате-
рившись в многолюдье, на краткий миг освобождаются от
вечного страха, что кто-то за ними следит; и за тридевять
земель, на далеком побережье Южной Америки, Робер
Берже в тюремной полосатой, розово-белой одежде и в
уродливой соломенной шляпе на бритой голове в этот же
час идет из больницы по какому-то поручению и, бросив
взгляд на морской простор, мысленно прикидывает, есть
ли надежда на успешный побег, и со снисходительной неж-
ностью думает о Лидии... А ночной кошмар, от которого,
как воображал Чарли, он счастливо очнулся, на самом деле
страшная действительность, рядом с которой все остальное
самообман. Это нелепо, это противоречит здравому смыслу,
но она, вся та страшная действительность, словно испол-
нена силы и тайного смысла. И значит, жизнь, которую он
делит с этими тремя, — с отцом, матерью и сестрой, столь
дорогими его сердцу, и вся прочая благопристойная, но
заурядная окружающая жизнь, которая выпала ему по воле
слепого случая, — уютно укрыла и защитила, это все лишь
театр теней. Пэтси спросила, были ли у него в Париже
приключения, и он честно ответил — нет. Он ведь и вправду
ничего такого не делал. Отец думает, он там распутничал,
и боится, не подхватил ли он дурную болезнь, а у него и
женщины-то не было. Лишь одно с ним случилось — до-
вольно странно это, если подумать, он не очень и понимал,
как с этим быть, — весь его прошлый мир рухнул.

СОДЕРЖАНИЕ

Узорный покров. <i>Перевод М. Лорие</i>	5
Рождественские каникулы. <i>Перевод Р. Облонской</i>	187

СОМЕРСЕТ МОЭМ

*Собрание сочинений
в 9 томах*

Том 6

Редактор *И. Куцин*

Художественный редактор *И. Марев*

Технический редактор *Т. Фатюхина*

ЛР № 071673 от 01.06.98 г. Изд. № 0101134.

Подписано в печать 08.09.00 г.

Гарнитура Таймс. Формат 84×108¹/₃₂.

Печать высокая. Усл. печ. л. 21,0.

Уч.-изд. л. 22,86. Заказ № 890.

ТЕРРА—Книжный клуб.

113093, Москва, ул. Щипок, 2.

Оригинал-макет подготовлен ООО «Галатея».

Отпечатано в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат».

150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

